Скиталец

ИЗБРАННОЕ





Скиталец

ИЗБРАННОЕ



МОСКВА
„ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА"
1988

ББК 84Р1
С42

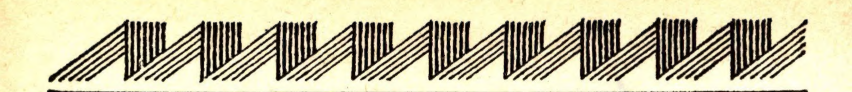
Составление и комментарии
Н. Г. Ларионовой

Оформление художника
Е. Соколова

С $\frac{4702010100-142}{028(01)-88}$ 43-88

ISBN 5 — 280 — 00085 — X

Стихотворения



* * *

Ночь тиха и молчалива.
Лампа тускнет, догорая.
Я давно сижу тоскливо,
Жизнь свою перебирая.

Думы на сердце ложатся,
Как туманы над рекою,
И готовы подниматься
Легкокрылою мечтою.

Лампа тихо догорает,
На стене тускнеет профиль,
И мне чудится: витает
Надо мною Мефистофель.

И мне чудится: легонько,
Тихо встал он за плечами
И смеется потихоньку
Над горячими мечтами.

1897

* * *

Я идти сбирался вновь
В увлекающую даль,
И пошли со мной Любовь,
Дружба, Радость и . . . Печаль.

Три подруги гнали прочь
Молчаливую, как ночь,
Нелюбимую Печаль . . .
Но меня ей было жаль.

И неслышною стопой
В отдалении она
Всюду кралася за мной,
Одинока и грустна.

Те же спутницы мои
Пели, словно соловьи,
Но в дороге роковой
Все расстались со мной.

Изменила мне Любовь,
Дружба выцвела давно,
В сердце стынуть стала кровь,
В сердце сделалось темно.

Радость скрылась той порой.
Я иду в глухую даль,
И осталася со мной —
Неразлучная Печаль.

1897

У МОРЯ

Вдали от родины забытой
Над чуждым морем я брожу
И, полон грусти ядовитой,
На красоту его гляжу.
Я море в первый раз увидел,
Оно казалось мне живым,
Как будто царь морской под ним
Весь мир надводный ненавидел.
Оно, казалось, угрожало
Громадою безбрежных вод
И грудью мощною дышало,
Качая дальний пароход.
Но сердце, как дитя больное,
Капризно не хотело спать,
И море не могло волною
Моей печали укачать.
У скал осенние цветы
Полету дум моих внимали
И лишь головками качали
На запоздалые мечты.
Спускался к миру ангел ночи,
Он звезды, эти божьи очи,
Звеня крылами, зажигал,
И сон повсюду наступал.
Но не было душе моей
Давно желанного покоя:
Блуждали мысли над землею,
Как призраки страны теней.
Нет цели в жизни . . . Нет желаний,
В душе разрушен храм святой,
И я живу без упований
С опустошенною душой.
Ах! Сколько раз судьба моя
Мне счастье скромное давала,
Но с ним не мог мириться я:
Душа бог весть чего искала.
И я брожу по всей земле,
Как вечный жид, как дух изгнанья,
И за собой влачу везде
Непримиримые страданья.
Встряхнись, поэт, забудь печаль
И не гонись за ветром в поле:
Тебе давно иную долю

Сулит заманчивая даль.
Воскреснут сладостные грезы,
И, вызывая смех и слезы
Своею песнею живой,
Царить ты будешь над толпой.
Лишенный ласки и участья,
Пусть обойдешься ты без счастья,
Но жизни шумная волна
Очарования полна.

Так думал я... А предо мной,
Синея, море волновалось
И необъятной шириной
Как бы ко мне навстречу мчалось,
И пело море... Как орган,
Оно гудело величаво
И вечно юные дубравы,
И чудеса далеких стран,
Про безграничную свободу,
Про звезды вечные небес,
Про скалы, и шумящий лес,
И неизменную природу.
И с писком жалобным летали
Морские чайки надо мной,
Как будто недоумевали:
Кто это, сумрачный такой?

1898

МУЗА

В те часы, когда невольно
За страну родную больно,
В те часы, когда я, бледный,
От бессилия страдаю
И душой изнемогаю —
В угол темный мой и бедный
Муза тихо прилетает;
Детский взгляд ее не знает
Ядовитого страданья:
Верой светлой он пылает
И огнем негодованья.
И тогда, как эта дева,
Я святого полон гнева!
Вдохновением объятый,
Я душою оживаю
И со струн души срываю
Гневно-грозные раскаты.

———

В те часы, когда, страдая,
Я невольно вспоминаю
Разлетевшиеся грезы,
Путь пройденный и бесследный
И когда во мне пылают
Недоплаканные слезы —
В угол темный мой и бедный
Муза тихо прилетает.
От волны людского моря
И от царствующей ночи
Холодненько музе-крошке...
Усадив ее, ей горе
И страданье изливаю
И, заглядывая в очи,
Я дыханьем согреваю
Музе маленькие ножки.
Муза слушает и плачет...
Слезы катятся и скачут,
Рассыпаясь и блистая,
Словно жемчуг, по сорочке...
Я их бережно сбираю
И нанизываю в строчки.

1898

* * *

Благослови меня, родная:
Передо мною тяжкий путь...
Пришла минута роковая —
Полна решимостию грудь!
Иду, что ждет меня, не зная...
Благослови меня, родная!..

Иду!.. Моя созрела дума,
Молчать и ждать не в силах я.
О мать, душа моя угрюма:
Страдает родина моя,
Во тьме и скорби утопая...
Благослови меня, родная!

Моя дорога — цепь лишений,
Мое грядущее темно,
Но светел мой живящий гений
И сердце верою полно!
Она горит, не угасая...
Благослови меня, родная!

1898

* * *

Вы сказались, бессонные ночи,
Вы сказались, душевные муки.
Загораются злобою очи, —
Опускаются слабые руки!
Вы сказалися, жгучие слезы,
Что мочили мое изголовье:
Отлетели воздушные грезы,
Отлетело былое здоровье . . .
Вы сказались, былые годины:
Грудь больная глубоко упала,
По челу пробежали морщины
И со щек моих краска сбежала.
Словно женщина — жизнь изменила,
А судьба надо мной насмеялась,
И безумно растрачена сила,
И пора золотая умчалась.
Лишь в тебе, беспокойное сердце,
Расцветают душистые розы,
И натянуты звонкие струны,
И волнуются чудные грезы . . .

1898

ВОЛЖСКИЕ ЛЕГЕНДЫ

Прекрасны были Жигули:
Бежала Волга, ярко, смело
Блестя на солнце, а вдали
Цепь гор лесистых зеленела.
Казался берег меловой
Серебряным и снежно чистым;
А лес казался муравой
Иль только мохом шелковистым.
Так величаво все кругом:
Река и горы — словно в сказке.
И мощь, и лень была во всем,
И разноцветны были краски.
Река звучала, как струна,
Горя серебряной дорогой,
И золотистая волна
Ложилась на берег отлогий.
Старик рыбак, мой друг седой,
Ровесник сказочным курганам,
Был волжским бардом и баяном
И знал преданий целый рой.
Он говорил: „Зачем ты мне
Твердишь всегда о теплом море,
О чужедальной стороне,
Где окончанья нет весне,
Где нет ни холода, ни горя? . .
Я там бы до смерти скучал,
Там круглый год одно и то же:
Зима на лето там похожа,
Нет берегов, все вал да вал! . .
Нет лучше волжской стороны!
Не надоест и Волга взгляду —
Дивятся все ее наряду,
Когда придет пора весны! . .
Как разодеты берега,
Каким зеленым изумрудом!
Она зальет леса, луга,
И нет конца ее причудам! . .
Весна пройдет — и уж опять
Она не та, опять другая,
Между песков приляжет спать —
И будет грустная такая! . .
Зимой оденется кругом
В холодный лед зелено-синий,

Покрывшись снега серебром,
А на лесах повиснет иней.
И будут песни распевать
Кругом над ней седые вьюги,
И будешь все ты тосковать
О ней, как будто о подруге.
Не только всяк, родясь на ней,
Жить без нее уже не может,
Но и чужих она людей
К себе, как девка, приворожит.
Гляди, какие здесь места!
А особливо в эту пору!
Вон на Красавицу на гору
Взгляни-ка! Эка красота!
На ней когда-то Чуркин жил,
Каких теперь уж нету боле,
Украл жену у воеводы
И там любимую таил.
Она красавица была,
На той горе она жила
В высоком тереме, в неволе.
А Чуркин рыскал по простору
Реки и бил и грабил тут.
С тех пор в народе эту гору
Горой Красавицы зовут.
А там, за этими горами,
Где идут темные леса,
Течет вокруг их, меж скалами,
Река разбойничья — Уса.
Стоят двенадцать там курганов —
Могилы братьев удалых,
Двенадцать славных атаманов
Лежат под насыпями их.
Курган высокий выдается;
То был курган сторожевой,
Он Молодецким здесь зовется:
Тут кровь лилась, тут был разбой.
А вон из горного ущелья
Сельцо как будто невзначай
Глядит... Бывало тут веселье,
Когда разбойничал Ширяй.
Давно прошло все это время,
Уж нет разбоев удалых,
Но все село — Ширяя племя,
И вид разбойничий у них.

А возле нас — Царев курган!
Гляди-ка, брат, гора какая!
Когда-то Разин здесь Степан
Стоял, Самару покоряя.
Ходил по вышке часовой,
Следя за волжскими судами,
Шел на кургане пир горой
И водку черпали ковшами.
Победу Разин пировал
С ватагою своей великой
И жег вино... Курган дрожал
От пляски бешеной и дикой.
Но сам Степан еще живет,
Что он казнен, тому не верьте,
И никогда он не умрет:
Отказано Степану в смерти.
Когда по Волге беляки
Бегут, и в небе нет лазури,
И слышен вой и стон реки, —
То стоны те — не стоны бури:
То под тяжелою горой
Степан в цепях лежит и стонет
И темных туч сердитый рой
Степана заживо хоронит.
То не сосновый бор звенит
По всем горам от урагана —
То цепь тяжелая гремит
На теле бедного Степана.
Ущелье видишь ли вдали
Между зелеными горами?
На дне оврага там нашли
В пещеру ход между скалами.
Конца ей нет. Войдешь туда —
Не выйдешь больше никогда!
Но был смельчак, что захотел
Войти в нее, и он вернулся,
Но чуть от страха не рехнулся
И, словно старец, поседел.
Там, с фонарем впотьмах блуждая,
Он шел отважно все вперед,
Шел много верст, не отступая,
И вот пред ним широкий свод.
Откуда-то чуть брезжит луч
Поблекнувшей зари вечерней,
И на полу, на ложе терний

Лежит гигант мрачнее туч.
Он был нагой и с бородою,
Уже доросшей до земли,
На пальцах когти отросли, —
И скован цепью был большою.
„Кто здесь? — он молвил. — Триста лет
Уж не видал я человека!
Томиться буду здесь до века:
Мне в этом мире смерти нет!
Кто здесь пришел меня тревожить
Под тягой гор, в холодной мгле?
Мои страдания умножить
Уж невозможно на земле!“ —
„Я — человек! — смельчак ответил. —
Но кто ты сам? скажи в ответ!
Чем в жизни ты себя отметил?
За что страдаешь триста лет?“ —
„Я — Разин! Пролил в жизнь мою
Я человечьей крови реки,
Теперь свою лишь кровь я лью
И буду лить ее вовеки!
Смотри, мученья близок час!
О, человече, не пугайся!
Гляди на муки и мужайся!“
Закат давно уже погас...
Вдруг ворвались медведь и лев,
Ревут, свои раскрывши пасти,
И, испуская дикий рев,
Грызут зубами, рвут на части!
В беспамятстве смельчак упал —
И ночь кошмарная промчалась.
Когда ж очнулся — день сиял,
Заря в ущелье пробивалась.
И видит он: лежит в цепях,
Как прежде, Разин невредимый
И говорит: „Забудь свой страх!
Иди назад в твой мир любимый!
И знай, как должен я страдать,
С приходом ночи умирая,
И как наутро воскресаю,
Чтоб быть растерзанным опять!“

Не так же ли и ты, народ,
Томился в жизненной пещере
И за дела минувших лет
Тебя тоски терзали звери?
Не так же ли душа твоя
Горячей кровью истекала,
Жизнь замиравшую тая,
И снова чудом оживала?

1898

ТОСКА

С давно минувшего затерянного дня,
С тех пор, как с милою моею я простился,
Повсюду и всегда, где б я ни находился,
Ее печальный взор преследует меня.
Расстался с нею я, не зная, что люблю:
Так чувство первое свежо и нежно было.
И годы пронеслись, но к ней любовь мою —
Что я ни испытал — ничто не истребило.
С тех пор одну ее искал я меж людей,
И только на нее похожая являлась,
Как чувство нежное давно минувших дней
В груди моей опять росло и разгоралось.
Казалось мне тогда, что я любил других,
Что из-за них гроза мне душу потрясала,
Но я любил за то, что каждая из них
Ее, одну ее, мне вновь напоминала.
Быть может, что она утратила давно
И прелесть красоты, и взгляд невинно-ясный,
Но сердце до сих пор лишь ей одной полно,
Мне помнится она лишь чистой и прекрасной.
Уж солнца нет давно, и ночь недалека,
И тени длинные ложатся над душою,
И только, как пожар, пылают облака
Холодным пламенем, вечернею зарею.

1899

МОРОЗ

За окном стучится вьюга,
Ветер дует мне в плечо:
Холодна моя лачуга,
Только сердце горячо!
И бедна она немножко:
Стены голые кругом!
Но зато мороз окошко
Разукрасил серебром.
Написал он изумрудом
На холодных стеклах лес,
Диво-розы, пальмы-чудо,
Сказку, полную чудес:
Цепью вдаль уходят горы,
Блещут снежные хребты,
Через реки и озера
Перекинуты мосты.
Город с белыми церквами,
Дальний город вижу я,
И расписаны зубцами
Стен узорные края.
В растворенные ворота
Едут витязи толпой
На потешную охоту
В лес кудрявый и густой.
На шеломах перья веют,
Блещут копий острия,
А за лесом свирепеет
Стоголовая змея.
За горой, где город дальний
Скрыт туманом голубым,
Терем высится хрустальный,
Терем с верхом золотым.
Вкруг раскинулись каштаны,
Розы пышные цветут,
Бьют кристальные фонтаны,
Птицы райские поют.
Там, в разубранной светлице,
Вечно грустная живет
Раскрасавица-девица,

Гостя, суженого ждет.
У нее уста — что розы,
Очи — звезды, жемчуг — слезы,
А под темною косой
Светит месяц золотой.

1900

* * *

Утром зорька молодая
По-над морем занималась...
Море синее, вздыхая,
На нее залюбовалось...
Зорька с тучками играла,
Море рделось в отдаленье
И волнами целовало
Алой зорьки отраженье.
Пробудившемуся морю
Воспевать хотелось зорю,
И всплывали из пучины
Перлы, жемчуг и рубины.
Но она не замечала
Ни взволнованного моря,
Ни любви его, ни горя
И беспечно убежала.
Голубые волны снова
С грустным ропотом заснули.
Перлы, жемчуг и рубины
Снова в бездне потонули.

1900

КОЛОКОЛ

Я — гулкий медный рев, рожденный жизни бездной.
Злой крик набата я!
Груб твердый голос мой, тяжел язык железный,
Из меди — грудь моя!

И с вашим пением не может слиться вместе
Мой голос: он поет
Обиду кровную, а сердце — песню мести
В груди моей кует!

Из грязи выходец, я жил в болотной тине,
Я в муках возмужал.
Суровый рок меня от юных дней доныне
Давил и унижал.

О, да! Судьба меня всю жизнь нещадно била;
Душа моя — в крови...
И в сердце, где теперь еще осталась сила,
Нет больше слов любви!

Я лишь суровые слова и мысли знаю,
Я весь, всегда в огне...
И песнь моя — дика, и в слово „проклинаю!“
Слилося все во мне!

1901

ГУСЛЯР

Гусли звонкие рокочут и звенят,
Про веселье чистой трелью говорят.
Мысли-песни напеваю я струнам,
Вольный ветер их разносит по полям.

Гусли-мысли да веселых песен дар
Дал в наследство мне мой батюшка-гусляр.
Гусляром быть доля выпала и мне —
Веять песни по родимой стороне.
Я иду, накинув бедный мой наряд;
Гусли звонкие рокочут и звенят!

Прохожу по полям, по горам,
Напеваю я песни ветрам;
А как выйду на Волгу-реку —
Отдохнуть прихожу к кабаку.
Там по праздникам пьет и поет,
Веселится рабочий народ.
Как ударю я в струны мои —
Замолчат над рекой соловьи;
Разливается песня кругом —
Серебром!

Солнце выйдет, смеясь, из-за туч...
И народ-то, как солнце, могуч!
Целовальник мне цедит вина,
Да душа и без чарки полна!
Только длинные струны звенят —
Говорят!

Ах! и звонко ж гусли медные звенят...
Слышит их владелец каменных палат.
На душе его осенняя пора —
И зовет он молодого гусляра:
„Ты сыграй-ка, песню грустную запой,
Чтоб омыл я душу грешную слезой,
Успокой ты совесть нежную мою, —
Я тебя и накормлю и напою!
Пусть о том, что я народу — друг и брат,
Гусли звонкие рокочут и звенят".

Я вхожу во дворец к богачу
И пропеть ему песню хочу,
Я пою ему, звонко смеясь:
„На душе твоей копоть и грязь;
Не спою тебе песни такой,
Чтоб тебя очищала собой:
Пусть лежит на душе твоей тень,
Песнь свободы не нравится вам,
И звенит она, словно кистень,
По пустым головам!

Земля у нас истощена...
Чего просить у ней?
Бурьян сухой родит она
И ядовитых змей.

Вот — я змеей вползаю к вам
И песней жалю вас.
Я только яд и раны дам,
А муки — бог вам даст!

Я к вам явился возвестить:
Жизнь казни вашей ждет!
Жизнь хочет вам нещадно мстить:
Она — за мной идет!

Смеетесь вы, твердя: „Он лжет,
Колючий, как бурьян!"
О нет! Каков теперь народ,
Таков и я вам дан!"

Ах! не кончил этой песенки гусляр,
Не приходит он на людный на базар,
Не видать его в царевом кабаке,
И не слышно звонких песен на реке.

Только видно: у тюремных у ворот
Каждый вечер собирается народ,
А из башни — песни льются и гремят,
Гусли звонкие рокочут и звенят!

1901

КУЗНЕЦ

Некрасива песнь моя —
Знаю я!
Не похож я на певца:
Я похож на кузнеца.
Я для кузницы рожден,
Я — силен!

Пышет горн в груди моей:
Не слова, а угли в ней!
Песню молотом кую,
Раздувает песнь мою
Грусть моя!
В искрах я!

Я хотел бы вас любить,
Но не в силах нежным быть —
Нет — я груб!
Ласки сумрачны мои:
Не идут слова любви
С жарких губ.

Кто-то в сердце шепчет мне:
„Слишком прям ты и суров —
Не скуешь ты нежных слов
На огне!
Лучше молот кузнеца
Подними в руке твоей
И в железные сердца
Бей!“

1901

* * *

Я хочу веселья,
Радостного пенья,
Буйного разгула,
Смеха и острот —
    Оттого, что знал я
    Лишь одни лишенья,
    Оттого, что жил я
    Под ярмом забот.
Воздуха, цветов мне,
Солнечной погоды!
Слишком долго шел я
Грязью, под дождем.
    Я хочу веселья,
    Я хочу свободы —
    Оттого, что был я
    Скованным рабом.
Я хочу рубиться,
Мстить с безумной страстью —
Оттого, что долго
Был покорен злым.
    И хочу любви я,
    И хочу я счастья —
    Оттого, что не был
    Счастлив и любим!

1901

* * *

„Ты скажи-ка, оборванец молодой,
Кто ты родом? да откуда? как зовут?
Из ученых ты, крестьянин ли простой?
Есть ли братья, есть ли сестры, где живут?
Да еще скажи, с кем дружбу ты водил?
Холостой ли аль жену себе ты взял?
В час полночный кто, зачем к тебе ходил?
С кем ты вместе злое дело затевал?“ —
„Я скажу вам, ничего не утаю:
Род старинный мой теряется во мгле,
Предки умерли в разбое да в бою,
А живу я — против неба на земле.
Вольной птицею зовут меня всегда.
Есть и братья, есть и сестры у меня:
Голод, Холод, Неудача и Нужда —
Любят брата все до нынешнего дня.
Воспитала меня мачеха — Судьба,
Я щелчками да ударами вскормлен,
А учила беспощадная Борьба;
Всем наукам я прекрасно обучен.
У меня ли есть и верная жена —
Неотвязная, зовут ее — Печаль:
Уж как ходит-то за мной везде она
Да впивается мне в сердце, словно сталь.
Есть надежные товарищи-друзья:
Гнев да Горе, Одиночество и Месть.
Подружился, побратался с ними я,
В них могучая, живая сила есть.
Думы черные слеталися ко мне,
По ночам советы с ними я держал.
С ними вместе совещался в тишине,
С ними вместе злое дело затевал...“

1901

ДУМА

Ночка летняя спустилась
Над спокойною рекой,
И опять в груди забилось
Сердце старою тоской.
Ночь свежа и ароматна,
Теней сказочных полна,
И душе моей понятна
Чуткой ночи тишина.
Шепчет ночь: забудь стремленья,
Отдохни в моей тиши, —
Сладко здесь отдохновенье
Для измученной души.
Но в толпе ночных видений,
В этот тихий час ночной,
За полетом грустных теней
Мнится мне мой край родной:
Там, где Волга тихо льется, —
Деревушка между гор,
Словно странница, плетется
На пологий косогор.
Словно божии старушки,
Покосившись до земли,
Простодушные избушки
Мхом зеленым заросли.
А внизу ручей глубокий
Дремлет летнею порой
Под недвижною осокой
И плавучею травой.
Над ручьем стеной живою
Шевелится старый лес,
Осенив волну листвою
От безоблачных небес.
Он звенит над тиной вязкой,
Вечно смотрится в волне,
Убаюкивает сказкой
О далекой старине.
Под его зеленым сводом
Словно черная змея,
Проторенная народом,
Вьется лентой колея.
И звенят по ней порою
Звуки мерные копыт:

С возом мелкою рысцою
Лошадь кроткая бежит.
Правит лошадью соловой
Наверху того возка
Мальчуган белоголовый
На руках у старика.

Степь развернулась. Большою дорогой
С мальчишкою едет старик седой.
— Озяб ты, Сенька? — Озяб... немного!
— Оденься, что ли, дуй те горой! —
Вдали клубятся седые тучи...
Промчался ветер и вновь исчез...
Зарницей дальней, как миг летучей,
Змеятся-смотрят края небес.
А туча выше ползет и мчится,
И ветер крепче, сильнее стал:
Пыль по дороге столбом крутится;
Гром отдаленный зарокотал.
Старик снял шапку: „Господь помилуй!
Ну, кстись же, Сенька, гремит пророк!
Какая туча! Какая сила!
Да ты боишься? Эх, дурачок!
Бери чапан-то, покройся, что ли!
Э! милость божья и благодать!
Нальются ноне пшеницы в поле
И травы тоже вздохнут опять!
Эх, молонья-то прошла какая!
Так те и вьется, мол, бесперечь!..“
Но потемнела вся степь немая,
И старикова умолкла речь.
Как будто небо вдруг раскололось
И в грудь степную ударил гром,
Как гибель мира, как божий голос!
И хлынул ливень рекой кругом.

Ароматный вечер. Небо прояснилось.
Каплями большими светлая роса
На траве зеленой чуть засеребрилась.
Медленно стихают степи голоса...
Великанша дремлет. Золотом и кровью
Расцветили небо отблески зари.

Зорьку темный вечер клонит к изголовью.
Даль горит кострами. Идут косари...
Молотками косы отбивают звонко,
Ясно издалека слышен разговор.
Серебристой трелью смех проплыл ребенка...
Чуткое раздумье. Тишина. Простор.
Погрузилась молча в тишину-загадку
Степь, неясной думы и тоски полна,
И чуть слышно дышит, отдыхая сладко,
Мощно величава, жалобно-грустна.
Звездный хор трепещет холодно, глубоко...
Вдруг, как птица, песня пронеслась вдали.
Звуки трепетали, таяли и жгли...
О, как безотрадно! О, как одиноко!

За окном избушки бедной
Вьюга сторожит.
Свет лучины грустно-бледный
Ласково дрожит.
В синем старом сарафане
Бабушка прядет.
Ребятишек — Сеньку с Ваней —
Страх давно берет.
Сказка манит и пугает:
Сладко-страшно им...
А старушка напевает
Над светцом своим:
„Ой, котлы чугунны прочат,
Ой, горят костры!
А ножи булатны точат,
Длинны и востры!“
Плачут дети... Сколько гадин
Ждут богатыря!
Но конец всегда отраден,
Светел, как заря!
Лица светятся улыбкой,
Мокрые от слез, —
Словно солнышко ошибкой
Вышло после гроз!
А буран шумит уныло,
Огонек дрожит...
Что же ты, о край мой милый,
Кинут и забыт?

Годы мчались... Лучшей доли
Непокорно я искал.
Мирный вид родного поля
Все бледнел и угасал.
Старики давно в могиле,
Молодые за трудом
О бродяге позабыли...
Развалился дедов дом.
Лес прорублен. Под горою
Нету светлого ручья.
Где гнездо мое родное?
Нет его... Оторван я...
Чуждый всем, я тратил силы
На погоню за мечтой,
Но она всегда скользила,
Увлекая за собой.
О проклятый город! Много
Упований ты разбил
И жестоко удалил
Кроткого, святого бога,
Осквернил мои молитвы
И в груди моей зажег
Жажду мщения и битвы,
Мне явился грозный бог!

Тихо звездною дорогой
Ночь идет. Огни горят,
Выплыл месяц златорогий,
Тени вьются и летят.
Не мои ль то мысли бродят?
Дух мой снова чужд и сир,
И все далее уходит
От меня мой светлый мир,
Мир покорности и ласки...
О прекрасный, чудный край
Летних гроз и зимней сказки, —
Навсегда, навек — прощай!

1901

ПРОЩАЛЬНОЕ СЛОВО

Ну, товарищи, должны расстаться мы:
Выпускают вас из матушки-тюрьмы.
Вам теперь на волю вольную лететь,
Мне — за крепкою решеткою сидеть.
Жаль, послал бы я поклоны, да, ей-ей,
Уж давно лишился близких и друзей;
Хоть любил когда-то жарче я огня,
Да теперь уже забыли про меня.
Поклонитесь вольной воле да ветрам,
Всем поволжским златоглавым городам,
Поклонитесь Волге матушке-реке
Да кабатчику в царевом кабаке.

1901

* * *

Колокольчики-бубенчики звенят,
Простодушную рассказывают быль...
Тройка мчится, комья снежные летят,
Обдает лицо серебряная пыль!

Нет ни звездочки на темных небесах,
Только видно, как мелькают огоньки.
Не смолкает звон малиновый в ушах,
В сердце нету ни заботы, ни тоски.

Эх! лети, душа, отдайся вся мечте,
Потоните, хороводы бледных лиц!
Очи милые мне светят в темноте
Из-под черных, из-под бархатных ресниц...

Эй, вы, шире, сторонитесь, раздавлю!
Бесконечно, жадно хочется мне жить!
Я дороги никому не уступлю,
Я умею ненавидеть и любить...

Ручка нежная прижалась в рукаве...
Не пришлось бы мне лелеять той руки,
Да от снежной бури мутно в голове,
Да баюкают бубенчики-звонки!

Простодушные бубенчики-друзья,
Говорливые союзники любви,
Замолчите вы, лукаво затая
Тайны нежные, заветные мои!

Ночь окутала нас бархатной тафтой,
Звезды спрятались, лучей своих не льют.
Да бубенчики под кованой дугой
Про любовь мою болтают и поют.

Пусть узнают люди хитрые про нас,
Догадаются о ласковых словах
По бубенчикам, по блеску черных глаз,
По растаявшим снежинкам на щеках.

Хорошо в ночи бубенчики звенят,
Простодушную рассказывают быль...
Сквозь ресницы очи милые блестят,
Обдает лицо серебряная пыль...

1901

ПЕВЧИЕ

Могучий хор устал за длинною обедней...
Пропели мы обряд богатых похорон,
Под сводами гремя, растаял звук последний,
И медленно гудит унылый перезвон.

С печальным пением пошли мы по дороге.
За нами катафалк торжественно плывет.
В снегу, иззябшие, скользят и вязнут ноги,
И мрачно мы поем, толпой идя вперед.

Румянит ветер нас, и серебристый иней
Красивой сединой обвил нам волоса.
За гробом все идут, как будто за святыней,
А мы идем вперед, мы — смерти голоса.

О тайне смерти мы живым поем по нотам,
С нуждой и бедностью наш неразлучен труд;
Рабы счастливца мы, кого с таким почетом
И благолепием в фамильный склеп несут.

И вот на кладбище, где липы вековые,
Одеты инеем, хранят покой могил,
Где мрамор стерегут решетки золотые,
Хороним мы того, кто золото любил.

Сверкает всюду снег. Как ризою, покрыты
Пушистой пеленой ограды и кресты,
Деревья старые и каменные плиты...
О, как торжественно уходишь в землю ты!

Наследники твои — твоей кончине рады;
Они воздвигнут здесь тяжелый мавзолей,
Но не придет никто к дверям твоей ограды —
Ты и при жизни был не нужен для людей.

Противно мне идти с твоей наемной свитой
И голос отдавать — не людям, не борьбе,
Не песням радости и битвы, — а тебе,
Мешок, червонцами набитый!

1902

* * *

Я бросал мои песни в толпу, как цветы,
Как вином, опьяненный мечтами.
Но в тревогах ничтожной своей суеты
Люди их растоптали ногами.

Те погибшие песни, как утром заря,
Были юною свежестью полны.
В жарком сердце они вырастали, горя,
И шумели, как вешние волны.

Лучезарному дню шли навстречу они,
Золотые лучи обещали . . .
Но давно уже радость умолкла во мне
И напевы любви отзвучали.

И теперь мои песни — что сумрак ночной,
Словно вечер печальный и бледный,
Словно длинные тени легли над душой,
Словно слышится колокол медный.

Но любуются часто печалью моей,
Претворенной в певучие звуки,
И пленяется сердце счастливых людей
Красотою несчастья и муки.

1906

* * *

Струны порваны! Песня, умолкни теперь!
Все слова мы до битвы сказали.
Снова ожил дракон, издыхающий зверь,
И мечи вместо струн зазвучали.

Потонули в крови города на земле!
Задымились и горы, и степи!
Ночь настала опять, притаилась во мгле
И кует еще новые цепи.

Тихо стало кругом: люди грудой костей
В темных ямах тихонько зарыты.
Люди в тюрьмах гниют в кольцах крепких цепей,
Люди в каменных склепах укрыты.

Тихо стало кругом; в этой жуткой ночи
Нет ни звука из жизни бывалой.
Там — внизу — побежденные точат мечи,
Наверху — победитель усталый.

Одряхлел и иссох обожравшийся зверь!
Там, внизу, что-то видит он снова;
Там дрожит и шатается старая дверь,
Богатырь разбивает оковы.

Задохнется дракон под железной рукой,
Из когтей он уронит свободу.
С громким, радостным криком могучий герой
Смрадный труп его бросит народу.

1906

* * *

Телами нашими устлали мы дорогу
И кровью наших жил спаяли вам мосты.
Мы долго, молча шли, взывая только к богу,
И нам вослед легли могилы и кресты.

Порабощенные, мы с петлею на шее,
В цепях, во тьме — брели без песен боевых...
Погибло много нас, зато теперь — светлее,
И вот идете вы, рать новых, молодых,

Так много вас теперь, что дрогнуло все злое...
Идет гроза небес, близка борьба громов.
И ваша песнь звучит, как пред началом боя
В горящем городе набат колоколов.

Идите же смелей и пойте песнь свободы.
Ведь только для нее, страдая, гибли мы.
Лишь этих песен мы в былые дни невзгоды
Так страстно жаждали под сводами тюрьмы!

1906

* * *

Нет, я не с вами: своим напрасно
И лицемерно меня зовете.
Я ненавижу глубоко, страстно
Всех вас: вы — жабы в гнилом болоте!

Я появился из пены моря,
Волной к вам брошен со дна пучины:
Там кровь и слезы, там тьма и горе,
Но слезы — перлы, а кровь — рубины!

На дно морское мне нет возврата,
Но в мире вашем я умираю,
И не найдете во мне вы брата:
Я между вами как враг блуждаю.

Вы все хотите, чтоб я был мирен,
Не отомщал бы за преступленья
И вместе с вами, в тени кумирен,
Молил у бога для вас прощенья.

Мой бог — не ваш бог: ваш бог прощает,
Он чужд и гневу, и укоризне;
К такому богу вас обращает
Страх наказанья за грех всей жизни.

А мой бог — мститель! Мой бог могучий!
Мой бог — карает! И божьим домом
Не храмы служат — гроза и тучи,
И говорит он лишь только громом!

Я чужд вам, трупы! Певца устами
Мой бог предаст вас громам и карам,
Господь мой грянет грозой над вами
И оживит вас своим ударом!..

* * *

Волнами мощными я выброшен вперед.
На твердом берегу лежу я одиноко.
А море, как орган, победный гимн поет,
И грудь его вздымается высоко.
Но в мертвой глубине, где тихо и темно,
Где властно мрак простер тяжелые объятья,
Где все придавлено и в сон погружено, —
    Мои остались братья!

И снится мне, что сквозь прозрачную струю
Я вижу, как они стремятся к свету, к жизни,
И вижу гибель их в отчаянном бою,
И плачу я, и рвусь к покинутой отчизне.
Гремучий вал морской примчал меня сюда,
Мне душу расколол и вызвал стон проклятья;
Мой ум на высоте, но сердце там всегда,
    Где братья!

* * *

О, когда бы я витязем был молодым!
Я б грозой полетел на крылатом коне,
Я сказал бы коню: „Мой товарищ, бежим
К затопленной слезами и кровью стране,
О, туда, где великая битва идет!..
И мы вырвем у смерти несчастный народ!
Поспешим, честь поругана!“

Если б силу вести за собой я имел!
Я бы клич прокричал по родной стороне!
Храбрецы отовсюду стеклись бы ко мне,
Гром тогда бы из пушек моих загремел.
Колыхнулись бы армии грозной полки
И сверкнули б на солнце штыки!
Поспешим, честь поругана!

Если б богом я был хоть на день на один!
О, тогда пред судом бы моим до зари
Поравнялся бы с бедным рабом господин,
Побледнели бы в пышных чертогах цари!
А народу — с небес
Я бы пролил потоки чудес!
Поспешим, честь поругана!

Поспешим! Но ведь я только бедный певец!
О владыка небес, я взываю к тебе:
Ты — надежда людей, ты — свободы отец!
Дай же голос мне, голос, подобный трубе,
Чтобы скорбь свою миру я мог возвестить,
Чтоб я мог на весь мир протрубить:
Поспешим, честь поругана!

* * *

Из добродетелей вы цепи мне сковали.
Из твердости моей воздвигнули тюрьму.
И силу мощную, как воры, вы украли,
И душу ввергнули в безрадостную тьму.

Те цепи мрачные, как змеи, сердце гложут,
И в той тюрьме верчу я ваши жернова.
Унылый звон цепей вас больше не тревожит,
И вы бросаете мне дерзкие слова.

Но — чувствую — во мне растет и зреет сила.
Чем больше я терплю, тем хуже будет вам.
Пусть света я лишен, но праздник ваш — могила:
На вас и на себя я опрокину храм,

Где к богу тьмы вы все сберетесь для молений,
И разом отомщу за долгий путь лишений.

* * *

Я и меч, и — вместе — пламя!
Я во тьме светил над вами.
Я зажег у вас в груди
Упованья и молитвы,
И когда настали битвы —
Я сражался впереди!

И вокруг меня застыли
Трупы бледные друзей.
Кровь лилася как ручей,
Но зато — мы победили!

Победили мы — о, да!
Но друзья мои убиты...
Мы несем их... И когда
Слышен хор заупокойный —
С ним и звуки песни стройной
Перемешаны и слиты!..

Но нельзя нам отдаваться
Ни веселью, ни печали:
Снова трубы зазвучали!
Все живые будут драться
С ненавистными врагами!...
Я и меч, и — вместе — пламя!

* * *

Я оторван от жизни родимых полей,
Позабыт моим краем далеким,
Стал чужим для родных подъяремных людей
И отверженцем стал одиноким.

Но для тех, в чью страну я заброшен судьбой,
Я не сделался близким и другом:
Я их проклял проклятием злобы святой
И отброшен я сытым их кругом.

Сытой пошлости я покориться не мог
И ушел, унося свою муку...
И тому, кто отвержен, как я, одинок,
Подаю свою сильную руку.

О, придите ко мне, кто душой изболел,
Кто судьбою своей не изнежен!
О, придите ко мне, кто озлоблен и смел!
О, придите, кто горд и мятежен!

Вы живете во мраке, в оковах, в аду...
Я вас к свету, к свободе, вперед поведу!.
Верьте — некуда больше идти!
Нет иного пути!

ЛУННАЯ НОЧЬ

По небу рассыпались
Звезды изумрудные,
И луна-красавица,
Чародейка чудная,
Льет лучи волшебные,
Трепетно-дрожащие...
Чары начинаются
Над землею спящею.
Тихо расползаются
Всюду тени мглистые,
Шепчутся на тополях
Листья серебристые.
Ветерок ласкающий
Шепчет речи страстные
О любви и нежности
В эту ночь прекрасную!
Эта ночь волшебная,
Серебром залитая,
Будит на душе моей
Чувства позабытые.
Полюбил бы — некого!
В сердце — тьма глубокая,
И не знает счастия
Сердце одинокое.
Без надежд растерянных
И без веры в счастие,
Как челнок без паруса,
Полон я бесстрастия.
Город спит, как сказочный,
Спят сады вишневые,
Блещут в небе бархатном
Звезды бирюзовые.
Тополи высокие
Шепчут сказки сонные,
Тишина вливается
В душу истомленную.

* * *

Да, я из тех, мой друг, что с самого рожденья
Осуждены навек пловцами в жизни быть,
К отрадной пристани не ведать возвращенья
И до могилы плыть и плыть.

Не верь моей любви: она исчезнет снова.
Пускай теперь я раб, пускай невольник твой;
Настанет миг — и я порву мои оковы
И улечу в мой мир свободною душой.

Там пусто и мертво... Но в диком бедуине,
Что жить привык в шатрах и рыскать на коне,
Сильна его любовь к безжизненной пустыне,
И он не может жить в цветущей стороне.

* * *

Портрет ее мне показали...
И все восхищалися ею:
Одни в ней „мечту“ увидали,
Другие — в ней видели „фею“.
Тяжелую косу хвалили,
И брови, и стройную талью,
И чудные очи, что были
Нездешнею полны печалью.
Я молча стоял у портрета
И слушал звенящие речи.
И билося сердце поэта
От жажды чарующей встречи.
Но тень одинокой печали
В душе моей грозно восстала,
И речи ее зазвучали,
И страстно она прошептала:
„Она так чиста и прекрасна
Затем, что в грязи твои братья,
Что сестры погибли безгласно,
Что жизнь твоя — зло и проклятье!
Ты с нею не должен быть вместе,
Беги расслабляющей встречи:
Ты призван судьбою для мести,
Ты создан для бури и сечи.
Будь голосом бога живого!
Песнь жарче любви и прелестней!
Ты встретишься с милою снова —
В доспехах, с булатною песней!
При блеске мечей и пожаров
Смертельные будут объятья,
И пусть от железных ударов
Рабы ее гибнут и братья!
И только когда, умирая,
Падешь ты при громе и дыме,
Прошепчешь, свой меч выпуская,
Прелестное, нежное имя“.

Повести

Рассказы

Очерки и фельетоны



АНТИХРИСТОВ КУЧЕР

Очерк

Комната Александра Ивановича была неприглядна; единственное низенькое окно упиралось в покачнувшийся забор, около которого были навалены кучи навоза. Солнце очень редко заглядывало к Александру Ивановичу, как бы стыдясь мерзости запустения, царившей в его логовище: убогая кровать, занимавшая большую часть крохотной комнаты, оставалась всегда „разверстой", у окна печально стояли некрашеный стол и два хромых и продавленных стула, по углам висели паутины, на полу была грязь, плевки и окурки, но главное, что прежде всего бросалось в глаза, — это обилие пустых бутылок в комнате Александра Ивановича: они были различной величины, большие и маленькие, из-под пива и водки и нестройной толпой стояли на окне, как любопытные зрители жизни Александра Ивановича. Они попадались на столе, на стульях, в углах и нескромно выглядывали из-под кровати. На ней лежал Александр Иванович, только что пробудившийся от сна. С головы он походил на бубнового короля, а может быть, и на изображения святых, как их обыкновенно рисуют на иконах: с длинной бородой и длинными волосами, с аскетическими чертами лица, хотя на этом только и кончалось последнее сходство. Длинный нос его был несколько красен, лицо измято, веки опухшие. Проснулся он в мрачном настроении алкоголика, пьянствовавшего очень долго. Он чувствовал, что в голове его „сидит" что-то тяжелое, огромное и давящее. По мнению Александра Ивановича, это был „медведь". Тяжесть сидящего „медведя" причиняла страдание не только голове Александра Ивановича, но и душе его. Голова его совершенно не работала, в ней не было решительно ни одной мысли, а только царило какое-то

тупое и неподвижное состояние. Но зато душа его страдала невыносимо. Прежде всего, он чувствовал поразительное равнодушие ко всему на свете и положительное отвращение к жизни: она казалась ему каким-то скучным и тяжелым бременем. Потом, его тяготило беспричинное ощущение страха, почти ужаса, неизвестно перед чем. Ему казалось, что вот-вот сейчас должно совершиться с ним что-то страшное, хотя он был вполне уверен, что ничего подобного не случится. Ему казалось, что он уже совершил какое-то ужасное преступление, вроде убийства, и вместе с тем сознавал, что ничего подобного не совершил.

Он знал, что состояние беспричинного страха, равнодушия и отвращения ко всему проистекало от того, что он пробудился после многодневного, мрачного, грязного и отвратительного пьянства. Его мучил тонкий, но неумолкающий голос, раздававшийся в его душе, укоряющий, требующий, яростный, настойчивый, властный. Он, этот голос, укорял Александра Ивановича за всю его жизнь, за все, что он сделал, и за все, что он не сделал, за бесплодно убитые лучшие годы жизни, за погибшие мечты, за безвозвратно уплывшую молодость, за полинявшую дружбу и заглушенную любовь, за те счастливые случаи, которые представлялись ему в жизни и которыми он не воспользовался, за хороших, честных, красивых женщин, с которыми он когда-то давно встречался в жизни, которые тогда могли бы его полюбить, а теперь не встретятся и не полюбят.

Этот голос назойливо укорял его за всю бесполезность и бесплодность его существования, за мрачное одиночество сердца, за всю его ненормальную жизнь, лишенную всех радостей, доступных людям, и, наконец, за пропитое месячное жалованье и за вексель, который он выдал Антихристову Кучеру. И ему представилась ненавистная фигура Антихристова Кучера, его друга, еврея-ростовщика.

Антихристов Кучер, издавна носивший это прозвище, был известен положительно всему люду, скрипевшему перьями во всевозможных канцеляриях, находившемуся с ним в постоянных и таинственных сношениях. Всегда можно было встретить при любом разбирательстве у мирового судьи его длинную, сухую фигуру; с длинной рыжей бородой по пояс, со строгим взглядом впалых глаз из-под сдвинутых рыжих бровей, одетого в длинную серую крылатку и с длинным посохом в

руках. Он походил на библейского патриарха или, по чьему-то странному сравнению, на того кучера, который будет у антихриста.

Каждое двадцатое число его зловещая фигура появлялась и в приемной канцелярии, где служил Александр Иванович, и тогда многое множество канцелярских душ приходило в беспокойство и трепет: ему были все должны по векселям, и он, как Люцифер, приходил, неумолимый, требовать уплаты, отбирать полученное жалованье. Что же касается Александра Ивановича, то он давно уже находился в вечном рабстве у Антихристова Кучера, никогда не получал своего жалованья, а всегда брал и деньги, и одежду у этого ростовщика, с которым находился в тесной дружбе, в то же самое время ненавидя его, как раб ненавидит господина. У него всегда являлось желание избежать встречи с Антихристовым Кучером, он тайно брал под мышку верхнее платье и шапку и стремился ускользнуть из канцелярии с черного хода, но бдительный заимодавец почти всегда настигал лукавого должника в дверях, и тогда тот без сопротивления покорялся воле своего поработителя. Антихристов Кучер, как Мефистофель, увлекал своего Фауста во все погребки и трущобы, прельщал его всеми наслаждениями жизни, наталкивал на все злое и греховное. Там-то в бессознательно-пьяном виде он и подписывал те ужасные векселя, по которым Антихристов Кучер умел получать с него один и тот же долг по два и по три раза. Но особенно ужасал он Александра Ивановича тем, что вовлекал его в пьянство. Не будь Антихристова Кучера, Александр Иванович, может быть, и не пил бы так ужасно и продолжительно; но этот демонический ростовщик со змеиными глазами имел над ним какую-то странную, гипнотическую власть, которой Александр Иванович не мог противиться.

Александр Иванович страстно желал бросить пить, потому что пьянство не доставляло ему никакой отрады, а, напротив, усугубляло то мучительное чувство неудовлетворенности жизнью, которое постоянно живет в душе некоторых людей. На службе про Александра Ивановича говорили, что он „канцелярский гений“, у него была огромная память, блестящие способности, быстрая сообразительность и уменье схватить „суть“ дела. Он был незаменим; вот причина, по которой его не выгоняли со службы. Но к службе он относился ха-

латно, скрепя сердце, она не удовлетворяла его, и он смутно чувствовал горечь своей неудавшейся жизни. Он давно уже махнул рукой на эту жизнь, на свои студенческие мечты, даже самую способность мечтать он давно утратил, но тем не менее какое-то глухое сожаление, раскаяние и мрачное сознание непоправимости всего им сделанного, всего прошедшего и невозвратного постоянно сочилось в его душе, как тонкий яд, как медленная отрава. Не это ли служило причиной, что он поддавался искушениям Антихристова Кучера? Не жил ли другой Антихристов Кучер в нем самом, и не его ли голос раздавался в душе Александра Ивановича, укоряя, терзая и вместе с тем толкая к состоянию забытья и нечувствительности?..

Александр Иванович долго лежал на своей грязной постели, тупо смотрел перед собой и стонал. Он стонал не столько от той тупой боли в голове, которую причинил ему „медведь", сколько от душевных страданий, от гнетущей тоски, отвращения ко всему и беспричинного страха.

Но Толкуниха поняла эти стоны проще: она тихонько отворила дверь, осторожно просунула свое добродушное старушечье лицо в комнату Александра Ивановича и проговорила с участием:

— Будет тебе стонать-то, Александра Иваныч! Рассолу не хочешь ли, огурчиков, капустки? Чай, стучит в голове-то? Дай, я тебе к ней канпресс приложу... Да уж бросил бы пить-то! Ишь как маешься, сердечный!..

Если бы кто-нибудь мог приложить компресс к душе Александра Ивановича, он бы очень обрадовался, но, конечно, Толкуниха не имела такого компресса, и он отвечал ей глубочайшею октавой, приобретенной долговременным возлиянием:

— Водки бы мне! Пройдет и без компресса!..

Толкуниха вздохнула, покачала своей седой головой и скрылась...

Александр Иванович знал, что она сейчас принесет полбутылки и огуречного рассола. Это было вернейшее, испытанное средство для изгнания „медведя". Александр Иванович жил у Толкунихи на квартире лет пятнадцать, и она за ним ухаживала, как за ребенком, несмотря на то, что в хмелю он был страшно беспокоен, наводнял комнату бутылками и друзьями, шумел и пел диким голосом среди глубокой ночи свою люби-

мую песню: „Подуй, подуй, погодушка“. Толкуниха все сносила, „жалела“ его и окружала бескорыстными попечениями.

Есть такие личности из числа простых деревенских квартирных хозяек, обладающих замечательным терпением и терпимостью к недостаткам других. Эти простодушные создания, ходящие в сарафане и „котах“ из грубой кожи, отличаются нежностью души, истинной деликатностью и совершенным отсутствием эгоизма, так свойственного всем цивилизованным людям. Они как бы воплощают в себе то коллективное величие души простого русского народа, которое проявляется в сострадании к преступникам и падшим людям. Им свойственно бессознательное самоотвержение и широкая терпимость. Не странно ли, что в образованных классах почти никогда не встречаются подобные личности?

Александр Иванович наконец встал с постели и начал одеваться. Костюм его был очень потерт, сапоги заскорузлы и не чищены, сюртук с чьих-то других плеч, более могучих, чем тщедушные плечи Александра Ивановича. Александр Иванович никогда не умывался, никогда не причесывал свои густые и длинные волосы, которые он тоже почти никогда не стриг, и они копной лежали на его воротнике. Длинная, густая борода его, с небольшою проседью по бокам, свалялась до такой степени, что расчесать ее когда-нибудь не представлялось никакой возможности. Он носил крахмальные сорочки, но не признавал запонок и отрицал галстух, вместо которого ему с успехом служила собственная борода. Александр Иванович состоял в должности столоначальника, но, судя по его внешности, никто никогда не поверил бы этому, до такой степени в нем не было ничего столоначальнического: он скорее походил на Робинзона, так он запустил себя и пренебрегал своей особой. А между тем, если бы его умыть, причесать, одеть в чистое белье и хорошее платье, — то получился бы очень важный господин.

Между тем Толкуниха принесла водки и капусты с рассолом. Александр Иванович обратился к водке. Вместо рюмки Толкуниха, зная его обычай, подала чайный стакан, и Александр Иванович налил сразу полстакана, предварительно расплескав немного, потому что в руках у него был сильный „дрожемент“.

Он с отвращением выпил водку и, сделав страдаль-

ческую гримасу, перевел свои взоры на капусту, закусив маленьким ее листочком. Потом он хлебнул рассола.

Тотчас же Александр Иванович почувствовал, что „медведь“ сделался „мягче“ и с меньшей силой давил его голову.

Он нетвердой походкой прошелся по комнате. В то время как в его голове ощущалась тяжесть, в теле была такая слабость и легкость, как будто оно не имело никакого веса. Члены дрожали, и как-то казалось, что в комнате не хватает воздуха. Действительно, воздух в его комнате приобрел специфически водочный запах. Грязь и неприглядность его полутемной конуры казались ему теперь особенно отвратительными, как и сам он себе, как и все на свете.

Чувство страха, боязни самого себя и своего одиночества возбудило у него настоятельное желание скорее выскочить на улицу, чтобы не быть одному, видеть, по крайней мере, прохожих, слышать уличный шум.

Он выпил еще полстакана, допил рассол, затем надел потертое пальтишко, блин, служивший ему картузом, и вышел на улицу, засунув в рукава свои короткие, безобразные, когда-то обмороженные в пьяном виде пальцы, косматый, согнувшийся, дрожащий и жалкий, как кабацкий завсегдатай...

Улица несколько оживила Александра Ивановича свежим воздухом, своими звуками и светом солнечного дня. Сквозь треск экипажей откуда-то доносились веселые и вместе с тем грустные звуки хриплой, убогой шарманки.

„Медведь“, смягчаясь, медленно уходил из его головы, и знакомые улицы показались ему в каком-то новом свете, словно он давно не был в этом городе или смотрел на него с каланчи. Звуки шумного города доносились до него как бы издалека и баюкали его отупевшую душу. Обрывки каких-то неясных мыслей медленно поползли в его голове, и он сам не знал, о чем, собственно, он думает, но чувствовал себя лучше.

В таком настроении он бродил по улицам, безучастно смотря на встречных людей, на проезжавшие экипажи, бессознательно ища, с кем бы встретиться и не быть одному.

Вдруг кто-то окликнул его. Александр Иванович

вздрогнул и обернулся: его догонял какой-то хорошо одетый господин важного вида, в золотых очках.

— Так, значит, я не ошибся! — заговорил он, останавливая Александра Ивановича. — Это ты, Александр? ..

Александр Иванович всмотрелся в него своими близорукими глазами и отвечал с недоумением:

— Я вас не знаю...

— Я Третьяков! ..

При этом имени Александр Иванович вдруг весь съежился и почувствовал желание убежать, шмыгнуть куда-нибудь, провалиться сквозь землю... Он вдруг узнал в этом важном господине своего товарища по университету, когда-то делившего с ним вместе студенческое житье, когда-то преклонявшегося пред талантами Александра Ивановича. Ему вдруг стало стыдно своей наружности, костюма и всего своего существования. Он совсем растерялся от такой неожиданности и пробормотал какие-то несвязные слова. Но уж Третьяков взял его под руку и увлек с собой, не переставая говорить. Это был живой, бодрый, красивый мужчина, казавшийся гораздо моложе Александра Ивановича.

— Как я рад, что ты мне попался! — говорил он. — Я недавно здесь и слышал о твоем здесь пребывании... Я хотел тебя разыскать: мне так хотелось взглянуть на тебя... Но тебе, должно быть, плохо живется?

Александр Иванович конфузливо ежился. Третьяков продолжал:

— Как же ты изменился! Даже странно, что я узнал тебя через столько лет! .. Ведь мы с тобой расстались еще студентами... Эх, Александр, помнишь прежнее? ..

— Не вспоминай! — глухо отвечал Александр Иванович. — Я теперь застрял в канцелярщине! Я — мертвый человек! Напрасно ты узнал меня!

Старый товарищ пристально посмотрел на Александра Ивановича.

— Что с тобой, Александр? Ты какой-то растерянный?

— Я одичал... Мне стыдно перед тобой... Я в таком виде...

— Помилуй! Ведь я-то все тот же! Зайдем сейчас ко мне, я познакомлю тебя с моей женой, мы вместе позавтракаем, вспомянем нашу молодость! ..

— Что ты, что ты! В уме ли? — вскричал Александр

Иванович в ужасе. — Куда же меня пустить в моем костюме? Ты посмотри на меня! — И он хотел выдернуть свою руку, но приятель крепко держал ее, говоря:

— Нет, брат, не уйдешь!

Они долго спорили, и наконец Александр Иванович был насильно затащен в подъезд какой-то очень хорошей квартиры.

Волей-неволей он должен был подчиниться и войти по лестнице наверх. Их встретила горничная. Она с уважением сняла с Александра Ивановича его рваное пальтишко.

— Сиди здесь! — сказал ему товарищ. — Я сейчас представлю тебе жену!

И он скрылся в боковую дверь. Александр Иванович покорно сел и начал оглядывать комнату. Он пятнадцать лет нигде не бывал, кроме своей конуры и канцелярии, которая была еще мрачнее, чем конура, с огромными грязными окнами, огороженными, как тюрьма, железными решетками.

Эта уютная, изящная, роскошная и простая комната поражала его. В ней не было ничего лишнего, ничего бьющего в глаза; он не заметил ни одного отдельного предмета, обращающего на себя внимание. Мягкая бархатная мебель, ковры, картины, канделябры, книги и масса всевозможных мелких вещей представляли из себя какое-то одно общее целое, одушевленное, казалось, мыслью, вкусом и характером хозяев. Это была квартира, а не „квартирка", не то, что обыкновенно содержит в себе „семейных людей" и ту „обстановочку", глупую и ненужную, где каждая вещь говорит о невыносимо пошлой рутине; это было помещение, где „живут", а не существуют, где находятся люди, а не спарившиеся две особи мужского и женского пола. Это было обиталище разумных, развитых и мыслящих существ.

Александр Иванович вспомнил свое логовище и только теперь с поразительной ясностью увидал, до чего низко он опустился, какое жалкое и нечеловеческое существование влачил, до какой степени забросил в себе образ человеческий.

И у него зародилось смутное желание „подняться", сбросить с себя этот кошмар обломовщины, ухватиться за жизнь, попытаться узнать, все ли для него пропало в жизни или не все.

В соседней комнате послышались шаги, дверь отво-

рилась, и Третьяков ввел молодую женщину, почти девушку, одетую просто, но изящно, красивую брюнетку с такими чудными черными глазами, осененными длинными ресницами, с такими правильными чертами овального лица, покрытого пленительным золотистым загаром цвета желтоватой слоновой кости, что Александру Ивановичу она показалась странным видением, мечтой, которая должна сейчас исчезнуть, как бред, как роскошная галлюцинация.

И когда она заговорила своим музыкальным, грудным, нежным голосом, улыбаясь розовыми губками, обнаружившими ровные сверкающие зубки, и подала ему бархатную нежную ручку с тонкими пальчиками, Александр Иванович ничего не мог сказать ей на ее приветливую, простую, дружескую речь. А она заговорила с ним так просто и непринужденно, как будто он был старинный ее знакомый и свой человек. От этого безыскусственного тона Александр Иванович мало-помалу осмелился и почувствовал себя среди этих приветливых, хороших и деликатных людей так хорошо и просто, что перестал думать о своем неумытом и нечесаном лике и неприличном костюме. Ему показалось, что тут им не гнушаются, и это успокаивало его больное самолюбие.

Он любовался на эту женщину из чуждого для него мира и чувствовал восхищение. Александра Ивановича никогда не любила ни одна женщина. Ему давно уже не приходилось быть в обществе иных женщин, кроме продажных, отвратительных и циничных, к которым он не решался являться иначе, как с Антихристовым Кучером и в пьяном виде.

Вскоре подан был изящный, тонкий завтрак. Мужчины выпили по рюмке английской горькой, а женщина маленькую рюмочку легкого вина, чокнувшись с Александром Ивановичем изящным движением руки и улыбаясь милой улыбкой чистого, неиспорченного существа.

За завтраком шел легкий, остроумный и нисколько не натянутый разговор. Александр Иванович узнал, что его приятель получил место председателя в какой-то уездной земской управе и на днях должен был ехать туда, что земская служба для него живое дело, в которое он готов вложить всю свою душу и всю энергию, и казалось, что жена была и его душой, и его энергией. Они обращались друг с другом с такой товарищеской

простотой, с такой нежностью и любовью, что казалось, какой-то невидимый ангел витал между ними.

После завтрака муж сказал жене:

— Аня! Поди-ка поиграй нам что-нибудь на рояле... А мы тут будем курить и слушать...

И затем, обращаясь к Александру Ивановичу, сказал:

— Она у меня музыкантша!

В соседней комнате стоял рояль, и жена тотчас же начала раскладывать ноты. Она села за рояль и крикнула им оттуда:

— Что же вам сыграть?

Муж отвечал:

— Ну, что-нибудь из Бетховена!

И вот загремели первые, странные, непонятные, но мощные и властные аккорды. А мужчины сели рядом на диван и закурили сигары.

Странно чувствовал себя Александр Иванович. Эта неожиданная встреча при такой обстановке, эти милые, порядочные в истинном смысле слова люди, аромат сигары и, наконец, успокаивающие звуки рояля, заставляющие мечтать, эта странная музыка Бетховена, порождающая какое-то необыкновенное настроение, возвышающее душу над всей жизнью, над ее мелочами, ничтожеством и грустью, — все это расположило его к откровенности и задушевности.

Третьяков, тоже разнеженный этим странным миром чарующих звуков, долго молчал и слушал вместе с Александром Ивановичем, затягиваясь тонким дымом ароматной сигары; оба они, казалось, что-то думали, как будто гениальный композитор раскрыл перед ними тайну понимания человеческой жизни...

Наконец Третьяков повернулся к Александру Ивановичу и спросил его тихим и мягким голосом:

— Ну, Саша, расскажи-ка мне, как ты застрял на этой мертвой службе?

И Александр Иванович тотчас же стал рассказывать. Он рассказывал о своей жизни и о своей душе. Он говорил о засасывающей и отупляющей мертвечине канцелярского труда, о неглупых и способных людях, превратившихся от этого труда в идиотов, манекенов. Он говорил о своем безучастном отношении к мертвому канцелярскому миру, о своем нежелании приспособляться к подлостям жизни, о своем одиночестве, о страдающем самолюбии, о том, что он никем не понят, что

осмеян дураками и унижен завистниками, что у него нет ни одного близкого человека, что он разочарован во всем, во всей жизни, что жизнь его пуста, мертва, ничтожна, что она вся, со всем своим блеском и красками, с любовью, дружбой, живым трудом и надеждами будущего, — ушла от него, исчезла, скрылась и он остался в своей конуре старого, спившегося холостяка, что он отгорожен от жизни железными решетками своей канцелярии; что он упал духом, не верит в возможность обновления и пьет, как алкоголик, пьет мрачно и безнадежно, чтобы быть в состоянии вечного сна и отупения, чтобы не видеть, не чувствовать, не мыслить, не сознавать, потому что все ощущения жизни причиняют ему неизбежное, неизлечимое страдание, что спасения ему нет и цель его жизни — могила, смерть, забвение...

Александр Иванович говорил долго, красноречиво, с увлечением, с горьким и сильным чувством сознания своей погубленной жизни, которое так долго разъедало его душу. А звуки, странные, широкие, мощные, уносящие, непонятные, таинственные и властные, все лились и лились, как бы поясняя этот странный рассказ о погибшей, никем не замеченной жизни.

И вот Александр Иванович почувствовал, что его горло сжимается, углы рта, как у ребенка, конвульсивно опускаются книзу, а глаза наполняются слезами. И он не мог дальше говорить, он зарыдал со страшными усилиями удержать эти рыдания, стыдясь их, рыча, сердясь на себя, проглатывая слезы, браня себя, извиняясь, стараясь обратить все в шутку, смеясь...

Но рыдания набегали новой волной и заглушали этот фальшивый смех, обращая его в слезы...

— Ты не обращай внимания... — говорил он, рыдая, — что я плачу... это от пьянства... нервы расстроились... я ведь и сам сознаю, что это... просто нервы... а остановиться не могу... тьфу, черт!.. ведь смешно же это... Ха-ха!..

Он хотел засмеяться, но вместо этого зарыдал еще более...

А рояль тоже рыдал, унося, расширяя, обобщая эти слезы в слезы над целым миром, над всею жизнью.

Наконец он успокоился.

Третьяков сжал его руку и заговорил с чувством:

— Хочешь ли, Александр, я спасу тебя? Брось твое место и поедем со мной в земство! Я тебя сделаю секре-

тарем! Мы будем вместе бороться против врагов народа, гасителей света! Наш девиз будет: народное благо, народное образование, народное здоровье! Мы вступим в беспощадную борьбу со злом и невежеством... На эту борьбу не жаль отдать всю свою жизнь и кровь, силы и способности, и если нас одолеют, выгонят, убьют, то все же это будет лучше твоего прозябания. Я совершенно уверен, что в этом живом и благородном деле ты обновишься, воскреснешь, развернешь свои прежние таланты, приложишь твои знания, способности, любовь к людям; ты перестанешь пить, ты сделаешься тем замечательным человеком, каким бы должен быть! Саша, друг мой! Не падай духом! Обещай мне, что ты бросишь пить, займешься тем делом, которое я тебе дам, и я увезу тебя с собой! Обещай мне! Дай мне твою руку!

Александр Иванович сказал:

— Обещаю! Вот тебе моя рука! Я более или не пью, или не приду к тебе...

Третьяков обнял и поцеловал Александра Ивановича.

В это время замер последний мощный аккорд, и женщина, подходя к ним, сказала, улыбаясь:

— Да вы и не слушали?

Муж отвечал:

— Нет, мы слушали, Аня, мы слушали, слушали! Вот видишь ли, Аня, Александр Иванович соглашается перейти в наше земство! Он очень способный человек, и нам нужно непременно устроить так, чтобы он не раздумал!..

Она отвечала:

— Ах, я очень рада, Александр Иванович, ведь вы его старый товарищ! Как это мило, что вы будете с нами! Ну конечно, вы не раздумаете! Я запрещаю вам это!..

Александр Иванович глядел на них глазами, полными слез, и говорил:

— Господа! Вы меня спасаете. Я здесь гибну, я гибну здесь, гибну!..

Он более ничего не мог сказать и опять заволновался.

— Ну, полно, Александр! — возразил Третьяков, весело хлопая его по плечу. — Тебе ли погибать? Ты просто засиделся на одном месте, застрял... Тебе нужно встряхнуться, освежиться!.. Вот что, брат: приходи-ка завтра об эту пору к нам, и мы все устроим: вместе

сходим к твоему начальству, заберем документы, аттестаты — и марш-марш! Заживем по-новому, дружище!.. Будет и на нашей улице праздник!..

Эти ободряющие речи заразительно подействовали на Александра Ивановича, и в нем наконец пробудилась радостная надежда поправить свою жизнь, пробудились запоздалые мечты и пламенная решимость. Жизнь как будто давала ему последнюю возможность уцепиться за колесо фортуны, и он ставил на карту последнюю ставку. Теперь или никогда! — решил он. Просветленный, оживший, он повеселел и, распрощавшись с этой доброй и счастливой четой, полетел домой, окрыленный радостью и надеждами.

И вот Александр Иванович сидел опять в своей грязной, темной и тесной конуре.

В окно видно было все тот же забор и около него кучу навоза, на которые он смотрел вот уже пятнадцать лет. „Разверстая“ кровать, дряхлые стулья, непокрытый стол, пустые бутылки, грязь, паутина и спертый воздух — все это он заметил только теперь, и все это показалось ему в высшей степени жалким и отвратительным. В его ушах еще звучали мощные, куда-то увлекающие аккорды, слышался нежный голос этой чудной, неземной красавицы; на своих заскорузлых, обмороженных пальцах он еще чувствовал прикосновение ее удивительной бархатной ручки с тонкими нежными пальчиками, на него еще как будто смотрели эти глубокие, как бездна, как море, черные глаза, простодушные, наивные, добрые, чистые... И ему вдруг пришла странная мысль: не сном ли все это было, не галлюцинацией ли после колоссального пьянства, и не очнулся ли он сейчас, вздремнув около непокрытого стола на продавленном стуле? Но нет, все это было. Он видел воплощение человеческого счастья, и оно было счастьем его товарища. И он в первый раз в жизни пожалел о том, что у него за всю жизнь никогда не было ни одной любовной истории, что он не изведал наслаждения быть любимым красивой женщиной, и ему казалось, что это наслаждение лучшее из всех на земле. Он сознавал, что ни одна сколько-нибудь сносная женщина не может полюбить его, что эта сторона жизни, самая ценная и яркая, прошла мимо него и воротить ее невозможно... И вот он с ужасом ощутил страшное желание напиться, напиться зверски, до беспамятства, до забвения всего... Его ужасало это желание, этот

шепот демона, и он говорил себе: „ни за что!“, „никогда!“, „иначе все пропало!“. И боролся с этим желанием, с этим мучением своей души...

Вдруг дверь скрипнула и немного приотворилась; из-за нее показалась часть чьей-то лысой головы и один глаз, внимательный и строгий. Затем дверь отворилась шире, и показалась вся голова с длинной окладистой рыжей бородой и неподвижным взглядом из-под нависших рыжих бровей, а потом уже и весь Антихристов Кучер кошачьими шагами прокрался в комнату. Он был все в той же серой крылатке и с длинным посохом в руках. Из-под крыла у него выглядывало горлышко четвертной бутыли. Он смотрел сердитым, хищным, не допускающим ослушания взглядом.

Александр Иванович понял, что все в его жизни кончено, все пропало.



САМАРСКИЕ СТРОФЫ

VIII

Зима настала. Дед-мороз
Колючий иней рассыпает
И в окна зимние бросает
Свои букеты белых роз.
На солнце искрами сверкая,
Белеют снежные поля,
И как невеста молодая
Оделась грешная земля.
Меланхоличные березы
Покрыты иглами стоят,
И звезды синие в морозы
Сильней и трепетней горят.
Покров и нежный, и сыпучий
Одел закованную грязь;
Скользит полозьев бег летучий,
Морозной пылью серебрясь.
И тройки с удалью цыганской
В санях, тяжелых и больших,
Гремя убором, по Дворянской
Катят скучающих купчих.
Каток сезон свой начинает:
Веселье, смех и живость лиц!
Сердца у юношей пылают,
Пылают щечки у девиц.
И знаю: счастию и воле
Найдут здесь многие конец:
Пойдут, достойны лучшей доли,
С катка и — прямо под венец!
Но, горькой участи не зная,
Они на скользкий идут путь,
Звучит беспечно речь живая,

И беззаботно дышит грудь.
Зима пришла и сердце манит,
Кудрявый волос серебрит
И даже старцам подрумянит
Морщины вянущих ланит.
Для сытых — время развлечений,
Разгар веселых кутежей,
А для голодных — дни мучений
Во тьме подвальных этажей.

* * *

Но шумный город веселится...
Театры, клубы, вечера
Теперь уж начали светиться
Почти до самого утра.
Идут такие злые пьесы,
Как „Тайна графа Сен-Жермен,
Иль Демон“... Смелы стали бесы:
Их не пугает белый день.
„Жидивка“ бедная устала
Хохлов беспечных „вывозить“,
И им желание припало
К ней оперетку приклеить.
Так по две пьесы в вечер стала
Самара слушать у хохлов.
А обыватель, удрученный
(Ведь пенья „двадцать номеров“!),
Валится в сани полусонный
При звучном пенье петухов...
Он возвращается довольный
Домой, в дремоте свесив нос,
И с ним дорогой своевольно
Играет дедушка-мороз.
Клуб канцелярский оживает
Каким-то чудным волшебством:
Прокоп Самарин пробуждает
Старшин, объятых дивным сном.
Нашлись потребности и в чтенье,
В публичных лекциях и в пенье,
И вместо прежней пустоты
Явились планы и мечты...
Конечно, русские мечтанья
Сотворены для увяданья

И строгий будочник всегда
Их прекращает, господа!..

* * *

„Мечты, мечты! Где ваша сладость?"
Из нас кто в жизни не мечтал?
Не в них ли нашей жизни радость?
Кто в них душой не оживал?
Нас увлекая ежечасно,
Вольна, как счастье игрока,
Мечта, как женщина, прекрасна,
Легка, как парус челнока.
Она, все в мире украшая,
Нам видеть мира не дает
И, как вакханка молодая,
Нам песни сладкие поет.
И, зная фальшь ее обмана,
Всю ложь ласкающихся глаз
И ускользающего стана,
Мечте мы верим каждый раз!
Но в дни, когда, горяч и молод,
Я жил лишь пламенной мечтой
И не касался жизни холод
Меня железною рукой,
Мечтались мне иные страны,
Где люди — властные цари,
Где нарождаются титаны
И бой ведут богатыри.
Что уж и я там скоро буду
И всем на диво сотворю
Такие подвиги и чуда,
Что хоть под стать богатырю.
И мне казалось ежедневно,
Что где-то в мире издавна
Все ждет печальная царевна
Меня у тайного окна.
Что у нее уста что розы,
А очи — звезды и порой
Катятся бисерные слезы,
А под тяжелою косой
Восходит месяц золотой.
Но эти призрачные сказки
Мне приносили много зла,

И жизнь удары, а не ласки
За все мечты мои дала.
Ее бесцветное теченье
Спугнуло стаи чудных грез,
Сменив игру воображенья
Картиной бедности и слез.
И часто гневною мечтою
Душа была увлечена,
Негодованьем, и тоскою,
И возмущением полна.
И в дни, когда была объята
Она любовью огневой,
За исстрадавшегося брата,
Как воин лезвие булата,
Я стих оттачивал стальной.
И я мечтал, что не окольно,
А страстно, пламенно и вольно
В него я громко перелью
Любовь кипучую мою
И злость, души глубокой ношу,
Кипящую, не умолкая,
Их ядом желчи напитаю —
И все в лицо врагам я брошу!..
Мечты, мечты!.. Настали дни,
Когда никто уж не мечтает,
Душа поэта засыпает
И только хищники одни
С дна жизни наверх выплывают...
Кругом все глухо, все молчит,
Сгустилась тьма над морем жизни.
И честный голос не звучит
В глубоко дремлющей отчизне.
Лишь звуки „чавканья“ мой слух
Невольно всюду уловляет.
Я постигаю наш недуг,
Глядя, как всюду „пожирают“.
Как шайка „добрых молодцов“
„Свой способ“ действий воплощает,
Хоть этот способ и не нов,
И как „тащат“ и „не пущают“.
А на дубах между ветвей
Сидит „разбойник-соловей“.
Как в кассе ссуд уж тридцать лет
В ее дела и в тайны смет
Ни человек, ни зверь не рыщет,

А он сидит себе да свищет!
Я с чувством тайного страданья
Гляжу на эти заседанья,
Где утверждается отчет
За девяносто пятый год
И „оглашенные“ с угрозой
Сидят, как греки под березой.
И, неизбежен, как финал,
В котором все для всех не ново,
Выходит уличный скандал
С вмешательством городового.
Он руку властную простер,
Предупреждая схватку бранну,
На них упал он так нежданно,
Как одеяло на костер.
Так без начальства никогда
Мы быть не можем, господа.
И не достойно ль удивленья
То простодушное решенье,
Что женщина и хороша,
Но вряд ли есть у ней душа
И пусть бесовское творенье
Из кассы ссуд, без возраженья,
Не получает ни гроша!
Участник кассы в дело вникнул,
Игриво в бок меня толкнул,
На женщин хитро подмигнул
Да и притом еще хихикнул.
С тех пор из членов стало много
Таких, что громче и сильней
На сон грядущий молят бога
Молитвой грешною своей:
„Благодарю тебя, всевышний,
Что я не женщина!“ Не лишней
Считаю я молитву ту,
Ее подслушав на лету.
И Прахову хвала и слава!
Ведь женщины имеют „право
Любить“! По мнению его,
Не нужно больше ничего.
Но в этом деликатном „праве“
Мы отказать им также вправе:
Нордау пьесу написал,
Где нам все это доказал,
Хотя повсюду возбуждал

Противоречий целый воз
Сей полемический вопрос.
Любовь! Священнейшее право
Всех и животных, и людей,
Всей жизни счастье и отрава
И сеть невидимых цепей.
Причина бед непоправимых,
Источник глупостей людских,
Ты — ослепление любимых,
Смесь чувств преступных и святых!
Мир без тебя бы стал пустыней,
Лишенной света и тепла,
Ты людям кажешься святыней,
Хотя ты ею не была!
Ты на момент, как гостья рая,
Приходишь и уходишь вновь,
Недоуменье оставляя —
Куда девается любовь?
О женщины! Клянусь пророком,
Не вас я пламенно любил,
Когда своим влюбленным оком
В вас добродетель находил.
Ваш ум, и узкий, и прелестный,
Так долго мной повелевал
И пламя красоты небесной
В душе поэта зажигал.
В глаза пленительных созданий,
Как будто в окна, я глядел
И видел мир своих мечтаний —
Поэтов горестный удел.
Но дни текли — я убеждался,
Что глазок чудных глубина
Глупейших мелочей полна.
И сам себе я сознавался,
Что не коварное созданье
Любил обманутый поэт,
А выдумку, свои мечтанья,
Все то, чего на свете нет!
Мы любим то, чего не знаем,
Разочарованы всегда,
Мечту друг в друге воплощаем
И не находим никогда!..

IX

Моя Самара дорогая!
Ты знаешь: я люблю тебя,
Одну тебя лишь воспевая,
Огонь души моей губя.
Еще ребенком нелюдимым
Я по окрестностям родимым
По-за Самаркою бродил
И Волгу-матушку любил.
Любил волны я колыханье,
Вдали плывущие суда,
Природы тихое дыханье
И тяжесть черного труда.
Вид величавой панорамы
Далеких синих Жигулей
И многочисленные храмы
Под блеском солнечных лучей.
И часто на дворе широком,
Заросшем свежею травой,
Я в детстве бледно-одиноком
С цветами вел свирепый бой,
Вообразив себя Бовой.
Казалось мне, что вражья сила
К родной Самаре подступила,
И деревянным палашом
Я истреблял ее кругом.
Но шли безжалостные годы,
Бледнели детские мечты,
Как ненавистного урода,
Меня тогда отвергла ты.
Ты восторженному поэту
Дала порядочный урок,
И я пошел „искать по свету,
Где есть для чувства уголок"!
Но я забыть тебя не мог.
Ни женщин пламенные взгляды,
Ни южной ночи звездный рой,
Ни рощи, полные прохлады,
Ни пение волны морской,
Краса долин и выси гор —
Ничто не радовало взор!
Все было чуждо, все не наше,
Блуждая всюду, я скучал,
Ты во сто раз казалась краше,

Тебе я равной не встречал!
Лазурь пленительных небес
И благодатный мир чудес
Меня невольно восхищали,
Но лишь тебя напоминали.
Мне снилась Волга, пароходы,
Удары звучные колес,
Блестящих весел звонкий плес
И грусть задумчивой природы,
С тобой я сердцем связан был,
Прожив с тобою утро жизни,
Тебя, скитаясь по отчизне,
Я все по-прежнему любил!
И, тайной скукою томим,
К тебе теперь пришел я снова,
Как блудный сын, как тень былого,
Как утомленный пилигрим.
Я твой, люблю тебя, Самара!
Сия несчастная любовь,
Как жизни тягостная кара,
К тебе меня приводит вновь.
Вновь за тебя готов я биться,
Как прежде, с сорною травой,
И грезы детства предо мной
Опять готовы появиться.
Но Дон-Кихот за великанов
Пустые мельницы считал,
Считал за рыцарей баранов
И с ними храбро воевал.
Я ж великанов жизни сей
Порой за мельницы считаю,
А рыцарей текущих дней
Все за баранов принимаю...
Так и в тебе, страна родная,
Разочарован я опять
И, мой палаш не подымая,
Люблю грустить и созерцать!
За что люблю тебя так нежно?
Зачем влекла меня тоска
К тебе всегда и неизбежно?
Ведь ты жестока и дика,
Ведь ты глупа и непонятна,
Ты бессердечна и груба,
Хитра, как лживая раба,
И, как кухарка, неопрятна!

О, будь приличней и скромнее,
Хоть раз умойся, причешись
И предо мною поскорее
Красоткой милою явись!
Но где тебе! Всегда ты та же!
Зимой в снегах, весной в пыли,
Ты привлекательна вдали,
Вблизи же делаешься гаже!
Ты поступаешь бестолково!
Вот здесь, не очень далеко,
Гимназия почти готова
В каком-то стиле рококо.
Придет весна, и гимназисты
Угрюмость зданья оживят,
Рассыплют смех свой серебристый
И в нем, как пчелы, загудят.
А рядом милые соседки,
Хотя погибшие, живут
И хором весело поют
Про „леденистые конфетки".
А ночью темной до зари
Горят цветные фонари,
Звучат игривые напевы
Ночных подвыпивших гуляк,
И плачут трепетные девы
В часы „дебоша" или драк.
Весной все это будет так,
Как было прежде, есть и ныне,
И наша проза и стихи
На все самарские грехи —
Глас вопиющего в пустыне!
О вы, самарские картины!
Вы оскорбляете мой взор...
Порой гляжу, как давит спины
Людей какой-то контролер,
И день, и ночь их заставляя
Скрипеть без устали пером,
Лишь за машины их считая
В остервенении своем.
Явленья жизни безобразной
Куют железные сердца,
И вся она однообразна,
Как степь без края и конца.
Разнуздан зверь в людской природе,
И льются слезы, льется кровь,

Глубокий мрак царит в народе,
И слабо теплится любовь.
Купцы в трактире вековом
Всю ночь без удержу „резвились",
Но надоело все кругом,
И до тоски они допились.
Один кричит: „С тоски я пью!"
Другой: „Резвиться надоело!"
И вот они решились смело
Разнообразить жизнь свою.
Они меняются женами
И даже малыми детьми,
Как на базаре лошадьми,
Ругаясь пьяными устами.
И жены, бедные, страдая,
Покорно идут к ним в кабак...
Тут ругань, слезы и... кулак!..
Картинка наша бытовая!
Она везде в моей отчизне,
Как основная нота жизни!
А там, внизу, царит „власть тьмы"
И бродят дремлющие силы...
Скопцы души, их судим мы,
Судьба же судей осудила!
Бесплоден, слаб наш дряхлый век,
Он издыхает от бессилья,
И уж давно утратил крылья
Интеллигентный человек!
Больное сердце очерствело,
Мы жаждем отдыха, тиши,
И от общественного дела
Нас отстраняет смерть души!
Но, вечно юный и могучий,
Душой великой и кипучей
Всю жизнь от гибели спасет
Во тьме блуждающий народ.
Он издавна в себе таил
Всю мощь своих духовных сил
И в нем одном для нас спасенье
В годины бед и оскуденья!
Свое безверье заглуша,
Во мне поет моя душа,
Когда я вижу воплощенье
Идей добра и просвещенья!
Да процветают эти чтенья,

Театр народный и народ!
Вперед, друзья мои, вперед!
Готов я снова увлекаться,
Любовь в душе моей кипит,
И начинает возвращаться
Ко мне мой прежний юный вид!
Довольно сна, довольно ночи!
Уж близок солнечный восход,
Стряхните лень, протрите очи!
Заря прекрасная идет!
Откройте ставни у жилища,
Не бойтесь радостных лучей,
Душе народа дайте пищу,
Забудьте долгий мрак ночей!
Настанет день! .. Душа поэта
Иные песни запоет! ..
Велик и молод наш народ! ..
Давайте света, больше света! ..

X

Я на концерте был. Сиял
Огнями праздничными зал,
Была пестра толпа людская,
И дамы, свежестью блистая,
Напоминали свежесть роз...
Играл на скрипке виртуоз.
Неслись трепещущие звуки
И мысль мою умчали вдаль,
Будя погаснувшие муки
И позабытую печаль.
В стране родной, как на чужбине,
В толпе, как в мертвенной пустыне,
Душою вечно одинок,
Не позабыться я не мог.
Среди блистающего зала,
Между нарядных дам и дев
Душа моя припоминала
Унылый, плачущий напев.
    Мне припомнилась глубь
    Необъятных небес,
    И над светлым ручьем
    Зеленеющий лес,
    И родной хуторок,

И с реки ветерок,
И взволнованных нив
Золотой перелив,
Бесконечных степей
Одинокая даль,
Лица серых людей,
А на лицах — печаль...
Замолкли звуки... Что со мной?
Зачем средь сутолоки бальной
Встаете бледною толпой
Вы, тени юности печальной?
О люди тяжкого труда,
Среди которых я родился,
Зачем явились вы сюда,
Чтоб я невольно устыдился?
Средь утонченных развлечений
Благовоспитанных людей
Зачем я помню эти тени
Душой тревожною своей?
Зачем, когда вас все забыли,
На старый лад о вас пою;
Зачем на муки осудили
Вы душу слабую мою?
В литературе современной
Лишь декадентов хор поет,
Но я душою неизменной
Принадлежу тебе, народ!
Сто лет прошло с тех пор, как нам
Звучала гейневская лира:
„Поэта сердце в центре мира,
А мир расколот пополам!"
И сердце Гейне раскололось...
В нем был мучительный разлад,
„Певца любви" капризный голос
Был диссонансами богат...
Росла та трещина у света
И стала пропастью большой,
И отделяет от поэта
Она его приют родной.
Примите, степи, мой поклон!
Уж к вам не может быть возврата:
Я бездной темной отделен
От моего меньшого брата!
Не здесь, в безжизненной пустыне,
В толпе довольной и пустой

Тоскую я, как на чужбине,
По стороне своей родной!
Я чужд среде довольной, важной,
Тревогам шумной суеты,
И только к родине сермяжной
Бегут бессильные мечты!
Склоняясь к вечному подножью
Любви великой и святой,
Услышан буду ль молодежью
И чуткой женскою душой?
И жизни затхлой обновленье
Не возродится ли, когда
Воскреснет прежнее стремленье
К сынам несчастья и труда?
Мечты тоскливое блужданье
В туманной, мертвой высоте,
Быть может, спустится к страданью
Людей, бредущих в темноте!
Я верю: ночь проходит мимо,
Заря грядущего горит
И свежих чувств для всех незримо
Ручей под мусором бежит!
Любовью мощной и здоровой
Уже пахнуло на меня,
И засияет жизнью новой
Начало будущего дня!
Растет великое стремленье,
Все расширяясь каждый год,
От долговечного косненья
Освобождается народ!
Народных чтений сетью смелой
России облик весь покрыт,
И даже „На пороге к делу"
Самара сонная стоит!
Она вошла... Смешна фигура
И поступь робкая у ней.
И вдруг: „Куда ты лезешь, дура?" —
Раздался голос у дверей.
Она глядит: сердитый барин
За дверью пальцем ей грозит...
„Всегда я был неблагодарен!"
Антрепренер ей говорит:
„Здесь духи, черти, подземелья,
Здесь „идиоты" лишь живут,
Здесь нету места для веселья,

Здесь власть моя! Зачем ты тут?
Твои народные спектакли
В театр я больше не пущу:
Я и без них уже грущу!
Худею я от них! Не так ли?
Для усыпленья твоего
Я старых пьесочек добуду...
Пошла! Вот я тебя, Иуду!"
Сонуля струсила его
И молит: „Дяденька, не буду!"
Моя прекрасная! Зачем
Ты Грубина перепугалась?
Ты покорилась, растерялась,
Переконфузилась совсем!
Ты ручки прячешь под передник,
А он ведь просто привередник!..
Смелей, ленивое созданье!
Ведь „голова" тебе дана,
И все отрадные мечтанья
Лелеет, может быть, она!..
Кто знает, чем ты скоро станешь?
Ты расцветешь, ты не увянешь,
Удел тебе блестящий дан!
Ты из мещанки глуповатой
Вдруг станешь умной и богатой
И скинешь грязный сарафан,
Распустишь волосы густые,
Я в них вплету тебе цветы,
Наденешь платья дорогие —
И ахнут добрые и злые
При виде пышной красоты!
Тогда у ног твоих спою
Тебе я песенку мою...
Твоим певцом, твоим поэтом
И другом буду я тогда...
Напрасно спорит ночь с рассветом!
Она уходит навсегда!
Она бледнеет и трепещет,
И гаснут звезды в небесах,
Лучи приветливые блещут
На предрассветных облаках.
Они покрыли позолотой
Ручей и лес, траву и грязь,
С природы сонною дремотой
Играя, споря и резвясь.

Над всей землею полусонной
Светлее стали небеса
И на траве посеребренной
Блестит алмазная роса!
Уж в берегах зелено-мшистых
Проснулся пруд, очнулся лес,
Заря лежит в снопах лучистых
И улыбается с небес.
Целует ветер шаловливый
Листы задумчивых ветвей,
И над природою сонливой
Поет мечтатель-соловей...

XI

В душе я был всегда поэтом!
Ребенком я любил цветы
И в чаще леса знойным летом
Уединенные мечты.
Любил, следя за облаками,
Весь день лежать в густой траве,
И сказки с детскими мечтами
Переплетались в голове.
Зеленый лес живым казался,
Ручей знал много нежных слов,
И чудный город возвышался
Из белоснежных облаков.
Я был своим среди природы
И был чужим среди людей,
Я был рабом одной свободы,
Как птичка вольная полей.
Меня мечтанья окружали
В лесной задумчивой глуши,
Но странно люди понимали
Стремленья пламенной души.
„Он — лесовик! — твердили детям, —
С ним не дружитесь никогда!
Того гляди, с чертенком этим
В деревню явится беда!
Его подкинул людям леший,
Лешонка что-то тянет в лес,
Ему на шею крест не вешай:
В нем не душа, а просто бес!“
И бессердечною толпою

Гналися сверстники за мной,
И их озлобленному вою
Внимал я с трепетной душой.
Случалось, много грязных пятен
В ручье я часто замывал;
Любя, я злость везде встречал,
Душой так прост и непонятен.
Я начал верить наконец
Действительности их угроз:
Что леший — точно мой отец,
Меня покинувший сурово,
Что мать мне — темная дуброва,
А сестры — ряд ее берез,
Что наделен судьбою злой
Я демонической душой.
Вкусивши в жизни горьких истин,
Я понял, повидавши свет,
Что был всем людям ненавистен
Во мне мечтатель и поэт.
Толпы огульное презренье,
Друзей насмешки и хуленья,
Любви поддельные цветы —
Все это было отомщеньем
За неотвязные мечты.
Когда толпою разряженной
Пройти мне выпадет момент,
Я слышу шепот озлобленный:
„А вот идет корреспондент!“
Когда б их пламенные взоры
Имели свойство сожигать,
Они могли бы репортера
Порою в пепел обращать,
А человеческий порок
Его истер бы в порошок
И вынюхал . . . Ему до гроба
Сопутствует людская злоба,
И диффамация с тюрьмой
Ползут шипящею змеей.
Пойми, читатель, как тернист
Бывает путь литературный,
Какою жизнью, вечно бурной,
Всегда объят фельетонист!
На эти медленные строки
Он тратит нервы иногда
И терпит грустные уроки

За ночи страстного труда;
Пером вскормленный и повитый,
Тебе дает свой мозг и кровь
И под насмешкой ядовитой
Скрывает жаркую любовь.
Его прочтут, потом забудут,
Мучений тайных не поняв...
В его писаньях вечно будут
Искать лишь смеха и забав.
Герой газетного листа
Для них играет роль шута.
Из сердца вызванные звуки
Они послушают от скуки,
И вдохновение поэта
„Поглотит медленная Лета",
Ему оставив на беду
„Гусей" обиженных вражду.
Однажды в комнате буфета
Ко мне приблизился один
Весьма свирепый господин.
Глазами страшно он вращал
И мрачным голосом сказал:
„Зачем вы пишете в газете?
Какая скверная пора!
Нет безопасности на свете:
Везде разбойники пера!
Полна подвохами вся речь их!
Я не люблю вас, господа!
О недостатках человечьих
Вы только пишете всегда,
А о достоинствах молчите,
Как будто нету их у нас!..
В своей газете похвалите
Вы обывателя хоть раз!
Вы пересмешники! А кстати ль?
Кому приятен ваш подвох?
О, попадись-ка мне писатель,
Согну его в бараний рог!
Я отобрал бы ваши перья,
Переломал карандаши,
А вас, газетчиков, теперь я
Всех ненавижу от души!.."
И долго, долго он ругался,
Стоя как пень передо мной,
Он кипятился, возмущался

И брызгал хладною слюной!
И я молю тебя, Самара,
Во имя истинной любви,
Открой скорее тайну дара
Узнать достоинства твои!
Тебя я взором обвожу
И что хвалить — не нахожу!
У двери добрых начинаний
„Слоны раздумья“ все стоят,
Бредет с тоскою упований
„Ослов терпенья“ длинный ряд.
И свиньи в неге сладострастной,
Хрюча, из грязи не встают
И все, что чисто и прекрасно,
Все так, как прежде, осмеют.
Порой хохочут попугаи,
Порою плачет крокодил,
Но мимо их всегда, страдая,
Я торопливо проходил.
Однообразные явленья
Мне надоело созерцать,
Где лишь господствует стремленье
„Предупреждать и пресекать!“.
Но вот на темном небосклоне
Восходит ясная звезда,
Я различаю в дальнем звоне
Начало жизни и труда.
И дела доброго свобода
Уже выходит из оков...
Друзья рабочего народа!
Я вас приветствовать готов!
Вы жизни грустное теченье
Нам освежить могли бы вновь!
„Вперед, без страха и сомненья!“
И пусть да здравствует любовь!
От безобразного кошмара
Спасете душу вы мою,
И, может быть, тебе, Самара,
Я дифирамбы пропою!
Что ночь, и тьма, и непогода?
Не бойся их, о человек!
С началом чтений для народа
Начнется новый, чудный век.
Мне начинает рисоваться
Великолепное „палаццо“,

Роскошный мраморный дворец
И электрический венец
Из ламп, заливших чудо-зал
Своим молочно-белым светом.
Вот хор волшебный зазвучал...
В палаццо этом наш народ
Духовной жизнию живет...
Как неприятно быть поэтом!
Как далеки вы, жизни розы!
В депо, где ходят паровозы,
Открыто было в воскресенье
Давно обещанное чтенье.
Народ толпами шел туда
Вздохнуть от тяжкого труда.
Темно и мрачно это зданье,
Но хор любителей гремел,
Народ был полон ожиданья,
Сплошною массою шумел.
Картины были так „туманны",
Как декадентские стихи,
Но ждал народ их, словно манны,
Хоть были все они плохи!
Рожки мигали так убого,
Как бы сбирались умирать,
Там не хватало много, много,
Что оставалось бы желать.
И чтец читал: „Бог правду видит,
Да лишь не скоро говорит".
Он тех, я верю, не обидит,
Кто к людям жалостью горит.
Пусть это дело в наше время
В „депе" каком-то родилось,
Но ведь родился ж в Вифлееме
Свет мира божия — Христос!
Пусть было холодно в сарае —
Душа народная жарка!
Пусть гасли лампы, умирая,
Но мысли светятся пока!
Пусть заглушали паровозы
Слова далекие чтеца,
Но у поэта в сердце розы
Благоухают без конца.
И, как труба Иерихона,
Мой голос будет вам трубить:
„Проснитесь! Скоро с небосклона

Вам будет солнышко светить!"
Уж воплощаться начинают
Неуловимые мечты
И свет повсюду побеждает
Сопротивленье темноты.
Быть может, пылкой молодежью
Самара скоро закипит
И будет по внушенью божью
Здесь политехникум открыт.
Моя Самара дорогая!
Ты поумнеешь наконец;
Тогда, твой разум воспевая,
Повеселеет твой певец.



КВАЗИМОДО

Было серенькое, пасмурное утро. Бездонная мгла застилала все небо, не пропуская ни одного солнечного луча.

Окно моей комнаты выходило на немощеную песчаную улицу весьма пустынного вида, по которой только кружились давно знакомые мне собаки да торчал знакомый полицейский на углу. Я сел было писать, но мне не работалось, было скучно. Перо вываливалось из рук, и я незаметно очутился на кушетке, служившей мне постелью. Я мог так пролежать целый день, предаваясь бессвязным, бессознательным мыслям и решительно не желая какой-либо помехи этому занятию. Менее всего я был расположен разговаривать с кем бы то ни было.

В это время дверь моей комнаты приотворилась, и в нее просунулось маленькое, сморщенное лицо „бабушки", как называли все старуху, стряпавшую в кухне. Она была маленькая, сухонькая и неутомимая, смотрела на мир жизнерадостными глазами и, хотя ей было семьдесят лет, любила порой посидеть в компании, поплясать и попеть песенки. Она приходилась какой-то дальней родственницей квартирной хозяйке.

— Пишете? — спросила она меня.

С этим вопросом всегда заглядывали в мою дверь все они: бабушка, и квартирная хозяйка, которой я был должен, и хозяйкина дочь-невеста, целый день проводившая в том, что расчесывала перед зеркалом свои белые, замечательно длинные и густые волосы, — и если видели меня не пишущим, то укоризненно качали головами.

— А у нас нынче свадьба в кухне будет, — сообщила мне бабушка, — вот бы вам описать, сколько бы смеху-то было.

Меня совсем не интересовала свадьба в кухне, но, чтобы не оскорбить бабушку невниманием, я спросил:

— Какая свадьба?

— Как же? Чай, Кузьма женится.

— Ну?

— Женится. Слава богу, уж все слажено и рукобитье было.

Бабушка стала рассказывать мне о „рукобитье".

Кузьма был еще довольно молодой мужик, квартировавший в кухне. Он недавно овдовел и жил там с четырехлетней дочерью, симпатичным ласковым ребенком с бледным личиком и голубыми печальными глазками. Овдовел Кузьма в деревне, а в город переселился недавно по случаю голода и поступил куда-то на завод за шестнадцать рублей жалованья. Скудость такого заработка нисколько не останавливала его от мысли о новой женитьбе: напротив, вдовое положение до такой степени угнетало его душу, что, помню, на первый день пасхи он, напившись пьяным еще до обедни, навзрыд плакал в кухне о том, что у всех праздник, а у него „без бабы" нет праздника.

Но ему не везло в сватовстве; дело в том, что Кузьма был феноменально безобразен: он был сутулый, неуклюжий, имел рыжие волосы, грубый голос, смотрел, как волк, исподлобья, а его громадный, длинный нос и широкий, лягушачий рот с толстыми губами и кривыми желтыми клыками внушали невольный страх и отвращение.

Характера он был мрачного и злого, ни на кого не глядел прямо, почти не разговаривал, девчонку свою никогда не ласкал, был подозрителен и скуп.

Ему отказали уже две невесты. Каждый раз сватовство начиналось как бы удачно: по голодному времени родные были рады скачать с шеи девку кому попало, но чем ближе становился день венчанья, тем более возрастало отвращение невесты к безобразному и мрачному жениху. Да и какие невесты! Последняя невеста, отказавшая ему, была простая нищенка, ходившая под окнами собирать милостыню, но и та уперлась и не пошла за него.

Тем не менее свахи, в числе которых действовала и наша бабушка, не унывали и наконец сосватали ему третью невесту.

Вечером предполагалась свадьба в мещанско-деревенском духе. Вместо того чтобы, по мысли бабушки, присутствовать на этой свадьбе и описать ее, я решил на весь вечер уйти куда-нибудь.

Дверь снова приотворилась: заглянула сама почтен-

ная хозяйка, солидная женщина с благодушным лицом. На этот раз лицо ее было негодующее.

— Не пишете? — строго спросила она и затем, покачав головой, встала в дверях для разговора.

— Старые-то чертовки что делают, — начала она, — а? Загубили девчонку! Насильно за Кузьму-то выдают ее, седые дьяволы! Им бы только на свадьбе погулять да попьянствовать, а там — живите как хотите! А какая, кабы вы ее видели, хорошенькая девчонка! Ребенок еще совсем! Плачет, кричит: утоплюсь, удавлюсь! А идет! Да я бы за этакого страшного и не подумала идти! Наплевала бы ему в чертову-то харю! А уж эту бы бабушку я бы просто растоптала, что она еще на старости лет ввязалась! Тоже и этой поплясать хочется. Тьфу!

— Может быть, еще свадьба не состоится? — возразил я.

— Нет уж! Что уж! Слажено дело! Отдадут! Вы думаете, станет она с Кузьмой жить? — возвысила вдруг голос хозяйка. — Ни за что не станет! Найдет себе какого и уйдет! А с этаким-то чертом, прости господи, что за жизнь? И страшный-то, и злющий-то! Тьфу! Ведь он, говорят, и первую-то жену убил, а женщина была хорошая, девочка-то — вся в нее! Каждый день, слышь, бил за то, что мало любишь! А за что и мало-то любить этакого демона? Погубили девку пьяницы старые!

Она ушла, продолжая негодовать и развивать свою мысль о Кузьме, недостойном любви. А я остался попрежнему лежать, и течение моих бесформенных мыслей невольно направилось в эту сторону.

„Вот сейчас, — думал я, — встану, возмущусь, вступлюсь и не дам совершиться этой гнусной свадьбе. Гнусной? Да ведь найдется другой Кузьма, за другого Кузьму насильно выдадут. А чем виноват и Кузьма, которого никто не любит?“

И я стал обобщать. Мне вспомнились и другие обыденные факты повседневной жизни, последствием которых являлись преступления. Устранить их нельзя, не устраняя общих условий, их порождающих... Да и что бы я тут мог поделать? Дон-Кихота разыграть? Надоело.

И я не встал и не возмутился. Я продолжал лежать и спокойно философствовать, а к вечеру ушел из дому.

Возвратился я в полночь, думая, что к этому времени свадебный пир в кухне кончится, но я ошибся.

Пиршество состоялось даже и не в кухне, а благодаря моему отсутствию — в зале рядом с моей комнатой.

За длинным накрытым скатертью столом, уставленным кушаньями и бутылками, сидела большая компания. В комнате, галдя, толкались нарядные, одетые на мещанский лад бабы. Кто-то играл на гармонике, а посреди залы приплясывала, помахивая платочком, принарядившаяся бабушка и пела довольно чистым и почти молодым сопрано:

Приходи, кума, за ледом!
Леду дам!

Навстречу ей, поводя плечами и уперев „руки в боки“, плыла молодая баба с красивым задорным лицом, в большой турецкой шали, накинутой на плечи, со стеклярусной сеткой на густых волосах и с хрустальными висячими серьгами в виде огромных капель. Лицо ее задорно улыбалось, глаза лукаво и многообещающе подмигивали мужчинам, сетка на волосах сверкала, а серьги в маленьких ушах, покачиваясь, переливались огненными искрами.

Что-ты-что-ты-что-ты-что! —

припевала она в такт своим каблукам.

Приходи, кума, за ледом!
Леду дам! —

не унималась бабушка.

Что-ты-что-ты-что-ты-что!

— Бабе нельзя денег доверять! — солидно рассуждали в углу пожилые. — Она их сейчас к месту определит и тебя же начнет ругать! Вот я, этта, принес своей две четвертных — н-на! Сам лег на печь. Она их туды-сюды, везде рассовала — нет денег, опять меня ругать! Что лежу да зачем лежу! Ну, терпел-терпел — надоело мне слушать... Слез я с печи.

Подвернулось выгодное дело, взялся я ломить: в один месяц заработал сотню. Принес. Отдал. Лежу на печи. Опять та же музыка. Опять нет ничего, опять зачем лежишь. В аккурат входит какой-то барин: „Не вы

ли будете господин Квашнин?“, а я ему с печи: „Мы! Тебе чего надо?“ — „Слышал я, говорит, об вас, что мыловарение можете орудовать, так не возьмете ли подряд?“ — „Можно. Сколько?“ — „Столько“. Условились за двести. Слез я с печи...

Из общего гвалта выделяется чья-то протяжная, размашистая песня: это поет лавочник, хорошо знакомый мне, мелочная лавка которого находится внизу, в нашем же доме. Он славится как „песельник“, и его пению теперь внимают. Он — маленький, тщедушный, юркий, с бородой, похожей на мочалку. Поверх ватного пиджака подпоясан шарфом. Облокотился, подпер щеку рукой и поет. Голоса у него нет почти никакого: глухие, разбитые звуки, но зато мягкие, согретые теплым чувством; он, очевидно, от природы музыкален, его глуховатый тенор льется складно, ритмично. И поет он все старинные волжские разбойничьи песни, чрезвычайно интересные по содержанию. В них опоэтизирован разбой: высокие сосны гудят над Волгой в темную осеннюю ночь, „добры молодцы“ приносят на высокий берег на скрещенных ружьях окровавленный труп атамана и хоронят его под вой ветра „меж трех сосен над Волгой-рекой“; воспевается заволжская степь, „буйная воля“ и „мужик-бурлак“. Мотивы этих песен веют богатырским размахом, шириной, силой. Лавочник передает эти песни художественно: странным кажется, что в тщедушной фигуре этого мужичонки каким-то чудом поместилась артистическая душа.

Орел молодой по степи летал... —

поет он с необычайной выразительностью.

По степи летал он, добычу искал...
Не найдя добычи,
В темницу попал...

Ходили слухи, что мои хозяева с дочерью, расчесывающей длинные волосы, с бабушкой и лавочником и со всеми прочими довольно таинственными обитателями нашего дома составляют тайную воровскую шайку и что хозяйка — атаманша. Правда, кроме меня, тут жили еще два актера из театра, но говорили, что я и актеры, сами того не зная, играем роль громоотвода. Внизу жили какие-то странные личности, исчезавшие иног-

да вместе с лавочником и несколькими женщинами на две, на три недели. Потом все враз возвращались с деньгами, с тюками материй, которые, впрочем, скоро куда-то исчезали, и начинался разгул. Эти по виду мещане пили водку из серебряных чарок. Иногда в поздний ночной час являлась целая ватага огромных, неизвестных людей и спала, не раздеваясь, на полу в зале. А наутро — никого!

Все эти люди очень мало обращали внимания на молодых, сидевших в переднем углу. Кузьма был в алой гарусной рубашке и суконном пиджаке. Рядом с ним в подвенечном наряде сидела молодая, беленькая, миловидная девушка, с детскими заплаканными глазами. Она была неподвижна, как изваяние, и все время не поднимала опущенных ресниц.

А Кузьма, подвыпивший, мрачно поводил исподлобья осовелыми глазами.

Он уже был чем-то недоволен и по временам, как волк, щелкал своими желтыми клыками. Казалось, он сознавал, что добровольно ни одна женщина не согласится принадлежать ему. Но он хотел быть любимым во что бы то ни стало, он хотел насильно заставить ласкать и целовать себя.

Кузьма с первого же дня после свадьбы стал „плохо жить" со своей женой. С первого же дня в кухне начались драки и скандалы, и ему отказали от квартиры. Он снял где-то неподалеку какую-то нору в подвале. Бабушка время от времени сообщала мне о насилиях, учиняемых Кузьмой над своей женой. Описание этих насилий она всегда заключала фразой: „Стерпится — слюбится".

Прошло месяца два. Однажды поздно вечером я возвращался домой, как вдруг из нижнего этажа одного из соседних домов послышался рыкающий голос Кузьмы:

— Я из-за тебя, паскуды, пять целковых в орлянку проиграл! Пять целковых! А сердце все не проходит! Все спущу! Жисти своей решусь! Вогнала ты меня в тоску, ведьма киевская! Ишь ты, нежности какие! Любить не хочешь? Нет, брат, врешь, люби, коли вышла! Небось скажешь, что рылом я нехорош? Врешь, буду хорош! Вы, дуры, кого любите-то? Так, шематонов разных, у кого харя хорошая да язык пунцовый! А у кого сердце·

то волосами заросло от обид, так того вы не любите, др-ряни вы этакие! Почему у меня ласковых слов нет? Может, я за рыло за мое сколько обид на веку стерпел! С какой же стати и где я возьму ласковые слова? Нет у меня ласковых слов! Люби так! Должен меня кто-нибудь любить на свете али нет?

Раздался удар по столу кулаком. Послышались женские всхлипывания.

— Убей ты меня, Христа ради! Легче мне в гроб!.. Боюсь я тебя!

— Устя! — с необыкновенной силой и уже без злобы, а с мольбой воскликнул Кузьма. — Устя! Устя! Устя! Во имя отца и сына и святого духа! Клянусь тебе, не буду больше бить тебя! Икону сыму! Не могу я с тобой побоями, хочу добром! Как только вчерась мне сказали, что ты убежала и подушки с собой унесла, то у нас в это время была промывка котла... И, как всегда после промывки, все собрались и пошли выпить, а меня расшибло. Я не пошел с ними, я к тебе побежал! Эх! пойми ты меня: кабы ты предо мной не топорщилась, растопилась бы моя злоба, как воск, перервался бы я для тебя на работе, по гроб жисти рабом бы твоим стал!

Послышались хриплые, короткие, очень странные звуки, похожие на собачий лай, — это рыдал Кузьма. Он хотел любви. Он требовал и просил. Но, видно, не за что было любить Кузьму.

Утром, по обыкновению, в мою дверь просунулось сморщенное бабушкино лицо.

— Самовар подала. Вставайте!

— Сейчас.

— А у нас беда в нашем квартале случилась, чай, завтра в газете напечатают.

— Что такое?

— А как же? Ведь наш Кузьма-то повесился нынче ночью!

— Неужели? Отчего это он?

Бабушка не спеша объяснила мне:

— Проиграл он пять целковых в орлянку. А скупой ведь он был! Ну, стало денег жалко, пошел в сарай и повесился! Не вынес тоски!

1900



КОМПОЗИТОР

Я шел по набережной мимо одного грязного трактира. Вдруг мне послышалось, что кто-то изо всей мочи крикнул мое имя. Оглянувшись, я увидел в окне толстобрюхую фигуру мясника Сидорыча, моего давнишнего приятеля. Он приятельски осклаблялся, поманив меня рукой, и орал зычным басом:

— Гаври-илыч! .. Гаври-илыч! ..

— Чего тебе? — крикнул я ему.

— Зайди на минутку! Дело есть!

Когда я вошел в трактир, то сразу не мог разобраться, так было накурено и так скверно пахло. Трактир, по случаю воскресенья, был полон, стоял гул голосов, входили и выходили люди, бегали бледнолицые половые с грязными салфетками, и я остановился на пороге, ища глазами Сидорыча . . .

— Сюда! Сюда! — раздался его голос из угла. — Иди сюда! . .

Сидорыч встал из-за стола, за которым он сидел с кем-то, взял меня за руку, подведя к собеседнику, торжественно спросил меня:

— Знаешь ли, кто это со мной сидит? — и, потрясая вилкой, на которой был кусок сосиски, завопил: — Это — ком-по-ззи-тор!

Сидорыч был уже порядочно пьян. На столе стояла водка с неопрятной кабацкой закуской. Тот, кого Сидорыч назвал композитором, поднял голову и поглядел на меня пьяными, добрыми голубыми глазами. Это был мускулистый человек лет около тридцати, с густыми волнистыми кудрями и рыжеватыми усами. Его лицо являло все признаки долголетнего пьянства: оно было измято, с характерными морщинами и мешками под глазами, нос был ноздреват и красен, но черты лица были

красивы и выразительны, а голубые детские глаза положительно напоминали мне что-то забытое...

— А ведь мы с вами знакомы были! — произнес он хриплым, пропитым голосом и улыбнулся застенчивой улыбкой. — Органов!

Я был поражен... Несколько лет тому назад я знал Органова, странного, симпатичного юношу с голубыми, наивными глазами. Он тогда ничего не пил и был очень красив, говорил и пел звучным, приятным баритоном, с детства пел в церковных хорах и удивлял меня своими способностями, в особенности музыкальными. Играл на всех инструментах оркестра, выучившись этому самоучкой, превосходно знал музыку и тогда еще писал какие-то музыкальные пьесы и разыгрывал их на фисгармонии, которую сделал сам. Сам же сделал себе и концертную гармонию. Жил слесарным ремеслом, которым занимался дома, квартируя в лачуге на краю города со старухой матерью. Зарабатывал мало, занимаясь большею частью только починкой самоваров и часов. Зато постоянно сидел за фисгармонией... Из бедной лачуги вечно неслись стройные тягучие аккорды. Его часто приглашали на мещанские свадьбы играть на гармонии. Играл он, как артист.

Сидорыч был одним из тех смешных любителей музыки, которые сами ничего в ней не понимают и не имеют слуха. Он не мог спеть ни одной самой простой песни, а между тем замирал от восторга, когда слышал пение или музыку. Понятно было его преклонение перед „композитором".

— Он в тоску может человека вогнать! — хвалил Сидорыч своего собутыльника. — До смерти люблю, когда он со слезой заиграет! Ему, брат, пятьсот целковых за его ноты давали, а он, чудак, не продает!..

— Да ну тебя! — укоризненно прервал его Органов.

— Что же вы не продали ваши сочинения? — спросил я.

— Да так. Не к чему. Денег мне не надо: все равно пропьешь... Пускай после моей смерти возьмут...

— У него гвоздь в башке! — объяснил мне Сидорыч странный ответ композитора. — Он на чем упрется, не собьешь! А ты лучше вот что: сейчас берем с собой бутылку водки и — к тебе. И Гаврилыча возьмем. Ты нам сыграешь. Идет?

— Идет.

Компания была подвыпившая, но Органов всегда мне

казался интересной личностью, каким-то человеком не от мира сего, и, кроме того, мне хотелось послушать его игру. Я согласился поехать к Органову. Мы сели втроем на извозчика, причем композитор кое-как прилепился на козлах. Ехать пришлось на самый край города, имевший совершенно сельский характер: тянулись пустыри и заборы, по улице ходили коровы и свиньи, убогие лачуги смотрели печально. Мы наконец остановились у одной избы, над воротами которой висела сапожная вывеска.

— Стоп машина! — сказал Сидорыч, слезая.

Через низкие и темные сени мы вошли в мастерскую сапожника, который сидел на низеньком круглом стуле и работал, обнажив по локоть мускулистые руки. Кругом валялись обрезки кожи, колодки и сапожные инструменты. Пахло тяжелым кислым запахом. Он посмотрел на нас исподлобья и ничего не сказал. Встретила нас старуха, одетая по-деревенски.

— А ты бы погодил нынче напиваться-то! — раздраженно сказала она Органову. — Скоро свадьбу идти венчать, все бы сколько-нибудь заработал!

Мы прошли в соседнюю маленькую комнату с одним окном. Там стоял голый стол, три стула, кровать и фисгармония. Пахло все тем же сапожным запахом. Комната отделялась тонкой дощатой переборкой, и было слышно все, что говорили в доме.

— Человека только что в хор приняли, через час ему надо на свадьбу идти, а тут разные пьяницы приходят спаивать, — слышался недовольный голос старухи.

— Пропащий человек! — подтвердил сапожник.

Органов ухмыльнулся.

— Это мой брат, — сказал он. — Сердит он, да ведь мне наплевать... Не пойду я на свадьбу, потому что пьян, все равно денег не дадут, а только оштрафуют. Вы посидите, а я сбегаю в лавочку за закуской.

И нахлобучил картуз.

Едва он вышел, как вошла старуха.

— Неудачный у меня сынок-то! — со вздохом начала она. — Ни к какому делу не способен, пьянствует! Уж вы, не знаю, как вас, не давайте ему напиваться-то. На свадьбу ему надо идти, все, глядишь, хоть целковый принесет, а житье наше бедное... Наказал господь таким сыном.

— Разве он много пьет? — спросил я.

— Каждый день напивается... Совсем от дела отбился... А ведь слесарь-то какой хороший был!..

Она прибрала немного в комнате и направилась к двери. Я вышел за ней и остановил ее.

— Вы не сердитесь на нас, — сказал я. — Может быть, он из-за нас не пойдет на свадьбу, так вот...

И я сунул ей целковый.

Это произвело на старуху ошеломляющее впечатление... Она вся просияла и совсем переменила обращение. Принялась благодарить и долго допытывалась, кто я такой: мой поступок казался ей удивительным.

— Уж вы извините, батюшка, я ведь думала, что вы такой же шаромыжник, как эти, которые к нему все ходят... Да кто вы такие будете? Из каких вы?.. Да я вам горяченькой картошечки на закуску-то подам...

В это время явился сын, и старуха скрылась. Он положил на стол соленые огурцы и кусок скверной колбасы. Мать подала в тарелке жареный картофель... Сидорыч откупорил бутылку, и мы выпили... Он прищелкивал языком и пальцами и чувствовал приступы музыкального восторга. Наконец не выдержал и, умильно посмотрев на молодого человека, сказал просительным тоном:

— А ну-ка ты, тово... вальни что-нибудь!

— Надо выпить сначала! — возразил музыкант.

Выпили еще.

Наконец Органов сел к своей самодельной фисгармонии и взял несколько аккордов. Фисгармония была небольшая, но звуки были верные и мягкие. Сколько труда, вероятно, потратил бедный самоучка, чтобы соорудить этот инструмент!

Сидорыч замер в ожидании.

— Что же играть? — спросил Органов, оборачиваясь к нам. — Хотите, Моцарта сыграю? А то из оперы что-нибудь?

— Духовное сыграй! — сказал Сидорыч. — О душе... и слова говори...

— Ладно... я сыграю одну пропорцию концерта „Высшую небес..." Вы его нигде не услышите...

Органов заиграл печальную мелодию... Чистые, жалобные звуки сплетались в благоговейные аккорды и, казалось, улетали к небу... Но они были слишком слабы и беспомощны и снова возвращались назад и болезненно пели о земле, о слезах и страданиях... Низкие басовые аккорды гудели тоже болезненно, тихо и

меланхолично... В этих звуках чувствовался какой-то разлад, тихая жалоба на что-то, что-то беспомощное и глубоко печальное... Музыка шла отдельными короткими фразами, которые, вероятно, нужно было петь вдумчиво, вразумительно, вникая в их печальный смысл... И Органов запел как бы про себя фистулой своего болезненно-разбитого баритона:

От многих моих грехов...

Тут он взял аккорд тихий, как вздох, и продолжал, аккомпанируя болезненно-жалобными звуками:

Немощствует... тело...

И, словно после некоторого раздумья и вздоха фисгармонии, добавил более низко и тихо, просто и меланхолично:

Немощствует и душа!..

— О-о-хо-хо!.. — тихонько вздыхал Сидорыч, наливая в рюмки.

Органов имел способность извлекать живые звуки, передавать их настроение. Меланхолия воцарилась в комнате, и мы с Сидорычем сидели печальными, пока он вдумчиво, с паузами, пел грустные слова, пояснявшие грустную музыку.

— Будет! — вдруг сказал музыкант. — Надо выпить.

— Ах ты, господи! — восхищался Сидорыч, чокаясь. — И как это он может прямо, можно сказать, за сердце человека взять?.. А?..

— А вы своей композиции сыграйте что-нибудь! — попросил я.

— Своей композиции — это на гармонии или на скрипке... Да у меня какая композиция? Вроде старинных русских песен... без слов... У меня до двухсот старых песен на ноты положено... Этих песен уж и не поют теперь... Я собирал...

Он снял с окна концертную гармонь с каким-то особенным устройством ладов и заиграл что-то протяжное, русское, напоминавшее степные, размашистые песни, полные нежности и тоски, но тем не менее это не была обыкновенная народная песня: мотив был облечен и обработан в стройную музыкальную форму с удачным со-

хранением народного духа. Передо мною был один из тех народных композиторов, никому не известных, создающих самые народные песни, до такой степени характер его музыки был сходен с народной музыкой. Для него, вероятно, ничего не стоило выразить свои настроения так, что получалась подлинная народная песня, правильно положенная на ноты. Пусть это были даже подражания народным мотивам, все же от этой музыки веяло такой юношеской свежестью, глубиной и силой, что как-то не верилось, будто душа этого спившегося слесаря могла породить их на свет.

А огромный материал исчезающих народных песен, которым он владел, не представляет ли он, может быть, огромной ценности? Да и сам народный композитор не мог ли сделаться чем-нибудь замечательным, если бы не погиб в засасывающей мещанской среде, никем не понятый и даже сам себя не понимающий? Органов играл, сидя на стуле и прислонившись спиной к стене. По временам он встряхивал густыми кудрями, а голубые глаза загорались каким-то особенным радостным блеском. Казалось, что хмель соскочил с него, и в чертах его измятого лица я вновь узнавал забытый симпатичный образ прежнего юноши с застенчивой улыбкой и прекрасными голубыми глазами. Казалось, что вдохновение, таившееся в душе композитора, вновь одухотворило его преждевременно обрюзгшее лицо и сделало его юным и прекрасным. А гармония пела дрожащими, задушевными звуками. И представлялся тихий летний вечер в степи, безбрежная ширь и даль, чуткая тишина и нежная гармония всевозможных степных звуков; и на этом фоне далеко плыла и уходила в необъятную даль надрывающая душу песня: в ней словно кто-то прощается навеки, рыдает томительно-сладким рыданием. И все закончилось тонким, уходящим вдаль, тающим звуком, потонувшим в печальной тишине . . .

Сидорыч молча вытер слезы и вновь наполнил рюмки. Бутылка быстро убывала.

Я стал говорить Органову, что у него, по всей вероятности, есть талант, что ему нужно заняться собой, бросить пить, уйти из мещанской обстановки и поехать в большой город продолжать музыкальное образование.

Он ничего не ответил. Опять взял гармонь и заиграл всем известный, избитый шарманками вальс.

Но я не узнал этого вальса в его исполнении, столько было в звуках страстной и безнадежной тоски, отчая-

ния. Лицо его приняло почти трагическое выражение, а голубые глаза потемнели, как темнеет река в хмурую погоду.

Он играл „Невозвратное время".

И вдруг рванул гармонь и заиграл камаринского. Бесшабашная, неудержимая удаль заговорила в каждом звуке, дразня и подмывая к пляске . . . Приунывший было Сидорыч поднял голову и начал передергивать плечами, потом притопывать тяжелой ножищей. Темп камаринского все учащался, делаясь все удалее и забористее . . . Правда, Органов забыл опустить какой-то винт, делавший звуки дрожащими и рыдающими, и мне странно было слышать развеселую плясовую песню, сквозь которую пробивались рыдающие звуки. Но Сидорыч уже не выдержал, вскочил, распустил руки, как крылья, и поплыл настолько грациозно, насколько позволяла ему его семипудовая фигура.

Потом он топнул так, что все задрожало, и запрыгал на носках, как воробей . . . В комнате все затряслось.

— Эх, ходи изба, ходи печь! — крикнул он и начал „откалывать" новое колено. Каждая жилка плясала в Сидорыче, на жирном, красном лице сияла блаженная улыбка.

Органов весело потряхивал кудрями и играл все забористее и зажигательнее . . .

— Сидорыч, не выдай! — покрикивал он.

А сквозь дикое веселье камаринского слышались дрожащие, плачущие звуки.

1900



ИКАР

Деревенский кузнец Назар приехал в город за покупками по хозяйству и по устройству паровика, имея в кармане на эти покупки тридцать рублей.

Он шел по главной улице, разыскивая магазин с техническими принадлежностями, но магазин все както не попадался ему на глаза.

Наружность у Назара самая непривлекательная: он — сутулый, с пологими плечами, с длинной жилистой шеей и угловатым лицом, с козлиной бородой.

Голова его наклонена, задумчивый взгляд устремился в землю, а походка тяжела и неуклюжа.

Кузнец Назар — странный и „чудной" мужик. Вся деревня смеется над ним, хотя и считает его „докой" и „хитрецом".

Однодеревенцы отказываются понимать его: он иногда толкует им о том, что можно сделать „вечный двигатель", или вдруг придет в умиление, смотря на восход или закат солнца, радуется красивому цвету облаков.

А паровик он сделал хотя и хорошо, „умственно" и „хитро", но — „ни к чему", так как гораздо дешевле было бы купить его готовым.

И много было в Назаре такого, что всем казалось непонятным, странным и смешным.

Сооружение паровика стоило ему огромного умственного напряжения; приходилось многое постигать, изобретать, проводить бессонные ночи, но это нравилось ему, и он вложил свою душу в совершенно ненужный ему паровик.

Теперь он почти даром отдает его напрокат.

За все эти поступки вся деревня хохочет над ним и ругательски ругается жена, женщина умная, почтенная, религиозная и хозяйственная.

Вот и теперь Назар, вместо того чтобы попасть в технический магазин да потом идти на базар за покупками по поручению жены, внезапно остановился у огромного окна магазина художественных вещей и фарфоровых изделий.

Его поразила маленькая фарфоровая группа: молодой нагой парень, будто бы ангел с крылами, упал на острый камень около воды; так и видно, что упал он откуда-то с облаков и разбился о камень, и так жалостно и красиво лежит его аккуратное тело, а из-за белых плеч, как паруса, легли изломанные, разбитые крылья.

И еще две голые девицы подплыли к нему из воды, русалки, должно быть, любопытные, и заглядывают ему в мертвое пригожее лицо.

И вдруг умиление и слезы почувствовал Назар, и сам не знает отчего: то ли история чувствительная представлена, то ли в линиях и очертаниях этих фарфоровых тел есть что-то умилительное, тонкое, так бы вот все и смотрел, и плакал.

Необыкновенное волнение овладело Назаром: ему казалось, что можно вечно стоять здесь и любоваться на эти удивительно красивые тонкие линии, и от этого любования слезы навертывались на глаза.

И все его хозяйство, и паровик, и жена показались ему пустяками в сравнении с тем счастьем, которое должен испытывать обладатель этой вещицы. Почти бессознательно отворил он дверь магазина и остановился у порога, стаскивая шапку.

— Чего тебе? — небрежно крикнул на него барин, стоявший за прилавком, — хозяин, должно быть.

Тогда Назар ткнул корявым пальцем в вещицу и спросил дрожащим голосом, заикаясь;

— Сколько стоит?

Приказчик удивленно и недоверчиво посмотрел на мужика и ответил:

— Это — „Икар“, стоит двадцать пять рублей, ты — от кого?

Назар молча завернул полу кафтана, дрожащими руками вынул деньги и, отдавая, сказал внушительно и проникновенно:

— Получи.

Затем он бережно положил за пазуху тщательно за-

пакованную драгоценность, нахлобучил шапку и удалился из магазина своей тяжелой походкой, неуклюжий, с наклоненной задумчиво головой, пологими плечами и длинной мужицкой шеей в рубцах и складках.

Назар вернулся домой без покупок, но радостный и улыбающийся своей тихой, детской улыбкой.

Жена удивилась праздничному лицу Назара.

Трое ребятишек обступили его, ожидая гостинцев. Жена стояла в двери чулана и проницательно смотрела ему прямо в лицо.

— Что это, Назар, каким ты именинником приехал нынче? А где у те покупки-то?

Назар молча и загадочно улыбнулся, и все стоял посредине избы, и все нащупывал что-то за пазухой.

— Покупок я не купил, оставил до другого раза! — медленно, с расстановкой заговорил он и все улыбался своей хорошей, трогательной улыбкой, которая удивительно преображала его некрасивое лицо. — А вот, жена, погляди-кось, какую вещу я тебе привез! Двадцать пять рублев отдал, потому и не купил, все деньги извел . . .

Тут он бережно вынул „Икара", дрожащими руками развернул его и любовно поставил на стол.

При взгляде на голые человеческие фигуры почтенная женщина долго не могла вымолвить ни слова, пораженная горем и негодованием. Наконец она всплеснула руками и неожиданно для Назара вдруг разразилась энергичной и звонкой бранью:

— С ума ты сошел, старый дурак, греховодник ты этакий, бесстыжие твои глаза! . . Голых баб купил, батюшки мои светы! Да неужто не стыдно тебе глядеть-то на этакую пакость, бесстыдник ты, охальник, озорник бессовестный! Да неужто двадцать пять целковых? Батюшки! Ограбил! Разорил! По миру пустил, разбойник . . . душе-гу-уб! Что мы есть-то теперь будем? Дети-то босиком да без хлеба! Ай, батюшки! Да и что это с тобой попритчилось?

Ее укоры мало-помалу перешли в причитания и слезы. Мысль о двадцати пяти рублях, истраченных так глупо, все более и более ужасала ее.

Она плакала с воем и причитаниями, как плачут по покойникам. Ребятишки, глядя на нее, тоже завыли.

А Назар стоял среди них, как бы пробужденный от сна, и силился что-то сказать, и на добром лице его выражалась острая и внезапная боль.

Смотреть на бесстыдных „голых баб“ Назару строго воспрещено. И только по воскресеньям, когда жена с детьми уходит в церковь, Назар отпирает сундук, бережно вынимает оттуда „Икара“, садится за стол, держит хрупкую вещицу в своих огромных, корявых пальцах, долго любуясь ею, и детская, прекрасная, трогательная улыбка появляется на его лице.

1904



ОКТАВА

I

На краю захолустного уездного города плотники строили двухэтажный деревянный дом. Весеннее солнце ослепительно сияло в голубом небе, и городишко, затерянный среди широкой зеленой степи, мирно дремал, пригретый жаркими лучами. На далеком степном горизонте серебряной рекой струилось марево, в город прилетал теплый ветер, пропитанный запахом степных трав. Улица около постройки сплошь заросла травой; окна домов были закрыты от солнца ставнями; кругом веяло тишиной и ленью, и спокойствие городка нарушала только плотничья песня, звучно и весело разливавшаяся в воздухе. Разделившись на две кучки, плотники стояли на верхних венцах сруба, высоко над землей, и тащили балку. Фигуры плотников в разноцветных рубашках и черных картузах отчетливо вырезались на нежном фоне голубого неба. На одном с ними уровне, как бы мимо них и рядом с ними, плыли причудливые серебристые облака . . .

Балку вкатывали быстрыми порывами, и поэтому напев был тоже быстрый и веселый. Обе кучки чередовались в песне, перекидывая мотив одна другой. По одну сторону были бородатые пожилые мужики, — они пели густыми, низкими голосами, по другую — собралась молодежь, — она подхватывала песню высокими и веселыми фальцетами.

Ка-а-тай, наши, катай,
Знай покатывай, катай! .. —

звенели веселые и переливчатые свежие голоса в чистом и спокойном воздухе, пропитанном смолистым запахом сырого дерева.

И тотчас же с другого угла им вторили басы, ободряющие, солидные, спокойно-уверенные:

Ва-а-ляй, наши, валяй,
Знай по-ва-ли-вай, валяй!

А молодые уже опять заливались:

Ка-а-тай, наши, ка-тай...

Эта бесконечная песня, перебрасываемая от одной кучки к другой, лилась играючи, свободно и легко. Так же двигалась и балка, поднимаясь все выше и выше. Наконец она вкатилась на верх дома, и тогда зазвучала другая песня.

Здоровенный голос загремел на весь город, всколыхнувши его тишину:

Э-эй, мор-двин, подвинь...

И, прежде чем он смолк, вся артель, легко увлекая куда-то балку, густо подхватила:

Да у-ух!..
Э-эй, мо-ордо-во-чку..., —

завел опять громадный голосище.

Да ух!.. —

подхватывала толпа.

Песня гремела и звенела. Она звучала высоко над городом, под широким простором синего неба, дополняя картину разноцветной артели, плывущих мимо нее облаков и раскинутой кругом зеленой степи.

Артельный запевала, обладавший могучим голосом, вдохновлял и увлекал не только всю артель, но и прохожих. Несколько фигур стояли внизу около постройки и, задравши головы, слушали, как из артели плыл густой, как смола, крепкий и свежий голос:

Э-эй... мо-ордо-вский сын, да-о!..

Тщедушный уездный дьякон, в соломенной старой шляпе и голубом полукафтане, с любопытством остано-

вился в отдаленье и слушал, играя перстами в своей козлиной бороде. Он склонил голову набок и с видом знатока вслушивался в могучий голос.

Когда плотники умолкли и стали сходить по мосткам на землю, он подошел ближе и закричал им резким басом:

— Эй, ребята! А который из вас запевало?

Плотники поглядели на дьякона.

— А вот он, отец дьякон! Эй, Захарыч, покажись отцу дьякону!

На верху сруба, как на пьедестале, появилась крупная фигура мужика в пестрядинной рубахе, синих портах и лаптях. Он был среднего роста, с огромным туловищем на несоразмерно коротких и толстых, как тумбы, ногах, широкоплечий, с выпуклой богатырской грудью и кудлатой, большой головой. Безобразное, с толстым носом, широкое лицо обросло рыжей клочковатой бородищей. Похожий на языческого идола, он стоял, упершись руками в бока, и казался богом плотничества, олицетворением всей этой незатейливой, но крепкой и незыблемой жизни. Он царил здесь, созданный как бы только для этой жизни, наилучшим образом приспособленный к ней.

Дьякон поднял бороду кверху, чтобы разговаривать с плотником, фигура которого подавляюще высилась над ним.

— Это у тебя такая здоровая глотка? — спросил его дьякон.

— У меня-а! — ухнуло сверху. — Хо-хо!

Плотник засмеялся тяжелым и круглым, как бревно, грудным смехом.

— Ему в хайло-то ваша шляпа пролезет, отче! — говорили плотники. — В рясу бы его обрядить, ваше преподобие!

Собираясь обедать, они сходили на землю с кошелями, обрубками дерева и крупными щепками под мышкой.

— А ну, слазь, Захарыч! — закричал дьякон. — Я поговорю с тобой!

Захарыч тяжело и медленно стал спускаться по сходням, и они гнулись от его шагов.

Когда он предстал пред дьяконом, тот невольно отступил, как бы почувствовав свою хилость в сравнении с этим богатырем, от которого веяло несокрушимым здоровьем, силой и крепостью, как от смолистой крупной

сосны, глубоко пустившей крепкие корни в чаще тихого, девственного леса. Все в Захарыче было аляповато, грубой, топорной работы, но крупно и крепко. Казалось, что природа, создавая его, имела идею слепить что-то выдающееся, наскоро затратила на эту мощную фигуру огромные куски дорогого материала с целью обработать его после, но потом почему-то так и оставила Захарыча неотесанным. В его фигуре истукана и нечеловеческом голосе было нечто внушающее страх, и только огромные, как у быка, глаза светились добродушным спокойствием и наивностью ребенка. На вид ему казалось лет сорок; густые, крепкие спутанные кудри его были перевиты серебристыми нитями.

— Тебе чово? — спросил он с сильным ударением на „о“.

— „Чово“! — передразнил его дьякон. — А ты вот „чово“, что не поешь в церкви с этаким голосищем?

— На́што? — добродушно отвечал Захарыч. — Мне и здесь хорошо!

Он повел могучим плечом и с любовью окинул глазами плотничью работу, синее небо с плывущими облаками и зеленую степную даль.

Дьякон хлопнул себя по бедрам.

— Как „на́што“? — вскричал он, энергично потрясая бородой. — Бог тебе дал талант, значит, нужно тебе не „дубину“ орать, а в божьем храме петь, чтобы люди слушали и умилялись. Твой голос для украшения хора и церковных песнопений может служить! Разве это плохое дело? Ведь это — кому? — внушительно подняв кверху палец, спросил дьякон. И, помолчав, сам ответил: — Б-богу! — и отступил от Захарыча, строго глядя на него с поднятой кверху рукой, перстом указующей в небо. — Ему должен служить тот человек, который имеет от него талант, а не себе! В Писании сказано: „Овому даде талант, овому два . . . Кому дано много, с того много и взыщется!“

Захарыч задумчиво и внимательно слушал хилого, но горячего дьякона. Остальные плотники тоже медлили уходить и, слушая дьякона, зорко смотрели на товарища, точно видя в нем что-то новое.

— Оно, конечно . . . — виновато и медленно ответил Захарыч, — да где же нам? Мы неграмотные . . . ничего не знаем . . .

— Там выучат и еще тебе же деньги будут платить! Ну-ка, скажи: „Вонмем!“

— Гы! .. — густо усмехнулся Захарыч.

— Не „гы“, а ты бери! Вот так!

И дьякон, выпрямив грудь и сложив губы трубой, затянул, потрясая козлиной бородой:

— Во-о-н-мем! Вот так! У тебя лучше моего выйдет! Ну! Разевай глотку, я послушаю.

Захарыч сконфузился, покраснел и, набрав в грудь воздуха, загудел, как труба, на целую октаву ниже дьякона:

— Во-о-н-мем!

И тут он сразу увидел свое превосходство над дьяконом. У Захарыча вышло, как будто в праздничный колокол ударили, торжественно, густо и добротно, а у дьякона голос дребезжал, как разбитый чугун.

— Да у тебя октава! — всплеснув руками, закричал дьякон и, подойдя вплоть к лицу Захарыча, заговорил тихо и вразумительно: — Да знаешь ли, глупый человек, что ты совсем не ту ноту взял, на шесть тонов ниже: я сказал в среднее „до“, а ты закатил в нижнее, да как! .. Аж земля загудела! У тебя октава, чудак ты этакий! Знаешь ли ты, что такое октава? Это золотой голос! Сторублевый голос! Цены нет твоему голосу! Эх, дурак!

Дьякон тряхнул бородой и добавил с грустью:

— Экий капитал пропадает! Поступай в певчие! До дьякона достукаешься!

Захарыч почесал в затылке, посмотрел на свои лапти, на синие порты, на обрубок дерева под мышкой...

— Где нам до дьякона? — отвечал он. — Наше дело плотницкое ... мы топором ...

— „То-по-ром“! — уныло передразнил дьякон и вдруг опять энергично затряс бородой. — Хошь, сейчас в хор определю? И плотничество не надо бросать: по праздникам ведь поют-то. Ну! Пойдем ... я тебя регенту покажу!

Он схватил Захарыча за руку и потащил за собой. Молча и долго смотрели плотники, как товарищ уходил от них вдоль по улице, заросшей зеленой травой. Захарыч шагал, задумчиво опустив голову, а дьякон, развевая широкими рукавами голубой рясы, разводил руками и мотал бородой.

— Увел! — сказал один плотник, прерывая молчание.

— Нештó! — добавил другой.

— Айда, ребята, обедать! Теперь Захарыч у нас в божьи дудки, значит, записался! — весело воскликнул

молодой парень с рыжими волосами в кружало, торчавшими из-под картуза.

— Что ж! — солидно возразил один из пожилых. — Дьякон верно говорил: богу это!

— Да богу-то богу, а не рука все-таки плотнику в певчие лезть. Что он может? Для бога! Богу-то и топором послужить можно!

— Как же топором-то?

— А по церквам? Строй церкви! Вот тебе и в плотничьем виде можешь рвение оказать! Напрасно дьякон мужика сбивает! Одна склока!

Гурьбой, все с обрубками и щепками под мышкой, плотники шли по зеленой тихой улице и обсуждали судьбу Захарыча.

— Вросло, скажем, дерево в землю, — говорил высокий и худой старик, — хорошее дерево! А пересади-ка его на другое место, так оно, пожалуй, и пропадет! И человек то же, что дерево: пошто отрывать его от корня?..

II

В губернском городе на Волге по всем церквам звонили ко всенощной. В морозном зимнем воздухе, перепутываясь, плыли густые колокольные звуки. Зимняя ночь опускалась над городом, в домах зажигали огни, и на темном небе всплывали звезды...

К домовой церкви городского училища шел народ, то и дело подъезжали щегольские сани. В этой церкви был канун „престола“, и там пел хор певчих, лучший в городе. Хор этот содержал купец Понедельников, церковный староста и попечитель училища. Церковь, прилегающие к ней коридоры и даже лестница были набиты народом. Певчие помещались не на клиросе, который был мал, а на особо устроенной эстраде, отгороженной перилами, у задней стены церкви, входные двери были устроены в боковой стене.

Большой хор занимал всю эстраду, выстроенный на ней рядами в полукруг, как на сцене. Впереди, вытянувшись как игрушечные солдатики, стояли мальчики в серых курточках, а позади них в два ряда виднелись взрослые певчие: справа тенора, франтоватый народ, слева басы, огромные, мрачные люди, с густыми грива-

ми до плеч; на заднем плане, в тени, видны были фигуры людей с длинными окладистыми бородами.

Около перил, перед иконой, стоял толстый лысый купец лет пятидесяти, с окладистой седоватой бородой и суровым взглядом, одетый в черный длиннополый сюртук и высокие лакированные сапоги. Это был Понедельников. Между купцом и иконой сиял тяжелый серебряный подсвечник, уставленный множеством восковых свечей. Рядом с Понедельниковым стоял регент, с очень длинными, свешенными вниз усами, с чубом на круглой стриженой голове и серьезным взглядом, в глубине которого светился скрытый юмор.

— Ну что ж, приехал новый октавист? — спросил Понедельников.

Регент шевельнул одним усом.

— Приехал. Пробовал. Голос большой, — отвечал он с расстановкой, точно каждое слово его было золотое и он взвешивал его на руке.

— Выстоит против Томашевского?

— Сильнее. Медный голос.

— Ну-у? Из каких он? Чай, из духовных?

— Нет, из простых. В уездном городе пел. Знает еще плохо, но голос — таких октав я давно не слышал!

— Если выстоит супротив Томашевского, красную дам ему на чай!

— Нет, не балуйте их этим. А то ведь . . . гнать придется.

— Ну, вот еще! Все равно пьяница, чай?

— Нет. Говорит, не пьет.

— Где уж, чай, не пить! . .

В церкви становилось жарко от тесноты, свечей и пылающего вверху паникадила. Темные, старинные лики икон смотрели сурово на густую нарядную толпу. Ее сдержанный гул, шелест платьев, покашливанье и шум от толкотни смешивались с треском свечей и позвякиваньем раздуваемого кадила. С улицы глухо доносился трезвон колоколов. Пахло ладаном, топленым воском и потом.

Зашуршала и отдернулась завеса „царских“ дверей, на амвон медленно вышел сутуловатый и приземистый протодьякон в белой серебряной ризе. Его длинные тяжелые волосы лежали по плечам и спине.

Всенощная началась.

Регент строго поводил по сторонам блестящими глазами, требуя внимания. Вид у него был торжественный

и суровый. Он похож был на Святослава перед боем или запорожского гетмана: длинные усы его свирепо шевелились, чуб на стриженой голове встал, ноздри горбатого носа раздулись. Регент величественно поднял руки.

Пение началось нежным аккордом, разрослось, расширилось и стихло, закончившись замечательно густым и приятным звуком серебристой октавы.

Этим красивым голосом пел самый молодой из басов. Высокий, стройный, с белым интеллигентным лицом, с небольшими усиками юноша лет двадцати пяти: он был чисто одет, и благообразное лицо его резко выделялось из кучи хохлатых голов, длинных бород и опухших физиономий. Его мягкий голос затушевывал все шероховатости и мелкие недостатки хора, объединяя все звуки в одно целое — в круглый и густой аккорд.

В половине всенощной на эстраде из боковой двери появился Захарыч. Он был в плотно застегнутом казинетовом „пеньжаке" и кожаных мужицких сапогах. Кудрявые волосы, перевитые сединой, лежали венком на его широкой голове. Он истово перекрестился на иконы и вопросительно взглянул на регента. Тот молча указал ему место рядом с молодым октавистом, и Захарыч скромно встал к стенке.

От копоти и ладана в церкви стоял туман; с ярко освещенной эстрады трудно было различить в этом тумане плотную толпу народа: она только шевелилась, гудела, вздыхала и казалась одним существом, которое дышало одной грудью, одним дыханием. Хор однообразно гудел „Господи, помилуй", и, как отзвук после удара в колокол, струилось „луй" молодого октависта. Захарыч молчал. Он с удовольствием слушал это стройное, равномерное пение. Голоса звучали свободно и легко, никто не жилился и не выходил из себя. Молодой октавист умел пускать свой львиный рев так благородно и мягко, что хотелось подойти и расцеловать его за то, что у него такой бархатный, маслянистый и сочный голос.

Заслушался Захарыч хорошего пения и не решался показать силу своего голоса. Стесняла его и публика, наполнявшая церковь: виднелись фигуры барынь, господ и купцов, а простого народу совсем не было.

Но вот регент поглядел на него и шевельнул длинным усом. Захарыч начал подпевать. Голос его своим колокольным рокотом, как звон огромных медных струн, тотчас же отделился от мягкого голоса его соперника.

На общем нежном фоне хора гудение Захарыча выступило металлически ясно, точно лилось оно из медной груди. Тогда его соперник стал петь сильнее, но и Захарыч, осмелев, загудел, как машина. Они тянули „луй“ все время, пока дьякон читал, — ни один не хотел кончить раньше другого. Голоса их подавляли хор и рокотали, как большие колокола.

Началось состязание.

Купец Понедельников и еще несколько толстых купцов, обернувшись к хору, смотрели, не сводя глаз с октавистов, да и весь остальной народ с напряженным любопытством слушал эти потрясающие звуки. Из-за их „луй“ не было слышно ни дьякона, ни священника, ни пения хора. Это уже было нехорошо, но регент сам увлекся их борьбой и не запрещал им реветь, как двум бодающимся буйволам.

А они стояли рядом и, косясь друг на друга, рылись в низких рокочущих звуках. Один, молодой, красивый, закинул голову кверху и выставил громадный двойной кадык, другой, безобразный, широкий, уперся подбородком в широкую выпуклую грудь и поводил исподлобья большими глазами.

Груди их, высоко подымаясь, работали, как кузнечные мехи. В воздухе, лишенном резонанса, голоса их, охватив друг друга, густой волной носились над толпой людей, и доски эстрады гудели под ногами октавистов, как верхняя дека огромного контрабаса. Голос Захарыча был сильнее, но соперник его имел перед ним другие преимущества: хитрость и ловкость. Он давал Захарычу выпустить половину силы и как будто уступал, но в конце вдруг обнаруживал всю свою силу и обрушивался на Захарыча.

Ектения кончилась, прервав на минуту борьбу. Регент задал новый тон, и хор опять запел. Соперник Захарыча играл своей октавой, как мячиком, упруго и легко перескакивая с ноты на ноту, точно в струны ударял, а Захарыч, не поспевая за ним, сердился на самого себя. Чувствуя превосходство свое в силе, он завидовал уменью соперника, и его обижало сознание бесполезности силы. Неужто здесь, в городе, не сильный побеждает, а ловкий? И плотник ощутил в себе раздражение против городских тонкостей . . .

Началось тягучее тихое пение ирмосов, все основанное на октаве. Захарыч решился сломить своего увертливого противника.

Колокольчиками звенели тенора и дисканты и плыли, качаясь на широкой басовой волне, разливались все шире, становились сильнее, точно приближался величавый девятый вал . . . Захарыч глубоко вздохнул, набрал в грудь воздуху и приготовился, сердито нахмурив брови.

Вот регент величественно развел руками, повернулся лицом к октавистам и, наступая на них, задержал бушующий, широкий аккорд.

Оба октависта раскрыли свои глотки и наполнили душную церковь львиным ревом. Гребень высоко поднявшейся волны звуков обрушился и разлился с грохотом и звоном. Захарыч надулся, короткая шея покраснела, пуговицы ворота у рубашки отлетели, и выпустил из груди целый вихрь густых и бурных звуков. Эта волна, как порыв бури, всколыхнула воздух, поглотила хор и раздавила хрустальную октаву молодого человека. Затихал хор уже без октав. Оба певца, измученные, остановились и тяжело дышали. Пот струился по их лицам. Купцы с восторгом смотрели на Захарыча и готовы были ему аплодировать: он „заглушил“ — значит, состязание было кончено.

После всенощной, когда народ с шумом повалил из церкви, Понедельников подошел к перилам эстрады и громко сказал регенту:

— Нового прими и Томашевского не увольняй: пущай оба ржут.

А потом добавил, усмехнувшись и протягивая двадцать пять рублей:

— Вот это им! . . На овес!

III

Захарыч вступил в жизнь для него совершенно незнакомую. Он еще никогда не жил в большом городе и не встречался близко с городскими людьми. Теперь пришлось знакомиться и сталкиваться с ними. Певчие были самый разношерстный народ, примениться к ним было трудно. Некоторые, как Томашевский, выглядели господами, другие имели вид пропойц, третьи были похожи на мастеровых. И все они много пили, а Захарыч совсем не пил и поэтому чувствовал себя чужим среди них. Их речи, мнения, поступки и образ жизни — все удивляло Захарыча.

Однажды после обедни регент строго провозгласил на клиросе:

— Завтра к семи часам на Купеческую улицу! Не опаздывать!

У всех певчих, как у больших, так и у маленьких, просветлели физиономии, точно им сказали что-то приятное.

— Что это будет завтра? — спросил Захарыч Томашевского.

— Похороны! — смеясь, ответил тот. — Доход! Бог покойничка послал.

— Плохо мрут нынче хорошие-то люди! — поддержал разговор запьянцовский тенорок, с очень смешной физиономией и вертлявый, как обезьяна. — Год плохой-с! Не мрут богатые-то, а так, шваль разная дохнет! Из рук вон плох нынешний год-с.

Он сделал мечтательную физиономию и продолжал сладким голосом:

— Ах, в прошлый сезон какие покойнички-то были! — Вертлявый поцеловал кончики пальцев. — Антик-муар с гвоздикой-с! Купцы какие хорошие мерли, помещики... прелесть! Певчие, бывало, после похорон и напьются и подерутся, все как следует, честь честью! А теперь-с?

— Ржавчина! — строго рявкнул на него бас величественной наружности и с целой охапкой кудрявых волос на голове. — Какая у тебя скверная теноровая привычка болтать много слов. Вас, теноров, нужно бить уже за одно то, что вы тенора.

Он сверкнул на Ржавчину презрительным взглядом и спросил его октавой:

— Кого хороним?

— Не знаю-с, Илья Николаевич! — с притворной робостью отвечал Ржавчина.

— Ну, кого — это наплевать! А за сколько?

— Увы, Илья Николаевич, за двадцать и трешницу на чай!

Илья Николаевич энергично плюнул.

— Сволочь! — пробурчал он — вероятно, по адресу покойника.

На другой день после заупокойной обедни из церкви попарно, длинной вереницей выходил весь хор, потрясая воздух могучими раскатами похоронного пения.

— „Свя-ты-ый бо-же!“ — гремели басы, звенели те-

нора и заливались дисканты, а Захарыч с Томашевским замыкали шествие и ревели октавой.

Редкие и густые удары колокола, медленно падая с колокольни, сливались с пением хора. Через минуту процессия вытянулась по площади. Впереди хора несли крышку гроба, а сзади, на некотором расстоянии, медленно двигался печальный катафалк, сопровождаемый мрачными людьми в черных плащах, толпой народа и вереницей экипажей. За хором шли священник и дьякон в ризах, надетых поверх шубы.

Был холодный зимний день, солнце ярко сияло, и певчие, подняв воротники и обвязав уши платками и шарфами, без шапок, медленно шли по дороге, утаптывая искрившийся и хрустевший снег. Они пели, широко раскрывая рты, пар оседал инеем на усах и бородах. Прохожие с любопытством останавливались посмотреть на процессию, почтительно обнажая головы. В промежутках между пением певчие разговаривали о своих делах, пересмеивались, рассказывали анекдоты.

— Сказали ему, понимаешь ли ты, что в этом доме хозяин умирает . . . Вот он и стучит в окно: „Хозявушки!" А у окошка сидит старичок. „Тебе чего?" — „Да у вас, я слышал, покойничек есть, царство ему небесное, а я регент. Не надо ли хор?" — „Нет, — отвечает старичок, — не надо: мне, слава богу, полегче".

— Хе-хе-хе! Вот налетел-то!

— „Свя-ты-ый б-бо-же!" — гудит опять хор. Веселый разговор прерывается. Рыдающие похоронные аккорды далеко несутся в морозном воздухе.

Захарыч шел вместе с другими, ревел, слушал разговоры певчих и чувствовал странную, непривычную неловкость от этого смешения печали и смеха.

По дороге процессия остановилась у огромного дома, около которого был выставлен стол для литии. Завидя стол, басистый дьякон, с окладистой черной бородой и широкой грудью, еще на ходу начал служить литию. Он служил самодовольно, заученными приемами, пуская красивые ноты и красиво отчеканивая слова.

„Вечную память" он с удовольствием пустил вниз. Хор торопливо подхватил.

Когда процессия приблизилась к воротам кладбища, ее встретили печальными ударами колокола, а в самых воротах уже стоял маленького роста священник в черной ризе и с дымящимся кадилом в руке. Лицо у него было ласковое и приветливое. Рядом с ним стоял клад-

бищенский дьякон, высокий и мрачный, весь заросший волосами.

Едва священник завидел покойника, как залился тончайшим тенорком, гостеприимно помахивая дымящимся кадилом. Дьякон угрюмо вторил ему грубым, как бы железным, басом. Певчие смолкли, покойника поставили в воротах, а веселый кладбищенский священник приветствовал его, заливаясь как соловей и благодушно помахивая кадилом. Казалось, что он был очень рад новому гостю и очень хлопотал о том, чтобы доставить ему всевозможные приятности.

Процессия двинулась по узкой дорожке, мимо огороженных памятников, крестов и могильных плит.

У свежей могилы затихли последние звуки хора. Гроб опустили в яму, послышались глухие удары земли о гробовую крышку. Кто-то зарыдал тем надрывающим душу рыданием, которое можно слышать только на могилах. Помощник, заменяющий регента, торговался с распорядителем похорон.

— Прибавьте на чай певчим!.. Холодно!.. Люди устали...

— А почему мальчиков было меньше, чем обещали?

— Помилуйте, все налицо!

Певчие стояли в стороне, надевая шапки на заиндевелые головы и разминая застывшие члены.

— Эх, водки бы теперь! — говорил Томашевский, ежась в своем коротеньком пальто. — Весь застыл!

— Проклятое ремесло! — сказал кто-то.

Помощник регента получил деньги и направился к воротам. За ним потянулся хор. Мальчики бежали вприпрыжку и дули в озябшие кулаки. Вскоре весь хор — и взрослые, и дети — вошли в „Россию", трактир, ближайший к погосту.

Там, кряхтя и звучно откашливаясь, они уселись за длинный стол и потребовали себе чаю, водки. За соседним столом разместились румяные озябшие мальчуганы и набросились на чай и булки.

Когда выпили по две рюмки, хохлатый бас Илья Николаевич вынул записную книжку, взял карандаш и сказал внушительно:

— Ну-с, господа! Деньги по рукам! Сколько положить Захарычу?

Певчие замялись.

— Положить ему как хорошему октависту, — уклончиво сказал кто-то.

— Да сколько? Томашевский получает восемь процентов. Я кладу Захарычу столько же. Никто не имеет против?

— Клади! — загудел хор. — Ничего! .. Им поровну можно получать.

Илья Николаевич выпил водки и углубился в составление раскладки. Появилась новая бутылка. Загудел разговор. На одном конце стола говорили одно, на другом — другое. Изредка вырывались громкие восклицания.

— Эх ты, жизнь! Из церкви в кабак, из кабака в церковь.

— Такая уж наша судьба, чтобы, значит, петь и пить.

— А бутылка-то опять пуста! — прищелкнув языком и смешно прищурясь, вскричал Ржавчина. — Захарыч, не желаете ли вы обмыться?

Тогда весь хор загудел:

— Надо, надо! Надо обмыть октаву! С поступлением! Следует поклепать!

— Что ж! — отвечал Захарыч, почесав затылок. — Я поставлю, только сам-то я не пью.

— Ты не пей, а нас угости!

Илья Николаевич поднял кудластую голову и уставился на Захарыча.

— Не пьешь? — строго спросил он его.

— Не пью.

— Нехорошо. Следует пить, ибо непьющих октавистов не бывает.

И опять углубился в раскладку.

— Эх, Ирлюша! — раздался картавый и задушевный бас. — Не соврлащай, брлат, единого от малых сих. Сопьется и без нас в силу судеб.

— Ну-ну, Петр Иваныч, не скули! Святая душа! — смягчаясь, бурчал Илья Николаевич.

Захарыч невольно посмотрел на картавого Петра Иваныча. Этот бас всегда был немножко пьян, даже по утрам, до обедни. Он был очень высок и страшно худ. Лоб у него был большой, с заливами, лицо некрасивое, острое книзу, но глаза смотрели по-детски ясно. Певчие относились к нему как-то особенно: с уважением, с любовью и в то же время снисходительно, как к ребенку. Захарычу захотелось поговорить с Петром Иванычем. Он спросил певчим бутылку водки и подсел к

нему. С Петром Иванычем сидел и Томашевский, который держал себя неприступно и гордо.

Мальчики ушли, получивши свою часть из дохода. Певчие звенели деньгами. То и дело появлялись новые бутылки. Все говорили разом, и звукам голосов вторил звон рюмок и бутылок.

— Ты из каких, брат? — спросил Петр Иваныч Захарыча, поймав его внимательный взгляд.

— Плотники мы... Ну, сбили меня в певчие. Два года пел в Бугуруслане и плотничал. А теперича, значит, работу порешил... Пою. Говорят про меня, коли бог дал ему талант, то, значит, и быть ему надо в хору: пущай люди слушают.

— А семья-то у тебя где?

— Семья у меня завсегда в деревне живет. Потому как я с артелью по всему уезду ходил...

Захарыч был очень рад, что наконец встретил человека, которому можно рассказать о своей семье, о деревне.

— Талант! — воскликнул Петр Иваныч, и грустная, прекрасная улыбка осветила его некрасивое лицо. — Талант! Правда твоя, — он обязывает тебя быть в хору, но смотри, брат, береги его: здесь омут.

Он окинул трактир грустным взглядом и повторил:

— Да, брат, омут!

Томашевский улыбнулся и заговорил:

— Все ты врешь, Петр Иваныч. Что здесь за омут? Здесь трактир для порядочных людей, которые трудятся, устают и зябнут на морозе, а отдыхают и веселятся только в кабаке. Сволочь сюда не ходит, стало быть, только здесь и можно отдохнуть душой порядочному человеку.

Томашевский говорил не октавой, а тенором, точно октава была у него только для пения.

— Эх, Саша! — задушевно воскликнул Петр Иваныч. — Понимаю я тебя: хороший здесь народ пьет, да ведь жизнь-то какая? Пьяная жизнь, со святыми упокой, аминь, и ку-ку!

— Полный ход! — сказал Томашевский и влил в себя „двуспальную" рюмку водки. От водки его белое лицо разрумянилось; по красивому, словно выточенному лбу расплылось розовое пятно, похожее на облако. Лицо приняло возбужденное выражение, и казалось, будто что-то неожиданно загорелось в этом человеке.

— Омут не здесь, — упрямо сказал он, коснувшись

октавной ноты, словно слегка стукнул по барабану.

Томашевский взволнованно выпил еще, встал и зарычал, как лев, и злобно выругался.

— Саша, милый! — обнимая его, утешающим голосом говорил Петр Иваныч. — Брось, не растравляй себя, выпьем! Ты думаешь, сделал человек подлость, так уж он весь насквозь мерзавец? А он на другой день возьмет да геройский подвиг и совершит. Стало быть, нет ни плохих людей, ни хороших, а есть просто человек, в котором все перепутано: и добро, и зло. Жизнь горька везде.

— Ах, не то все ты говоришь! — крикнул Томашевский, наливая в обе рюмки.

— Эх, мужичище! — вдруг обратился к Захарычу Петр Иваныч. — А зачем ты деревню бросил и в город припер? Тоже своих бросил? Ты к нашим, а мы к вашим! И в сем самом кабаке происходит слияние интеллигенции с народом. То есть интеллигенция — это мы с Томашевским, а народ — ты! Понял?

— Понял! Оно верно!.. Я — мужик... — отвечал Захарыч.

Кабак шумел и гудел. Певчие были уже наполовину пьяны и пели хором. Пьяный Ржавчина стоял перед столом с сияющей физиономией и управлял хором, разводя руками и перебирая пальцами.

Ты взойди-ка, взойди!.. —

запевал он на весь трактир хорошим, звонким тенором, а хор подхватил, расширяясь и вырастая:

Солнце кра-а-сное-е!..

Басы перекатывались волной и рассыпались брызгами. Тенора так и плакали, так и выливали всю душу.

Над горою взойди над высо-о-о... —

зазвенел опять голос Ржавчины, а хор дружно подхватывал и разливался:

Над высокою над дубравою, взойди над зеленою...

Песня вызывала в воображении привольную волжскую картину: раннее утро над спокойной, зеркальной

рекой, зеленые горы, поросшие кудрявым лесом, а из-за горы выходит багряное солнце, розовые лучи скользят по мокрой траве и спокойной реке, пахнет росой, и воздух свеж, а с реки поднимается прозрачный, голубоватый туман. По песку идут озябшие, измученные люди... Захарычу тотчас же представилась эта родная картина, и дымный кабак на минуту исчез перед его глазами.

Тянут, тя-нут ребятушки,
Тянут родимые... —

заливался звонкий тенор, а хор тихо и протяжно подхватил с какой-то особенной нежной задушевностью:

Барку с хлебушкой!..

— Пусть наша жизнь, — гремел голос Томашевского, — страдание непонятых сердец, пускай. Кричите громче, пойте! Будем громко петь о горькой нужде и о том, что люди несчастны. Я спою и о том, как идем мы к погибели, оттого что мы артисты, а не жулики, оттого что у нас не умерла душа и мы еще можем чувствовать и петь, искренно веселиться и искренно плакать! От этого мы идем к погибели.

Мы не сами-то идем... —

звонко и размашисто запевал Ржавчина с отчаянной удалью, потряхивая волосами, а хор, заглушая трактирный гам, звон посуды и щелканье бильярдных шаров, загудел, как ветер, стихийно и неудержимо:

Нас нужда-а ве-дет!..

Басы прокатились волной и унесли куда-то вдаль жалобные теноровые звуки:

Нужда го-орь-ка-я...

IV

Певческие „похороны" затянулись до поздней ночи. Захарыч должен был вести домой вдребезги пьяного Петра Иваныча и заночевать у него. Петр Иваныч,

Илья Николаевич, Ржавчина и некоторые другие, все одинокие, жили вместе и представляли из себя одну колонию.

Когда Захарыч проснулся, то увидел такую картину.

В неприглядных комнатах деревянного флигелька было грязно, не убрано, голо и бедно. Солнце тускло светило сквозь замерзшие окна, бледными и грустными лучами освещая сонное царство пьяных. Все спали в тех позах, в каких были захвачены хмелем. Ноги Ржавчины лежали на кресле, а голова на полу, прикасаясь к длинным ногам Петра Иваныча, вытянутым из-под стола. Ржавчина опустил ноги, приподнялся, сел, встряхнул всклокоченной головой, посмотрел на спящих, нюхнул носом и состроил рожу. Природа наделила его чрезвычайно уморительной физиономией, со вздернутым и загнутым кверху носом, такой подвижной от вечного гримасничанья, что другой тенор, Иванов, толстый и молчаливый человек с красивым и скучающим лицом, проснувшийся на сундуке, звонко рассмеялся.

Весь пол занимала гигантская фигура Ильи Николаевича. Он спал на спине, раскинув могучие руки, разметав свою великолепную гриву. Кругом валялись груды нот, разбитая гитара, скрипка в старом футляре, пустые пивные бутылки; под кроватью виднелась корзина из-под пива. В комнате было холодно, углы ее промерзли.

Ржавчина подмигнул Захарычу на спящего баса и сказал с ужимкой:

— Изверг рода человеческого!

— Мастодонт! — подтвердил Иванов. — Не пора ли его будить, Ржавчина?

Ржавчина, приплясывая, осторожно потряс мастодонта за могучее плечо.

Раздалось громкое рычание.

Ржавчина благоразумно отскочил в сторону и сказал, пожимаясь:

— Нет еще, не пора-с: убьет!

Проснулся Петр Иваныч, прогудел: „Что за черт!“ — и вылез из-под стола; молча запустил руку в пивную корзину, нащупал там бутылку с пивом, привычным ударом об ладонь вышиб пробку и стал тянуть из горлышка.

Ржавчина вытащил корзину: там остались только две бутылки. Он сделал кислую мину и тоже откупорил

бутылку. Пиво соблазнительно забулькало. Илья Николаевич издал протестующее рычание.

— Ржавчина, пора! — сказал Иванов, зевая. Ржавчина допил пиво, скорчил рожу и, наклонясь над басом, закричал ему в ухо изо всей силы:

— Илья Николаевич! Зе-мле-тря-се-ние! ..

Бас пробормотал сквозь сон:

— Пшел! Разбуди, когда дойдет до нашего квартала!

Ржавчина посмотрел на всех с плачевной физиономией.

— По-жа-ар! — закричал он в ухо раздирающим душу голосом.

— Наплевать! — мычал бас.

Ржавчина подмигнул всем и опять закричал в ухо:

— Илья Николаевич! Вы пиво — пьете?

И отскочил, приплясывая.

Бас медленно простер свою длань, чтобы схватить назойливого, потом открыл глаза, приподнялся на локоть, встряхнул охапкой спутанных волос, зевнул, как лев, и сказал с мрачным видом:

— Давай!

Ржавчина с ироническим подобострастием, гримасничая и кривляясь, подал басу бутылку пива. Илья Николаевич выпил ее единым духом и опять растянулся на полу.

— Водка есть? — спросил он, ни к кому не обращаясь.

Ржавчина подскочил к нему.

— Была-с, Илья Николаевич, да вы сами ее вчера выпили.

— Не твое дело! Знаю. А почему не позаботился достать?

— Кто ж это обязан вам водки доставать?

— Ржавчина, — возвысил свой бас Илья Николаевич, — попадешься ты мне под руку с похмелья! Вот встану сейчас и изуродую!

Иванов смеялся про себя и говорил тихонько Захарычу:

— Вот каждое утро у них эта комедия бывает! Ты не подумай, что это они серьезно. Боже упаси! Они жить один без другого не могут, закадычные друзья, а так себе — роли разыгрывают.

Ржавчина стоял от баса на приличном расстоянии и говорил с ужимкой:

— Уж я ваш характер знаю-с, Илья Николаевич: не встанете!

Ленивый бас действительно не пожелал встать для избиения тенора, а только выругался.

— Обезьяна какая! — ворчал он. — И на кой черт тенора на свете бывают? Все они глупые!

— Ну, и вы, басы, тоже...

— Молчать! Все вы мошенники!

— А вы шарлатаны!

— А вы козлы!

— А вы...

— Ржавчина! Убью! Нет, встану сейчас и убью эту самую Ржавчину!.. Сделаю доброе дело! — Бас приподнялся на локоть.

— Погоди убивать, — вступился Иванов, — быть может, он водки достанет. Нехай поживет! Убить всегда успеешь.

Бас опять лег и, зевая, произнес медленно и равнодушно, тоном помилования:

— И то... нехай!... А-а... поживет! Клоун проклятый!

Слово „клоун" задело Ржавчину.

— Что ж, — подскочил он, — я действительно служил в цирке клоуном. И кондитером был. Да-с. А вот вы-то кто-с?

— Я? — рявкнул бас, опять поднимаясь на локоть. — Ах ты, Р-жавчина! Я — студент, я — певец, а ты — нигиль, шут гороховый. Сравнил себя со мной. Ха-ха-ха!

Он театрально расхохотался.

— Илья Николаевич, ведь и я певец. Я в опере пел, а вы не пели.

— Что ж, не пел, а знаю больше твоего...

— Вот и не знаете. Пропойте-ка „В старину живали деды...".

— „В старину живали деды"? Ну, положим, я этого старья не пою... А ты-то сам знаешь ли?

— Я знаю-с. Хотите, спою?

— А ну!

Ржавчина уселся на кровати, сложил ножки калачиком, „пригорюнился", как-то по-бабьи подперев щеку рукой, и запел на мотив народной песни:

В ста-рину жи-ва-ли де-е-ды...
Эх! ве-се-лей своих внучат...

— Дурак! — остановил его бас. — Это „Не белы снеги“. Не смей у меня паясничать, когда я с похмелья. Эх! Как трещит главизна. Хоть бы полмешка соорудить.

— Что толку в этакой малости? — возразил Ржавчина. — Полмешком только вы поправитесь, а нам и понюхать не останется. Надо всю академию опохмелить, да и Захарыч, может быть, выпьет. Вы, Илья Николаевич, только о себе заботитесь.

— Обо мне хлопотать нечего, — вежливо сказал Захарыч, тяжелыми шагами прохаживаясь по комнате. — Вина я совсем не пью, а посидеть с вами посижу. Чудно вы живете. Хе-хе-хе!

И он рассмеялся грудным и медленным смехом. Домашняя жизнь певчих занимала его.

— Да, брат, мы чудно живем, — картаво отозвался Петр Иваныч, — деньги пропиваем, за квартиру не платим, а хозяйка печку нам не топит и нас вымораживает.

— Странная женщина! — пожал плечами Ржавчина.

— О, черт! — рычал на полу Илья Николаевич. — Как бы осмыслить внутренний полушубок?

— Плохо вы мыслите, Илья Николаевич! — задирал его неугомонный Ржавчина.

— А ты-то как мыслишь, чертова кукла?

— Я мыслю так, — говорил Ржавчина, — у нашей хозяйки в погребе на веревочке спущена четверть водки. Когда к ней приходят гости, проклятая баба вытягивает на веревке посудину и наливает в графинчик. Я полагаю, что от морозу посудина может лопнуть, и на веревочке останется одно только горлышко.

Мышление Ржавчины понравилось всей компании.

— Возьми с собой из-под кровати пустую четверть! — примирительно сказал Илья Николаевич.

— Господа! — обратился Ржавчина ко всем, воодушевляясь и понижая тон до таинственности. — Во время моего отсутствия вы можете поодиночке прогуляться по двору и незаметно захватить с собой по одному полену-с.

— Это, брат, идея! — воскликнул Петр Иваныч.

Ржавчина оделся и вышел.

Вскоре певчие сами затопили печку крадеными дровами, а через десять минут явился Ржавчина, вынул из-под пальто початую четверть водки, поднял ее над головой и запел звонким тенором:

Братья, рюмки наливайте!
Лейся через край, вино!..

С пола торжественно поднялся Илья Николаевич и отряхнулся, как пудель. На непокрытом столе появился кочан кислой капусты. Все подходили к столу и выпивали, ласково ругая Ржавчину.

— Бестия! Продувное существо! — галдели они.

— Рракалия, — гудел Илья Николаевич.

— Что же теперь в погребе-то?

— А там осколки четверти и горлышко на веревке...

— Хо-хо-хо! — громыхали басовые глотки. — Месть проклятой ведьме! Захарыч, пей, какого черта?

Но Захарыч не пил, а только удивленно кряхтел: „Ну-ну!“ — и качал кудрявой головой.

В это время из темного угла комнаты вышел еще один тенор. Это был седенький и сгорбленный старичок с ярко-красным носом и длинными жидкими волосами. Фигура его, облеченная в какую-то кацавейку, в узенькие и коротенькие брючки с оттопыренными и засаленными, словно лакированными, коленками, была смешна и жалка. Трясущейся старческой рукой он тоже потянулся к водке и с жадностью выпил. Он хрипло крякнул и, потирая руки, опять было направился в свой угол, но компания, пришедшая в благодушное настроение, остановила его.

— Профессор! Читай нам лекцию, читай лекцию! — галдели все.

„Профессор“ моргал красными веками и пугливо смотрел на всех кроткими старческими глазами. Черты его лица и вся фигура хранили следы былого изящества.

— Ах вы, пьяная абсурдия! — прохрипел он, улыбнувшись доброй улыбкой.

Илья Николаевич молча поставил посреди комнаты стул, а на стул „профессора“.

— Валяй! — сказал он ему и, обернувшись к остальным, строго рявкнул: — Молчите вы, черти! Слушать у меня, а то ребра переломаю!

Моментально все смолкло. Благородный бас лег в кресло и принял позу отдыхающего театрального короля.

„Профессор“ оживился от выпитой водки и заговорил.

Он говорил простым и понятным языком о происхождении мира, о материи, о каменном периоде, о теории Дарвина и первобытном человеке. Говорил о звездных мирах, о человеческих религиях, о Будде и Христе, об

истории всего человечества. Речь его не представляла из себя ничего цельного, но в ней было столько нового, и неожиданного, и странного для Захарыча, что ему казалось, будто перед ним раздвинули горизонт и показали новый, удивительный мир. Плотник весь напрягся и внимательно слушал, разиня рот. Он не знал, как отнестись к этой речи, — верить ей или смеяться над нею? Порою он вопросительно поглядывал на публику, застывшую в неподвижной группе, серьезную, внимательную.

А „профессор" строго и важно говорил им о боге, о цели и смысле жизни и о людях с пытливым умом, полным мучительного и вечного сомнения. Он говорил об их смелых мыслях и о том, как они шли против всех. Он говорил о Галилее, о Лапласе, об инквизиции и о протопопе Аввакуме. Он говорил о ненависти толпы к таким людям, о страданиях их духа и тела, о проклятиях, которым их предавали в соборах, и о кострах, на которых их сжигали.

Плотник слушал и порою тяжко вздыхал, удивленно моргая глазами. А дрожащий голос бывшего профессора звучал среди молчания:

— Дорого человек платит за свое стремление к истине! .. Только на этом пути он бескорыстен и только здесь достоин уважения! ..

V

Архиерейская обедня кончилась. Кафедральный собор был полон людьми. Тысячеголовая толпа колыхалась и глухо гудела. Золоченый иконостас блестел, и на ризах „местных" икон отражались огоньки пылающих свечей. Высоко под громадным куполом тихо покачивалось на толстой цепи сверкающее паникадило.

Хор стоял на широком клиросе в голубых длинных „парадах" с закинутыми за плечи рукавами наподобие крыльев, отороченными золотым галуном, с золотыми снурками и кистями на груди. Регент, строгий и серьезный, в черном застегнутом наглухо сюртуке, имел особо торжественный вид. Захарыч стоял с краю клироса около тяжелой золотой хоругви и мрачно посматривал кругом. Он был расстроен. Томашевский почему-то не пришел. Захарыч за обедней был не в ударе и получил от регента замечание за невнимательность. У него уже несколько дней как все звучала в ушах лекция профес-

сора, возбуждая какие-то странные, неотвязные думы. Порою сердце Захарыча неожиданно сжималось от какой-то острой и тонкой жалости к кому-то: не то к самому себе, не то к певчим. Он вспомнил слова профессора о могучем духе сомнения, о неотвязных мучениях людей, которыми этот дух овладевал. И Захарыч стал рассеянным.

— Чего же все ждут? — тихо прогудел он Петру Иванычу, который стоял рядом. — Ведь обедня кончена?

— Будет обряд „проклятия“, — отвечал тот. — Никогда не видал?

— Нет.

— Ну вот увидишь.

Архиерей, в сопровождении священников и дьяконов, вышел из алтаря на середину собора. Он стоял там на возвышении, окруженный духовенством. Драгоценные камни его золотой митры горели разноцветными искорками.

Около левого клироса устроен был высокий помост вроде кафедры, застланный красным сукном.

Народ слился в тесную толпу и замер в ожидании. Сдержанный шепот, кашель, шарканье ног по камню пола гулко плавали под куполом.

Наконец из левых дверей алтаря медленно вышел старый протодьякон в белой серебряной ризе и с седыми тяжелыми волосами, приземистый, сутуловатый и широкий. Лицо у него было огромное, с крупными и суровыми чертами, все заросшее седой бородой, с мрачным взглядом из-под косматых, седых бровей. Медленно и тяжело, словно чугунный, протодьякон с трудом поднялся по ступеням на высокий помост и положил перед собою тонкую черную книгу.

В странной тишине протодьякон запел один громадным и страшно густым басом таинственный и странный напев, от которого веяло чем-то древним. Казалось, что это пел сам неумолимый рок, судьба, выносящая печальный приговор... Что-то жестокое звучало в этой зловещей убежденности.

Волнообразный голос протодьякона, тяжелый и темный, как смола, лился черной и густой массой, печальными полутонами, начавшись с верхней ноты и постепенно спускаясь книзу.

Протодьякон остановился, провел по лицу и бороде широкой ладонью, которая вся заросла серебряными волосами, и переждал, пока утихнет эхо, встревоженное

его могучим голосом. Потом он опять запел тот же напев, только тоном выше.

В этом тоне его исполинский голос стал похож на грозовую тучу с отдаленным громом, которая надвигается, охватывая небо. Этот чугунный, грохочущий голос, печальный и мрачный, был тверд и тяжел; казалось, что его можно было ощупать рукой в воздухе и что, дойдя до человека, он прижмет его к стене и раздавит.

Протодьякон опять остановился и ждал, когда утихнет эхо.

В третий раз он запел еще на тон выше, все с такими же печальными и странными полутонами. Его страшный вопрос о боге грянул теперь грозно и сокрушающе, наполнив собою весь собор. Ответом на него было только могучее, неумолкающее эхо, и, когда оно успокоилось, снова настала тишина.

Тогда протодьякон вынул золотые очки, надел их и развернул черную книгу.

Кончив утверждение веры, протодьякон приступил к вопросу о тех, кто уклонился от нее.

Он опять развернул книгу и начал читать речитативом, размеренно отчеканивая слова, словно прибивал их гвоздями.

— „Утверждающим, что Мария дева не была девою . . .“ — сурово и гневно неслось по собору.

Протодьякон перевел дух и грянул уже во всю силу, вдвое громче, чем до этих пор, голосом, который страшно было слушать:

— А-на-а-фе-ма-а! . .

Из тысячи грудей вылетел общий испуганный вздох.

А в это время архиерей и священники запели все в унисон, словно зарыдали:

— Ана-фема! Ана-фема! Ана-фема! . .

Потом запел архиерейский хор, жалобно и грустно повторяя то же самое слово: „Ана-фема-а! Анафема-а!!“

А протодьякон опять загремел колыхающимся огромным голосом:

— „Утверждающим, что Иисус Христос не был сыном божиим . . .“

Гул ужаса прошел в толпе: „Ана-а-фе-ма!“

— „Сомневающимся . . . — сурово загремел протодьякон, — в бытии божием . . .“

Захарыч вздрогнул.

— „И утверждающим, что мир произошел сам собою . . .“

Гул в толпе вырастал все более и более: „А-на-фе-ма!“

В толпе пробежал какой-то странный, жалобный ропот, общий стон, послышались всхлипывания, кто-то истерично вскрикнул, у стоявших впереди текли по лицу слезы.

„А-на-фе-ма!“ — неумолимо и сурово гремел ужасный голос, как раскат грома, потрясающий небо. Собор наполнился этим раскатом, и удар его с треском разрядился в куполе. Казалось, что купол валится.

Над толпой пронесся гул плача и ужаса.

Острая жалость и сострадание к „сомневающимся“ охватили Захарыча. Рядом с громовым голосом протодьякона ему неотвязно слышался дребезжащий, тихий голос „профессора“, его лекция о страданиях духа, о великой муке сомнений. Замученные своими неугомонными мыслями, они и здесь прокляты и низвержены в преисподнюю. Несчастный, отверженный дух сомнения!

После окончания обряда, когда народ густыми толпами валил из собора, певчие снимали в алтаре свои „парады“ и беззаботно разговаривали:

— Ну и тяпнул нынче протодьякон!

— Да! От души рявкнул дедушка!

— Из молодых такого не найдешь!

— Хорошие-то басы вымирают! Вот умрет этакое чудовище — и шабаш! Конец басам старого фасона!

— Ну, этот еще два века наших изъездит!

Захарыч небрежно швырнул свой парад и, прислонившись к стене, тупо смотрел перед собой. Он был бледен.

— Ты что, Захарыч? — участливо спросил его Петр Иваныч. — Чумной какой-то! Что с тобой, брат?

У Захарыча задрожала нижняя челюсть, на глазах навернулись слезы. Проглотив слюну, он мрачно посмотрел на Петра Иваныча исподлобья и медленно сказал:

— Мне скушно.

VI

Томашевский не пришел и на спевку. Когда послали мальчика на его квартиру, то узнали, что он простудился на похоронах и лежит в больнице.

После спевки Петр Иваныч сказал Захарычу:

— Пойдем, брат, навестим его.

Захарыч согласился. Он жалел этого „барина" и причислял его тоже к „сомневающимся".

Больница была за городом, и Петр Иваныч нанял извозчика.

— Ты знаешь, брат, ведь у него тиф! — сказал он дорогой Захарычу.

— Неужто?

— Да! Если не перенесет кризиса, так, значит, и тово... Ку-ку! А жалко парня.

— Конечно, жалко! — согласился Захарыч. — Такой молодой, беленький...

— Драма у него вышла в жизни... понимаешь? Влюбился он в образованную... Он ведь из этакого круга... Дамский кавалер, тенором пел романсы. А она, брат, за другого замуж вышла. Ему и опротивело чистое-то общество. Приходит он к нашему регенту: „Примите в тенора". Тот пробует голос. Тенор сильный, но есть что-то неестественное в тембре. А наш-то ведь опытен по части голосов, зубы на этом съел. Посмотрел-посмотрел на него да и говорит: „У вас не тенор, а октава, — я вас приму в октависты". И что же ты думаешь? Ушел Томашевский из высшего общества в нашу „пьяную абсурдию", как говорит профессор, попел с месяц баском и вдруг как провалится с теноровых-то нот прямо в нижний этаж! Открылась, брат, у него октава, и что ни дальше поет, все ниже да ниже, все гуще да гуще...

— Чудеса! — удивлялся Захарыч.

— Да, брат! — вздохнул Петр Иваныч, приподнимая воротник пальтишка. — Жалко, если умрет: в консерваторию на казенный счет его берут, а она бы его вытащила на свет. Там бы он и про любовь эту самую забыл, и пил бы слабее.

Захарыч крякнул и спросил Петра Иваныча:

— А ты... тоже через любовь?

— Пью-то?

Петр Иваныч рассмеялся.

— Нет! — отвечал он. — Какая у нашего брата любовь? Я и влюблен-то был несуразно, в актрису Бельскую, когда еще в семинарии был. Бывало, ору ей с галерки „браво" так, что весь народ шарахается и смеется. Наконец пришел к ней в уборную. Так и так, мол, влюблен. А она спрашивает: „Это вы, что ли, с галерки так орете басом?" — „Я". Рассмеялась этак весело, как ребенок. „Ну, садитесь, говорит, я вас угощу,

поклонник!“ Послала за вином. Чокнулись мы с ней, выпили — и расстались. Вот, брат, и вся моя любовь.

Сани остановились около больничной палаты. Певчие слезли с извозчика и вошли в больничный коридор. Пахло тяжелым запахом лекарств и карболкой. На дворе уже смеркалось.

В длинной высокой палате с огромными окнами было как-то особенно грустно. По мягким половикам беззвучно двигались белые тени сиделок и фельдшериц, худые фигуры выздоравливающих в желтых халатах из грубого сукна. В отворенные высокие двери смежных комнат виднелись ряды больничных кроватей.

— Вам кого? — спросила певчих какая-то женщина, вся в белом.

— Томашевского... Певчий он... — загудели они, не соразмерив своих голосов, и каждое их слово гулко перекатывалось по высокой палате.

— Знаю. Разденьтесь и посидите здесь. Он плох. Я спрошу, можно ли к нему. Вы... его родные?

— Мы — товарищи.

Минут через десять, когда уже совсем стемнело и в палате стали зажигать жестяные лампы, их впустили в большую комнату, где лежало несколько больных на низких железных кроватях. На одной из них, слабо освещенной тусклым светом лампы, неподвижно вытянувшись и тяжело дыша, лежал Томашевский в жару и бреду.

Он никого не узнавал и смотрел в пространство мутными, широко открытыми глазами. Овальное белое лицо его с небольшими усиками горело неестественным румянцем, голова запрокинулась, обнаруживая белую шею и двойной широкий кадык — разгадку его бархатной октавы.

— Саша! — осторожно прогудел Петр Иваныч. — Брат! Это мы... мы к тебе пришли.

И неожиданно для него самого голос его задрожал и осекся.

При звуках певческого голоса Томашевский медленно поднялся и сел на постели. Лицо его приняло вдохновенное выражение, он поднял длинные, худые, белые руки и заговорил своей влажной октавой:

— Тише! Сейчас начинаем!

И, разводя руками, как регент, он запел торжественно, наполняя всю палату бархатными звуками:

Де-е-ва! Де-ва дне-есь...

От сильного жара голос Томашевского стал вдвое гуще и сильнее. Если бы теперь пришлось Захарычу состязаться с ним, то превосходство было бы на стороне Томашевского. Голос его, гармоничный, густой и струнный, звучал, как целый хор, и плыл по всем комнатам.

Прислуга, сиделки, фельдшерицы, фельдшера и выздоравливающие — все столпились около дверей и слушали.

Томашевский сидел на постели, регентовал перед воображаемым хором и пел.

Петр Иваныч плакал. У Захарыча тоже щекотало в горле.

Он отошел от изголовья, чтобы смахнуть невольные слезы, и наткнулся в полумраке на какое-то съежившееся существо, которое копошилось и всхлипывало на полу, около ног больного. Захарыч нагнулся и увидел жалкое старушечье лицо, омоченное слезами, полное бесконечного горя, муки, отчаяния, почти безумное...

— Кто это? — спросил он.

— Мать! — послышался скорбный шепот.

К утру Томашевский умер. Хоронили его на больничном кладбище в простом, некрашеном гробу. Гроб несла „пьяная абсурдия“ — Илья Николаевич, Петр Иваныч, Ржавчина и Захарыч. За гробом никто не шел, кроме старушки матери.

Она еле волочила ноги от горя и даже не имела сил громко плакать. Товарищи умершего, слегка выпившие, несли гроб молчаливо и мрачно. Только Ржавчина пытался было подтягивать дьячку, но и он скоро умолк, подавленный тяжестью общего молчания. Илья Николаевич был мрачен, как туча, и зло поглядывал на Ржавчину, желая придраться к нему.

Петр Иваныч был бледен, с опухшими от слез глазами. Скука, которую Захарыч ощутил в соборе, не проходила, а все увеличивалась и причиняла ему страдания. У всех было скверно на душе, и каждый таил от других невеселые мысли. Отдавая последний долг товарищу, эти безродные и бездомные люди думали, что им тоже придется умирать на больничной подушке, среди чужих людей, и никто о них не заплачет, кроме какого-нибудь пьяницы-товарища.

Захарыч думал о жизни певчих, о том, как они тру-

дятся, как живут и умирают. И в его ушах звучали то церковные напевы, то веселые песни, то заразительные слова „профессора“ и „анафема“ протодьякона.

Кладбище было грустное, пустынное, место упокоения бедняков и бобылей, умирающих в больнице. Оно было занесено сугробами снега, огорожено рвом и едва заметной изгородью. Кое-где виднелись наклоненные кресты. День был сумрачный, сверху падал легкий снежок, убеляя длинные волосы певческой братии. Гроб опустили на снег у свежевырытой ямы.

— Ну, прощайтесь! — равнодушно сказал дьячок.

Мертвец лежал в гробу мраморно-белый, с лицом спокойным и важным. Кадык выдавался теперь еще более. Старушка припала к лицу мертвого сына; раздались те самые переворачивающие душу рыдания, которые так привычны были для певческого слуха. Но здесь эти рыдания причинили им беспокойство. Илья Николаевич злобно крякнул и метнул убийственный взгляд на Ржавчину. Ржавчина понял его, с уважением поддержал старуху, отвлек ее от гроба и стал утешать ее... Все поцеловали мертвеца в лоб.

— Эх, брлат! — вырвалось у Петра Йваныча.

Илья Николаевич и Захарыч взяли гробовую крышку.

— Н-у!.. — в низкую октавную ноту сердито сказал Илья Николаевич.

— Ну! — еще ниже и гуще ответил Захарыч.

И они накрыли гроб крышкой.

— А молоток-то позабыли взять! — сказал кто-то. — Чем же гвозди-то заколачивать?

Илья Николаевич обнажил огромный, твердый, словно железный, кулак, поросший волосами, и злобно, с остервенением, молча, крепкими ударами стал вгонять гвозди в крышку. Захарыч поглядел на него, взял в руку лопату и начал ребром ее забивать гвоздь.

Огромные, мускулистые, мрачные люди стояли вокруг гроба на коленях, вбивая длинные гвозди в дерево. Ветер играл длинными волосами певчих, снег шел сильнее. Гроб опустили в могилу, бросили туда по куску мерзлой земли и стали молча, злобно и раздраженно зарывать яму...

VII

После похорон Томашевского у Захарыча, кроме скуки, появились еще и мысли, и он почувствовал себя окончательно несчастным. Прежде ни скуки, ни мыслей у него никогда не было. В деревне все было просто, ясно и непоколебимо, а здесь он ничего не понимал, все кругом было полно противоречий. В церковь ходят не молиться, а смотреть на состязание певцов. Если человек умрет, певчие радуются, потому что смерть его дает им средства к жизни. Хорошие, образованные люди пресмыкаются в певчих, живут нехорошо, в пьянстве и бедности. Не верят в бога, а души у них добрые. Купец Понедельников, нехороший человек, относится к певчим как к лошадям, швыряет им деньги „на овес", не дал ни гроша на похороны Томашевского, — живет хорошо, в почете, богатстве и благочестии. Он верит в бога, сердце же имеет звериное. Протодьякон проклинает „сомневающихся", а они стоят на клиросе и поют сами себе „анафему". Они заблуждаются в своем неверии и от этого несчастны. Но почему же они не злодеи и почему рассказы „профессора" о происхождении мира так занимательны? .. Кто прав: „профессор" или протодьякон?

И Захарычу казалось, что тот самый мучительный „дух сомнения", о котором рассказывал „профессор", как-то успел забраться и в его душу и что он, Захарыч, попал в число „сомневающихся", преданных протодьяконом „анафеме".

Рой вопросов гудел в голове Захарыча. Мысль, спавшая в нем мертвым сном целую жизнь, никогда, быть может, не проснулась бы, если бы ее не разбудило внезапное столкновение с жизнью, весь уклад которой шел наперекор Захарычу. Но он не мог разобраться в самом себе, чувствовал себя, как заблудившийся в лесу, и не знал, как выйти к свету. Он думал по целым дням и ночам и не мог отвязаться от дум, и это было мучительно для него, потому что, прожив на свете более сорока лет, он еще никогда ни о чем не думал и не имел к этому привычки. Думы его переплетались с необъяснимыми и грустными чувствами. В лучистые морозные дни он по целым часам сидел на пустынном берегу Волги, занесенной толстым слоем снега, неподвижно смотрел на снежные равнины, на далекие синеющие горы, покрытые лесом и снегом. И в его душе разливалась ядо-

витая тоска по чем-то утраченном и дорогом, быть может по родной деревне, по той жизни на воздухе, среди природы, под лучами солнца, с которой срослась его душа. И за этой мертвой картиной городской зимы ему чудилась весна в деревне, зеленая степь, широкий простор неба, поющие жаворонки, запах степных трав, пахучие сырые балки и беззаботные плотничьи песни.

Мучения Захарыча сделались наконец невыносимы. Он похудел, лишился сна. Тогда Захарыч решился обратиться за помощью к Петру Иванычу.

Однажды после ранней обедни, когда певчие, по обыкновению, напились чаю в трактире, а до поздней еще было время, он взял Петра Иваныча под руку, отвел в сторону и сказал ему озабоченно:

— Петра . . .

И затем они долго ходили в полном уединении. Захарыч приступил к изложению своих мыслей, говорил долго, тяжело и бестолково. В продолжение всей своей жизни он очень мало разговаривал, ограничиваясь односложными фразами, и вот теперь с ужасом убеждался в том, что не может высказать своих мыслей.

Язык говорил совсем не те слова, какие надо было говорить, и получался совершенно бессмысленный набор несуразных, самого его удивлявших слов. Он помогал своей речи телодвижениями, прижимал руки к груди, размахивал ими в воздухе, но ничего не помогало: мысли Захарыча оставались в нем, как в крепкой тюрьме, освободить их из заключения он был не в силах. И Захарыч сердился.

— Ты вот что мне скажи! — говорил он с лицом страдальческим и мрачным. Мясистый лоб его наморщился и покраснел, словно в его громадной голове работал какой-то тяжелый и сильный механизм. — Ты вот что мне скажи: почему, например, Адам и Ева . . . скажем, потоп . . . Евангелие, например, или этот, как его . . . Бурда . . . Васька-Где-Гамма . . . который плавал по морям . . . и все такое . . . И вдруг — подлость, грабеж. А где совесть?

В его голове носилась мысль о противоречиях жизни, о высоком учении нравственности, которое остается мертвой буквой, о гибели лучших людей и о благополучной жизни низких и мерзких.

Петр Иваныч не мог уловить смысла в скачках Захарычевой мысли и недоумевал; тогда Захарыч тряс его за плечо, бил себя в широкую и выпуклую, словно выли-

тую из бронзы, грудь, тяжело выжимал из себя неуклюжие, несуразные слова и запутывался в них.

— Б-бог! — гремел он. — Планида! Жисть!

Рассердился и Петр Иваныч.

— У тебя, брат, ни черта не поймешь! Адам и Ева! Васко-де-Гама!.. Бог! Подлость! Планида! Черт знает что такое! Действительно, бурда какая-то!

— Эх, Петра, здесь-то у меня много, — стучал себя Захарыч в богатырскую грудь, — а наружу ничего не выходит! Говорить я не умею...

И крепко выругался Захарыч.

Долго бился с ним Петр Иваныч, прежде чем понял хотя бы отчасти Захарыча.

— Накатило на меня! — в отчаянии говорил ему Захарыч. — Не глядел бы я на добрых людей, свет мне не мил! Нет мне житья от думы! Сумлеваюсь я! Скажи ты мне, как бы выгнать из себя сумление? Брат! Я не могу не сумлеваться!

Петр Иваныч задумался, посмотрел на Захарыча своим грустным, добрым взглядом, сказал:

— От невежества это у тебя!

— Верно! — радостно вскричал Захарыч.

— Постой! Ты помнишь, как профессор лекцию читал?

— Как не помнить? С нее и началось у меня.

— Ну так вот! Помнишь, он рассказывал об ископаемых, о чудовищах, которые вымерли, и почему вымерли. Ты — тоже ископаемое. Ты из числа вымерших чудовищ. Ты приспособлен к древней пастушеской жизни, а теперь жизнь другая. Живешь ты на свете совершенно случайно, потому что был ты спрятан в тихой заводи. Когда же взяли тебя в город нашего столетия, то вышло, будто явился ты совсем из другого мира, упал с луны или спал в бугурусланских степях несколько столетий, а потом проснулся и видишь кругом непонятные тебе вещи.

— Верно! — подтвердил Захарыч. — Ничего и не понимаю, что кругом делается.

— Да! Но ты хочешь сразу поглотить всю премудрость, сразу все разрешить, а этого нельзя: на это нужны годы, нужно прочесть много книг, повстречать побольше умных людей, сделаться человеком образованным, а ты ведь невежда! Ты ничего не знаешь — хотя бы даже вращения земли.

— Вращения земли?

— Ну да! — И Петр Иваныч наглядно рассказал ему о вращении земли. — Понял?

— Понять-то я понял, да верно ли это? Кто узнал, что все это так и есть, а не по-другому?

— Ученые! Они делали опыты и доказали.

— Опыты, говоришь? Но я-то ведь не делал опытов... Стало быть, должен им верить?

Петр Иваныч был несколько озадачен, но, подумав, сказал:

— Должен верить!

— Так, — протянул Захарыч, сбычившись, — а ежели я так не могу? Ежели и тут выходит у меня сумление? Мне надо, чтобы, значит, в самый корень. А то... кому же верить?

Захарыч крякнул, помолчал и с тяжелым усилием спросил Петра Иваныча:

— Не знаешь ли ты такого слова, чтобы из меня сумление выгнать?

— Не знаю, Захарыч.

— И профессор не знает?

— И он не знает.

— Та-ак! Выходит, что жить по совести и по настоящему закону нельзя. Кто не хочет людоедом быть — руки на себя наложи!

Захарыч тяжко замолчал и шел, пыхтя и отдуваясь. Лоб его еще более покраснел, на висках вздулись жилы. Мозг его работал напряженно, тяжело и медленно. По морщинам мясистого лба струился пот.

— Постой! Что бишь я хотел спросить? Самое главное. Может быть, ты знаешь... Вот не найду слов... Да!

Он остановил за лацканы пальто Петра Иваныча и, смотря ему в лицо страдальческим взглядом, полным надежды и опасения, выговорил медленно, с тяжелым усилием:

— В чем... смысел... жизни?

Была страстная неделя, но „пьяная абсурдия“ начинала свой день обычным образом: все были с похмелья; Илья Николаевич лежал на полу и пикировался с Ржавчиной.

— Очень уж вы, басы, много водки пьете! — задирал тенор страдающего баса.

— Что ж? — рычал тот, поднимаясь на локоть. — Уж

это от бога так установлено: бас — пьяница, баритон — нахал, а тенор — дурак.

— Ну, положим, бывают и между басами та-а-кие, я вам скажу...

— Ничего ты не скажешь! — поспешно перебил Илья Николаевич. — Бас всегда глубоко благороден, снисходителен даже к тенорам, а тенор мелочен, хитер, мал, глуп, соплив и кривоног! .. Эх, как трещит главизна! Ржавчина! Там у меня в пальто есть полтинник. Сбегай в кабак, принеси мешок водки!

— Илья Николаевич! Что толку от одной бутылки на пять алчущих морд?

— Как же быть-то, коли больше нет? Ведь у тебя, мерзавца, ни копейки?

— У меня-то денег никогда не бывает, Илья Николаевич, но зато я на полтинник могу приобрести целую четверть и яичницу на закуску.

— Четверть? — легкомысленно переспросил Илья Николаевич. — Мудрено! Не ври у меня, а то я, право, встану!

Ржавчина уже вытащил откуда-то пальто Ильи Николаевича и шарил по карманам. Найдя полтинник, он нахлобучил картузишко и, театрально раскланявшись, убежал.

— О, чертова обезьяна! — рычал вслед ему бас. — Изуродую, коли пропьет!

Через пятнадцать минут явился приплясывающий Ржавчина. Бережно положив картуз на стол, он стал выгружать странные предметы: сковороду, десяток яиц, пузырек с краской и кисточкой, фольгу, сусальное золото и большое количество обыкновенного песку. Все эти предметы вызвали недоумение, но скоро все объяснилось, когда Ржавчина обнаружил свои кондитерские познания. Он иголкой прокалывал каждое яйцо, выпускал через отверстие содержимое на сковороду и взамен насыпал в скорлупу песку. Затем он искусно заклеивал дырочку воском, обертывал скорлупу фольгой и сусальным золотом, расписывал краской. Компания, окружив его, следила за работой. Ржавчина священнодействовал. Скоро он изготовил десяток красивых „пасхальных“ яиц, наполненных песком, завернул их в бумагу и исчез с ними. Остальные занялись изготовлением яичницы.

— У, Ржавчина! — гудела компания, предчувствуя удачу его предприятия. — Хитер, собака!

Ржавчина не заставил себя долго ждать. Очень ско-

ро он гордо появился на пороге, держа над головой четверть водки, и пел:

Братья, рюмки наливайте! ..

Илья Николаевич благополучно встал с пола, и все пошло обычным порядком: беседа оживилась, зазвучало пение и раскаты басового смеха.

В самый разгар опохмеления дверь отворилась, и на пороге, на момент остановившись, появился Захарыч.

Он был в одной рубашке, без пояса и картуза. Густые кудри его, перевитые сединой, свалялись, большие глаза были налиты кровью, а широкое лицо с толстым носом опухло и было темное, чугунного цвета.

Захарыч был пьян, и, очевидно, пьян уже подряд несколько дней.

— А-а-а! — заревел он своим нечеловеческим голосом. — Вот и я! ..

Компания при виде пьяного Захарыча пришла в восторг.

— Давно бы так! — одобрил, осматривая его живописную фигуру, Илья Николаевич. — Я говорил, что следует пить! Ржавчина! Наливай октаве! Одна она теперь на всю Волгу и вот, слава богу, за ум взялась! Захарыч, пой и пей: помянем Томашевского!

Захарыч медленно вливал в свое горло чайный стакан водки, а товарищи стояли полукругом перед ним и пели песню:

Мы тебя любим сердечно,
Будь нам товарищем вечно!
Первый налитый стакан
Выпей, Захарыч, ты сам!

Захарыч сел за стол, облокотился и заговорил, ни к кому не обращаясь:

— От мыслей запил я! Сроду не было их у меня, прах их побери, а тут — на вот тебе! А скучно же мне с ними! Эх! Кончено! Решился я своего спокоя!

— Брось, Захарыч, не скули! У нас это не принято!

— Пей и пой с нами!

И, притопывая, они запели веселую песню:

...Как у тетки Акулины
Собирались именины! ..

— Молчать! — рявкнул Захарыч. Он обвел всех исподлобья налитыми кровью глазами и сказал октавой: — Не то поете! Вот какую надо песню!

Плотник облокотился на стол, подпер щеку рукой, закрыл глаза и запел.

Он запел не тем своим органным, густым голосом, каким его заставляли петь в хоре, а другим, тонким, дрожащим, народным голосом, каким поют мужики.

Этот особенный голос он как будто берег для одного себя и запел им только теперь. Голос переливался и дрожал, и было в нем что-то хватающее за сердце, размашистое и глубоко печальное. В песне, протяжной и простой, чувствовалась настоящая русская грусть, широкая, безбрежная.

Быть может, ему вспоминалась родная деревня и печальные степи, где он слышал и пел эту песню, где не знал тоски, скуки и ядовитых мыслей. Быть может, он сожалел об утраченном равновесии души.

Де-и-энь хожу я, ночь гу-а-ля-ю...
Гру-устно се-и-эрдцу ма-е-му... —

пел Захарыч, и его измученная душа вся влилась в эту широкую песню. Точно не Захарыч, а кто-то другой пел в нем:

Сле-и-озы ка-атятся ручья-ми
Вдо-и-оль по бе-о-э-ло-му ли-цу...

Задушевный, размашистый мотив переливался неожиданными переходами, опускался на нижние ноты, замирал и, вместо того чтобы оборваться, вдруг переходил к началу:

Вдо-и-оль по бе-е-э-ло-му ли-цу...
Эх! па-и-а ру-мя-на-ай па ще-ке-е!

Песня захватывала дух, уносила с собой и захлестывала душу своей широкой, стихийной, русской грустью...

Захарыч, крепко прижав руку к щеке, забыл обо всех и пел, слегка покачивая кудрявой головой, не замечая, как из закрытых глаз ручьем струились крупные пьяные слезы.

VIII

Пасха была ранняя. Снег еще не сошел хорошенько, и было то время, которое называется „ни на санях, ни на колесах“. В воздухе пахло талым снегом и той особенной свежестью ранней весны, когда природа только еще ожидает пробуждения, когда еще холодно, но солнце играет по-весеннему и над черными суками голых деревьев вьются прилетевшие грачи.

Эти первые нежные вздохи природы, еще не очнувшейся от зимнего сна, проникают в душу как тихое дуновение, и люди чувствуют бессознательную жизнерадостность, прилив сил, бодрости, надежд и неясных влечений куда-то.

Над городом сияло праздничное, радостное солнце, оглушительный трезвон лился над городом подобно солнечным лучам. По улицам текла нарядная, веселая толпа. Несмотря на холод, преобладали легкие новенькие костюмы. Лица девушек, освещенные задорной улыбкой и разрумяненные свежим влажным ветерком, мелькали в толпе, и все они казались хорошенькими. По мостовой, кое-где очищенной от снега, мчались санки и пролетки с „визитерами“ в блестящих цилиндрах. У некоторых из них цилиндры уже съезжали на затылок. На улицах всюду слышались пьяные песни. На извозчике околоточный и будочник провезли в часть пьяного городового.

К дому купца Понедельникова шумно подъехали три тройки. С длинных линеек и дрог слез целый хор певчих. По заведенному исстари обычаю, они разъезжали по богатым домам „с концертом“.

Тут была целая масса альтов и дискантов и толпа теноров и басов.

Регент взобрался на крыльцо и позвонил.

Хор стоял у крыльца, лениво переговариваясь между собой.

— Вот! — угрюмо говорил один бас с физиономией бандита, в бесцветном пальто с чьих-то плеч, еще более широких, чем его плечи, и в майских брюках. — Целый день хвораю; уж я и выпью, и закушу, и с солью-то, и с перцем — нет! Ни одно лекарство не помогает!

Ржавчина скорчил постную рожу.

— Выпей настойки из еловых шишек! — посоветовал он басу.

— А ты пил?
— Пил!
— Хорошо?
— Все равно что в еловом лесу сидишь и пьешь.
Дверь отворила одетая по-праздничному горничная и на вопрос регента ответила: „Пожалуйте!“
Лестница и прихожая сразу наполнились народом. Для удобства мальчики раздевались на лестнице, а в комнате только большие, но и им было тесно. Раздеваясь и снимая галоши, все толкали и мяли друг друга. Певчие торопливо проходили в зал и становились по партиям. У Понедельникова собрались гости, и шел пир горой. В соседней комнате гудел пьяный говор и утробистый смех, а в отворенную дверь виднелись плотные толстобрюхие фигуры в длиннополых сюртуках, мелькали окладистые бороды, красные, широкие лица.
Регент задал тон, обвел хор строгим взглядом и взмахнул руками.
Внизу всего хора, как бы из земли, плыла густая, сочная и вкусная октава. Что-то плодородное, ароматное и девственное чувствовалось в этих ярких и цельных звуках, могучее и устойчивое. Казалось, что этот голос внес сюда всю природу, яркие солнечные лучи, их теплоту, ароматное дыхание зеленых степей, их тайны и теплый запах согретой солнцем земли.
Как только загудела октава, купцы один по одному стали вылезать в зал, и на их заплывших жиром лицах появлялась улыбка умиления. Этот странный и редкий голос, играющий в духовных хорах такую важную роль, неотразимо пленял купеческие души. Они знали счастливого обладателя такой удивительно широкой глотки и ободряюще подмигивали ему, с нетерпением ожидая самой низкой и густой ноты.
И он наконец взял эту ноту.
Это был звук, словно доходивший из бездны, — глубокий, таинственный и внушающий невольное чувство страха и уважения.
Захарыч стоял позади всех басов и пускал в воздух свои потрясающие сердца купцов ноты.
Фигура его была ужасна. Приземистый, с богатырской грудью, с громадной вихрастой головой на короткой и сильной шее, с аляповатым, безобразным лицом, похожий на истукана, он крепко, как на сваях, стоял на коротких, неуклюжих ногах и свирепо водил исподлобья огромными глазами, налитыми кровью от пьян-

ства. Страшная густота голоса не позволяла ему выговаривать слов, и он только бессмысленно ревел, опустив голову, как буйвол.

После громогласного конца концерта мальчики ушли, а большие певчие сделали вид, что тоже хотят уходить, но знали, что Понедельников им уйти не позволит.

— Господа! По рюмочке! Закусить! Пожалуйста! — провозгласил он, обращаясь к хору, и, положив обе пятерни на свое огромное брюхо, осклабляясь, подошел к регенту.

— Ну, брат, и ревет же у тебя Захарыч твой! Утешил, одно слово! Хо-хо-хо-хо!

При одном воспоминании о том, как ревет Захарыч, ему становилось смешно.

— Октава — краса хора! — самодовольно отвечал регент.

— Да уж верно, брат! Она, матушка, как загудит — от нее весь хор стонет! Хо-хо-хо! Ну, а что, пьет ведь?

— Пьет, Лука Савельич! Подержался было сначала, а теперь никогда трезвым-то и не бывает! Уж это голос такой! Без водки и петь не может — машина не действует, а выпьет полбутылки — приходит в свою нормальность. Самый голос тяготит такого человека. Тяжело иметь октаву! .. Ну-с, — переменил тон регент, — мы уж вами закончили визиты, Лука Савельич! Знаем, что у вас можно отдохнуть.

— А то как же? Чай, не впервой! По заведенному порядку, выпьем, песен попоете нам!

— За этим дело не станет, Лука Савельич!

— А это кто у вас . . . новенький?

— Да, недавно поступил! Из выгнанных студентов будет. Наук не кончил и в певчие попал! Хе-хе-хе!

— Высших, значит, наук?

— Хе-хе-хе!

— Высшие науки ни к чему! — икая, вмешался в разговор другой купец с лошадиным хвостом вместо бороды. — Жил у меня один этакий на фатере. Так он бога-то „механиком“ ругал. Я говорю: по какому случаю механик, но не б-бог? Он то, се, но, между прочим, меня не проведешь: я „их“ наскрозь вижу, этих высших-то наук! Никакого толку! Вот беса тешить — это их дело. Я слушал-слушал, да-а как д-дам ему за механика-то в морду! Одним махом сделал ему разрушение Помпеи . .

„Философ“ обнажил громадный кулачище и показал, как он сделал „разрушение Помпеи“.

Между тем певчие не дремали около длинного стола с винами и закусками. Там шла деятельная выпивка.

Захарыч, мрачный и молчаливый, опрокидывал рюмки с такой быстротой, точно мух ловил. Сначала он выпил три рюмки, стоявшие рядышком. Потом увидал шесть и начал их выплескивать в себя одну за другой, без закуски, но при последней рюмке почувствовал, что кто-то тихонько взял его за рукав. Это был регент. Он пошевелил длинными усами, сверкнул строгими глазами и покачал головой.

— Не пей ты хоть по шести-то! — укоризненно произнес он.

Захарыч отмахнулся от регента.

— Отвяжись! — пустил он в удивительно низкую, великолепную ноту.

Регент махнул рукой и тоже выпил.

— Нет лучше голоса, как октава! — разглагольствовали купцы. — Ну что, например, тенор? Так себе, жидкий голос, от него только мозоли ужжат! А у Захарыча — голос! Мы его завсегда ублаготворим: одежу с себя пропьет — оденем! Посуду в трактире перебьет — заплатим! Напейся он сейчас — сбережем! Он — наш!

— Вер-рно! Ну, тоже есть и верха, которые ... хо-хо-хо! Кэ-эк тяпнет!

— Ну, верха-то я и сам тяпну!

Тут же шел и религиозный спор.

— Я говорю тебе, дурья башка, что на том самом, значит, месте, где стоит гора Голгофа, откопан был Адамов мосол ...

Собеседник икнул и перебил серьезно:

— Врешь, не мосол!

— Нет, мосол! И вот, значит ...

— Не мосол, говорят тебе!

— Как не мосол?

— Голова, а не мосол! Писания не знаешь!

— Нет, мосол!

— Какой такой мосол?

— Вот ... такой! — споривший, растопырив ладони, уверенно и с точностью показал, какой длины был „мосол“.

В комнате стоял гул голосов. Всякий говорил свое. Чья-то могучая длань ласково трясла регента за шиворот и любовно приговаривала:

— Вели им песню петь, чертов кум, варяг ты этакий! .. Деймон!

Вскоре хор собрался в кучу. Ржавчина, специалист по части „светского“ пения, занял место регента. Началось пение.

От Кав-ка-за до Ал-та-я,
От А-му-ра до Днеп-ра! —

отчеканивали басы „стоккато“, а тенора так залились, что даже Понедельников, не любивший их, притопнул ногой и крикнул:

— Унеси ты мое горе!

Захарыч совсем не мог выговаривать слов новой для него песни и только хрюкал, покрывая весь хор:

От Шалтая до Болтая,
От Болтая до Шалтая!

Купцы были очень довольны. По окончании песни они так и вцепились в него и, облепив его, как мухи, начали его „накачивать“ водкой.

И Захарыч пил ее, как воду.

Наконец он свалился под стол и заснул. Купцы долго старались растрясти его, но он спал богатырским сном.

— На снег его, ребята! — догадался один купец. — Там оклемается!

— Верно! — подтвердили остальные. — Перенесем его с честью!

— Ковер ему на снегу постелим!

— И графин под самое рыло!

— Хо-хо-хо! Октава! ..

Мысль о том, что Захарыч проснется не в комнате, а на снегу, показалась купцам забавной.

Они подняли на руки спящего богатыря и торжественно понесли его на двор.

— Держи голову-то, черт!

— Спину-то, спину-то подопри!

— Ничего, тащи, ребята!

— Клади! Так!

— Ну, не трог, спит! Человек не свинья — выспится, сам встанет!

— Хо-хо-хо-хо!

С насмешливым почетом уложили они мертвецки

спящего октависта на куче снега, постелив грязную рогожу; кто-то всунул ему за пазуху бутылку с простой водой.

Затем все возвратились в комнаты и позабыли о нем. Начался самый разгар пиршества. В комнатах зажгли лампы. Начался пляс и дым коромыслом. Певчие опьянели и охрипли от неустанного оранья.

Песни пошли разухабистые.

Вдоль по улице молодчик,
Моло-о-одчик идет!..—

свирепствовали пьяные басы хриплыми и дикими голосами.

— Деллай! — мычали купцы, уже беспомощно притопывая грузными ножищами и тщетно пытаясь подняться с кресел. — Отчи-хвощивай! Жарь!

Ржавчина, донельзя пьяный, покачиваясь, дирижировал хором. Двое басов поддерживали его под руки, чтобы он не упал. Длинные волосы свесились Ржавчине на пьяное лицо. Он беспомощно разводил руками, словно желая полететь, и подпевал хору тоненьким и пьяненьким тенорком:

Вдоль по ши-рокой удала го-ло-вва...

А хор опять ревел нестройно и дико:

Моло-о-одчик!.. Моло-о-дчик идет!..

Вдруг на пороге появилась страшная фигура Захарыча. Весь он был мокрый — в кудрявых его волосах блестели капли растаявшего снега. Налитые кровью глаза смотрели свирепо. Он держался обеими руками за косяки дверей, покачиваясь, несколько секунд смотрел на кутерьму в комнате и вдруг грянул голосом, наводящим ужас:

— Ана-а-фемы!

Рев хора, гам, гвалт и весь стон кутежа — все было накрыто этим чудовищным голосом, от которого, казалось, дрогнули стены.

Захарыч шагнул к длинному столу с винами и закусками, схватил за угол скатерть и сдернул все со стола на пол. Раздался адский гром и звон. Все загалдели и бросились на Захарыча, а он швырял всех, как щенят, полный гнева и ярости, бил и ломал все и всех

и ревел, как бык, которого обожгли раскаленным железом.

— Вот вам за Томашевского! Вот вам за овес! Вот вам за снег! Все вы сволочь! Все вы анафемы!..

— Берите его, вяжите его, бейте его! — кричал Понедельников.

Началась каша, свалка, всеобщая потасовка; звон разбитой посуды, крик, визг, плач и ругань покрывал громовой голос Захарыча:

— Сокрушу! Истреблю!..

IX

Захарыч был уволен из хора и пропал. Прошло несколько лет. По временам в певческий мир приходили слухи о нем. Говорили, что он поступил в капеллу Славянского и путешествует по Европе. Потом прошел слух, что он опять в России и поет в митрополичьем хоре. Потом кто-то видел его в Ростове-на-Дону, откуда он опять исчез. Встретили его раз путешествующим пешком по монастырям и поющим в монастырских хорах. Но, несмотря на соблазнительные условия и ухаживания содержателей хоров, он нигде не хотел остановиться и все куда-то шел. Он превратился в „странствующего певчего".

Недавно я встретил Захарыча после долгой разлуки. Это было в приволжском небольшом селе. Там плотники строили деревянную церковь почти на самом берегу Волги. Сельцо приютилось между двух высоких гор, разделенных узким ущельем. Казалось, что село высунулось из ущелья на свет божий, но при малейшей опасности вновь спрячется в жигулевские дебри.

Стояла погожая, теплая ведренная осень, какая редко бывает. Солнце сияло, как весной. Волга лениво и мечтательно расстилалась кругом, спокойная и медленная до неподвижности, блестящая под спокойно-приветливыми и нежно-меланхолическими лучами осеннего солнца.

Величавые горы — Жигулевские с одного берега и Сокольничьи с другого, — поросшие кудрявым разноцветным лесом, тянулись чудной, сказочной панорамой по обеим сторонам реки. Листва желтеющих деревьев поражала и восхищала богатством и разнообразием красок: были деревья с ярко-красными листьями, оран-

жевыми и бледно-розовыми, березы стояли, словно убранные золотом, а оголенные ветви издали сливались в нежно-голубую дымку. Казалось, что горы усыпаны сорванными разноцветными розами. Волга лежала между этими грудами роз, словно спящая красавица. Из-под кудрявой опушки леса, у самой воды, белой лентой тянулся отвесный каменистый берег. Внизу, под величавой громадой гор, плыли ленивые плоты, бежали коричневые „косоуши“ с косым белым парусом, мелькала рыбацкая лодка.

И все, что плыло по реке, по сравнению с громадными размерами окружающей природы было игрушечным, хрупким и ничтожным: барки казались ореховой скорлупой, плоты с их избушками казались крошечными, а люди на них — букашками. Горы с удивлением смотрели на хлопотливый пароходишко, лопотавший что-то своими колесами, и точно спрашивали друг друга: „Кто это ползет?“ И дальше тянулись все такие же внушительные молчаливые горы, убранные разноцветными кудрями леса, погруженные в свои таинственные и важные думы, чуждые всего людского. Волга уходила вдаль широкой, блестящей, трепетавшей на солнце серебряной лентой и сливалась с прозрачным горизонтом. Природа, пленявшая размашистыми штрихами, дышала мощью и величавым спокойствием. Где-то недалеко от строившейся церкви копошились плотники в разноцветных рубахах, а в чистом горном воздухе звучала веселая песня.

Катай, наши, катай!
Знай покатывай, катай! .. —

заливались звонкие фальцеты и тенора, перебрасывая песню низким голосам, а те подхватывали ее на лету и густо вторили:

Валяй, наши, валяй,
Знай поваливай, валяй!

Около церкви тяпали топорами, пильщики распиливали сырые пахучие балки, а на вершине обнаженных ребер купола колокольни работал старик с длинными седыми волосами и пел расшатанным басом какие-то духовные стихи. Его голос далеко был слышен, и по этому голосу и седым кудрям я узнал Захарыча. Я направился к церкви, и его пение стало яснее доноситься до моего слуха. Разбитая печальная октава непринуж-

денно и свободно звучала над спокойной рекой и уплывала в горы. Около церкви на припеке улеглось небольшое стадо овец. С колокольни выглянула огромная голова старика и рявкнула громовым голосом:

— Тря!..

Овцы с гулом шарахнулись от колокольни, а из купола опять поплыло густое пение под мерные удары блестящего топора.

— Захарыч! — закричал я. — Это ты, что ли?

Захарыч посмотрел на меня с высоты, узнал и бросил петь. Он был очень хорош в своем венке из белых, как серебро, кудрей.

— Я! — густо ответил он. — Айда сюда!

Я влез к нему.

Захарыч воткнул топор носом в бревно, которое тесал, сел на бревно и не без важности принял меня. Он был в синей своей куртке и в лаптях. Лицо его дышало спокойствием и уверенностью в себе.

— Сколько лет, сколько зим! — сказал он мне.

— Давненько не видались! — отвечал я. — Ты вот ушел от нас — опять плотничаешь!

Захарыч усмехнулся:

— Опять плотничаю!

— Что же ты из города-то ушел? Ведь там ты голосом впятеро больше заработаешь, чем здесь топором!..

Захарыч опять усмехнулся.

— А наплевать мне на ваше „впятеро“! — отвечал он. — Ты посмотри только отсюда на Волгу, на горы! Здесь душа покой себе находит, а там она мятется попусту...

— Но ведь красота и в пении есть, Захарыч! — возразил я. — Отчего ты не поешь в опере или у Славянского?

Захарыч с презрением усмехнулся и промолчал, словно ему приходилось отвечать на ребяческий вопрос...

1900



СКВОЗЬ СТРОЙ

I

Мне вспоминается внутренность деревенского кабака: маленькие окна, бревенчатые стены, грязные сосновые столы и скамьи. За столами сидят мужики и пьют водку большими шкаликами из толстого зеленого стекла. Высокая стойка отгораживает полки с бутылками и огромную, тридцативедерную бочку с водкой. Около нее на стене висят разного калибра „мерки" — медные ковши, и кабатчик цедит в них из огромного крана бочки пахучую синеватую водку.

Кабак галдит; дверь, обитая рогожей, с кирпичом на веревке блока, постоянно отворяется и хлопает, в нее врываются клубы морозного воздуха, образуя белое облако; оно редеет, и тогда в нем видны огромные фигуры, закутанные в тулупы и чапаны, с бараньими шапками на головах, с большими обледенелыми бородами.

Фигуры хлопают огромными рукавицами, снимают их и заскорузлой рукой стаскивают шапки, обнажая потные лысины; от лысин к потолку поднимается пар . . .

Ледяные сосульки, отдираемые с длинных усов и бород корявыми пальцами, тают. Слышатся кряканье и приветствия кабатчику.

— Гавриле Петровичу! Хромому! Сто лет жить!

— И вам сто лет жить да двести на карачках ползать! — звучно отвечает кабатчик.

— Хо-хо-хо! — покатывается весь кабак. — Уж он скажет так скажет. В карман за словом не полезет, деревянная нога!

Кабатчик — сиделец от богача-хозяина, владельца почти всех кабаков уезда, — мой отец.

Он стоит за стойкой, облокотясь на нее большими, тяжелыми руками, и небрежно кидает мужикам складные прибаутки, поговорки и меткие слова.

Наружность его необыкновенно симпатична.

Он — худой, среднего роста, хорошо сложен, вид у него бравый. Лицо — энергичное, характерное, с резкими, сухими чертами — напоминает кардинала Ришелье: нос с горбиной, на щеках бороды нет, и только на подбородке эспаньолка, правильная, в виде лопаточки. Лицо смуглое, веселое и смелое, очень живое и выразительное. Волосы, длинные, русые, закинутые назад, вьются крупными кудрями.

Левая нога у него отрезана немного ниже колена, и он ходит на деревяшке, в широких брюках навыпуск. Одетый в длинный пиджак старинного покроя, он быстро поворачивается за стойкой и очень ловко владеет своей деревяшкой.

Он почти не вынимает изо рта коротенькую черную трубку, и над его густыми кудрями постоянно вьются голубые кольца табачного дыма.

— Гаврила Петрович! Гаврила Петрович! — дружественно гудит кабак.

И вот мой отец вынимает из-под стойки гусли и кладет их перед собой на стойку.

Они треугольные, столярной работы, со множеством струн. С широкого края гусель натянуты длинные стальные басы, обвитые тоненькой блестящей, серебристой проволокой; за ними идут медные, золотистые струны, одна другой короче и тоньше.

Отец засучивает рукава, обнаруживая мускулистые руки с крупными пальцами, и кладет руки на струны: правой рукой он берет аккорды всеми пальцами на басах и длинных струнах, а указательным пальцем левой руки проводит по всем струнам: звонкие, беспечные и наивные трели текут серебристым ручьем, а блестящие басы мягко рокочут долгим, расплывчатым звуком.

Кабак умолкает, и к стойке поворачиваются грубые бородатые лица полупьяных слушателей.

Загадочный, не то веселый, не то печальный мотив начинался медленно, басы неопределенно тянули нечто похоронное, но сквозь этот строй внезапно прорывались маленькие, лукавые и задорные трели.

И тогда гусляр, закинув голову и молодцевато потряхивая кудрями, запевал с подмывающим видом:

Ка-ак... на улице Варварин-скай!..

У него был хороший голос, какой-то теплый и грудной бас, не очень сильный, но чистый, мягкий.

Спит-ит-лежит мужик камаринска-ай!..

Выразительное лицо его дышало в это время особенным юмором, ноздри горбатого носа раздувались, глаза блестели вдохновением...

А живые струны простодушно и покорно выговаривали за ним каждое слово. Чувствовалось, что крепко и глубоко спит воспеваемый мужик.

Мотив делается все быстрее, звуки сгущаются и крепнут, сверкающие басы гудят, сливаются в один голос, крючковатые крупные пальцы проворно перебирают струны, а указательный палец уже с неимоверной быстротой пробегает по всем струнам.

Борода его вся всклоченная
И дешевочкой подмоченная!..

Чудодейственный палец смешит весь кабак своими движениями: он описывает на струнах неуловимо комические полукруги, словно издевательски мажет кого-то по губам, а порой и вся левая ладонь, изображая педаль, похлопывает по струнам, словно по лысине камаринского мужика, словно будит его от сна, и вот он пробуждается, а палец уже проворно убежал на верхние струнки, и они заливаются тонким серебристым смехом.

Снится бабе, что в веселом кабаке
Пьяный муж ее несется в трепаке,
То привскочит, то согнется в три дуги,
Истоптал свои смазные сапоги... —

скороговоркой припевает отец. На гуслях поднимается отчаянный вихрь веселых звуков: тонкие струны ухарски взвизгивают, беспечные голоса их вьются и порхают стаями, среди них воет и тянет одну бесконечную ноту только нижняя струна, а басы гудят-гудят-гудят, словно опускаются все ниже и ниже.

З-зар-рычало бла-га-р-родие:
— А-ах ты, хамово отр-родие! —

выразительно поет отец. Лицо его ежеминутно изменяется, изображая мужика, сон, бабу, глупость, „благородие“ и его гнев... Лицо музыканта полно жизни, энергии, веселья, ноздри двигаются, кудри, встряхиваясь, словно пляшут на его голове.

Из кармана два полтинника
Вдруг со звоном покатилися
И сквозь землю пр-ровалилися!..

Голос отца уже гремит злобным смехом, а гусельные струны рассыпаются серебряным звоном.

По мере того как захватывающий мотив „Камаринского“ развертывается во всю ширь и гусляр вдохновенно создает самые удивительные звуки, неудержимое, могучее веселье захватывает весь кабак: широкие плечи пожимаются, подергиваются, огромные ножищи тяжело притоптывают, чей-то кулак ударяет по столу, вырываются восклицания:

— Сыпь, барыня, в решето! Эх! Шире! Ходи, изба, ходи, печь!..

Маленький, шестилетний мальчик, я был тут же за стойкой и во все глаза смотрел на отца.

История о камаринском мужике очень интересовала меня: его приключения были занимательные, и сам он завоевал все мои симпатии. Его широкий разгул казался мне волшебным сном, полным таинственности: там рычит „благородие“ — не виданный мною зверь, там полтинники чудесным образом со звоном проваливаются сквозь землю, а самого камаринского мужика волшебный вихрь подхватывает и несет в трепаке. Таинственная сила распоряжается им, преследует его и наконец сваливает лицом в грязь.

Мотив делается опять медленнее и реже и снова становится загадочным: сквозь веселый строй слышатся похоронные аккорды басов, и кажется, что камаринский мужик устал плясать, свалился на улице и опять спит, спит глубоко и симпатично, запрокинув курчавую всклокоченную бороду, подмоченную „дешевочкой“.

И вдруг раздаются самые отчаянные звуки трепака, они „заставляют“, „требуют“, чтобы плясали, невозможно удержать ноги от пляса, слушая их.

Тут происходило самое главное, волшебное зрелище: весь кабак плясал, плясали молодые и старые, пьяные и

трезвые, плясал я... А отец так и крутил пальцем и, прихлопывая по струнам, припевал, потрясая кудрями:

Мужикам по ногам,
А бабам по пяткам!..
Цыплятки мои,
Индиатки мои!
Брошу просо — не клюют,
Прошу выпить — не дают!..

— Хо-хо-хо! Ай-ай! Ой! — в изнеможении стонет кабак, а гусляр не унимается:

Попьем, попоем —
Все горе забудем!
А смерть придет —
Умирать будем!

Кабак наполняется новыми фигурами, он гудит, словно улей, торговля идет оживленно.

Поздно вечером, перед запором, когда кабак уже пуст и гусли давно спрятаны, в нем еще пляшет Пешня, кабацкий завсегдатай, седенький и вечно пьяненький старичишка с длинным носом, похожим на пешню. Он топчется на одном месте и, громыхая кожаными сапогами, смешно поет старческим пьяным голосом:

Попьем, попо-ем...
Все горе за-бу-де-м...

— Г-гаврила... Петрович! Д-дай! Доверь! Одну...

— Не дам! Ступай домой!

— Г-ганя! Налей! Плясать хочу!..

Попьем, попо-ем...

— Ну, это — его же царствию не будет конца! — говорит отец, выпроваживая Пешню.

И когда тот послушно уходит и отец запирает дверь кабака, я выхожу из-за стойки на середину его и, представляя Пешню, начинаю тоже плясать и горбиться, как он, припевая:

Попьем, попоем —
Все горе забудем!

В селе был еще другой кабак, от другого хозяина. Между двумя кабаками возгорелась борьба, и победи-

телем в ней оказался мой отец. Его вообще часто переводили из села в село, и весь период моего детства за это время связан с воспоминаниями о беспрестанных переездах. Отца всегда посылали в такой кабак, где „торговля“ шла плохо и ее требовалось поднять.

Как только появлялся он со своими гуслями, село начинало пьянствовать, и торговля шла бойко. Гусли, и песни, и симпатичная личность кабатчика окружали кабак ореолом поэзии, влекли туда даже непьющих и совращали их в пьянство.

Успех отца выводил из себя представителей враждебного ему кабака. Против ненавистных гуслей был устроен заговор. Однажды в праздник, когда кабак был полон, а отец в ударе и заливался на гуслях за своей стойкой, отпуская забористые куплетцы, в кабак вошла целая компания парней, сильно подвыпивших. Они навалились к стойке, и один из них, рыжий, протягивая музыканту руку, вместо рукопожатия размахнулся и ударил изо всей силы кулаком по гуслям. Но удар пришелся по подструннику, сделанному из очень крепкого дерева, и гусли уцелели — отец успел сдернуть их со стойки. Пьяная толпа с ревом и ругательствами лезла на стойку, чтобы разбить гусли. Мне ярко запомнилась эта картина: красные, пьяные лица, потрясая кулаками, лезли на отца, а он стоял за стойкой, как за баррикадой, и, держа гусли за спиной, отмахивался от своих врагов увесистой медной меркой. Весь кабак волновался, ревел и крутился в свалке. Отец отбил приступ злоумышленников и отстоял свои гусли.

Наутро парни пришли к нему, трезвые, с повинной. Он, по обыкновению, был за стойкой, а парни мялись перед ним и конфузливо чесали затылки.

— Прости уж! — ныли они.

— Дураки — богу печаль! — сказал им отец спокойно. — Зачем вам понадобилось гусли-то разбивать? Олухи царя небесного!

— Да мы нешто сами? Целовальник из того кабака нас подбил! Разбейте, баит, у него, робяты! Дал по целковому да два полштофа выставил! Ну, мы и того... пьяные были, спьяну.

— Не спьяну, а сдуру... Другой и пьян, да умен, два угодья в нем! А вы — ни богу свечка ни черту кочерга!

— Прости уж, молим тебя!

— Без толку молиться — без числа согрешить! За

целковый вас, чертей, и купить, и продать можно! Ничего не понимаете! Мужики — кругом брюхо! ..

— Гаврила Петрович! — выступил вперед рыжий парень, тот самый, что ударил по гуслям. — Окрестил ты меня меркой, буду тебя крестным звать! Крестный, дай мне сейчас по морде, только не томи!

Парни мялись перед стойкой, а отец смотрел на них как-то особенно задумчиво. Потом вздохнул, тряхнул кудрями и сказал с добродушным презрением:

— Черти!

И стал заниматься со мной грамотой: я лежал на стойке, а он рисовал карандашом на листе бумаги алфавит букв, крупно, по-печатному.

Кабак мало-помалу наполнялся народом, и опять шла „торговля“, гвалт и игра на гуслях.

Иногда отец заставлял меня подзванивать железной палочкой в треугольник, сделанный из стального прута, и я сидел на стойке и звонил в такт его игре, а кругом галдели, пили, ругались.

Я очень любил отца, больше, чем мать. Мать была женщина добрая, тихая, на все смотревшая глазами своего мужа, всегда во всем с ним согласная. И она, и я, и мужики считали отца очень умным и все знающим. Он много разговаривал со мной и любил рассказывать занимательные истории. Мы жили в маленькой комнате, смежной с кабаком. Я бывал очень счастлив, когда отец позволял мне спать с ним. Раздеваясь, он отвязывал деревяшку, ставил ее у изголовья, шутил и пугал меня обрубком своей ноги. Смеху и веселью нашему не было границ. Я смеялся до слез от его чудачеств и наконец уставал от смеха. Тогда мы укладывались под одеяло, я радостно прижимался к его широкой груди и требовал рассказов. И он рассказывал мне о море и солнце, о жаркой стороне, о ките, о слоне и обезьяне, о львах и тиграх и всех их представлял в лицах, принимал их позы, ложился на пол, ползал и подражал их голосам. Он сам увлекался представлениями и увлекал меня. Иногда он рассказывал мне о своей жизни, полной приключений.

— Вот видишь ли, Копка, — говорил он мне своим низким и теплым басом, и в голосе его звучали тогда задушевные, мягкие нотки, — я был дворовый человек, барский... Теперь народ вольный, а тогда воли не было и все люди были барские: желтопузики что хотели с ними делать, то и делали. Моего отца, а твоего дедушку,

засекли до смерти кнутом за сущий пустяк: украл обрубок барского дерева и спрятал в подполье, — он был столяр. Мать в дворне была, а меня, когда я вот еще с тебя был, лет шести, гусят пасти посылали. Бывало, сидишь-сидишь на солнышке день-деньской, сгоришь весь от зною, все смотришь, как бы коршун гусенка не утащил: если пропадет гусенок — значит, и меня, клопа, тоже драть будут. У меня, брат Копка, тогда со спины-то рубцы не сходили, дубленая у меня спина-то. А гусята часто пропадали, потому что я на тростяных дудках любил играть, у пастуха выучился. Заиграешься — и забудешь про гусят; вечером порка. А был я таки и озорник порядочный, все норовил назло что-нибудь сделать. Потом, когда побольше вырос, на гуслях стал играть. И когда у барыни мигрень приключался — есть такая барская боль — мигрень, — то меня с гуслями к ней призывали. Барыня была старая девка, злющая-презлющая: гусли слушать любила, а меня ненавидела. Бывало, как заиграю ей да запою „Вьется ласточка“, сейчас это ее в слезу ударяет — мигрень пройдет, а мигрень пройдет — барыня опять всех пороть велит. И отдала она меня в ученье — в столяры. Там, брат, меня тоже здорово лупили: шесть лет я был не в ученье, а в мученье, ну зато столяр из меня вышел хороший, и еще я от себя токарному и резному ремеслу и рисовать выучился. Вышел я, брат, из ученья двадцати одного года — орел орлом, словно меня и не били никогда! По праздникам работал на себя. Скопил деньжонок, расфрантился, шляпу купил пуховую и на тройке, с колокольчиком, в родное село приезжаю . . .

Рассказывая, отец вновь переживал давно пережитое, голос его звучал задушевной грустью, по временам он закуривал свою трубку, и она, на момент вспыхивая, освещала красным светом его лицо, похожее на лицо кардинала Ришелье. И в тишине темной комнаты мягко ворковал его теплый голос:

— Здорово мне влетело за этот колокольчик: как заслышала барыня тройку — тут же ее в мигрень ударило . . . Показалось ей, что „волю“ везут, — перед волей это было. А народ бежит навстречу, кричит: „Воля! Воля!“ Плачут. И как узнали, что это не воля, а я, — на смех меня подняли, а барыня к себе позвала. Как завидела меня, франта, так и зашипела. „Я, говорит, тебе покажу волю! Отец твой под плетьми околел, и тебе то же будет!“

Написала записку, призвала мужика Онуфрия, дворецким он был, отдает ему письмо: „Отведи, говорит, этого хама в контору и письмо отдай! А потом назад Гаврюшку представь!“ Повел меня дворецкий. Чую — пороть ведут. Идем мимо кабака. Я и говорю Онуфрию: „Ведь не убегу я от тебя, зайдем в кабак, выпьем!“ Важный был такой этот мужик, почтенный и глупый и вино любил, но только непременно даровое, на свои же не пил. Зашли. Спросил я косушку. Пьем. „Ну-ка, говорю, дай-ка я посмотрю бумагу-то“. Он мне и дал. А я ее р-раз! Изорвал в мелкие клочья. Как вскочит мужик. „Что ты со мной сделал? И меня с тобой будут пороть!“ — „Беспременно, говорю, выпорют, коли поведешь меня в контору!“ — „Как же быть-то?“ — „А пойдем, говорю, назад потихоньку: я притворюсь, будто меня выпороли, и ты доложи барыне, только и всего! И будут наши спины целы! . .“

Я тихонько взвизгивал от нетерпения: рассказ отца захватывал, волновал и увлекал меня, я трепетал за отца, прижимаясь к его теплой груди, и в душе дивился его уму и смелости, а он останавливался на самых интересных местах рассказа и курил свою трубку.

— Ну-с, делать нечего, согласился мужик. Посидели в кабаке — идем на барский двор. Я согнулся, чуть ноги волочу, охаю: „О-ох!“ Насилу плетусь. Мужик ведет меня, а дворня-то посмеивается, „с приездом“ поздравляет, и до спины пальцем то один, то другой дотронется, а я: „О-ой!“ — заору благим матом, в кухне до койки насилу добрался . . .

Вышла барыня. „Что, говорит, Онуфрий, сводил?“ — „Сводил, матушка барыня!“ — „Выпороли?“ — „Выпороли, матушка барыня!“ — „Хорошо ли выпороли-то?“ — „Хорошо, матушка барыня!“ А я лежу: „О-ох! О-о-хохо! . .“

Отец рассказывал все это картинно, в лицах, разными голосами, изображая людей. Я торжествовал и покатывался со смеху. Трубка то вспыхивала красным огоньком, то погасала, а отец рассказывал . . . Мрачные тени и картины прошлого как бы проносились перед нами одна за другой в тихой полуночной темноте . . .

— И всего-то я у барыни одно лето прожил. Воспитанница у нее была, барышня, Наташей звали . . . Р-раскр-расавица! Волосы почитай до пяток, глаза большие, печальные . . . Когда бывал у барыни мигрень — призывали меня в покои с гуслями. Был я тогда весе-

лый. Наташа-то меня и полюбила, и я ее полюбил. Барыня же терпеть не могла, если кто кого полюбит! Отдали Наташу замуж за пастуха, а меня в кабалу, далеко, на фабрику, около Волги . . .

Теперь уже и слова-то этого никто не понимает, что оно значит — кабала, а тогда человека в дрожь бросало от этого слова. Продавали тогда мастеровых из дворни на фабрики и заводы на года: человек работает, а деньги за него давно уже барин получил. И обходились с такими закабаленными страшнее, чем с каторжниками, лупили и в хвост и в гриву. Вот и меня так-то закабалили . . . опять на шесть лет.

Ты на гору, а черт за ногу: только из ученья вышел — в кабалу попал, а там люди как в аду мучились. Лупили их плетьми сколько влезет, все равно как сидорову козу. Жизнь прожить, Копка, не мутовку облизать: всего натерпишься! Она, брат, совсем не в нашу пользу устроена. Она — как мала куча: которые наверху — барахтаются да нижних ногами топчут! .. А из-под низу как вылезешь, коли на нас, нижних, доски положены, верхние на досках сидят и обедают, а у нас кости трещат! У них чай да кофей, а у нас чад да копоть.

Я не понимал истинного смысла этих слов, но отец всегда говорил притчами, образно, и его рассказы запечатлевались в моей душе.

— Ну-с, жил я таким манером в кабале, — рокотал отец, — и думал: только бы кончился срок, тогда мои дела пойдут по маслу, откуплюсь на волю! И стал я работать по ночам сдельную работу, чтобы денег накопить да от барыни выкупиться. И так-то работал шесть лет, деньги эти мне в руки не давали, а только за мной записывали. Кончился срок. Иду в контору за расчетом, чуть петухом не пою от радости: воля, думаю, вот она где! Заработал!

Отец засмеялся горьким смехом.

— „Позвольте расчет!“ Переглянулись. Главный-то и говорит, спокойно так: „Отведите его и дайте ему расчет“. Повели меня двое. Гляжу — ведут к воротам. А фабрика была, как острог, высокой стеной обведена, и ворота были железные, а у ворот огромный такой татарин, и в руках у него пуда в три дубина. Иду я, под полой гусли, в руке узелок — и весь я тут.

Подвели меня молча к воротам, растворили их, а татарин взял в обе руки дубину . . . да-а как д-даст мне

промежду лопаток — я и вылетел за ворота: куда кузов, куда милостынки! Брякнулся я об землю, гусли в одну сторону полетели, узелок в другую, а ворота опять захлопнули и заперли. Вот тебе и расчет! Получил! Копил-копил да черта и купил! . .

И опять горький смех и пламенное дыхание трубки.

— А уж вечер был, и на дворе была буря, дождик лил, и Волга вся черная была, а по ней белые барашки гуляли . . .

И некуда мне было деться, и ничего у меня не было, только гусли сломанные. Взял я их в обе руки, размахнулся и о камень разбил, только струны застонали! . .

И побежал я под дождем, по грязи, без шапки — сам не знаю куда. И такая злоба у меня в сердце была, что так бы вот эту самую фабрику порохом бы и взорвал! Добежал до берега Волги, повалился, плачу, ругаюсь и богу жалуюсь . . .

А Волга так и гудит внизу, черные валы так и ходят, дождик хлещет, ветер гонит темные тучи, а гром с неба нет-нет да и раскатится, словно хохочет надо мной: тррах-тах-хо-хо-хо-о!

Мрачная, величавая картина бурной ночи, гром и молнии, тучи и волны — все это грозно вставало предо мной, и я в страхе прижимался к отцу, который, может быть, и сам не сознавал в себе волшебной силы слова.

Он попыхивал из своей коротенькой трубочки и, вновь переживая пережитое, рассказывал своим задушевным голосом:

— И стал я звать черта: хотел я продать ему свою душу, только бы он помог мне отомстить за все мои обиды . . .

— Ну и что же он? — шепотом спрашивал я, едва переводя дух от волнения и невольного страха.

— Не явился! — отвечал он тоном сожаления и сострил: — Должно быть, тогда и сам черт не мог помочь мне! . .

— Добрался я, — продолжал отец, — до родного села, к барыне, и заболела у меня нога, простудил я ее, босиком по болотам с неделю осенью шел. Распухла моя нога, как бревно, стал я хромать. Барыня видит, что я обезножел, как лошадь, и выгоды ей от меня мало, взяла да и отдала меня в солдаты, единственного сына у матери-то, да еще больного! Ничего! На нашем базаре все сойдет, это можно было тогда! Как сейчас

вижу: вышла партия новобранцев в дорогу, и я с котомкой иду, а мать все за мной бежит да ревет, седые волосы растрепались, глаза безумные... Обвила меня за шею — нипочем не вырвусь!.. Она ревет, и я реву... Наконец я вырвался и без оглядки убежал от нее бегом, со своей хромой ногой, догонять партию... Эх, Копка, инда слеза прошибает, как вспомнишь! С тех пор я так мать свою и не видал: умерла...

Отец плакал всякий раз, когда рассказывал этот эпизод прощания с матерью.

Он продолжительно затягивался из трубки, вытирал слезы и, успокоившись, продолжал:

— Тогда в солдаты провожали все равно как в могилу, а я не робел; я даже и не думал, что не дослужусь до офицера... Непременно, думал я, офицером буду! Однако вышло другое. Ногу мою очень скоро там разнесло совсем, и положили меня в больницу. А в больнице-то я пролежал ни много ни мало, как целых два года, ногу-то мне там и отрезали. И как раз тут воля вышла! Обкорнали мне крылья да на волю и выпустили! Ни кола ни двора, полетай куда знаешь — это пролетарий называется по-книжному-то! Двадцать девять лет мне было тогда, да только никто не верил, все за старика считали: переделали мне в больнице рыло-то! За два года-то лежанья много я, Копка, книг прочитал: если бы все их собрать, то можно было бы ими набить вот всю нашу комнату до потолка! И арифметике я выучился в больнице, у одного барина, а до тех пор арифметики я не знал, так что оно, пожалуй, и лучше вышло, что в больницу-то попал. Солдатская служба была такая, что волосы дыбом становятся, как вспомнишь! Я бы непременно в беглые попал, а беглых тогда „сквозь строй“ прогоняли: поставят роту солдат в два ряда, каждому палку дадут, а беглому руки к ружью привяжут и за ружье ведут, и бьют его с двух сторон в голую спину палкой изо всей силы, так что, когда до тебя, бывало, дойдет очередь бить, то уж не по спине бьешь, а по кровяной говядине, говядина-то клочьями висит, а в ней от палок занозы. Упадет он — его водой отольют, поднимут и опять дальше сквозь строй ведут! Случалось, что так и не дойдет до конца: помрет под палками. Тихо-то ударить нельзя: сзади строя ундера идут и мелком на спине крестики ставят тем, которые не изо всей мочи ударили. Кончится „сквозь строй“, тут начнут этих „меченых“ пороть:

только и слышно кругом „ува! ува!“ — как младенцы, под розгами визжат! . .

Я слушал эти рассказы, и сердце мое замирало от жалости и ужаса.

И вся жизнь моего отца представлялась мне таким длинным-длинным „сквозь строем“ из розог, плетей, палок, дубин, горьких обид, нескончаемых несчастий, несправедливых унижений и попираний человека! . . И какого человека. Даровитого, талантливого, умного . . . Я до сих пор не понимаю, как он мог сохранить в себе столько жизнерадостности, достоинства и доброты, как мог он быть весельчаком, так забористо играть на гуслях и петь примиряющее: „попьем-попоем, все горе забудем“ . . .

Однажды, когда отец далеко за полночь убаюкивал меня своими рассказами и мы лежали с ним в нашей каморке без огня, в кабаке раздался звон разбитого стекла, а потом зазвенели деньги в большой шкатулке для выручки. Отец вскочил, наскоро подвязал деревяшку, торопливо зажег свечу, и мы с ним осторожно выглянули в полуотворенную дверь в кабак: там уже все было тихо. Тогда мы вышли за стойку, отец кинулся к выручке . . . Большой, окованной медью шкатулки с деньгами не было, окно против стойки разбито. Вор исчез через окно вместе со шкатулкой, и звон произошел от груды медных и серебряных монет, когда он, вероятно, повернул ее боком. Все село знало, что ежемесячная выручка отца была не менее пятисот рублей, а было уже близко первое число, и отец ждал хозяина за выручкой. Похищение было засвидетельствовано поднятой на ноги сельской полицией, а на другой день прискакал хозяин, богатый купец. Он был толстый, с широкой бородой веером, кривой на один глаз, с двумя толстыми цепями на жилетке. В обыкновенное время он всегда шутил с отцом, видимо, дорожил им, любил слушать гусли и всегда звал его почему-то „орлом“, может быть потому, что как в физиономии, так и в натуре необыкновенного кабатчика было что-то орлиное: орел с отрезанной ногой и подрезанными крыльями! Но теперь хозяин влетел в кабак запыхавшись, озабоченный и недовольный. Единственный глаз сердито вращался, рябоватое лицо покраснело . . .

— Орел! — закричал он. — Много ли украдено?

— Пятьсот рублей! — отвечал отец. — Вся выручка!..

Хозяин плюхнулся на стул, вынул красный платок и стал отирать пот с лысины...

— Пятьсот рублей! — простонал он хриплым голосом. — Вся выручка! И зачем я тебя без залога взял? Что с тебя, голяка, возьмешь?

— Лев Осипыч! — укоризненно заговорил отец. — Чем же я-то виноват? Ведь меня убить могли из-за ваших денег! Да и что вам пятьсот рублей?

— Как что! — заорал хозяин. — Орел! Ты не орел, а ворона! Проворонил мои деньги, да еще смеешься! Пятьсот рублей — деньги! Их на полу не подымешь!..

— Бывает, что и на полу подымают! — отвечал отец и бросил в купца толстым кожаным бумажником, туго набитым. — Я-то орел, — презрительно продолжал он, — орлом и останусь, а вот ты-то кто?

Лев Осипыч развернул бумажник: в нем были бумажные деньги.

— Это что? — спросил он в недоумении.

— Пятьсот рублей! — отвечал отец. — Успокойтесь, все цело: я всегда их держал в шкатулке, а этой ночью словно кто шепчет мне: возьми да возьми в карман! Встал ведь ночью с постели, вынул их из шкатулки да в карман и положил! А тут как раз и воры! Ну, им только рублей восемь досталось, мелочь...

— Ор-рел!.. — заорал купец, словно пьяный, так был рад. — Молодчина! Люблю! Орел — одно слово, это ты верно!..

И он стал трясти своей жирной рукой огромную, жилистую руку отца.

На радостях купец велел откупорить бутылку какого-то „допель-кюмеля“, и они дружественно выпили. Отец сыграл на гуслях, я подзванивал в звонок, Лев Осипыч был в прекраснейшем настроении и все кричал: „Ор-рел!“

Отец только кудрями тряс.

— Ты, орленок! Н-на! — захмелевший хозяин ущипнул меня и подарил мне новенький бумажный рубль; бумажка гремела, как накрахмаленная, и хорошо пахла. Я был рад.

Отец и Лев Осипыч выпили еще.

— Ну-с, — сказал наконец хозяин, — теперича — учет! Нельзя! Девушка гуляй, а дельце помни! Беда,

ежели я тебя в мошенстве пымаю! Ха-ха-ха-ха! З-замузычу! .. Ор-рел! ..

И они принялись за учет.

Когда через несколько времени я вбежал к ним в кабак — они ссорились.

— Какая недоимка? — горячился отец. — Недоимку следует скостить; в долг мужикам роздал, а у них кобылка хлеб поела, оттого и воровство началось!

Хозяин спокойно щелкал на счетах и холодно отвечал:

— Скостить нельзя! Вычту с тебя из жалованья! ..

Отец побледнел. Орлиные глаза его засверкали.

— Как? — заговорил он голосом тихим и дрожащим, между тем как в груди его клокотало бешенство. — Не можешь скостить, когда я спас тебе пятьсот рублей? Я мог ведь их утаить!

— Мог утаить — и не утаил! Значит — дурак! Был я у тебя в руках — не умел держать, а теперича за что же я тебе буду скащивать? Сам посуди! Орел!

— Так ты этак?

— А то как же? — спокойно отвечал хозяин, углубляясь в счета. Ноздри его острого носа сплющились, глаз холодно и неподвижно смотрел в приходо-расходную книгу, и все рябое лицо приняло неприятное, хищное выражение.

Наступило зловещее молчание.

— Вон! — рявкнул вдруг отец, бледный и весь дрожа от злости.

Хозяин от изумления не мог ничего сказать и уставился на него, бледнея . . .

— Вон, сволочь! .. Я тебе не слуга, — повторил отец, и от его баса на полках встревоженно задребезжали бутылки и рюмки.

Своей дюжею рукой, оплетенной толстыми жилами, он схватил хозяина за шиворот и тряхнул.

Между „орлом“ и Львом Осипычем завязалась борьба. Несколько минут они возились молча, слышно было только усиленное дыхание обоих. Купец был гораздо крупнее моего отца, но отец оказался сильнее. Он действовал только одной рукой, другой же держался за стойку, чтобы не быть сшибленным с ног, и яростно возил противника из стороны в сторону.

Перехватываясь левой рукой по стойке, примыкавшей к выходной двери, отец впихнул его в дверь, но купец уперся в косяки. Пыхтя и страшно вращая гла-

зом, он силился подшибить отца под его деревянную ногу. Тут произошло что-то быстрое и неожиданное: отец выпустил шиворот врага и, подняв деревяшку наперевес, пихнул ею купца в толстое, мягкое брюхо.

Лев Осипыч полетел с крыльца.

II

Мы с отцом вышли за околицу, навсегда оставляя село. За спиной у отца висели гусли и узелок. Левой рукой он опирался на толстую палку с железным наконечником, а за правую держался я и семенил за ним по пыльной дороге. Из-под серого картуза развевались по ветру его длинные кудри, в зубах у него ароматно дымилась на свежем воздухе черная коротенькая трубка. Солнце ярко сияло над зеленой степью, село потонуло за пригорком, а впереди серебристою лентой блестела на солнце широкая Волга. Мать мы отправили в родную деревню, к дедушке, а сами превратились в странствующих музыкантов.

— Поедем, Копка, перво-наперво в Нижний, на ярмарку, — сказал мне отец. — Там, говорят, музыканты деньги наживают! Там у нас пойдут дела по маслу, каждый день буду тебе пятак на книжку давать!

В это время я был одержим страстью к чтению сказок. Я жил в чудном мире подвигов Еруслана Лазаревича, Бовы-королевича и Францыля Венециана и хотел каждый день читать новую сказку.

— Идем! — отвечал я, чувствуя в себе героический дух Еруслана и Бовы.

Перед нами открывалась фантастическая жизнь бродячих гусляров, полная приключений, богатая новыми впечатлениями, яркими картинами . . .

Трое суток мы плыли на пароходе в третьем классе. Знойный летний день торжественно сиял над спокойной гладью реки, а навстречу нам плыла панорама зеленокудрявых гор. Эти красивые береговые горы важно и задумчиво молчали, песчаные косы блестели, как золото, порой из-за горы любопытно выглядывала деревушка. По временам пароход плыл около самого берега, у подножия огромных скал, и тогда нужно было поднимать голову кверху, чтобы видеть верхушки гор. Лесистые, курчавые горы сменялись гладкими, и они были расписаны золотыми квадратами хлебов, черными поло-

сами пашен, зелеными пастбищами. Высоко, на верху гор, ползали чуть видные стада черных и белых овец, коровок и лошадок... Все они казались маленькими, как детские игрушки. Избушечки селений тоже представлялись кукольными, с беленькой церковкой, с малиновым звоном сельского колокола... Порой по извилистой тропинке спускалась к реке за водой девушка в ярком наряде, а у берега колыхались челноки, бегали нагие ребятишки, купались и брызгали водой, и брызги алмазами сверкали на солнце.

Вся эта жизнь медленно проплывала мимо нас и опять сменялась величавыми горами и дикими утесами.

— Гляди, Копка, — сказал мне однажды отец, — вон утес Стеньки Разина! Экое орлиное гнездо!..

И он стал мне рассказывать о Стеньке Разине. Утес поражал своею мрачной величавостью... Он был отвесный, возвышался прямо из воды и казался крепостью, сложенной гигантами из громадных камней. Весь каменный, с боков окутанный стройным бором, он грозно хмурился, словно погружен был в грустные воспоминания о Степане Тимофеевиче. Из расщелин диких камней упрямо росли молодые березы, а в уступах вили гнезда степные орлы. От этого места веяло героическим настроением, а отец увлекательно рассказывал мне о подвигах Разина, о громадных исторических сценах, и фигура волжского героя вырастала в моем воображении до гигантских размеров... Мятежи, разбои и грозные события вполне соответствовали этой романтической обстановке: величавая река, лесистые горы и мрачные утесы словно созданы были для того, чтобы разыгрывались трагические истории, эти места одним своим видом наводили на какие-то размашистые, большие мысли.

— И вот, Копка, — рассказывал мне отец, — поймали его, сковали и руки, и ноги и в железную клетку посадили. Так в клетке, словно зверя, и повезли в Москву. Там, на Красной площади, четвертовали...

И он в ярких красках и в живых образах большими чертами, словно художник, нарисовал мне картину казни: огромная площадь, освещенная кровавым светом восходящего солнца, полна народа... Эшафот... Палач в красной рубашке, с окладистой бородой, с топором... Разин лежит на эшафоте... Р-раз! отлетела правая рука... Раз-раз!.. левая нога... Разин молчит... не хочет стонать... Он гордый. Потом таким же мане-

ром левую руку, потом правую ногу и после голову... Изрубили в куски и бросили собакам. Вот как!

У меня кровь застывала в жилах. Изумленными глазами смотрел я то на отца, то на утес, который, как грозное видение, уплывал назад и казался мне теперь обиталищем величавых теней, а отец, указывая на него палкой, продолжал свои рассказы.

— На этом утесе был сложен из камней стул, на стуле сидел Разин и судил ослушников, и бросали их тут же с горы да в Волгу... Очень просто. А то раз плывет Разин по Волге со всем своим войском на лодках: пароходов тогда не было. Все лодки коврами разубраны да награбленным добром нагружены: разграбил он персидское царство и персидскую княжну с собою взял. Плывут они и песни вольные поют, а кругом-то дебри дикие, утесы да горы да Волга на солнышке светится. И говорит Разин: „Эх ты, Волга-матушка!"

И я жадно слушал красочный, картинный рассказ, оживленный подробностями: „княжна взвизгнула", по воздуху сверкнули „золотые башмачки с красными каблучками" и прочее. Я смотрел на Волгу и утесы и невольно ждал, что вот-вот из-за мыса покажутся разубранные лодки с разбойниками, и уже мне чудилось, как поют они вольные песни, а Разин говорит: „Эх ты, Волга-матушка!" Но ничего подобного не показывалось: плыли иногда парусные лодки да плоты со своими избушками. А отец рассказывал:

— Твой дедушка не верит, что Разин умер, и все спорит со мной. В народе, видишь ты, разные сказки про него сложены, так — фантазии: будто под этой самой горой живет Разин; в смерти ему отказано, а предназначено вечно мучиться; лежит он в темной пещере, вроде как в подполье... Цепями он к этому подполью прикован, томится и стонет, задыхается без воздуха и света. Дедушка говорит, что когда на Волге поднимается буря, это знак, что Разин мечется и рвет свои цепи. Кажется, что только Волга шумит да валы об утесы бьют, а если прислушаешься — это „он" под горою стонет... С виду будто бы только сосны под ветром гудят, а наставишь ухо, послушаешь хорошенько — железные цепи звенят! И лежит в пещере огромный великан, седой и нагой... Борода ему все тело покрывает, на руках и ногах за триста-то лет львиные когти отросли, цепь, как змея, обвила его и с телом срослась... Лежит Разин и на груди своей всю гору выдерживает.

Каждую ночь приходят лев и медведь, в клочья его разрывают... И тогда он стонет, и от стонов его дрожит гора, а на Волге поднимается буря. Но в том-то и штука, что к утру он опять как ни в чем не бывало срастается, и опять целехонек лежит в цепях, и опять гора его давит... Так мучится Разин, и конца его мучениям не будет никогда!

Отец задумался немного, помолчал и повторил грустно и вдумчиво:

— Никог-да!..

Я полюбил Разина за его мужество и страдания. Я настроен был сказочно, на богатырский лад, и в моих глазах он был гордый и мятежный волжский дух. Прикованный к утесу, он жил в этих горах. Мало того, он был в моем отце и во мне. Вечный дух беспокойства, мучениям которого никогда не бывает конца, — вот что было в нас. Нам была по душе дерзость Разина, нам, оторванным от всего уклада жизни, отрицаемым ею, одиноким, чуждым всем. Мы оба любили героев непокорных и одиноких, сильных и воинственных. И отец без конца рассказывал мне о них. А Волга ослепительно трепетала на солнце, вдали, словно со дна реки, всплывал вдруг белый, как лебедь, пароход и, дымясь, гулко пел. Рев его катился по реке и пропадал за горами. А в ответ ему оглушительно и дико, со свистом и хрипотой, яростно орал наш пароход и, мощно барабаня колесами, весь сотрясался и дрожал, словно был охвачен неукротимою злобой, словно мчался он в бой. Потрясенный его могучим, страшным голосом, я зажимал уши и в страхе бросался к отцу. Он мне казался единственным и верным моим оплотом в этой огромной жизни, где исчезал я, как маленькая, незаметная пылинка.

— Чего ты, дурачок, боишься? — успокаивал меня отец. — Это свисток, пар! Вон видишь, как он устроен: повернуть ручку — пар и бьет в края этой медной трубки...

И он после свистка подводил меня к трубке, где расхаживал сердитый усатый человек в форменном картузе, и объяснял ее устройство: он страстно любил механику и рассказывал мне все это со своим обычным увлечением... Потом подводил к машине и, говоря о ней, возвышался до истинного красноречия. Я со страхом и любопытством заглядывал в огромное брюхо парохода и по целым часам смотрел, как работал мо-

гучий и страшный механизм, как двигались огромные, блестящие цилиндры, облитые хлюпающим маслом, и как копошились и кишели бесчисленные колесики.

— Это все пар приводит в движение! — объяснял отец. — Но когда-нибудь наука выдумает и „вечный двигатель“, который будет двигаться без пара, сам, и — вечно! — продолжал он с глубоким убеждением и верой. — Он будет наподобие вселенной и этих бесчисленных миров, которые все ворочаются вокруг солнца и звезд... Каждая звезда ведь — это тоже солнце!

О науке он всегда отзывался с большим уважением и любовью, и у нас начинался упоительный разговор о звездах и планетах, о море и солнце, о жаркой стороне, полной сказочных чудес, о жителях луны, о человеческой душе, и мой отец давал волю своей пылкой фантазии. Он умел рассказывать с мельчайшими подробностями о том, чего сам никогда не видал. С луны и звезд мы опять спускались на землю, но не к нашей печальной жизни, не в тесные каморки и бедные хижины, хорошо знакомые нам, а в роскошные дворцы и пышные залы, к богатым и счастливым. Отец водил мою жадную мысль по бесчисленным сказочным залам, без конца отворяя предо мной все новые и новые двери с яшмовыми рукоятками, с зеркальными стеклами, с дивными зверями у мраморных ступенек крыльца... Наконец, он описывал мне жизнь царя с таким обилием подробностей и с таким видом, как будто сам был развенчанным царем. Он описывал царское белье, царское кушанье, весь день царя, его занятия и, наконец, спальню с балдахином из бархата и острым мечом, который висит на тонкой ниточке над головой царя...

Грустная действительность нашей жизни была слишком неприглядна, чтоб ею интересоваться, и, два мечтателя, мы больше интересовались мечтами. Рассказы отца отвечали в моей душе подвигам Бовы и Еруслана и уносили ее в мир героизма и рыцарства.

Потом мы начинали играть перед пароходной публикой. Нас плотным кольцом окружала разношерстная любопытная толпа, разглядывая нас и наши гусли.

А отец начинал „Песню про Стеньку Разина“:

Из-за острова на стрежень,
На простор речной волны
Выбегают расписные,
Острогрудые челны!..

Мотив песни был самый разбойнический, размашистый, и отец пел ее сильным голосом, вольно и широко...

А струны журчали, словно весла всплескивали, песня мчалась мерными взмахами, и выходило похоже на то, что „острогрудые челны“ разрезают звонкую волну и длинные весла на солнце блестят...

На переднем Стенька Разин,
Обнявшись с своей княжной,
Свадьбу новую справляет
И веселый и хмельной...

Мне представлялась целая стая лодок, „разубранных коврами“, отчаянные лица разбойников и среди них Разин, говорящий с Волгой:

Эх ты, Волга, мать родная,
Волга, вольная река!..

Гремит сильный голос отца, а мне кажется, что это голос Разина.

Толпа вдруг увеличивается, все ждут, чем кончится песня, а отец пропоет куплет — и помолчит немного, только струны журчат, и звуки бегут, и мчатся легкие челны.

Мощным взмахом поднимает
Он персидскую княжну
И за борт челна бросает!

Резко обрывается песня: словно ахнули все, словно бросили весла... И опять повторяются последние слова, но уже нежно, жалобно и медленно, словно душа расстается с телом и тихо плачут волны, принимая драгоценный подарок:

И за борт челна бросает...
В набежавшую волну...

И в душе у Разина, в темной ее глубине, тоже что-то плачет о любви, вырванной с кровью из сердца. Но тотчас же начинается прежний размах, и отец, тряхнув кудрями, поет, как настоящий разбойник:

Гей ты, Фролка, черт! Пляши!
Грянем песню удалую
На помин ее души!

Из-за острова на стрежень,
На простор...

И песня заканчивается так же, как и началась: челны бегут, волны журчат, весла всплескивают, и никаких следов не остается на том месте, где утопили княжну. Все исчезает.

Выйду ль я на реченьку,
Посмотрю на быструю!..

Потряхивая кудрями, переходит отец на другую песню.

Унеси ты мое горе!..

Беспечные, живые звуки русских песен, вдохновенный вид гусляра и смешные движения его пальцев по струнам мало-помалу наэлектризовывают слушателей, и в круглую дыру гусель сыплются мелкие деньги.

А ночью небо, и Волга, и берега — все одевалось теплою мглой, в небе выплывали лучистые звездочки и в черной мгле горизонта перепутывались с разноцветными огоньками маяков и встречных судов. Пароход мчался в таинственную безбрежную мглу, из черной огромной трубы вместо дыма столбом вылетали мелкие красные искры и гасли на бархатном фоне черной ночи.

И мне казалось, что какое-то сказочное чудовище с красными огненными глазами, изрыгая искры, как Змей-Горыныч, уносит нас в неведомый, удивительный край...

И вот однажды утром этот край вдруг предстал передо моими глазами. Я проснулся от какого-то странного пения. Пароход шел медленно. На носу парохода широкоплечий чернобородый матрос стоял у борта и, закидывая пестрый длинный шест, нащупывал дно.

— Ше-есть! — пел он густым и мрачным басом.

И тотчас же, как эхо, откликался ему где-то невидимый дрожащий тенор и повторял за ним протяжно и печально:

— Ше-есть!..

И пока он тянул, коренастый матрос опять погружал за борт свой шест и безнадежно пел:

— Пя-ять!..

— Пя-ять!.. — жалобно подхватывал невидимка.

— Шесть с половиной! — ободряюще и быстро вскрикивал бас.

— Шесть с половиной! — радостной скороговоркой повторял тенор.

Но мрачный матрос снова закидывал шест и опять протяжно и сердито пел:

— Шесть! ..

— Шесть! .. — разочарованно и грустно звенел невидимый тенор ...

На горизонте, совсем уже близко, зеленела высокая гора, а на горе блестел под лучами утреннего солнца красивый, словно сказочный, город, — он был обнесен зубчатой каменной стеной с башнями, старинные церкви так и сияли своими золотыми головами, а река против города была вся, от одного берега до другого, запружена судами, и мачты этих судов с бесчисленными красными и белыми флагами казались огромным лесом, которому не видно было конца. Пароход наш подходил к ним все ближе и ближе ...

Мы с отцом ходили по многолюдным, шумным улицам огромного города, играли и пели под окнами многоэтажных домов, пробирались сквозь разноцветную, веселую толпу.

Над ярмаркой стоял целый ад звуков: из трактиров ревели музыкальные машины с литаврами, бубнами и турецкими барабанами, доносилось бесшабашное хоровое пение с визгом и пляской.

На улицах гремели ломовики и пролетки, жужжала оживленная толпа; уличные певцы, музыканты и плясуны пели, играли и плясали, задирая головы на окна верхних этажей. Это был все пришлый, нерусский народ: евреи и еврейки с арфами и скрипками, уличные оркестры венгров с медными трубами и хриплыми контрабасами, музыканты-акробаты, из которых каждый играл на нескольких инструментах руками, ногами и головой, и, наконец, гудочники-итальянцы с гудком под мышкой, в национальных рваных и засаленных костюмах, с красивыми загорелыми лицами и живыми мягкими телодвижениями, полными прирожденной грации. Все это наигрывало, звенело, гудело, пело и плясало разом, создавая невообразимый гам: волынка тянула странные нерусские мотивы, скрипки уличных скрипачей визжали, расстроенные струны арф беспомощно сто-

нали, трубы неистово ревели и хрипели, литавры звенели, барабаны бухали, певцы и певицы надрывались, чтобы быть услышанными...

Толпа густыми волнами текла повсюду с невнятным гулом и жужжанием; мелькали яркие восточные костюмы: восточные купцы в золотых и серебряных тюбетейках, в халатах из желтой и голубой материи, китайцы в том наряде, в каком я видел их нарисованными на вывесках, — в широких цветных шароварах, в странной шляпе и странной обуви, косоглазые, смуглые, с длинными тонкими усами, с черной жесткой косой. Уличные акробаты в ярком трико сгибались в кольцо, прыгали, перевертывались в воздухе, ручные обезьяны лазали по водосточным трубам громадных домов, заглядывали в окна верхних этажей, потешая толпу. Из окон трактиров, откуда несся гам и гул голосов, грохот „машин" и взвизгивание женского хора, спокойно выглядывали полуобнаженные женщины. Над пестрой, веселой и поющей толпой стояла золотистая пыль, освещенная жаркими лучами августовского солнца...

Мы затерялись в этой толкотне со своими тихими, простодушными гуслями.

На огромной площади, полной народа, виднелся целый ряд балаганов. На вышке каждого из них гремел раздирающий уши оркестр и кривлялись паяцы в смешном, дурацком наряде. Потрясая высоким колпаком с погремушками, они отпускали едкие шуточки, и толпа слушателей отвечала им словами еще более смешными. Набеленные лица паяцев были неприятны, со щетинистыми усами, с резкими чертами и морщинами, со следами пьяной и тяжелой жизни.

Тут же крутились карусели, каждая под свою музыку. Около одной карусели мы долго стояли и смотрели на музыкантов; их было трое, и все они были пьяны, в растерзанных одеждах, двое играли на гармониях, а третий — на барабане, отдаваясь игре с необыкновенной энергией. Один из гармонистов был в одном только белье... Нервное, бледное лицо его, обросшее рыжей щетиной, было возбуждено от долгодневного пьянства, воспаленные глаза блестели, все силы его души, казалось, были напряжены вовсю, как натянутые струны, и он играл мастерски, с неистовством, с бешеной энергией, в каком-то исступлении. Играя, он размахивал гармонией, поднимал ее над головой, растягивал длиннейшие мехи и, в упоении собственной иг-

рой, качал нечесаной мохнатой головой, а гармония так и пела, говорила, рыдала, и смеялась, и звенела болью русской души, которая развернулась и удержу знать не хочет.

— Ай да портной! — говорили кругом. — Пропился человек, в музыканты попал, а ловко наяривает! .. Яко благ, яко наг, яко нет ничего! ..

Второй гармонист аккомпанировал столь же энергично и, судя по черным рукам, был сапожником. Но всех энергичнее был барабанщик, деревенский парень. Весь красный, обливаясь потом, он злобно и ожесточенно бил палкой в большой турецкий барабан, словно тот был его заклятым врагом.

— Жарь! — слышалось из толпы. — Сыпь, ребята!

От музыки этих троих музыкантов веяло огромной силой энергии, удалью и ширью...

Около „силомера“ мы заинтересовались богатырем-калачником. Он был почти на голову выше толпы, весь в муке, с рыжими курчавыми усами, в картузе на ухо и донельзя рваном пиджаке внакидку ... Какой у него был героический вид! Как гордо смотрел он на толпу, как легко раздвинул ее своим богатырским плечом! Из уст его рекой лилась рифмованная ругань, он ругался артистически, торжественно и победоносно, выражая звонкою руганью избыток сил и благодушно-боевое настроение.

Одной рукой он брал тяжелый деревянный молот, вдохновенно бил им, кверху по доске взлетал кусочек железа и эффектно разбивал пистон ...

— Ссаривай! Знай наших, почитай своих! Что, черти? Живота вам али смерти? — вызывающе ругался калачник.

Он победил всех. Презрительно раздвинул толпу и гордо исчез в ревущей пасти ближайшего кабака.

Гул и стон стояли над ярмаркой. Мы с трудом пробирались сквозь густую толпу, останавливаясь кое-где поглазеть ... Нас обоих подавляло обилие впечатлений, лиц, красок и звуков ... Толпа, представлявшая смесь всероссийских типов, физиономий и одежд всех стран и народов, с гулом, говором, пением и руганью бесконечным потоком проходила перед нами: китайцы, бухарцы, негры и итальянцы сменялись русскими купцами, мужиками, барынями, сапожниками и калачниками.

Посередине площади какой-то разносчик выставил зеркальный шар, величиной с камышинский арбуз, и на

его поверхности отражалась вся ярмарка, со всеми зданиями, со всем движением разноцветно одетой толпы; мы увидали и себя, маленькими, словно на фотографической карточке. Я долго рассматривал в бесконечной смене лиц крохотные отражения кудрявого гусляра с характерным энергичным лицом, с гуслями за плечами, и маленького деревенского мальчика рядом с ним.

Отец вспомнил, что в Нижнем Новгороде должен где-то стоять памятник Минину и Пожарскому. Он рассказал мне об этих людях и хотел показать памятник, но не знал, как его отыскать, и сколько ни спрашивал встречных, никто ничего не мог сказать. Каждый думал о своем деле, настроение у всех было торговое, только мы с отцом интересовались героями и на ярмарке жизни искали чего-то, что было чуждо всем и близко нам. Отец наконец решил, что Минина и Пожарского нет здесь.

— Есть другой Новгород, — сказал он мне, — так они там, в другом Новгороде!

Наконец мы попали в грязный и низенький трактир, — там было много комнат, и во всех комнатах толпились люди, сидели за столами и пили. В трактире стоял гул и шум голосов, звон посуды, гремело пение. В самой большой комнате, на возвышенной площадке, пели песни женщины в коротеньких платьицах, с голыми плечами. Они слегка пританцовывали и, оттопыривая пальцами свои кисейные подолы, потрясали ими в такт своему пению. Одна из них, которая стояла впереди, запевала сильным грудным голосом:

Раз, в когтях нужды-злодейки,
Стукнул нищий в дверь мою,
Но сама я без копейки,
Голодаю, да пою!
— Тру-ля-ля! Тру-ля-ля!

Остальные припевали, чуть-чуть поднимали юбки, пританцовывали и неестественно улыбались.

Ради неба, просит пищи,
И пуста его сума...
Жаль беднягу!.. Хочешь, нищий,
Вместо хлеба — я сама...

Весело подхватывал хор певиц. Все они были очень красивые, молодые, голоса звенели, как струны...

Наше появление было замечено хозяевами трактира, и нам позволили в антракте показать свое искусство. Отцу дали стол, он положил на него гусли, засучил рукава, настроил струны, тряхнул кудрями и заиграл.

Он заиграл печальную, задушевную песню... Резко выделяясь, прозвучала она в этом грязном городском трактире, среди бесшабашного веселья и нечистых песен. Невинные гусельные трели как бы случайно залетели сюда, словно пойманные полевые птички. От них веяло чистым воздухом полей, они как будто грустили, одиноко порхая в нездоровом воздухе огромного возбужденного города. А у нас обоих, у отца и у меня, на сердце была печаль по оставленной деревне и страх перед городом...

К нам прислушивались. Шум трактира стал глуше. Тогда отец запел:

Ветка, ветка бедная,
Ты куда плывешь?
Берегись, сердечная:
В море пропадешь!

Жалобные трели и грустные аккорды гуслей опять заговорили, словно повторяя его слова, а он, помолчав, продолжал свою песню:

— Нечего беречься мне! —
Веткин был ответ. —
Я уже иссохшая,
Во мне жизни нет!

Как задушевно, как грустно он пел своим теплым голосом!.. Негромкий, но густой и слышный, этот голос переплыл через весь гам трактира, как волна, и смолк, а звуки гуслей повторили его слова и передали басам. Басы согласились, но тихо спросили о чем-то...

От родного деревца
Ветер оторвал! —

объяснил отец, и ноздри его раздулись, и глаза внезапно заблестели...

Пусть теперь несет меня
Куда хочет — вал!..

И опять заговорили печальные струны. Тут подошла к нам замечательно красивая девушка. Я был до глубины души поражен ее красотой и фантастическим ярким нарядом: на ее черных густых волосах лежала красная шелковая шапочка, украшенная мелкими серебряными монетами, вся грудь была в ожерельях из монет, рукава куртки широкие, расшитые золотой бахромой, а юбка на девушке была из красного атласа. Девушка весело смотрела огромными черными глазами из-под густых и длинных ресниц и казалась очень живой и возбужденной. Смуглая, румяная, с тонкими чертами лица, она была дивно хороша! И голос у нее был музыкальный, похожий на звук свирели, и говорила она, словно пела, чужим, не нашим говором — „по-хохлацки", как объяснил мне после отец.

— Бандуристику, голубчику! Заграй мени, а я заспиваю! Заграй, кучерявый!

И она громко запела своим свирельным голосом:

Виют витры, виют буйны,
Аж дерева гнутця! . .

Отец сразу подхватил на гуслях аккомпанемент, и сильное грудное сопрано так и зазвенело по всему трактиру... Ее голос был яркий и горячий, как лучи ее родного южного солнца, и брызгал, словно огненный дождь, обдавая толпу... Теперь мы уже сделались предметом всеобщего внимания, со всего трактира прихлынул народ, кольцом окружил певицу и гусляра, а она пела, ни на кого не глядя, и лицо ее было теперь такое гордое, мрачное и прекрасное! . .

Ой, як болит мое сердце,
А слезы не льютця! . . —

разливалась по трактиру печальная песня. Но слезы обильным ручьем уже текли из ее прекрасных глаз. Она пела задушевно и грустно и так была красива, поющая и плачущая, что жаль было смотреть на нее.

Вдруг она быстро положила свою хорошенькую ручку на струны и остановила песню.

— Веселую! — крикнула она.

Отец заиграл веселую.

Она тряхнула головкой, повела плечами, зазвенела всеми своими монетами, улыбнулась и, плавно повора-

чиваясь на каблучках, грациозно покачивая станом и разводя руками, запела:

Попьем, попоем —
Все горе забудем.
А смерть придет —
Умирать будем!

Слушатели смеялись. „Ловко поет!" — говорили одни. „Пьяная", — возражали другие.

Она пела и хлопала в ладошки, притопывая каблучками и плавно поворачиваясь кругом себя, а по лицу ее все еще текли слезы.

В эту минуту явился полицейский в сопровождении толстого, хорошо одетого господина. Полицейский грубо ухватил певицу за руку и прекратил ее веселье, а господин что-то такое говорил, и вид у него был оскорбленный и обиженный. Девушка покорно пошла с ними из трактира и только громко ругалась грубыми словами. В толпе звучали слова: „убежала", „били", „обязана" и еще что-то, непонятное мне.

Мы играли в этом трактире несколько дней. Потом нас пригласили в другой. Наконец мы получили приглашение в большой трактир играть до конца ярмарки на жалованье в двадцать пять рублей в месяц, на всем готовом.

Трактир помещался во втором этаже огромного дома, и в него вела длинная широкая лестница. Нам отвели крохотную, полутемную каморку, два раза в день подавали чай, в полдень обед и поздно вечером ужин.

Днем почти нечего было делать — трактир пустовал, и только по временам приходила пить чай большая компания восточных купцов. Они все были одеты в дорогие национальные костюмы яркого цвета, ходили в калошах и ичигах из зеленого сафьяна и не снимали с бритых голов дорогих тюбетеек, густо расшитых золотом и серебром. Все на них блестело и шелестело. Они были важные, молчаливые, медлительные и говорили на странном, гортанном языке. Им подавали на большом подносе фарфоровые чашечки, низенькие и широкие, похожие на тюбетейки, и они медленно и долго пили из них густой чай. В нашей музыке они не нуждались.

Днем отец обыкновенно разучивал для себя новые мотивы, слышанные им на ярмарке. У него был хороший слух и большая память, и он уже играл на своих гуслях все марши, польки и всевозможные отрывки из опер и опереток, усвоенные им от здешних бродячих музыкантов. Играл он и нежно-печальные, одного характера, нижегородские народные напевы, неумолчно звучавшие в воздухе.

Вся ярмарка прежде всего гудела здесь песнями: они носились в воздухе, лезли в уши, запечатлевались в памяти. Эти мелодичные нижегородские песни, в которых неизменно воспевались любовь и разлука, до сих пор звучат у меня в ушах; они особенно хорошо выходили на нежных гусельных струнах.

Отец разучивал эти песни и даже, кажется, сочинял свои, а я в это время упивался чтением лубочной книги, купленной за пятак. Этот пятак я ежедневно стал требовать у отца, помня его обещание. Он сначала давал охотно, но потом стал отказывать и сердиться.

А я всем существом моим жил в мире богатырей, рыцарей, волшебников и драконов. После каждой прочитанной сказки я долго не мог успокоиться и пытался передавать мои впечатления бумаге: я рисовал. Так как рисовал я без устали и вечно, то на бумагу для этого тоже нужны были деньги, и я подбирал на полу оберточную бумагу и покрывал ее изображением вооруженных с ног до головы рыцарей, подписывая каждое изображение каким-нибудь двустишием.

Я продолжал свои занятия и вечером, когда под потолком трактира зажигали лампы; желтая оберточная бумага из-под гильз при свете ламп становилась белой, и на ней можно было рисовать. От рисования отрывал меня отец, он налаживал струны и принимался за работу; трактир начинал наполняться гостями.

Я чувствовал себя так, как будто бы только что очнулся от роскошных и сладких сновидений, и с тоской начинал бить в звонок, а отец разливал по трактиру звонкие гусельные звуки.

Иногда мы пели дуэтом „Стонет сизый голубочек“, или „Вот на пути село большое“, или „Ветку“. У меня был звонкий дискант, и я любил петь, но петь по принуждению не хотел и часто отказывался. Тогда мы ссорились.

— Пой! — говорил мне отец.

Настроение мое моментально становилось мрачным, я бычился и молчал.

— Пой, говорят тебе! — горячился отец и начинал аккомпанемент.

Гусли рокотали. Я молчал.

— Пой, черт тебя подери! — ревел он на меня в бешенстве.

Я начинал петь, но от грубого обращения со мной у меня совсем пропадал мой обычный звонкий голос: он дрожал, обрывался, слабел, а глаза мои наполнялись слезами оскорбленного самолюбия.

— Громче! — кипятится отец.

Я совсем умолкаю: горло сдавлено спазмой, по щекам льются слезы.

— Тьфу! Ни одной книжки тебе не куплю! Звони!

И он пел один комические куплеты:

Встреча-то премерзкая:
Лавочник идет.
А жена-то дерзкая
В лавке в долг берет!
Дети плачут с голоду,
Дохнет вся семья.
Глупо сделал смолоду,
Что женился я...

Он пел и по-прежнему энергично потряхивал кудрями, но сквозь веселый строй гуслей пробивалась печаль.

Когда по окончании игры никто из публики не подходил к гусляру и не бросал на струны мелких денег, тогда отец посылал меня обходить слушателей с протянутой шляпой в руке. Из-за этого у нас тоже выходили препирательства, но угроза лишения книг действовала, и я шел собирать деньги.

Смущенно путешествуя со шляпой, я чувствовал себя униженным. Некоторые давали мне деньги со словами: „Это тебе", — но я все отдавал отцу.

Гости все прибывали, голоса их начинали сливаться в один общий гул, и мы барабанили всю ночь почти без передышки. Мало-помалу фигуры гостей расплывались, разбухали, вырастали до потолка, потом сразу исчезали, гул трактира становился глуше, в ушах гудели только знакомые звуки гуслей, и я звонил сквозь сон, с закрытыми глазами. Толчок отцовской руки пробуждал меня, я поднимал голову и, постепенно склоняя ее, опять звонил, звонил, звонил...

У отца на всех пальцах были кожаные „напалки“, иначе, как говорил он, „пальцы можно протереть до кости“.

Однажды утром, когда трактир пустовал и мы были свободны, я спускался с отцом по длинной лестнице из трактира, чтобы идти купаться на Оку.

На лестнице, как и во всем трактире, было пусто, тихо. Вдруг на ней появились какие-то люди и бросились к отцу. Один из них, зверообразный, рыжий, похожий на того парня, который хотел разбить гусли, загородил отцу дорогу.

— Ты что, хромой черт, нам вчера испортил дело? — хриплым голосом зарычал он.

— А то, что я не согласен людей грабить, — отвечал отец. — Пошел прочь!

— Ах ты . . . шерстобит! — злобно зашипел рыжий и схватил отца за горло. Трое других молча вцепились в него, и началась борьба. Рыжий душил его, и отец хрипел, лицо налилось кровью, глаза страшно выкатились. Я пронзительно визжал и колотил ручонками рыжего. Мой визг спас отца: сверху прибежали половые, таинственные люди бросились на улицу и убежали.

Отец едва отдышался.

— Разбойники! — говорил он всем собравшимся. — Хотели они вчера обобрать пьяного купца, да я не согласился, а без меня нельзя было! Так вот — за это! Тут грабежом деньги-то наживают! Ну, якшаться с ними нам не рука!

Он тряхнул кудрями и шутливо добавил, обращаясь ко мне:

— Видно, Копка, здесь у нас дела-то не пойдут по маслу!

Дела шли у нас действительно далеко не по маслу. Доходы, на которые рассчитывал отец, были плохие, а на „темные“ дела он не соглашался; значит, о солидном заработке нечего было и думать.

Но я знать ничего не хотел и каждый день клянчил пятак на книжку. Когда в трактир заходил разносчик с коробом лубочных книг и картин, я ударялся в слезы.

— Купи книжку! — умолял я отца, обливаясь слезами.

— Денег нет, не куплю! — сурово отвечал он.

— Купи-и! — приставал я, всхлипывая. — Деньги есть, я сам видел в сундуке!

— Отстань! Какие это деньги? Они нужны тебе же, на сапоги, на рубашку!

— Не надо мне сапоги! Не надо рубашку! Книжку мне! Ведь только пята-ак! — тянул я его за душу.

— Сегодня пятак, завтра пятак!.. Это — его же царствию не будет конца!

— Купи-и!..

Я реву. Все лицо мое мокро от слез.

— Я тебе все песни буду петь! Буду слушаться! — пускаюсь я на обещания.

— Не куплю! — говорит он непреклонно.

— Зачем же ты меня обманул? — сквозь рыдания кричу я, испытывая первое разочарование в жизни.

— Чем я тебя обманул?

— Ты... говорил... как приедем в Нижний... каждый день... по книжке...

Родник моих слез оказывался неиссякаемым. Я поступал жестоко: вероятно, отцу было тяжело видеть мое горе. Но он оставался непреклонным — впереди стоял грозный призрак бесприютных скитаний без гроша за душой.

Опрометчивое обещание, данное мне отцом о ежедневной покупке книг, имело для меня огромное значение. Мечта о ежедневном чтении все новых и новых книг составляла для меня весь интерес жизни, и ради этой мечты я терпеливо переносил все, что было для меня ненавистного в нашем ремесле. Эту мечту я лелеял долго, еще когда мы ехали по Волге. Я никак не ожидал, что отец меня обманет, и не хотел взять в толк нашего тяжелого положения — книжка мне казалась нужнее сапог.

Какая-то мысль мелькнула у меня. Хотя плакал я вполне искренно, но тем не менее имел и расчет, что мои слезы разжалобят отца. Когда же он устоял против слез и занялся разучиванием, я сразу бросил плакать, забился в угол нашей каморки и сидел в нем долго и мрачно. Я решил непременно поставить на своем.

Мне захотелось отнять у отца пятак. Но тут я вспомнил, как он расправился с купцом и четырьмя разбойниками, которые не могли его свалить на лестнице с единственной ноги, и сообразил, что он — сильный, а я — мал и слаб. Значит — надо украсть. Пятаков в сундуке лежит целая пригоршня: если взять один из

них, то отец, пожалуй, не заметит. А если и заметит — так что ж? Я не боюсь! Я скажу: да, я взял, потому что это „мой“ пятак, заработанный мною, один из тех, которые дадены „мне“. Пусть тогда не покупает сапог, наплевать! Я считал себя совершенно правым, и не только правым, но прямо обобранным, а отца — присвоителем моего пятака и обманщиком.

Я смело открыл сундук, взял пятак, лежавший сверху других пятаков в маленьком ящике сундука, и, крепко зажав монету в кулаке, побежал покупать книжку.

Мне попался разносчик, у которого только и осталось что две книжки. Одна была „Еруслан“, давно мне известная, а на розовой обертке другой был нарисован рыцарь в полном вооружении, заглавие же книжки было „Дон-Кихот“. Я любил рыцарей и купил эту книжку.

Читать я ее принялся тут же, на тумбе между деревьями. Книга эта сразу увлекла меня. Я от всего сердца полюбил благородного и храброго рыцаря, путь которого был длинным рядом несчастий и битв, а он все-таки не унывал и шел, как „сквозь строй“. И я находил сходство в его судьбе с моей собственной судьбой и жизнью моего отца и плакал, читая о страданиях Дон-Кихота . . .

Я наскоро смахивал рукавом слезы и снова проглатывал страницу за страницей, пока не кончил чтения. Таких книг я еще не читывал и теперь был убежден, что лучшей книги нет на свете. Я чувствовал себя после чтения как в чаду: голова горела, щекам было жарко, и казалось мне, что все кругом задумалось о печальной истории: огромные пятиэтажные дома удивленно смотрели своими многочисленными окнами, словно хотели сказать: „Вот так штука!“, а деревья совсем-таки явственно шептали над моей головой: „И ты ведь будешь . . . Дон-Кихотом . . . Дон-Кихотом!“

Наконец я пришел в себя. Как быть с такой великолепной книгой? Как уничтожить ее? Можно ли расстаться с таким другом, как Дон-Кихот? Я был в нерешительности, а храбрый рыцарь пристально смотрел на меня с розовой обложки, восседая на Росинанте во всеоружии своих доспехов, и как бы говорил мне, кивая: „Не бойся!“

Я свернул книжку трубкой, положил в карман штанов и как ни в чем не бывало возвратился в трактир. До самого вечера я рисовал Дон-Кихота на желтых

обложках от гильз, слагая в честь рыцаря самые дружеские двустишия, потом всю ночь покорно играл с отцом и даже пропел „Вот на пути село большое“.

Заснул я крепко и спокойно, как человек, которому удалось хорошее предприятие. Во сне подъезжал к моему изголовью Дон-Кихот и дружелюбно разговаривал со мной.

Когда я проснулся, утреннее солнце радостно било в окно и освещало каморку розовым светом. Первою моею мыслью был „Дон-Кихот“, и я схватился за карман: увы! книжки там не было. Я поднял голову: у стола сидел отец, весь в розовом освещении, и внимательно читал измятую книжку в розовой обложке — моего „Дон-Кихота“. На лице его я заметил удовольствие. Он курил трубку, слегка улыбался, раздувая ноздри, и, видимо, одобрял подвиги Дон-Кихота. Но едва он заметил, что я проснулся и шевелюсь, как лицо его приняло суровое и зловещее выражение.

— Поди сюда! — сказал он что-то чересчур уж спокойно. — Где ты эту книжку взял?

— Купил.

— А где денег взял?

— В сундуке.

— Значит — у-кр-рал! — сказал он, повышая голос и как бы срывая с лица маску спокойствия; оно теперь пылало гневом, розовое от восходящего солнца.

Я стоял перед ним с опущенной головой, как подсудимый. Я обиделся, что отец заговорил со мной тоном судьи, а не товарища, каким он был до сих пор. Я чувствовал какую-то неискренность с его стороны, словно он играет роль. И я молчал. Что-то мне мешало говорить. Помолчал и отец, выпустил облако табачного дыма, и оно расплылось по комнате, освещенное золотыми лучами. Отец сердито посмотрел на солнце своими грозными глазами и заговорил о Дон-Кихоте.

— Дон-Кихот был честный рыцарь, — говорил он, — он шел напролом и никогда не воровал, не лазил исподтишка по сундукам . . . А ты — воришка, трусишка, непослушный сын! Ты — не рыцарь, а просто арестант! . .

И он долго красноречиво и с обычным своим увлечением яркими красками рисовал мне мое будущее: сначала я украл один пятак. Если меня не наказать, то я украду другой, потом стащу и целый рубль, потом больше, потом еще больше. Затем — „повадится кув-

шин по воду, сломать ему голову“. Это значит, объяснил он, что „сколько вору ни воровать, а тюрьмы не миновать! Быть бычку на веревочке!“ Я, наконец, попадаюсь в лапы жандармов в синих мундирах, меня забирают и сажают в острог, одевают в арестантский халат, а ноги куют в железные цепи. Мать видит меня в цепях и умирает с горя, а весь народ кричит: „Смотрите, смотрите, арестанта ведут!“ На груди у меня повешена черная доска, а на ней мелом написано: „Вор!“

Это слово отец крикнул так, что я вздрогнул: оно словно било меня по лицу. Я хотел возражать, хотел оправдываться, объяснить ему... Но язык мой не хотел говорить: я был оскорблен и гордо молчал, а отец не понимал моего молчания и допекал меня.

— Поздно тушить пожар! — гремел он. — Нужно тушить искру! Зло нужно вырывать с корнем в самом начале! Нужно сечь сына, когда он поперек лавочки укладывается, а не тогда, когда он и вдоль-то не уляжется!

— Ты думаешь, — не унимался он, — что мне пятака жалко? Нет, мне тебя жалко, потому что ты стоишь на краю пропасти и хочешь броситься туда. Сегодня ты посягнул на пятак отца твоего, а завтра посягнешь на пятак чужого дяди, потому что своих-то пятаков у нас мало и всегда будет у тебя мало их, запомни это! Мы — бедняки и не должны тягаться с богачами: „Коза с волком тягалась — одна шкура осталась!“ А чужой-то дядя тебя в бараний рог и согнет, потому — он сила: „С сильным не борись, с богатым не судись!“ На свете так устроено, чтобы одни были бедные, а другие богатые! И в котором бедняке заводится такой дух, чтобы завидовать богатым и не покоряться своей низкой доле, то этот бедняк погибает, как мошка от дождя, и я не хочу, чтобы ты погиб, а для этого я обязан, как отец, дать тебе наказание, чтобы ты помнил и не воровал больше никогда!

И он стал торжественно приготовлять розги, чтобы истребить во мне мятежный воровской дух.

Я не верил, что он меня высечет. Что-то поднялось и закипело в моей груди, но оскорбленная гордость не позволяла говорить... А мне хотелось крикнуть ему, что я уже не маленький, мне целых восемь лет, что я такой же вольный певец, как и он, и меня не за что сечь...

Он взял меня за руку и вывел на двор, под сарай . . .

Я чувствовал, что в голове моей все перевертывается от ужаса, унижения и страха. Я готов был на все, лишь бы меня не секли. И я униженно встал перед ним на колени, рыдал и даже лицемерно молил „о прощении“. Гордый в душе — я затрепетал при виде розог, испугался предстоящих ударов . . .

Я струсил.

Но лицо отца было твердо и сурово. Он решил.

— Не проси и не моли! — говорил он непреклонно.

Рыдающего, полубезумного, положил он меня на скамейку и начал сечь. Розги свистели в воздухе и обжигали мою спину огненными полосами. Я вырывался, царапался, кусался, бил ногами и пронзительно кричал.

Но отец крепко держал меня и сильно бил. Потом у меня потемнело в глазах.

Очнулся я в каморке, на постели. До спины нельзя было дотронуться: она была в крови и ее жгло . . . Но гораздо сильнее жгло мою душу: и тело и душа моя были в крови.

Душу жгло какое-то новое чувство, которого я прежде не испытывал, — это была злоба.

Я думал об отце; он мне теперь был ненавистен. Я чувствовал, что никогда не забуду и не прощу ему нанесенной мне обиды. Как приятно было бы увидеть его теперь мертвым! . . Отца, которого я так любил, без которого не мог представить себе своего существования, за которого я не задумался бы прежде пойти в огонь, — этого отца, такого дорогого для меня человека, единственного из людей, кого я до этих пор любил всеми силами своей души, — теперь я не мог представить себе без ненависти и отвращения.

Я сидел на постели в неподвижной позе и чувствовал себя совершенно одиноким на всем свете.

Я хотел плакать, но слез не было. Упрямая злость застыла в моем сердце, жгла мою душу и сушила мои слезы. Я уже никого не любил и всех ненавидел. Я ненавидел и отца, и половых, и повара, и бабу с ребятишками, и всю толпу, которая смотрела на то, как меня секли. Наконец, я ненавидел самого себя, и это было всего тяжелее.

„И зачем это я на колени становился, да еще „миленьким“ его называл, — со стыдом думал я, — лгал, признавая себя виноватым, кричал и плакал? Нужно

бы молчать, как молчал Стенька Разин, а я испугался, струсил! Стыд! Не хочу быть трусом! Хочу быть храбрым, как Дон-Кихот, и мужественным, как Разин!"

Самолюбие мое страдало от сознания, что я не таков, какими были они. На полу валялся измятый „Дон-Кихот", розовая обложка книги сморщилась, и мне показалось, что рыцарь теперь смотрит на меня с кислой гримасой презрения.

Весь свет был мне противен, не глядел бы на него. Жизнь моя как бы разделилась на две половины: светлую, когда я еще не был бит, и темную — после того, как меня высекли.

Светлая жизнь исчезла безвозвратно, а теперешняя моя темная жизнь показалась мне совершенно неинтересной, скучной, холодной . . .

И мне захотелось умереть. Захотелось прекратить в груди невыносимую жгучую боль, которую я чувствовал.

И я представил себе, как я буду мертв и как отец будет плакать надо мной и раскаиваться в том, что высек меня. О! Я отомщу отцу! Я отомщу своею смертью!

Я чувствовал себя несправедливо обиженным страдальцем, и мне было смертельно жаль самого себя, и это чувство доставляло мне мучительное наслаждение. Злорадное чувство мести охватило мою горящую душу.

Я встал с постели и вытащил из-под кровати веревку: я знал, что там была веревка. Куда же привязать? Вот к форточке можно привязать . . . Я приставил стул к печке, встал на него, приподнялся на цыпочки и привязал веревку к чугунной плите печной форточки; на другом конце была петля. „Теперь нужно запереть дверь!" — сказал я мысленно, соскочил со стула и запер дверь. Все это я проделал с каким-то особенным спокойствием и чувствовал себя хитрым и предусмотрительным человеком.

Однако я торопился. На дворе был какой-то шум. „Яшка, подь сюды, эфиопская твоя морда!" — орал сердитый голос. Это повар поваренка ругает. Экипажи гремят. Воробьи чирикают. „Да что же это я? Скорее!" — шептал я сам себе. Я просунул голову в петлю и оттолкнул стул. Он с грохотом упал, а меня куда-то потащило. Стены комнаты закачались, и мне сделалось страшно, и я опять струсил, мне захотелось освободиться, снять петлю, спастись: я болтал ногами в воздухе, чтобы встать опять на стул. Хотелось закричать — и не мог . . . Мне показалось, что лицо мое раздулось и ко-

жа на нем хочет лопнуть... Целый вихрь мыслей завертелся в моей голове. С удивительной ясностью вспомнил я всю мою коротенькую жизнь, деревни, села, поля, мать, кабаки, Волгу и ярмарку. Все это было как на картине и имело какой-то особенный, таинственный смысл, как бывает во сне, и я понял что-то такое самое главное, что прежде не знал.

Зеленые, оранжевые и красные круги заходили перед моими глазами, расплываясь все шире и шире, и наконец моя жизнь осветилась ярким солнечным светом: она стала дивно прекрасной. Я почувствовал необыкновенный восторг. Где-то мягко и тихо играла стройная музыка, а около меня гармонично позванивали малиновым звоном серебряные колокольчики... Сладкая истома счастья разлилась по всему моему телу. Тогда моя жизнь стала понемногу удаляться от меня, солнечное сияние побледнело, появилась черная ночная мгла, по ее безбрежному бархатному полю замелькали бесчисленные огоньки и понеслись вдаль... Колокольчики звенели все тише и тише, музыка удалялась, огоньки мелькали все реже и наконец совсем погасли.

Кто-то случайно вытащил меня из петли.

III

Два года мы были бродячими музыкантами. Мы побывали во всех поволжских городах, переезжали из города в город, переходили из трактира в трактир, но везде нам жилось одинаково скверно.

Отец как будто чего-то искал в жизни; ощупью, скорее чутьем, чем сознательно, он стремился куда-то выбиться „из-под низу". Это был человек, не удовлетворенный жизнью. Его артистическая натура и живой ум жаждали какой-то иной жизни, более широкой и светлой, чем та, которая предназначалась нам, рожденным в низкой доле.

И он искал дороги, но дороги не было. Вместо лучшей жизни мы попадали в худшую, вместо возвышения — понижались, мы лезли „на гору", но „черт" неукоснительно схватывал нас „за ногу", и дела наши все еще не шли „по маслу", хотя отца нигде не покидала глубокая вера, что они, эти дела, вот-вот, сейчас, завтра непременно пойдут по маслу.

Наконец мы оставили музыкальный промысел: в одном из приволжских городов отец поступил на механический завод, из деревни приехала мать, и мы зажили по-семейному.

На заводе из людей весь сок выжимали и умели держать их в кабале, хотя и по-новому. Отец целый день проводил на заводе, делая шестерни, и возвращался домой усталый и мрачный. Когда мы с ним по-прежнему ложились вместе спать, я видел, что все колено его изуродованной ноги покрыто кровавыми пятнами.

— Это мозоли, — говорил он мне, — они ногу-то как огнем жгут!

В своих рассуждениях он подвергал резкой критике заводские порядки, потом делал поэтические обобщения и переходил к философским рассуждениям о жизни вообще. Эти рассуждения он сводил к басне о Кривде и Правде и передавал ее в лицах. ...„Правда, где ты?" — восклицал он громким голосом и сам же отвечал, состроив смиренную и юмористическую физиономию: „Здесь-то я здесь, да за-корм-ле-на!" — он говорил эти слова тоненьким, словно пришибленным голосом. И вдруг, уже от себя, начинал громить Правду. Его возмущали ее „закормленность" и забитость.

Я ходил в школу. Там не знали, что со мной делать: по чтению я годился хоть в старший класс, а по письму — в самый младший, так как мог писать только печатными буквами. Меня посадили в младший, где люди едва умели складывать слова, а я, читавший лучше „старших", должен был заниматься только чистописанием. И мне было скучно в школе. Товарищи мои казались мне слишком глупыми: их занимала только свайка, бабки и голуби; книги они все терпеть не могли, а о богатырях не имели понятия, никто из них не путешествовал и ничего не знал. Я презирал их, предпочитая оставаться в обществе своего отца и лубочных богатырей.

Жили мы около завода, под горой, недалеко от Волги и пристани. Завод с высокой трубой стоял на самом берегу; в полугоре тесно жались лачуги всякой голи и бедноты; там во дворе снимали мы у кого-то комнату за три рубля. А выше нас громоздились большие каменные дома и гудел город.

Наш двор был весь застроен лачугами, переполнен жильцами, комната наша была такая грустная, грязная, оклеенная старыми шпалерами, а потолок —

писчей бумагой, он протекал от дождя, и от этого на бумаге образовались причудливые узоры; я любил смотреть на них и различать в этих узорах облака, замки, рыцарей и драконов.

За тонкой дощатой перегородкой жил хозяин хибарки. Он был всегда пьян и постоянно пел одну и ту же песню: „Воспой, воспой, жавороночек!“ Песня была очень грустная и звучала за переборкой денно и нощно.

Однажды в праздник, в летний день, в городе случился пожар. Пожары происходили почти каждый день, и население нашего двора относилось к ним только как к даровому зрелищу. Обыкновенно эти зрелища не были продолжительными: пожар скоро тушили. Но в этот день он что-то затянулся: из города к нам плыли облака черного дыма, слышались грохот скачущей пожарной команды, гул толпы и тревожные звуки набата. День был ветреный, по Волге ходили беляки, а в черном дыму порой летали „галки“ — горящие головни...

С нашего двора множество людей побежало на пожар. Черные облака все увеличивались, теперь уже и нам из-под горы было видно, как порой лизали их красные языки пламени. Ветер все сильнее и сильнее дул к Волге, доносил к нам запах гари и дыма. Прибежавшие с пожара говорили, что его никак не могут остановить: „галки“ летят во все стороны, и огонь перекидывается; вся главная улица в огне, пожар идет к Волге...

Этим тревожным рассказам аккомпанировали возрастающие приливы набата, гул пожара и вой ветра... Дым и пыль, смешиваясь, крутились в воздухе и застилали солнце, и оно светило каким-то зловещим, сказочным светом. Некоторые на всякий случай начали „таскаться“, выбираясь из хибарок, но отец мой запретил матери связывать наш скарб в узлы.

— Терпеть этого не могу! — возмущался он, энергично выколачивая из трубки.

— Да ведь другие же таскаются? — возражала она.

— Другие! Мало ли что другие? Другие-то богатые, у них много всего, вот они и боятся пожара, вот и таскаются! А у нас ведь нет ничего, терять нам нечего и таскать тоже нечего! Не моги! Пожар сюда не дойдет!

Он закурил трубку, выпустил дым из ноздрей и продолжал:

— А жаль, если не дойдет: давно уж эти гнилушки пожара дожидаются, да и заводу-то надо бы сгореть, ежели по справедливости-то! Все бы немчура-то наша поплясала немножко! .. Штрафовать! Штрафовать! Глюп! Карашо штрафовать!

И он артистически передразнивал немца, хозяина завода.

Отец спокойно отправился на пожар, а мы с матерью воспользовались его отсутствием и стали „таскаться". Мы вытащили постель, несколько узлов и гусли к воротам, где уже расположилось все население нашего двора, напоминавшее цыганский табор.

Я тоже побежал на пожар.

Там, на горе, весь город гудел ... Народ толпами бежал туда и оттуда ... К Волге скакали пожарные бочки, запряженные парой сильных лошадей, с пожарными в медных касках, и возвращались обратно с водой ... Я бежал в гору по скверным тротуарам из булыжников, попадая людям под ноги, невольно заражаясь общим возбуждением.

На главной улице, на горе, свирепствовал необыкновенный пожар: все кругом горело, дымилось, рушилось, трещало, грохотало. Примыкающая к пожару улица была запружена толпой народа, лошадьми, бочками, насосами, грудами узлов и всякого имущества. Черный едкий дым застилал всю картину, могучее пламя, раздуваемое бурей, выло и металось, вся толпа кричала, и в этом общем крике ничего нельзя было разобрать, — все звуки покрывал потрясающий набат. Он гудел грозными частыми ударами, и эти удары слились в оглушительный медный вой и стон; набат возбуждал, требовал и грозил ...

Я испугался, стиснутый густою толпой ... Вдруг появились солдаты. Впереди их был толстый и седой вояка в эполетах — генерал, как я подумал. Он махал рукой и что-то кричал толпе, которая запрудила улицу. Толпа не слушала. Тогда солдаты обнажили сабли и двинулись на нее — толпа ухнула и с гулом подалась назад. Произошла давка: женщины визжали и плакали, мужчины ругались, упавших топтали ногами. Я стоял, прижатый к стене. Густая волна народа хлынула к стене, и я был бы раздавлен, если бы чья-то мощная рука не схватила меня за шиворот и не приподняла на воздух. Это была рука моего отца. Он как раз наткнулся на меня, загородил мое тело своим и, упершись в сте-

ну руками, выдержал на своих плечах стихийный напор толпы. Скоро она отхлынула, и тогда отец, только что спасший мне жизнь, той же самой мощной рукой сгреб меня за волосы и дал краткую, но внушительную таску. Он был взбешен моим присутствием на пожаре.

— Я тебя, мерзавец! — гневно закричал он на меня. — Беги домой, чтобы духу твоего здесь не было!

Я заплакал от боли и побежал домой. Когда боль прошла, я нашел таску вполне заслуженной.

Вслед за мной пришел и отец. Увидя, что мать все-таки вытащила имущество к воротам и сидит на узлах, он рассмеялся.

— А ведь и впрямь дойдет сюда! — сказал он. — Сгорит весь наш клоповник! Эй, жавороночек! — крикнул он хозяину. — Горишь?

— Горю! — весело отвечал плюгавый мещанин с мочальной бороденкой, одетый в казинетовый пиджак. Он выколачивал обухом косяки из дверей и окон своей хибары, был, по обыкновению, выпивши и пел:

Воспо-ой, воспо-ой, жаворо-о-ны-чик! ..

— Эх! — вскричал отец, расхаживая по двору. — Одного жалко: в погребе целая корчага сметаны осталась! Копка! — дружески обратился он ко мне. — Ну тебя злиться-то! Полезем в погреб сметану есть! ..

— Полезем! — сказал я важно, польщенный его приглашением.

И мы спустились в погреб. А двор наш уже загорался.

Мы долго сидели на корточках около корчаги, весело ели сметану, и физиономии у нас обоих были вымазаны ею. Мы дурачились.

— Ну, пора! — сказал отец. — А то сгорим!

Мы вылезли вовремя — крыша „погребицы“ уже пылала и минут через пять после нас рухнула в погреб.

А пожар уже разлился по всей горе, спускаясь под гору, к набережной, где были огромные склады леса и дров. Было жарко от огня, и мы перевезли на извозчике свои вещи к самому берегу Волги.

Приближалась ночь. Солнце заходило за отдаленные Жигулевские горы. Волга стала розовой, а облака, освещенные лучами заката, казались объятыми пожаром. В это время занялись на набережной дровяные склады, и наконец загорелся завод. Весь город, расположенный

по огромной горе, вместе с набережной представлял теперь море огня. Пароходные конторки отошли от берега. Пассажирские пароходы, проходя мимо города, были полны зрителями, кренились и казались черными. Картина пылающего города была, вероятно, великолепной.

Мы были между огнем и водой. Вся беднота со своим скарбом расположилась вдоль самого берега, у воды. Приходилось ночевать на открытом воздухе.

Я задремал около матери, свернувшись клубочком на большом узле.

Ночная прохлада разбудила меня. Суда и пароходные конторки были освещены красным отблеском пожара, а за ними, на черном фоне ночи, из воды поднимался огненный великан: он колыхался, гудел и трещал, доходя до самого неба, и сыпал оттуда страшные искры. Пламенное чудовище медленно шло по реке, все ближе и ближе к нам.

— Кто это? — закричал я в ужасе.

— Спи, спи! — отвечала мне мать, наклоняясь ко мне и прикрывая меня старой шалью. — Не пугайся, это беляна горит! ..

Но я не мог спать и сел наверху нашего скарба. Огненная беляна пылала над рекой, отражаясь в ней, и река пылала. Я поднял голову к небу: небо горело. Весь берег и вся гора были в огне. Этот пыльный и вонючий город, который давил нас под горой в душных подонках своих, теперь, объятый пламенем, стал дивно прекрасным: огненные волны вздымались к розовому небу и пламя их на бархатном фоне ночи было таким чистым.

Темно-красные языки лизали черную ночь, фукали фейерверком бриллиантовых огней, то бледнели, принимая золотистый отблеск, то снова обращались в ярко-красный поток . . .

Отец мой сидел на узле, курил трубку и задумчиво смотрел на погибающий город.

— Гори, гори, черт те дери! — сказал он и сплюнул. Потом взял гусли, подумал немного и заиграл что-то стройное и трогательное.

А город пылал.

Мы переехали в село, в одно из тех приволжских сел, где некогда отец был сидельцем в кабаке.

Село было большое, богатое, расположенное у подножия горы, в нескольких верстах от Волги.

Мне вспоминается наша маленькая избушка, приобретенная отцом за сто двадцать рублей в рассрочку на несколько лет, стоявшая в конце села, невдалеке от озера Кривенькое, осененного громадными ветлами, а на берегу прокоптелые кузницы.

Вспоминаются мне тихие летние дни, скрип тяжелых телег с пахучими снопами, которые вечно тянулись мимо нашего дома, мужики, ходившие в черных высоких шляпах гречневиком, и звучные удары кузнечного молота, мягко долетавшие к нам из кузниц.

Здесь отец открыл столярную мастерскую и работал один, самостоятельно. В избе были русская печь и подтопок — голландка. Стол, стул и рамы окон были его собственной столярной работы, стены оклеены шпалерами, а пол выкрашен охрой. На окнах белели занавески, на столе красовалась вязаная скатерть, на стенах — дешевые картинки, несколько фотографий, зеркало, этажерка с книгами... Вообще, обстановка нашей избы значительно отличалась от крестьянской обстановки.

Дверь из избы вела в мастерскую, непосредственно пристроенную к избе и отопляемую подтопком. В мастерской стояли верстак и токарный станок, под потолком сушились доски и брусья, а стены были увешаны столярным и токарным инструментом.

Около верстака всегда была груда пышных белых стружек, от них приятно пахло свежим деревом, и, кудрявые, веселые, они валялись по всему полу мастерской.

Работы у отца было всегда много. Он был единственный на всю округу мастер столярного дела, все его знали, и для всех он был симпатичен.

Он стоял за верстаком в холщовом фартуке с нагрудником, твердым от клея и лаку, шапку его кудрей поддерживал ремешок, руки, большие, тяжелые, с крупными пальцами, с мозолями, были засучены по локоть.

Я любил лежать на стружках и смотреть, как работал отец. Сосновые и липовые стружки смолисто и сладко пахли, а отец ввинчивал доску или брус в свой верстак и строгал.

Сначала он строгал шерхебелем, который злобно грыз и скоблил дерево; летели грубые, толстые стружки, на доске оставались прямые желобообразные поло-

сы. Потом он брал рубанок; рубанок мягко пел и сглаживал резкие полосы шерхебеля, и из него весело вылетали широкие мягкие стружки, свертывались в спираль и ложились к ногам столяра. Затем в его руках появлялся пузатенький, благодушный шлифтик; он нежно, женственно и кротко ворковал и давал стружки тонкие, словно шелковые ленты.

Но более всего я любил смотреть, когда отец фуговал. Фуганок шел по доске медленно, с певучим, размашистым свистом, выпуская длинные, тонкие и широкие ленты.

Эти ленты, белые и мягкие, ласково ложились отцу на плечо, обвивали обнаженную руку и застревали на голове, перевивая его крупные кудри. А он, медленно и размашисто строгая, пел неистощимые, длинные, интересные песни. Мерный свист фуганка аккомпанировал ему, стружки радостно и раболепно плясали, а игривый, льющийся голос отца распевал:

За морем синичка
Не пышно жила:
Не пышно жила —
Пиво вва-рива-лла!

Отец и столярной работе умел отдаваться с увлечением, вдохновенно. В стульях, сундуках, рамах, этажерках и шкафах, выходивших из-под его руки, было много его личного, творческого, сказывался его вкус, любовь ко всему красивому, стройному, изящному. Шкафы и стулья он украшал резьбой собственного рисунка, сам же выдумывал и токарные фигуры. В капризных и непринужденно-неожиданных завитках резьбы, в стройно выгнутых линиях токарных работ чувствовался остроумный художник с веселой, капризной и свободной душой.

Жили мы все-таки „не пышно": у меня уже были сестра и брат, а впоследствии появились еще сестра и еще три брата; маленькая наша избушка была полна жизни.

Меня и здесь отдали в школу. В первый же день моего ученья возвратился я из школы с огромным синяком под глазом: деревенские школьники приняли меня насмешливо и я дрался с ними.

„Нехрестьянин", сын „страннего" человека, я казался им существом низшего разбора, чем они. Каждый из них чувствовал себя „хозяином", наследником от-

цовского добра, а я был пришлым, странствующим человеком без всякой надежды на хозяйство и имущество.

И в городе и в деревне я чувствовал исключительность своего положения и неизбежность одиночества; люди как будто устроили жизнь так, чтобы меня не было, а я появился, и вот меня нигде не хотели принять, я был лишний.

Деревенские мальчишки словно чувствовали во мне какого-то врага: из таких, как я, пришлых и „странних", лишенных оседлости, выходят обыкновенно конокрады и „стрекулисты" и, во всяком случае, враги всякого мало-мальски зажиточного крестьянина.

И мне пришлось избегать ребяческих сборищ, игр и хороводов; проходя мимо них, я шел сквозь строй насмешек и каменьев. А около отца кипела своеобразная жизнь и втягивала его в неожиданную общественную деятельность.

Прежде всего, оказалось, что он давно уже известен как „знахарь" и лечит от разных болезней молитвой. Больные, минуя фельдшера и доктора, обращались к нему.

Потом он оказался адвокатом. К нему приходили за судебными советами, доверяли производить раздел и просто являлись поведать какое-нибудь личное горе, попросить совета и утешения. День его наполовину был занят посетителями. Для всякого он бросал работу, садился на верстак, закуривал свою неизменную трубку, выслушивал чужое горе и тотчас же воодушевлялся.

Начиналось это с утра. Дверь отворялась, и в мастерскую входил изможденный мужик, бледный, как мертвец. Он стаскивал шапку и, тяжело дыша, долго и медленно молился на икону, потом кланялся на обе стороны и говорил:

— Здоро́во живете!

Отец останавливал фуганок и отвечал:

— Поди-ка, добро пожаловать! Милости прошу к нашему грошу со своим пятаком! Что скажете?

— До твоей милости, Гаврила Петрович: одолела кумоха, смерть моя, дряница с рыла не сходит! Силов нет!

Отец садился на верстак и закуривал трубку. Посетитель присаживался на стул. Трубка пылала, зеленоватые облака дыма окутывали голову отца.

— Бьет? — слышался из облаков его бас.

— И-и! .. — отвечал мужик, крутя головой. — Не

доведи господи! Всю силу вымотало, все потроха...

— Давно?

— Да уж, никак, два года!

— Д-да! Запустил ты! У фельдшера лечился?

— Лечился, да что! — Тон мужика звучит пренебрежительно. — Польги нет! Никакой, тоись, польги нет тебе, да и шабаш!

— А от меня-то какая тебе польза будет? Ведь я если что и знаю, так от них же: якшался я с ними.

Мужик недовольно молчит и потом отвечает тоном несокрушимого убеждения:

— Ты больше знаешь!

Отец искренно злится.

— Черти! — гремит он из облаков дыма. — Вам хоть кол на голове теши! Сколько лет долблю я вам: не запускайте болезней, лечитесь у доктора: он учился медицине, у него лекарства, он знает науку!

— Ты больше знаешь! — упрямо повторяет мужик. — От дохтура польги нет, а от тебя — польга! Они хорошее-то лекарство господам дают, а на нас кричат...

— Да как на вас, дьяволов, не закричишь? Вы и ангела из терпения выведете! Идете лечиться, когда уже болезнь запущена... Тебя теперь никакой хиной не проймешь! Мышьячищем тебя, черта...

Мужик добродушно улыбается и с удовольствием слушает отборную ругань: от отца ему приятно ее слушать, а от доктора — обидно.

— Ненавижу я вас, чертоломов, дуботолов проклятых! — искренно гремит отец.

— А ты, будет костерить-то! — прерывает его мужик. — Ты уж... тово... молитву-то лучше дай: твоя молитва не то что наша: она до бога доходит! Знаем мы!.. Дано, значит, тебе от него... Страдал ты много!..

— Я не колдун! — обращался отец к мужику. — Я только знаю молитву от лихорадки.

Отец присаживается к столу и начинает что-то писать на маленьком клочке бумаги своим корявым почерком.

Мужик вздыхает.

Я не знаю, откуда взял отец эту молитву, и теперь не помню ее, но она вся была написана каким-то громовым языком.

Отец свертывал бумажку в маленькую трубочку и говорил, отдавая мужику:

— Привяжи на крест и носи на груди до тех пор,

пока сама не потеряется. Не отвязывай и не бросай, а то болезнь опять воротится! ..

Мужик благоговейно брал бумажку и тут же, при отце, привязывал ее на „гайтан“.

Вознаграждения отец не требовал.

Едва уходит больной, как является целая компания мужиков.

— Гаврила Петрович! — взывают они, торопливо помолясь на икону. — Это что же такое будет? Разор? Сделай милость, оборони!

— Тут пашня, пар, сенокос приходит! ..

— А нас в острог!

— Ни за что, ни про что!

— Бога в ем нет!

— Рази можно в острог мужика сажать летом? А? Летом?

Отец сидит на верстаке, закинув настоящую ногу на деревянную, которая враждебно смотрит на мужиков, как дуло ружья. Дымные облака возносятся к потолку и окружают отца ореолом таинственности. Он курит и молча смотрит на мужиков.

— А вы вот что! — говорит он, прерывая их говор. Мужики сразу умолкают. — Нечего дурака-то корчить: говорите мне прямо, по совести: ведь . . . украли?

Мужики мнутся, чешут в затылках, и затем их длинные бороды шевелятся от широкой улыбки.

— Да ведь оно уж . . . конешно . . . Гаврило Петрович . . . тебе-то уж мы . . . как попу . . . знамо дело . . . было дело . . .

Затем они подробно рассказывают, как „было дело“: обыкновенно, украли какие-нибудь пустяки у кулака, сделали порубку, залезли в амбар . . .

Узнав, что они уже признались судебному следователю, отец выходит из себя и в ярости вскакивает с верстака.

— Черти! — гремит он, потрясая бородой и сверкая глазами. — Дубье! . . Олухи царя небесного! Да ведь нет никаких доказательств, дьяволы! Мужики вы, кругом брюхо! Терпеть я вас не могу! Зачем признались? Эх! Засадят вас теперь на все лето, пустят по миру блаженных дураков! Тьфу!

„Воры“ ноют.

Отец мрачно затягивается из трубки. Трубка хрипит и пылает. Облака дыма сгущаются.

— Ба! — неожиданно вскрикивает отец. — Вот что

сделайте: запритесь опять на суде, да и баста! А про следователя скажите: он, мол, на нас шибко закричал, стал стращать, мы испугались и сказали, как он велел... он ведь... чай, собака?

— Собака! — отвечают мужики, повеселев. — Орет истошным голосом!..

— Ну вот!.. Прикиньтесь дурачками! Казанских сирот разыграйте!..

И отец пускается в подробные наставления. Частью из книг, но больше из жизни он почерпнул всевозможные сведения по всем отраслям: лечил не только молитвой, но и давал рецепты, знал судебные уставы и писал мужикам прошения, отдавая мне их переписывать набело. „Платы“ и тут он не требовал, но мужики не забывали своего избавителя и совершенно неожиданно, спустя долгое время, являлись к отцу или с мешком муки, или с возом дров, присылали молока, яиц.

Местный мировой судья, старый барин и закоренелый крепостник, возненавидел моего отца от всего сердца. Судья мстил мужикам тем, что постоянно стремился „закатать“ их в острог „по высшей мере наказания“, но благодаря отцу половина его решений отменялась „на съезде“, и судья оставался в дураках.

Мужики смеялись над ним, а хромого столяра превозносили. Складывали и распевали песни про них. Незаметным образом отец стал популярным человеком, любимцем народа.

Песня прославляла его, а судью осмеивала. Осмеивала она также местных богачей, причт и сельское начальство и все выше и выше поднимала образ моего отца, окружала сиянием славы, и он являлся в песне народным героем, печальником народного горя и ходатаем за народ. Первоисточником этих песен был кузнец Назар. Удары его молота доносились до нашего дома, а когда наступали сумерки и звуки рабочего дня умолкали, то прекращались и кузнечные звуки. В такие полупечальные, полуотрадные вечера отец выходил на крыльцо с гуслями и потихоньку, для себя, наигрывал что-то нежное и грустное. Тонкие, жалобные звуки тихо струились и плакали в задумчивом вечернем воздухе, и в это время к нему иногда приходил Назар. Ему было лет двадцать пять, он обладал заметной наружностью: высокий, плечистый, статный, он смело, как сокол, смотрел своими голубыми глазами. Волосы

и усы у него были белые как лен, густые, слегка вьющиеся; говорил скороговоркой, с быстрыми жестами, что не совсем шло к его атлетической наружности.

Назар, как и отец, говорил меткими словечками, пословицами и поговорками. Приходя, подавал отцу большую закоптелую руку и встречал пожатие такой же огромной и жилистой руки, выпачканной лаком с голландской сажей. И у них начинался быстрый остроумный разговор, пересыпанный рифмами.

— Гаврилу Петровичу исполать, много денег наживать, сто лет жить да двести на карачках ползать!

— И тебе того же, кузнец-молодец на свой образец: думал сделать лемех, а он вышел плох, сожег да и окоротил и на топор поворотил...

— И на топор-то не хватило, повернул на шило: шило-то не вышло, а вышло ш-шик!..

— И то хорошо.

— Верно говоришь ты, примерно, что тебе покучишься, то и научишься!

— У нас ума нет, совести больше!

— Именно! Живем в себе, а не в городу, все носим на вороту, что не надо — и то повесим! Эх! — тараторил рифмач-кузнец. — Чудно дедушкино гумно, семь лет хлеба не сеял, а все свиньи ходят! Уж давно все наши капиталы в печи, а все к нам в гости ходят богачи; этта старшина с писарем у нас побывали, напились да нас же с батькой обругали...

— Где гостят — там и пакостят! — замечает отец. — У них чай да кофей, а у нас чад да копоть!..

Играя рифмами, они продолжают рассуждать; кузнец усаживается у ног моего отца. Мы уже знали, что, немного послушав и вдохновившись музыкой, он будет петь на тот мотив, который ему заиграют, и не отходили от него.

А он, упершись локтями в колени, держал перед собой большой палец левой руки, изуродованный ударом молота, не спуская с него глаз и ни на кого не обращая внимания. Он говорил, что дар песен заключается у него именно в этом пальце, и пел всегда, смотря на него и как бы извлекая из пальца неистощимые поговорки.

Отец знал, как пробуждается в Назаре вдохновение, и сначала играл печальное. Назар слушал, смотрел на свой раздробленный палец и, покачивая белокурой головой, начинал тихонько напевать что-то.

Сердце мохом обрастает...
Весь измученный народ!..

И сама собой слагалась у него песня о том, как болит у него сердце и отчего; как вздыхают кузнечные мехи и как он кует молотом железо; сердце его такое же, как то железо: оно мягкое, оттого что раскаленное... И бьют его прямо по мягкому огненному сердцу, а из сердца вылетают искры...

Он поет, а гусли жалобно и нежно стонут...

Между тем около крыльца мало-помалу собирается народ, кто ни идет мимо, всяк остановится и слушает.

Но гусли уже играют веселее, импровизатор, вдохновляясь все более и более, подчиняется мотиву и постепенно меняет настроение: он поет уже о том, что не все же плакать да вздыхать, что рабочий человек ни в какой беде не пропадет, он все перенесет, ему все трын-трава!..

Я любому богачу
Набок рыло сворочу! —

поет он, ухарски потряхивая головой.

— Хо-хо-хо! — одобрительно смеется толпа.

Она увеличивается с каждой минутой.

— Назар поет! Назар поет! — слышится кругом. А его уже не видно за толпой: он сидит согнувшись и не отрывает глаз от своего чудодейственного пальца. Отец потряхивает кудрями и, раздув ноздри, разливает лукавые подмывающие трели. Раздается залихватский мотив с прихлопываньем ладонью по струнам: это знак, что пришло время петь на „злобу дня". В толпе светятся улыбки, и она плотнее придвигается к певцу, чтобы лучше слышать. И звенят насмешливые куплеты о попе, судье и писаре, о старшине и мироедах-кулаках.

Все село насмешило приключение с кулаком Кузькой, которому на хуторах за его амурные похождения „обрядили" лошадь, когда он спал, пьяный, в тарантасе: обрезали ей хвост и гриву и навязали мочала. На такой лошади спавший Кузька проехал по всему селу.

И вот начинается поэма о Кузьке:

Поглядите, добры люди!
Кузька едет на верблюде!

— Хо-хо-хо-хо! — грохочет вся толпа, надрывая животики над каждым куплетом.

Злободневная поэма оказывается бесконечной, и от Кузьки поэт переходит к другим лицам:

Мировой судья, папаша,
Рассуди-ка дело наше:
Я не жулик и не вор,
А мешок с мукой упер!

— Хо-хо-хо! — гремят слушатели. Они совершенствуют песню, тут же вслух поправляют и „приправляют" ее забористыми словечками.

И за что судить-то тут,
Коль украл я только пуд?

— Верно! — замечает толпа. — Знамо дело, не за что. За пуд — и судить! Дурак, а еще судья!

Гусли так и заливаются, так и рассыпают добродушно-лукавые трели, толпа хохочет, а импровизатор сидит, глубокомысленно уставясь неподвижным взглядом в палец вдохновения, поет и сыплет летучими рифмами.

Столяр и кузнец были большими друзьями: кроме поэзии, их соединяла еще идея об изобретении „вечного двигателя". Эти талантливые люди увлекли и меня: мы втроем устраивали наши совещания и делились мыслями о шурупах, шалнерах, рычагах и других деталях измышляемого нами механизма, наводя скуку на домашних.

Иногда ночью, когда все крепко спали, отец окликал меня:

— Копка!

Я просыпался и видел, что он, со свечой в руке, в одном белье, с наскоро подвязанной деревяшкой, сидит около моей постели.

— У меня явилась новая мысль! — объявляет он мне. — Вот погляди, я сделал чертеж!

И он совал мне клочок бумаги с новым рисунком „вечного двигателя".

— Вот здесь будет шалнер, — увлекаясь, гудел он, понижая голос до октавы, чтобы не разбудить спя-

щих, — а здесь рычаг на большом шурупе, а колено-то уж вот оно где! .. Эге?

И он радостно и хитро подмигивал мне.

— Теперь у нас пойдет дело по маслу! ..

Но дело не шло. Наши опыты не удавались, обнаруживая существование каких-то неожиданных для нас законов и непредвиденных препятствий, которые только увеличивали энергию изобретателя. Каждый праздник мы собирались в кузнице или мастерской и „строили". Отец забывал о еде, о семье — обо всем, кроме своей идеи. Он сам клепал железо, пилил, ковал, страшно возбужденный, с горящими глазами, неубедимый, повелевающий. Назар был исполнителем, а я на побегушках, и отец командовал нами, приходя в ярость от малейших наших сомнений; молот и голос его гремели до ночи, мы наконец утомлялись, но он был неутомим.

Возвращаясь в сумерки из кузницы, мы горячо обсуждали наше предприятие.

— Эх, кабы знал я физику да алгебру! — восклицал отец и таинственно сообщал нам: — Там, в этих книгах, есть! ..

К делу о „вечном двигателе" был привлечен сельский учитель, с которым отец мой водил дружбу. Это был хладнокровный, невозмутимый человек лет двадцати восьми, красивый, представительный, с небольшой белокурой бородой. Он пришел к нам в мастерскую с целой компанией: с двумя семинаристами — сыновьями попа — и письмоводителем мирового судьи; последний обожал моего отца, ходил к нему каждый день, учился токарному искусству и игре на гуслях.

Вся эта молодежь наперебой стала доказывать отцу невозможность „вечного двигателя". Но не так-то легко было его убедить. Он не признавал никаких авторитетов и выступил против них с блестящей речью, достойной лучшего применения. Он знал о Галилее и Копернике и сравнивал себя с ними, говорил, что всякая новая мысль вначале считается людьми невозможной, а потом оказывается вполне осуществимой. Он требовал веских доказательств и спорил с ними целую неделю. Они чертили и доказывали ему теоремы, натащили книг, и отец принялся за чтение. С этого времени молодые люди стали ходить к нему и проводить время в горячих спорах о жизни, о науке, о религии и о человечестве.

Отец и Назар отложили на время изобретение „веч-

ного двигателя“ и возвратились к построению самокатки — велосипеда, который был уже изобретен моим отцом прежде, но не усовершенствован. Снова начались разнообразные рисунки и модели сложного механизма, пока он не стал проще. Тогда с тем же лихорадочным увлечением принялись мы строить самокатку. Опять каждое воскресенье мы ковали, варили, клепали, и отец опять вдохновенно отдавался работе. Нашей деятельностью сильно интересовались мужики и приходили в кузницу глядеть. Они глубокомысленно смотрели на отца, который, сидя на земле, весь в саже, клепал листовое железо и грохотал кузнечным молотом.

— Не пойдет! — обменивались они замечаниями.

— Хитра штука!

— Не выйдет, Хромой! Кишка у тебя, пожалуй, тонка такую вещь сляпать?

— Выйдет! — неистово рычал изобретатель, надсаживаясь и грохоча молотом. — А не выйдет, так ворота вымажем!

— Хо-хо-хо! Чудило-мученик!

Против ожидания, вышло. Мы сделали из железа низенькую тележку на трех колесах: два колеса побольше, а третье — маленькое, впереди, оно повертывалось и так и сяк, словно руль. Механизм ее был до смешного простой и остроумный, и на тележке-самокатке можно было ездить, работая руками.

Проба самокатки происходила довольно торжественно: в кузнице собралась толпа мужиков, баб, туча ребятишек и учитель со своей компанией.

Отец не без волнения сел на самокатку и, двигая рычаги на „шалнерах“ своими ручищами, быстро покатил от кузницы к селу. Только волосы его развевались да ситцевая рубашка раздувалась от ветра . . .

— Бр-раво-о! — кричали ему вслед семинаристы и письмоводитель. — Ур-ра-а!

А хладнокровный учитель солидно рассуждал с мужиками:

— Вот кабы такому человеку образование! Бог знает что бы из него вышло! Может быть, гений!

— С головой человек, — подтверждали мужики. — Хитрец!

— Вот был Кулибин, механик-самоучка! . . — продолжал учитель и стал рассказывать о Кулибине.

А отец, сопровождаемый радостной тучей ребяти-

шек, был уже далеко и наконец исчез из виду. Мужики смотрели ему вслед, качали головами, приговаривали:

— Чудодей! ..

Такая жизнь, полная кипучих волнений, нравилась моему отцу. Он был уверен, что дела пойдут по маслу, если рядом с его верстаком поставить еще другой для меня, и с нетерпением ждал, когда я кончу курс учения в школе. На мою склонность к чтению он мало обращал внимания и по окончании курса, когда мне исполнилось четырнадцать лет, поставил меня за верстак.

Мне сшили холщовый фартук с нагрудником, и в нашей мастерской засвистели два фуганка.

Мы с отцом вставали рано и вместе принимались за работу. В семье и у деревенских ребят сразу переменилось отношение ко мне: я стал работником, полноправным человеком . . . Отец обращался теперь со мной серьезнее, как с большим. Когда мы снимали фартуки и, вымыв мозолистые руки, садились за стол, он даже ухаживал за мной:

— Ешь больше, Капитон, — говорил отец. — По пище фуганок свищет!

И, глядя, как с каждым днем грубели мои руки и развивались плечи, похваливал меня:

— Здоровило! Выйдет из тебя этакий чертище-столярище!

Но я мечтал о чем-то другом. Мне по-прежнему хотелось читать все новые и новые книги.

Во мне приняли участие семинаристы, и я стал бывать в семье попа. Там все смеялись над моею неуклюжестью: я за все задевал, все ронял и разбивал. Рифмованная речь, сотканная из народных пословиц, обычная у нас дома, здесь всех удивляла . . . Мне было тяжело в непривычной обстановке, я постоянно конфузился, но семинаристы рассказывали о неведомой, заманчивой жизни, они открывали мне новый мир, и у них были замечательные книги.

Я таскал эти книги домой, с жадностью читал их и давал читать отцу. Он поглощал их с таким же увлечением, как и я.

И мы говорили о книгах.

Особенное впечатление произвела на нас поэзия Никитина и Некрасова. Читая их, мы просиживали ночи

напролет, делились чувствами и новыми мыслями. Я читал, а отец слушал.

— Что это за люди были! — страстно восклицал он со слезами на глазах. — Какая у них душа была, коли они о простом народе так верно писали?

Стихи Никитина сделались его любимой книгой. Он раскрывал ее и днем, на несколько минут оставляя фуганок, но едва раскрывал, как уже и плакал.

— Проклятая! — кричал он сквозь рыдания и запускал книгой в угол. — И читать-то тебя нельзя!

Письмоводитель мирового судьи таскал нам из библиотеки своего патрона журналы „Отечественные записки“ и „Дело“.

Мы с отцом погрузились в мир новых идей.

Теперь уже вся эта компания — семинаристы, учитель и письмоводитель — сделались нашими постоянными гостями. Собираясь в нашу избушку, они сначала было поучали отца, но потом внезапно превратились в его учеников. „Новые идеи“ оказались идеями моего отца, которые он давно уже расточал в своих рассуждениях о жизни. Ее несовершенство и несправедливость он глубоко изучил на собственном горьком опыте и по поводу сухих и отвлеченных идей сыпал такими художественно яркими рассказами, что очень скоро обратил своих развивателей в аудиторию. Под влиянием прочитанных книг и общества интеллигентной молодежи талант красноречия развернулся у него во всю ширь. Мой отец как-то сразу пробудился, прозрел, бессознательные мысли, назревавшие в нем в продолжение всей жизни, теперь отлились в ясную, художественную форму. В нем началась кипучая внутренняя работа, „переоценка ценностей“, и он уже не хотел знать удержу. Он говорил вдохновенные, огненные речи, проникнутые знанием и пониманием жизни.

Он живо и образно, со всеми подробностями набрасывал огромные и яркие картины будущего счастья человечества, вкладывал в это всю свою веру, всю силу воодушевления и — увлекал.

Он стал для нас всех „учителем жизни“.

А жизнь шла своим чередом. Урожаи делались год от году хуже, село быстро беднело, и к отцу толпами стали приходить „больные“ и „воры“. Благодаря своей находчивости и близости к народу он и лечил удачно, и „татей“ обелял успешно. Мировой судья рассвирепел и поклялся уничтожить моего отца. Сельское на-

чальство тоже давно точило зубы на него. Они все соединились против хромого врага и затеяли кляузный процесс, опорой которого служили лжесвидетели. Этот процесс при удачном окончании должен был привести моего отца в острог.

Отец не испугался борьбы. Напротив, он смело принял вызов и весь отдался счастью битвы. Никогда я еще до сих пор не видал его таким энергичным и красноречивым: он вырастал в моих глазах.

Казалось, что этот человек „с беспокойством в сердце", всю жизнь свою искавший именно такой донкихотской борьбы за угнетенных, наконец нашел условия существования, подходящие для него.

Все время, пока тянулся процесс в трех инстанциях, отец походил на огнедышащий вулкан, энергия била из него огненным фонтаном, а из уст лились увлекающие вдохновенные речи. Он видел поэтически-пророческие сны, где сражался с огромной змеей, два раза душил ее, а она ускользала из рук, и наконец в третий раз задушил-таки.

И действительно, в третьей инстанции, когда дело было передано съездом другому мировому судье, отец выиграл процесс. Он сам говорил на суде защитительную речь при огромном стечении „чистой публики" в зале суда и „нечистой" — у крыльца камеры.

Что это была за речь! Уничтожающая, мощная, вдохновенная! Он разбил ею козни своих врагов с каким-то богатырским размахом, словно Еруслан Лазаревич, срубающий головы семиглавому змею, он, как Бова, разогнал их метлою!..

А мужики все беднели да беднели. Наконец нагрянул голодный год. Еще весной по селу пошел стон: весна ранняя, безводная, земля трескается, будет голод.

Осенью он пришел, этот голод. Отец повесил гусли на чердак, и они висели там всю зиму с порванными струнами, занесенные снегом: не до них было.

Приезжие „из степи" показывали образчики хлеба из лебеды, — он был похож на сухой коровий помет. Такой же хлеб предстояло есть и нам.

Но нашему селу повезло. Внезапно, как раз против нашей Обираловки, затонула на Волге баржа с пшеном. Мешки пшена доставали крючьями со дна реки и продавали за бесценок.

Народная молва создала из этого целую легенду; нашлись люди, которые сами „видели" Николая-угод-

ника: он шел по волнам, как посуху, весь был огненный и такой большой, что головой касался небес. И взял он рукой купеческую баржу за конец мачты и погрузил ее на самое дно — „для народа!“.

Кулаки, словно коршуны, бросились на это пшено, скупили его и стали продавать по двойной цене. А народ и этому был рад. Мы покупали большие, длинные мешки с мокрым, горелым пшеном, сушили его на печке, потом отдавали молоть и пекли из пшенной муки блины.

Блины эти были горьковаты и пресны на вкус, а когда остывали, то стоило уронить блин из рук на пол, как он разбивался, как тарелка, на части.

Всю зиму питались мы этими блинами, не видя ни хлеба, ни мяса. Найденная где-нибудь сухая корка черного хлеба считалась лакомством. Блины опротивели нам, и мы ели их с отвращением, исхудалые, бледные, смотря друг на друга большими голодными глазами. Весной пришел однажды к нам сельский учитель и стал говорить отцу:

— Наступают времена трудные, деревня беднеет, разоряется... Это — экономический процесс... дальше будет еще хуже... Известный процент населения двинется в город. Отпустите-ка старшего-то сына держать экзамен в учительскую семинарию. Приспособим... если выдержит — казенную стипендию дадут!..

И учитель стал убеждать отца, чтобы он „пустил меня по науке“. Отец согласился. В начале августа меня снарядили в город. И вот вспоминается мне теперь последняя страница моей деревенской жизни.

Три часа утра. Все уже готово к моему отъезду на станцию. Горит лампада у образов и лампа — на столе. Мои младшие братья и сестры спят на полу, а мы — отец, мать и я — пьем чай „на дорогу“. Но никому чаю не хочется; мать молча вытирает слезы, ее доброе, славное лицо полно молчаливой, но бесконечной любви ко мне. Отец говорит о жизни, речь его дышит мужеством и его вечной верой в дела, идущие по маслу. Я волнуюсь: мне и грустно, и радостно, и жутко... Слышно, как подъехал мужик на телеге, чтобы везти меня на станцию.

— Ну, мать, надо благословить сына-то! — говорит отец. — Выпускаем птенца из гнезда!

Мать берет маленькую икону Спасителя в фольговой ризе и молча благословляет меня. Она ничего не гово-

рит, только крупные слезы бегут по ее лицу и падают на мою голову.

Потом благословил отец. Я и перед ним встал на колени и наклонил голову, а он прикоснулся иконой до моих волос и стал говорить.

— Благословляю тебя, сын мой, в жизни! — говорил он задушевным голосом. — Иди прямой дорогой, надейся только на самого себя, а не на других, никогда не трусь. Знай, что путь бедняка тяжел, и будь готов ко всяким испытаниям. Не увлекайся богатством и сладкой жизнью, помни о нас, о твоих братьях и сестрах и о простом народе, который страдает. Может быть, вернешься назад ученым человеком. Набирайся больше того ученья, которое нужно народу, а не воротишься, так расскажи хорошенько там, в городе, счастливым и богатым людям, хорошенько расскажи о страданиях народа! Помни о нем всегда, не поддавайся соблазнам, да смотри берегись потерять... — тут голос его дрогнул, — веру...

И он заплакал, осеняя меня иконой... Видно было, что он хотел сказать очень много, но не мог говорить от слез.

А я едва сдерживал радостную улыбку — мой выход в жизнь казался мне тогда таким легким, многообещающим. В том, что я достигну в жизни чего-то очень хорошего и буду ее победителем, я не сомневался: мне было шестнадцать лет.

Сели мы с отцом в телегу, положили в ногах маленький сундучок и подушку, и телега покатила по сельской дороге. Светало. Звезды гасли одна за другой. Пышная заря освещала нам путь. В ее розовых лучах плыла чистая, бриллиантовая звездочка. Розовый свет обливал избы, соломенные крыши, сельскую церковь, околицу, гладь извилистой речки, затерявшейся в зеленых лугах, и кусты, окропленные росой... Все кругом было в розовом свете. Утренний свежий воздух лился в грудь. Я радостно дышал полною грудью и, озираясь по сторонам, беспечно улыбался. А утренняя звездочка так весело плыла и сияла, такая чистенькая, хорошенькая...

Ах, как жаль, что я не сделался ученым, никогда с тех пор не возвращался в деревню, а в городе не рассказал о страданиях народа! Я был брошен на путь

неудач, разочарований и мытарств. Изгнанный из учебного заведения, я был гоним повсюду, очутился в рядах „городского пролетариата“ и пошел „сквозь строй“ жизни. Меня унижали, оскорбляли... Если мужики в деревне считали меня „нехрестьянином“, то городские люди ясно видели во мне все признаки „мужика“, „плебея“. Мне было чуждо многое, что течет в крови интеллигента, на мне не было „долга народу“, вся психология моя была неинтеллигентная, знание народа было почерпнуто из жизни, а не из книг, и я чувствовал свою рознь от всех. Как в деревне я слышал враждебное „нехрестьянин“, так здесь слышал пренебрежительное „неинтеллигент“.

Мои приключения были как бы продолжением приключений моего отца. Я лез „на гору“, но черт, по обыкновению, схватывал меня „за ногу“ и не давал ничего, кроме грошового заработка, противного канцелярского труда, жизни впроголодь. Я жил одной только надеждой, что в будущем дела пойдут по маслу. Я мечтал о Москве, о вольнослушании в университете, о сцене, о литературе... Стремлений и надежд было много, не было только денег и не было дороги, по которой мог бы я идти.

И вот в это самое время, когда я совсем было нацелился лезть в Москву, черт опять схватил меня „за ногу“. Из села пришло от отца письмо.

„А у нас опять голод! — писал он своим корявым почерком. — Мужик совсем обеднял, и у меня никакой работы нет. Прежде хоть добрые люди помогали, а теперь и рады бы помочь, да самим есть нечего. И надумал я, сынок, переехать к тебе в город, там я хоть какую ни на есть работишку найду, и дела наши пойдут по маслу, а здесь совсем с голоду помирать приходится, и с ребятишками. Избу мы продали за сто двадцать пять рублей. Я думаю, что ты не оставишь своего отца...“ и т. д.

Через неделю они приехали. Отец немного поседел, кудри его развились, и голос как будто уже не так был звучен и тверд, как прежде, но, в общем, он по-прежнему был энергичен и свято верил в то, что все пойдет по маслу.

Шесть человек мелюзги играли в лошадки, были донельзя жизнерадостны, беспечны и эгоистичны.

Мы зажили на краю города, в маленькой шестирублевой квартирке, в подвальном этаже. Нас было так

много и все мы предались такой кипучей деятельности, что даже самый дом, в котором поселились мы, угрюмый и какой-то кислый, как будто ожил и повеселел.

Отец точил на токарном станке, младшие мои братья бегали в школу, прыгали на одной ноге, вывертывали козла, кувыркались и дрались, оглашая глухую окраину города звонким, заразительно веселым смехом. Я служил разом на двух грошовых должностях, таскал работу домой и теперь уже не имел ни одной свободной минуты.

А отец имел вид мудреца и философа, читал Бокля и Милля. Мысль его шла вперед, к нему и здесь ходила молодежь; душа его оставалась вечно юной.

Так прошел год и еще год... и еще... Однажды зимой, когда я пришел поздно ночью с вечерних занятий, мать и шестнадцатилетняя сестра тревожным и печальным шепотом сказали мне:

— Отец заболел.

Он лежал на койке и стонал.

Кругом была наша печальная и гордая бедность: старые стулья с резьбой, починенные рукой отца, тусклое зеркало и три грошовых картины на стене, в рамках его же работы: охота на слона, на льва и на белого медведя... гусли в углу. Лицо отца было темно-коричневое, воспаленное, но, по обыкновению, мужественно-спокойное... Он открыл глаза.

— Простудился... — сказал он вперемежку со стоном, — целый день был в ходу... а ведь для меня — ход... самое трудное... пить захотел... выпил квасу... и грудь заложило...

Организм его был еще полон сил: на груди лежали геркулесовы руки, а от густых грудных стонов сотрясалась койка и гудел под нею пол...

Нужна была помощь доктора, а денег в доме, по обыкновению, не было.

Наутро я раздобыл целковый и плохонького, старенького доктора.

Болезнь пошла вперед очень быстро: через неделю наступил кризис, и больной был уже перед лицом смерти.

Он лежал на своей койке, тяжело дышал, мучительно кашлял и гулко стонал...

Мы могли только смотреть на борьбу жизни и смерти и надеяться только на силу организма.

Мать и сестра, стоя около койки, тихонько плака-

ли, отворачиваясь, чтобы он не видел их слез, но он видел.

Он по-прежнему густо и глубоко стонал и... отпускал шутки для того, чтобы рассмешить плачущих женщин.

— Ты на гору... а черт за ногу! — говорил он свою любимую поговорку.

И они улыбались, плача.

Ночью ему сделалось особенно трудно.

— Надо... попа!.. — сказал он мне, прерывая стоны. — Умер бы я и без него, да придираться будут к вам... из-за похорон... Умру, дух мой смешается с атмосферой... и все! Очень просто!

К концу жизни он стал отходить от религии: существование бога допускал, но в загробную жизнь не верил.

Я побежал за попом. Было часа четыре утра. Ночь была морозная, звездная... Весь город спал, как мертвый. Густые голоса церковных колоколов медленно падали в тишину, были похожи на стоны отца и надрывали сердце своим похоронным унынием... Казалось мне, что эти колокольные вздохи, полные мрачной безнадежности, относились ко всей долгой и страдальческой жизни отца, к моей жизни и к моему будущему и к будущему всей нашей семьи. Они словно произносили приговор, зловеще пророчили что-то грустное, словно отнимали у нас всякую надежду на какой-нибудь проблеск счастья в нашей жизни... „Никогда-а! никогда-а..." — словно говорили они, надрывая душу, и плыли и умирали в мертвой, безучастной тишине... А кругом нигде не было ни единого проблеска света.

Я добежал до квартиры соборного священника. Пришлось очень долго звонить. Мне отперли с неудовольствием. „От кого?" — спросили меня. Я сказал, что мой отец умирает. Мне велели подождать, и я долго стоял в передней. Наконец вышел священник атлетического телосложения, с круглой бородой и необыкновенно высокой грудью: таким почему-то я всегда представлял себе Пересвета, который вышел на поединок с Телебеем в Куликовской битве. На лице попа ясно выражалась досада. „Где живет умирающий?" — спросил он меня. Я сказал. „Не моего прихода!" — ответил он и не хотел идти. Я стал его упрашивать и не уходил из квартиры... Наконец священник скрепя сердце согласился

и пошел со мной, сердито запахнувшись в енотовую шубу и нахлобучив бобровую шапку.

Когда мы пришли, отец уже умирал: стоны сделались слабее, в груди клокотало. Пересвет стоял у его изголовья и скороговоркой исповедал его, задавая вопросы и не дожидаясь ответов, да отец уже и не мог говорить.

В несколько минут исповедь была кончена. Священник торопился домой. Я догнал его у порога и сунул ему тридцать копеек — все деньги, какие нашлись в доме. Он принял их не глядя, надел бобровую шапку и ушел.

— Благословить... детей... — сквозь хрип и стоны вырвалось из груди отца.

И мы все стали подходить к его изголовью, он клал дрожащую руку на голову каждого, и делал это так, как будто торопился куда-то.

— Дочери мои... дочери мои... — лепетал он коснеющим языком.

Глаза его были закрыты, грудь высоко и тяжело подымалась, из нее вырывалось клокотание, словно она все более и более наполнялась чем-то, что мешало дышать.

Он ничего не сказал о своих сыновьях; в минуту смерти его душа болела только о дочерях; он знал, что, получив от него в наследство здоровье и энергию, мы все пойдем сквозь строй жизненных пыток, будем каждый в одиночку биться с жизнью и не упадем, гордо пройдем до конца; истерзанные, с окровавленной душой, мы вынесем все!

Но как же горька и безотрадна ваша судьба, вы, дочери бедноты, бедные сестры мои! Вашим певцом хотел бы я быть, ваши слезы и страдания хотел бы воспеть, к вашим ногам положить горькие песни!.. Беспросветно грустна ваша жизнь!..

Клокотание в груди отца все увеличивалось. Но воспаленное лицо его по-прежнему хранило выражение мужественной энергии и ясного сознания. Он собрал последние силы и отчетливо прошептал:

— Прощайте!

И вдруг открыл глаза широко, изумленно... Казалось, что он увидел какое-то необыкновенное видение, и глаза его медленно закатились, словно не могли оторваться от какого-то удивительного зрелища. Потом по лицу и всему телу пробежало острое содрогание, вздо-

хи становились все глубже и реже. Потом замерли, остановились... Долго не было вздоха... Наконец вырвался глубокий вздох и опять замер...

Эти последние вздохи были похожи на умирающее пламя лампы, когда оно то гаснет, то вспыхивает снова. Последнего вздоха я долго ждал — и не дождался.

Я стоял у постели отца с каким-то странным, деревянным спокойствием. Я смотрел на его мертвое лицо: оно приобрело особенное выражение важности и молчаливого знания никому не ведомой тайны. Мертвый, он более чем когда-либо походил на кардинала Ришелье... Горбатый нос, правильная эспаньолка с проседью, орлиная гордость и благородство лица, еще дышавшего непреклонной волей и энергией, придавали ему странную, почти царственную величавость. Нечто рыцарское было в его чертах, и не верилось, что этот важный старик не герой, а лишь задушенный жизнью труженик, бывший крепостной раб.

Я ощутил желание заплакать, но, посмотрев на „шестерых" — маленьких, с белыми кудрявыми головами, бледных, с недоумевающими глазками, — удержался: ведь они бы все взвыли вслед за мной, а я этого не хотел. Как только умер отец, я сразу почувствовал себя старше и серьезнее, — на мои плечи опустилась тяжелая, словно чугунная, ноша...

Женщины подошли к мертвецу, чтобы закрыть ему глаза, и вполголоса говорили о чем-то, словно боясь, как бы он не услыхал.

Мне предстояло очень много хлопот: идти взять ссуду на похороны, взять записку от священника, от полиции, заказать гроб и купить место для могилы. Много...

Но пока еще было темно и рано идти, и я подошел к окну. Тусклый рассвет кисло и насмешливо смотрел на меня в окно, и в душе моей звучала дрожащая, грустная мелодия прощания с юношескими мечтами. Звезды бледнели и гасли. Одна из них, маленькая, туманная звездочка, покатилась по небу и бесследно пропала.

1902



КУЗНЕЦ

— Вот скажите, пожалуйста, этим баранам, которые ни черта не понимают, а суются не в свое дело, — скажите им, что паровик может работать!

Так закричал разъяренный Федор Иваныч, кузнец, машинист и руководитель по постановке вновь открываемого парового кирпичного завода. Он закричал так, обращаясь к эксперту и указывая огромной черной ручищей на хозяев своих, трех купцов, которые стояли прямо перед ним и смотрели на него с глубокой ненавистью.

В это мгновение он был замечательно картинен и по-своему красив: высокий, статный, широкоплечий, в синей грязной блузе и высоких сапогах, он стоял перед ними в энергичной, уничтожающей позе. Лицо у него было смуглое, окаймленное черной подстриженной бородой, черные цыганские глазищи горели из-под густых бровей, густые черные волосы как бы встали дыбом и сдвинули на затылок промасленный картуз, и весь Федор Иваныч, черный, грязный, мечущий искры из глаз, казалось, горел каким-то внутренним огнем.

— Действительно! — совершенно спокойно сказал эксперт, старик почтенного вида, низенького роста, с длинной седой бородой и умными глазами. — Хоша воды и меньше, чем показывает стрелка, но это совсем не вредит. Паровик может работать, а вы, господа купцы, напрасно беспокоитесь! Если бы, скажем, воды в паровике было и еще меньше, то и тогда . . .

Он толково и серьезно, обстоятельно объяснял купцам положение дела. Купцы внимательно слушали. Один пожилой и толстый, старинного типа, в длиннополом сюртуке и высоких сапогах, другой помоложе, в поддевке синего сукна, а третий — совсем молодой, в куцем пиджачке, жокейском картузике и обуви велосипедиста.

Они все трое были взволнованы только что происшедшей крупной ссорой с Федором Иванычем: купцы нашли какое-то упущение в постановке нового, недав-

но выписанного паровика и набросились на машиниста с ругательствами. Федор Иваныч, по обыкновению, дал им отпор в сильных выражениях. Послали за экспертом, приговор которого и решил дело в пользу Федора Иваныча.

Вся сцена происходила в кузнице, временно устроенной в отгороженном дощатыми стенами углу завода. Здесь был кузнечный горн, на земляном полу, посредине кузницы, стояла наковальня, окруженная грудой железных обломков, у стен виднелись верстак и железный токарный станок. Всюду валялись молотки, щипцы, слесарные и токарные инструменты.

В раскрытую дверь кузницы был виден отлогий берег Волги и сама она, спокойная, как зеркало, и блестящая под темно-красными лучами летнего заката. Завод стоял за городом, на берегу Волги.

Купцы сделали вид, что пропустили „баранов" мимо ушей, но едва только эксперт ушел, как они снова набросились на Федора.

— Ты что это делаешь? — закричал на него старший купец, представитель компании. — Тебе слово скажешь, а ты — десять!

— А то как же? — спокойно отвечал Федор Иваныч. — Что, я вам спускать, что ли, стану?

— Охальник ты! — возразил купец. — Что ты есть тут такое, что за фря? По какому случаю поднимаешь морду? Ты — рабочий, такой же чертоклеп, как и все другие кузнецы! Должен ты хозяина уважить или нет? Делай, что велят, — и баста.

— Тоже! — раздраженно подхватил другой купец, одетый в поддевку. — Чай, ведь он образованный! Прочитал две книги — и думает, что умный! Да ведь тебя, цыгана, еще утюжить да полировать надо! Дудки, брат, — нет еще в тебе настоящей политикатуры!

— Что ему! — поддержал велосипедист. — Для него завод-то хоть лопни! С него, голяка, взятки гладки, а наших тут восемьдесят тысяч ухлопано!

И, наступая на Федора Иваныча, они все трое закричали, указывая на завод:

— Тебе тут мало горя! Твоего тут ничего нет!

— Как? — повышая звучный, металлический голос и сверкая глазами, закричал Федор Иваныч. — Как моего тут нет? А труда-то моего тут сколько вложено! Вы его ни за что считаете? Вы платите мне только пятьдесят рублей, потому что у меня семья и нужда,

а попробуйте-ка выписать ученого механика! Запла́тите ему двести! Как же вы говорите, что моего тут нет? Да тут каждый винт, каждая гайка облиты моим потом да еще и кровью! Ха! Тут много моего! Разве вы не видели, как я работаю, как день и ночь кую для вас ваше богатство? И все-таки — моего тут нет? Вы — хозяева? Вы — в ответе? Нет! Вы — хозяева завода, а я — хозяин дела, хозяин этих машин, в которых вы ничего не смыслите! Кто ответит, если вы сделаете взрыв? Небось, сами ж на меня тогда весь ответ взвалите! Ведь не вы, а я расписываюсь в книге, когда приезжает фабричный инспектор! На мне — весь труд, на мне — весь ответ! Ведь вы мне вздохнуть не даете за пятьдесят-то рублей. Вы кровь мою из меня выжимаете, да еще издеваетесь надо мною и ругаетесь скверными словами! Вы думаете, что я ваш раб?

Федор Иваныч ударил себя кулаком в грудь и звонко крикнул:

— Нет! Я — вольный слуга! Вы не имеете права мешать моей работе и делать мне глупые приказания! Вы забыли, что есть и на вас управа!

— Какая?

Федор Иваныч схватил молот и, оглушительно грянув им о наковальню, крикнул:

— Фабричный инспектор! Вот какая!

Как был — грязный, в замасленной блузе и с черными от сажи руками, — взволнованный и взбудораженный гневом, он яростно бросил молот, нахлобучил картуз и выбежал из кузницы, оставив своих хозяев в самом озлобленном настроении.

— Сходи, сходи к нему, друг! Ха-ха-ха! Сходи!

— Пожалься ему! Чево тут!

— И пойду, — гремел Федор Иваныч.

Федор Иваныч вышел из квартиры фабричного инспектора омраченный и разочарованный. Он крепко хлопнул большой парадной дверью и сошел с крыльца.

Смеркалось. В небе зажглось несколько серебряных звезд, и полная луна медленно выплывала из-за облаков. Над городом стояла золотистая пыль и трескотня извозчичьих пролеток по мостовой.

Федор Иваныч постоял немного в раздумье и затем с чувством, изысканно и сильно выругался.

Потом повернул за угол и пошел по тротуару, напирая на встречных, толкаясь и никому не уступая дороги.

Он злился на фабричного инспектора, на купцов, на свою бедность и на всю жизнь. Хороший машинист, слесарь и токарь, он давно уже создал себе репутацию беспокойного и неуживчивого человека и действительно нигде не уживался. Он уже не гнался за тем, что за труд ему платили бессовестно мало, он искал только одного: чтобы с ним хоть обращались-то деликатнее. Но обращение было везде грубое, а на грубости Федор Иваныч всегда отвечал еще более грубо и, обладая горячим характером, даже пересаливал в этом отношении и никогда не оставался в долгу у своих обидчиков. От этого своего непокорного характера он страдал всю свою жизнь, страдала его любящая, кроткая жена Маша, голодали ребятишки.

Федор Иваныч еще раз выругался сквозь зубы и толкнул кого-то плечом.

Вот и теперь: шел к фабричному инспектору защиты просить, а вместо этого и тут стычка вышла. Он злобно припоминал подробности объяснения: вышел инспектор к нему в прихожую, важный, толстый... „Что тебе нужно?" — „Так и так..." — вежливо начинает рассказывать Федор Иваныч, смягчая свой громкий голос.

— Ну и что же? Делай, что велят! — с неудовольствием говорит инспектор.

А в зале, слышно, кто-то на музыке играет и женский голос про любовь поет.

— Ка-ак? — возвышает голос Федор Иваныч. — Да как же это можно? Да я...

— Молчать! Пшел вон!

Инспектор вспылил, раскраснелся и ушел из прихожей, а у Федора Иваныча в груди так и запылало. Обидело его такое обращение. Не понял его инспектор, да и понимать не хотел.

— Кто твой хозяин? — крикнул он на горничную около двери. — Татарин али русский?

— Русский, — пробормотала она, отшатнувшись от Федора Ивановича.

— Ну так скажи ему, — и голос его загремел по всей квартире, так что даже музыка прекратилась и про любовь перестали петь, — скажи ему, что дур-рак он!

Рявкнув так, Федор Иваныч изо всей силы хлопнул дверью и ушел.

Ему хотелось излить кому-нибудь свое горе, всю

свою наболевшую душу. Он вспомнил, что давно обещался побывать у брата; брат у него, сравнительно с ним, богатый человек: своя лавка, свой дом на набережной, лошадь, корова, свиней сколько, кур одних сорок штук. Вот еще обещал ему брат пару кур да петуха на обзаведение. Добрый он мужик, брат-то, только скучный — сытый больно да покой своей жизни очень любит, а жена у него — сущая ведьма: скопидомка, жадная и скупая, все боится, как бы бедному брату от богатого чего не перепало. Из-за нее они с братом и отдалились друг от друга.

Зайти разве к брату?

Федор Иваныч вышел на набережную, разыскал небольшой серенький домик с палисадником.

На крыльце сидел брат. Он был приземистый, лысый, с длинной рыжей бородой и нисколько не был похож на Федора Иваныча. Сквозь ситцевую рубаху, подпоясанную под мышками, „выщелкнулось“ довольно объемистое брюхо.

— Что поздно? — сказал он Федору, подвигаясь и давая место рядом с собой.

— Да так... завернул! — промычал кузнец, присаживаясь.

Он снял с головы потный картуз и, смотря в него, вздохнул.

— Что невеселый? Али все не ладишь с купцами?

Федор Иваныч крякнул, надел опять картуз и заговорил.

Он заговорил о том, как оскорбили его купцы, как он с ними ссорился, как был у инспектора и что вышло из этого.

Говорил о том, как тяжела жизнь рабочего человека, как трудно ему бороться и как все труднее становится жить.

— „Что ни год — уменьшаются силы, ум ленивее, кровь холодней...“ — неожиданно ввернул он стихи из Некрасова и заключил задушевным, грустным тоном, понижая голос почти до шепота: — Эх, брат, хоть бы ты помог мне! Не купцов же идти просить! Они скажут: „р-ра-ботай!“, а ведь я работаю вот уже тридцать лет, брат!

Федор Иваныч грустно улыбнулся.

Брат покачал бородой.

— Я-то что же? Чем я помогу?.. А ты бы, того... покорился бы им.

— Покориться? Не-ет! — вскричал Федор Иваныч, и черные глаза его вновь загорелись сатанинской гордостью. — Не могу покориться! Понимаешь? Не могу!

Он побледнел и глубоко задышал. Ему уже стыдно было, что он вдруг расчувствовался перед братом.

Брат молчал.

Луна ярко освещала их несходные фигуры: одну — благодушную, а другую — мрачную; облила, словно молоком, кусты акаций в палисаднике и посеребрила неподвижную гладь Волги. У берега стояли черные баржи и суда, неподвижные и таинственные, как спящие чудовища.

— Я бы их! — с глубокой сдержанной злобой воскликнул вдруг Федор Иваныч и сжал кулаки.

Брат немного отодвинулся от него.

— Да-да-а! — протянул он, захватив горстью свою длинную бороду и не находя что сказать. — Трудно тебе, Федор, эх, трудно!

Потом он зевнул.

— О-охо-хо! Господи Иисусе Христе! Сколько горя-то на свете!

И, вставая, добавил совсем в другом тоне:

— Что, возьмешь, что ли, кур-то?

— Давай! — мрачно ответил Федор и тоже встал.

Они вошли в калитку на двор, и хозяин отворил дверь курятника.

— Хватай прямо с нашести! — сказал он добродушно.

Федор Иваныч исчез в курятнике, где тотчас же начался куриный переполох.

— Кто там? — раздался из окна звонкий голос.

— Бери скорее! — торопливо зашептал брат. — Проснулась, волк ее заешь!

Федор Иваныч разбойничал в курятнике. Куры отчаянно кудахтали и хлопали крыльями. Скоро он выскочил из низенькой двери, держа вниз головой в одной руке двух куриц, в другой — петуха.

Но толстая женщина в юбке, без кофты и босиком, уже шла из сеней к ним.

— Это что за разбой? — завопила она, всплеснув руками, увидев обоих братьев на месте преступления.

— Так что . . . куры вот . . . Федору . . . — робко бормотал муж.

— Куры! Куры! — передразнивала она его желчно. — Твои, что ли, куры-то? Я их сама выводила да сама

кормила! Мое это добро, не дам никому! Ах ты, бардадым, бардадым! Рохля! Дурак!

— Да ведь не чужому... брату! Что ты!

— Какому брату? Какой он тебе брат? И на дух не надо мне твоей родни! Все они у тебя шобонники, голоштанники! Только норовят что-нибудь стащить, пьяницы!

— Тьфу! — плюнул муж.

А она, подступая к Федору Иванычу, задорно и звонко кричала:

— Отдай назад, грабитель!

Федор Иваныч в эту минуту был похож на браконьера: он держал в левой руке всех трех птиц, а правой отстранял от себя бабу. Он свирепо глянул на нее исподлобья и сказал:

— Отойди, тетка, не отдам!

Он выскочил в калитку с курами в руке и быстро зашагал к берегу.

В это время из окна домика высунулась длиннобородая лысая голова старшего брата, ярко освещенная луной, и прокричала:

— Поезжай на бударе! У берега моя будара стоит!

На Волге было тихо. Вдоль всего берега неподвижно спали длинные черные баржи. Где-то в трюме слышался глухой и мерный стук водолива, струя воды, которую выкачивали, падала из отверстия в боку баржи и мягко шумела, выливаясь в реке. Где-то далеко играли на гармони, и дрожащие звуки протяжной песни тихо плыли в теплом воздухе. Кое-где на баржах разводили огонь и кипятили ужин в котелке. На других судах рабочие садились в кружок и ужинали, другие молились, обратясь лицом на восток; их черные фигуры отчетливо вырезались на светлом фоне реки, которая блестела под серебряным светом луны. Вдали, за Волгой, чернела узорчатая полоса лесистого берега.

Там, кое-где, словно светляки или чьи-то кровавые глаза, краснели точки далеких рыбацких костров. Фонари на мачтах судов казались издали разноцветными звездами.

Федор Иваныч почти неслышно ударял кормовым веслом, пробираясь вдоль берега между бесчисленных баржей, пароходных конторок, судов и плотов. Черный, он плыл в тени почти невидимый. Вода здесь казалась тоже черной и тихо журчала под плавными, неслышными ударами длинного кормового весла.

Федор Иваныч сидел в корме крохотной долбленой душегубки, нос ее высоко поднимался над водой, и казалось, что кузнец плывет по реке на каком-то сказочном водяном звере.

Волга несколько смягчила его мрачное настроение.

В городском саду играла музыка. Большой город, залитый лунным светом и осыпанный огнями, потихоньку уплывал назад, удаляясь от Федора Иваныча. Кузнец миновал пристань и плыл теперь мимо бесконечной вереницы плотов. Здесь было совсем тихо, только из города нежно доносилась струнная музыка.

Острое чувство гнева и обид, испытанных за день, мало-помалу притуплялось в груди Федора Иваныча и как бы опускалось на дно его души, чтобы присоединиться там к прежним тяжелым чувствам, которые лежали в темной ее глубине, словно охлажденные куски раскаленного железа, брошенного в воду.

Теперь он уже испытывал не злобу, а презрение к врагам; баба, которая хотела отнять у него кур, показалась ему смешной. Экая дура! А с купцами он сыграет штуку!

Ненавидят они его ото всей души, а уволить все-таки не решатся ... до поры до времени ... потому что трусы и рабы они собственной копейки, он слишком нужен и выгоден им. Ну, а вот когда он им сделает все самое главное ... спасет их от разорения, тогда, конечно, выгонят ... вышвырнут вместе с детьми на мороз ... Да что ж! Он этого не боится: сколько уж раз так бывало, привык! Слава богу, молот еще из рук не вываливается, и его тотчас же примут в мастерские, где, впрочем, знают уже характер Федора ... Э, черт с ними! Будь что будет, а холуйствовать он ни перед кем не намерен! Нет, уж этого от него никогда не дождутся, — у него есть гордость и человеческое достоинство!

Куры затрепыхались у его ног и закудахтали. Федор Иваныч взглянул на них и тут только заметил, что худая бударка почти до половины наполнилась водой, связанные куры плавают в ней, а вода очень быстро прибавляется: должно быть, ототкнулась какая-нибудь щель. Стоило хорошенько качнуться в лодке, чтобы она пошла ко дну ... А до завода было еще далеко.

Сильным ударом весла Федор Иваныч повернул к плоту.

— Эй! Эй! — заорал с плотов зычный голос, колы-

хая дремотную тишину реки. — Куда лезешь? Какого черта надо? Нельзя! Эй! Э-эй!

И по реке гулко прокатилось эхо:

— О! Э!

Из-за караулки показалась плечистая фигура высокого старика с длинным багром в руке, которым он намеревался оттолкнуть от плотов тонувшую бударку Федора Иваныча.

— Эй! — грозно орал старичище.

Но Федор Иваныч с проворством гимнаста вскочил на плот.

— Какого дьявола орешь, леший?! — закричал он на сторожа плотов. — Тону ведь! Не видишь, что ли? Черт!

И он одним махом вытащил бударку на плот, опрокинув вверх дном вместе с водой и курами.

— Кто те знает, что ты за человек? — смеясь, ответил старик, осматривая Федора. — Может, что слизнуть хочешь. Вон ты какой . . . темный!

— Небось потемнеешь! — ответил Федор Иваныч, перевертывая лодку и помещая в нее мокрых, измученных кур. — Эх, какая дырища-то! Дай-ка пакли, что ли? Я машинист вон с того завода. Али не знаешь? Нашли кого испугаться, черти! Чуть не утопили.

Старик дал ему пакли, но все еще недоверчиво на него поглядывал.

— Много больно тут всякого жулья! — оправдываясь, бормотал он.

Федор Иваныч починил бударку и спустил ее на воду.

— Вот и готово! — весело сказал он. — Поплыву теперь дальше! Спасибо, дед!

Он сел в корму, оттолкнулся веслом от плотов и, удаляясь в серебристое лоно реки, запел размашистую волжскую песню:

Меж крутых бережков
Волга-речка течет,
А по ней, по волнам,
Легка лодка плывет . . .

Его металлический, резкий голос словно разрубал неподвижный воздух и далеко разносился среди ночной тишины.

Старинный плавный мотив песни, сложенный на волнах, за веслами, мчался словно быстрая шестивесельная лодка по широкому раздолью мерно дышащей Волги.

Старик некоторое время стоял на краю плота и слушал песню, опираясь на свой длинный багор.

Голос Федора Иваныча, быстро удаляясь, все глуше и глуше доносился из речной дали:

В ней сидел молодец...
Волны резал веслом...

Наконец не слышно стало песни. Она словно растворилась в лунном свете.

— Ну, этого не скоро заездят! — сказал сторож, поворачиваясь и шагая с багром по бревнам плота. — Много в ём блох!

Когда Федор Иваныч поднялся с курами в руках из-под отлогого берега к заводу, около которого стоял сарай, заменивший ему с семьей квартиру, глазам его предстала приятная картина: у него были гости и, очевидно, уже давно поджидали его.

Гостей было двое, они сидели за столом, вынесенным из сарая и поставленным на „воле“ таким образом, чтобы сидящие за ним свободно могли любоваться на Волгу.

На столе кипел самовар, стояли домашняя закуска и бутылка водки. Гости, по-видимому, чувствовали себя прекрасно и встретили хозяина радостным смехом.

Один был с продолговатой бородой, сухой и крепко устроенный человек в косоворотке и в пиджаке. Руки у него были большие, мозолистые, серые глаза смотрели пронзительно.

Другой был с закинутыми назад длинными кудрями, с рыжеватыми усами и в белом кителе телеграфиста.

— Будьте настолько перпендикулярны, Федор Иваныч, — галантно сказал телеграфист, — выпейте и закусите огурцом!

— Птицелов! — насмешливо приветствовал Федора слесарь. — Аника-воин!

Чай разливала Маша, жена кузнеца, молодая женщина с лицом симпатичным и грустным. Подле нее сидела старшая дочь, девочка лет двенадцати, белокурая, похожая на мать. Она играла про себя на большой звучной гитаре, которая закрывала почти всю ее хрупкую фигурку. Около стола ездил на игрушечном велосипеде шестилетний Володька, бутузый крепыш с черными глазами, похожий на Федора Иваныча. В сарае слышались голоса других детей.

— Вот это хорошо вы сделали, что водки-то захватили! — сказал Федор Иваныч. — Хорошо выпить с устатку!

Он смачно выпил большую рюмку водки и покрутил головой, пережевывая свежий огурец.

— Я нынче за день столько ругался, братцы, столько ругался — и-их ты, боже мой!

— Знаем! — сказал слесарь. — Воевал — одно слово!

— Был у инспектора? — спросил телеграфист.

Федор Иваныч выпил еще, плюнул и стал в лицах рассказывать о своих приключениях.

Гости слушали и выпивали.

Когда он кончил рассказ, слесарь, погладив бороду, сказал:

— Выгонят они тебя!

— А велика печаль! — возразил Федор Иваныч. — Видел, в какой квартире меня держат? А ведь скоро холода настанут. О чем жалеть-то? Вот еще! Была бы голова, а петля всегда найдется.

— Вот он завсегда так говорит! — вмешалась Маша. — Ни себя, ни семью свою не жалеет! Век живем — мучаемся! Хоть бы о детях вспомнил! А я так думаю: нехороший характер у него!

— Маша! — с пафосом вскричал Федор Иваныч. — Неужто я когда забывал о тебе? — Он ударил себя в грудь кулаком. — Ты всегда была для меня — моя жизнь, моя отрада!

Женское сердце Маши ни на минуту не устояло против этих страстных слов, она улыбнулась.

— А я так думаю, — сказал телеграфист, — у тебя, Федор, геройская натура! Без врагов и без сражений — тебе и жизнь не в жизнь! И каждому делу, каждому чувству ты отдаешься весь, целиком, без раздумья! Тебе бы надо жить во времена Стеньки Разина! Ты — человек цельный, из одного куска! Ты даже и не знаешь, что значит иметь трещину в душе. „Через весь мир прошла великая трещина, весь мир расколот пополам, и мое сердце расколото!" — так сказал великий поэт Генрих Гейне!

— Ну, уж и герой! — язвил слесарь.

— Будьте перпендикулярны, выслушайте меня, — продолжал телеграфист, вставая и чокаясь. — Ты, Федор, человек без трещины в душе, созданный из всего здорового, ты стоишь на здоровой, твердой почве, а я, человек с расколотым сердцем, говорю тебе: валяй, не

робь! Не позволяй наступать себе на горло! Не корись никому! Плюнь в морду твоим купцам! Вот! За твое здоровье! Будемте перпендикулярны, господа!

— Уж вы, пожалуйста, не раззадоривайте его, — возразила Маша. — Такого горячего человека останавливать надо, а не натравливать! Оставьте, пожалуйста, этот разговор!

— И то правда, — сказал Федор Иваныч, — и вправду оставим! Да и какого черта вы взялись меня жалеть или вроде того? Да я — счастливый человек! — воскликнул он, размахнув руки и как бы подставляя грудь ударам судьбы. — Я счастливее моих купцов! Знаю я, что у них дома-то делается! Какие кошки у них в сердцах скребут! У одного жена сбежала и у другого — от развратной жизни. Из детей никакого толку не выходит: все больные да слабоумные! А у меня-то, господи, моя-то Маша-то, — отрада жизни моей! Ребятишки — один другого озорнее, а на дочь на мою посмотрите: музыкантша! Ну-ка, Зина, спой нам „Белый день занялся над столицей“! А? Она ведь у меня и поет, и играет! — пояснил он гостям.

Девочка поправила свои льняные кудри, рассыпанные по плечам, и тихо заиграла на гитаре. Маленькие пальчики цепко заскользили по грифу, и под нежный аккомпанемент тихих струн Зина запела тоненьким мелодичным голоском:

Белый день занялся над столицей,
Сладко спит молодая жена!..

Аккорды правильно, музыкально следовали за пением, цепкие бледные пальчики извлекали нежно-мягкие, шелестящие звуки, грустная песня о гибели труженика в устах ребенка звучала какой-то эпической, спокойной печалью, и детское личико певицы, склоненное над гитарой, было не по летам серьезно и умно. Ее тоненький, комариный голосок звенел так хорошо и тихо, что казалось, будто это пела невидимая крохотная фея, порхающая в лунном свете.

А все кругом было залито этим нежным серебряным светом. Угрюмый завод, жалкий сарай и пустынная песчаная местность, такая скучная днем, такая прозаическая и унылая, — все теперь стало прекрасно и многозначительно. Словно все молча ожило и, полное тихого, вдумчивого спокойствия, облитое волшебным

светом, вздохнуло, зашептало, взглянуло, прислушалось . . .

— Превосходно! — с важностью сказал телеграфист. — Я знаю в этом толк и определяю: музыкально и даже с чувством. Только вот что: не надлежит петь печальные песни нам, у кого жизнь и без того печальна. Наша песня должна поддерживать в нас дух бодрости. Веселый дух должен быть в бедном человеке, печаль же ослабляет сердце.

— Ну, однако, Зина, тебе пора спать, — сказала Маша, — дети все уже легли. Простись со всеми да и ложись.

Зина положила гитару, обняла и поцеловала отца, потом мать, а гостям подала руку. Потом пошла в сарай.

— Богу-то не забудь помолиться, — сказала ей вслед мать.

— Всякая песня бывает хороша, если ее хорошо спеть, — сказал Федор Иваныч, беря и настраивая гитару. Под его огромными и как бы железными пальцами струны зазвучали сильно, густо и резко. Он откинулся к спинке стула, сдвинув картуз на затылок, и, мощно ударяя в гулкие, звучные струны, размашисто запел своим резким, металлическим голосом:

Кто дорогу трудом пролагает,
Не жалея труда своего . . .

Он чувствовал себя сильным, смелым и правым человеком, Федор Иваныч был уверен в себе, в своих силах и внимавших его пению друзьях. Он бодро и отважно смотрел в будущее. В голосе звучало железо.

Кто безумного счастья не знает,
Милый друг . . .

Стальные струны гулко повторяли за ним:

Милый друг, помолись за того.

— Го! О! . . — разносилось эхо.

Свет луны освещал весь воздух, обливал берег и таинственно-спокойную Волгу, змеился по ней серебряной полосой и мелькал в ее струях мимолетными звездами, которые то загорались, то гасли, словно играющие золотые рыбки.

1903



В ДОРОГЕ

Мне вспоминается осенняя степь и гладкая, твердая дорога, по которой мы ехали на тройке в рессорном экипаже с поднятым кожаным верхом. Ночь была светлая, лунная, но по-осеннему холодная, ядрено-прозрачная.

Луна, круглая и тоже как бы прозрачная, плыла высоко в зеленовато-матовом небе и далеко освещала холодную степную даль... Безжизненная, безмолвная степь, полная грустной тишины, освещенная мертвенным светом, казалась теперь еще таинственнее, еще шире и размашистее, чем днем.

Торжественную тишину нарушали только мы: рессоры мягко похрустывали, копыта лошадей мерно ударяли в звонкую дорогу да целый рой бубенчиков словно летел и вился над лошадьми и назойливо пел что-то однообразное, пустое и беспечное...

Мой спутник дремал или о чем-то думал, а кучер Афанасий дал полную волю быстрой, резвой тройке, и я смотрел, как летели мы, будто на орлиных крыльях, и как мчалась навстречу нам ровная, серебристая степь. И казалась она полной таинственных чудес и волшебных сказок... Пустое, высокое, безоблачное небо прозрачным куполом опрокинулось над нею, и казалось, что мы улетаем за край этого купола, в неведомый, безграничный простор, а человеческое лицо месяца мчится вслед за нами и насмешливо улыбается.

Афанасий с каким-то особенным смаком присвистывал, покрикивал и взлетал на облучке: он гнал тройку для собственного удовольствия. Наконец, в упоении, он попридержал горячих степных лошадей, и мы поехали обыкновенной рысью.

Степь и луна тоже как будто поплыли медленнее, а прозрачная тень экипажа и тройки, растянувшись

рядом с нами по земле, стала отчетливее. Бубенчики заболтали протяжнее, словно жаловались на что-то.

Афанасий обернулся ко мне вполоборота.

— Вот Косолапый — так лошадь! — внезапно сказал он, кивая на коренника. — Цены нет коню!.. Век бы с ним жил — не расстался! У земского ямщика уж на что лошади хорошие, — ну, а супротив наших — хе-хе-хе! куда же, где ему!

Афанасий тихо, снисходительно рассмеялся.

— Никогда не выстоит! — убежденно сказал он. Он говорил веско и поучающе, как говорят люди с природной склонностью к резонерству; в голосе его всегда звучало знание истины, убежденность и уверенность в превосходстве над всем окружающим его миром.

Он покосился на моего спутника и, понижая тон, добавил пренебрежительно:

— Наш барин рази в лошадях что понимает?

И уже с явным презрением и горечью, оскорбленно заявил:

— Ни-че-вво! Ему хоть свинью запряги, лишь бы бе-ж-жала!

Это было презрение аристократа к варвару, художественной, талантливой натуры — к бездарности. Лошадей он любил страстно и дорожил ими более, чем людьми. Перед тем как нам ехать, барин его заболел в имении ночью, и так тяжело, что решили послать за врачом, который жил верстах в двадцати от имения; но Афанасий отказался ехать: дорога ночью, с переправой через реку вброд, показалась ему опасной для здоровья лошадей.

— Там барин умрет ли, нет ли, а за лошадей кто отвечать станет? — резонерствовал он.

Всеобщее негодование нисколько не поколебало его.

Барин не умер благодаря счастливой случайности: врач сам проезжал мимо и заехал. Потом вся прислуга приходила поздравлять с выздоровлением, пришел и Афанасий, искренно обрадованный: он все-таки любил и барина, с которым его связывали давнишние и довольно странные отношения.

— Наш барин простяк! — говорил он мне теперь. — Добрющий человек: всем он пособляет, все его обирают...

И опять неожиданно добавил:

— Ка-ак дур-рака!

Афанасий подобрал вожжи и обернулся ко мне для

объяснительного разговора. Лошади пошли шагом. Лунный свет искорками блестел на светлых бляхах упряжи, на потных спинах вороных лошадей, на окованной дуге коренника и ярко облил смугловатое лицо ямщика, обрамленное курчавой бородой.

— Лет пятнадцать я у него в кучерах... — начал он. — Раз восемь уходил — и вот поди ж ты, где ни живу, а все ворочусь, и ворочусь опять к нему же! Лошади у него завсегда без меня переболеют да переколеют — срам! А управляющий всегда немец, ну и, конечно, где же немцу русского кучера понимать? Идет к барину. „Или меня, говорит, или Афанасия увольте: грубит и не слушается“. Ну, барину не оставаться же из-за пустяков без управляющего, призовет меня и скажет: „Ступай, Афанасий, куда-нибудь месяца на два, а потом опять приходи, — приму!“ Ну я и ходил. Был везде: и на Дону, и на Кубани, где, говорили, вольная земля есть, и на Украине — нет! Нигде в Расее не нашел я настоящего житья: везде это тебя живо согнут в дугу, подкуют, взнуздают и запрягут: вези! И, стало быть, никуда от этого самого утеснения деться человеку нельзя! Вон видишь степь-то? — Афанасий провел полукруг кнутовищем по воздуху. — Широко? Убежал бы да скрылся ото всей этой музыки, откачнулся бы ото всей жизни, от всех податей, — ан нет! Никто не откачнется. Каждый человек есть жук на нитке, — сколько ни летай, а не улетишь: дернут за нитку — и опять, значит, угодишь на прежнее место.

Афанасий помолчал, пошевелил вожжами и заключил с досадой:

— А насчет вольных земель — враки! Нет их!

И, грозя кому-то в пространство кнутовищем, он желчно продолжал:

— Никуда не улетишь, братец ты мой, не-ет!.. не вырвешься...

На эту тему мы с ним разговаривали, но прежде он глубоко верил в какую-то злобную силу судьбы, которой, по его мнению, не стоило и сопротивляться. Мне были неприятны его мрачные рассуждения, и я попытался переменить разговор.

— А ведь, пожалуй, придется заночевать в какой-нибудь деревне? — спросил я.

— Ночевать? — сразу возмутился Афанасий. — Ну, нет... ночевать не придется!.. Да и где тут ночевать?

Я — ночь-полночь, — а уж в мордовской избе ночевать не стану.

— Почему так?

— А так...

Голос Афанасия зазвучал с таким оттенком, как будто бы он, Афанасий, знает что-то о мордовской избе, но не хочет сказать.

— Ха! — с презрением продолжал он. — Мордва — необразованные дикари! И вера-то у них глупая: идолам, дурачье, кланяются! В других-прочих верах хоть книги есть, а у них — н-нет ничего! Только и есть, что два деревянных бога: один валяется на заднем дворе — так себе, просто сказать, чурбан... А другой маленький: тот в избе, в переднем углу, на божнице стоит, — та-ак — др-рянь...

Голос Афанасия выразил омерзение.

— К-кукла! — продолжал он, уже озлобляясь. — Но... вр-ред-на-я!..

— Почему же вредная?

Афанасий дернул вожжами, повозился на облучке и, помолчав, ответил мне тихо, тоном глубокого убеждения:

— На глаза болезнь пущает!

И, обернувшись к лошадям, натягивая вожжи, продолжал что-то говорить о „вредном“ и ехидном боге.

— Я — ночь-полночь... — доносилось до меня, — а уж...

Впереди блеснула обмелевшая речка. Серебряный столб лунного света дрожал на ней металлическими бликами, и казалось, будто со дна ее всплывают, зажигаясь, языки белого огня.

Дорога шла по самому краю отвесного обрыва над оврагом. Узкий и глубокий овраг был полон черной тьмой и казался бездонным... Стоило колесам соскользнуть вбок на четверть аршина или лошадям испугаться чего-нибудь, и мы полетели бы в бездну.

— Осторожнее, Афанасий!..

Афанасий преспокойно посвистывал.

— Доедем! — послышался его самоуверенный голос.

Лошади, насторожившись, пряли ушами и близко прижимались одна к другой. Бубенчики, то замолкая, то погромыхивая, беспечно переговаривались между собою.

И вдруг мы прямо с высокого, обрывистого берега

бултыхнулись в реку. Зашумели волны и едва не хлынули в повозку. Лошади, фыркая, почти плыли.

Мой спутник проснулся.

— Река? — спросил он, открывая глаза.

— Река! — отвечал Афанасий. — Слава те господи, попали на самый брод!

— А что? — спросил я.

— Да рази увидишь ее, дорогу-то, сквозь воду? Шут ее знает, где она: а влево-то на сажень подайся — и как раз в омут угодишь!

— Так ты смотри, Афанасий . . .

— Доедем!

Вороная тройка красивых, сильных лошадей звучно вспенивала воду, купаясь в ней и в серебряном свете месяца. Казалось, что мы утопаем и боремся за жизнь. А кругом безучастно молчала мертвая степь да чернела под высоким размытым берегом коварная река. Мы действительно доехали, хотя могли и не доехать. Выбравшись на противоположный плоский берег, мы опять покатили по гладкой, ровной дороге. Бубенчики неугомонно болтали, перебивая друг друга. Афанасий запел себе под нос тонким детским голосом замечательно грустную, протяжную песню.

— Э-эх . . . э-оэ . . . э-о! . . — без конца тянул он.

Мой спутник завозился и, пошуршав спичками, закурил папиросу. Красный огонь спички на минуту осветил в тени кибитки холеные пальцы барских рук, мужественное, красивое лицо в дорожном капюшоне, живые, молодые глаза и совершенно седую, словно серебряную, небольшую бороду. Белый капюшон широкого плаща придавал ему вид бедуина или рыцаря.

— Не спали? — спросил он меня своим звучным голосом.

— Нет.

— А я вздремнул. Да спросонья-то, когда зашумела вода, напугался: представилось мне, что по морю едем. Черт бы побрал эти мои постоянные разъезды! Все перепутывается!

Он затянулся папироской, выпустил дым из ноздрей и продолжал:

— Фантастичнее действительности все-таки даже и во сне ничего не увидишь, не выдумаешь и не сочинишь! Иной раз оглянешься назад, в прошлое, — господи боже мой! Неужели все это было? Все это переживал, во всех этих богов верил? Вероятно! Боготворил

инфузорию, поклонялся клеточке, ходил в народ . . . Якутия . . . этапы жизни . . . потом — проповедь малых дел . . . травосеяние, молотилки, воздушная железная дорога! Тьфу . . . Жена бросила . . . дети все врозь и все — чужие . . . А жизнь шла, молодость уходила, имение мое трещало, тучи сгущались, темные силы торжествовали и гнали нас, лишенных веры, в пустоту, в холодный мрак! . . Бр! Понимаете . . . даже во сне сердце болит . . . постоянно обо всем болит . . .

Собеседник мой вздохнул и помолчал. Молчала степь, словно зачарованная, в безысходной тоске . . .

Пологими, едва заметными волнами уходила она в серебряную даль, и мне чудилось, что холодная грудь ее начинает чуть-чуть колыхаться, двигаться, жить . . . Чудилось, что горизонт поднимается и гонится за нами, какие-то далекие воинственные голоса и вопли преследуют нас и мы летим все ниже и ниже, в бездонный провал. Я сделал усилие над собой и очнулся. Мой спутник говорил:

— Мне пятьдесят два года. Давно уже я работаю вовсю в так называемом буржуазном направлении, которое от души ненавижу. Но в прежнее время я по крайней мере думал, что в эти годы буду иметь покой . . . И вот все еще еду . . . верчусь как белка в колесе. Жизнь моя все еще по-прежнему проходит в езде. Еду в вагоне, еду на пароходе, еду по рекам и по морям, и на лошадях по степи, и вброд . . . все еду. И, ей-богу, сам не знаю, когда же и куда я наконец приеду. Ездил кругом света, а вышло, что совершил восемьдесят тысяч лье вокруг самого себя! . . С каким бы удовольствием я ушел и от самого себя, и от всей этой чертовщины, которая именуется русской жизнью, и от всей этой путаницы отношений, понятий, настроений, увлечений в области слов и неподвижности в области дела . . . Говорят, заря занимается, новая волна идет; а как вспомнишь, сколько раз эта самая заря занималась и ни разу не взошла, сколько раз мы ждали новой волны, а она обращалась в затишье, — то, право, куда же, наконец, идти-то?

— Э-о-э . . . о-э! . .

Стонала и плакала надрывающая душу песня Афанасия. Лошади шли шагом, и бубенчики жалобно и недоумевающе спрашивали о чем-то друг друга. Луна быстро опускалась за горизонт. Вот она словно прикоснулась к земле и начала таять . . . Из серебряной

стала кроваво-золотой и, словно стыдясь чего-то, окунулась в густой сумрак ночи.

Темно и скучно стало в безотрадно печальной степи.

Я очнулся, почувствовав, что экипаж остановился, и открыл глаза: было раннее серое утро. По небу ползли серые облака, быстро гонимые ветром.

Мы стояли у околицы какой-то очень бедной деревни: раскрытые на корм скоту соломенные крыши придавали ей разоренный вид. Обнаженные черные стропила словно вопияли к небу о помощи, но хмурое небо безучастно и безжалостно смотрело на ободранную до костей деревню.

В ворота околицы татары гнали косяк исхудалых крестьянских лошадей. Это были жалкие, полумертвые одры. Неуклюжие морды с громадными, бессильно и как-то безучастно отвислыми ушами страдальчески смотрели добрыми большими глазами, и из глаз этих, тусклых и как бы невидящих, тихо текли крупные слезы. Медленно и грустно, безжизненно ступая разбитыми ногами, как ходулями, одно за другим проходили эти фантастические животные, и в шествии их было что-то похожее на печальный, зловещий сон.

У шалаша стоял мужик.

Он был без шапки, и ветер шевелил его нечесаные волосы. Рваный кафтан распахнулся, пестрядинная рубаха расстегнулась, обнажая костлявую, загорелую грудь, и он стоял, прижав к этой груди заскорузлый кулак, а лицо его, обветренное, худое и обросшее бесцветной лохматой бороденкой, носило выражение полной растерянности.

— Что же это? Что же это? — спрашивал он, жестом отчаяния прижимая кулак свой к сухой, уродливой груди и смотря на нас какими-то пустыми, тоскливыми глазами. — Что же это будет? Этак и отшатиться можно!

Мы молчали.

Тогда Афанасий сурово повернул к нему голову, свысока взглянул на него и, сдерживая раздражение, желчно и зло сказал мужику:

— Дур-р-р-рак!

Затем, найдя нужным пояснить свою мысль, более

снисходительным тоном и все-таки презрительно и сурово спросил его:

— Куда ты отшатишься?

И, не получив ответа, злорадно взмахнул кнутом.

— Н-но-о! . .

Мы поехали. Околица, одры, шалаш и мужик — все исчезло, и кругом опять поплыла однообразная степь, а по небу до самого горизонта ползли серые тучи.

Мы неслись как подхваченные вихрем, словно за нами гнались истерзанная деревня, плачущие одры и чудак, верящий, что ему куда-то можно отшатиться.

Я оглянулся: деревня, околица и шалаш словно уплыли назад, а у шалаша, в прежней позе, неподвижно стоял мужик: рука, сжатая в кулак, была по-прежнему у груди, голова опущена, и ветер трепал его спутанные волосы, бороду, кафтан . . .

1904



ПОЛЕВОЙ СУД

За Жигулевскими горами прячется маленькая речка Уса. Начинается она в лесу, около села Переволоки, в полуверсте от берега Волги, течет меж гор навстречу ей, похожая на ее отросток или „ус“, и, перерезая наискось Самарскую луку, впадает в Волгу верст на двести выше, около Молодецкого кургана.

Если от Переволок ехать по этой реке, а не вверх по Волге, то можно через несколько часов очутиться по другую сторону луки и таким образом, плывя по течению, впятеро сократить расстояние.

В старину Усой пользовались волжские разбойники: они нападали на караваны около Переволок; если суда убегали от них, то переволакивали свои челноки на Усу, обгоняли суда и вновь грабили их у Молодецкого кургана.

И река Уса до сих пор сохраняет свой прежний разбойничий вид: она течет в жигулевских дебрях, меж скал и ущелий, дикая, безлюдная, то исчезая в лесу, то снова внезапно появляясь, то широкая и спокойная, то как бурный поток мчится по зубчатым порогам. Высокие крутые берега ее покрывает старый сосновый бор, и ни разу нигде не встречается жилья человеческого. И тихо бывает кругом, когда плывешь по ней на челноке с косым волжским парусом. Места здесь все заповедные, леса — дремучие, и стоят заросшие лесом горы все такими же дикими, как и сотни лет назад. Что ни дальше плывешь по Усе — берега идут все выше и угрюмее: река бежит под висящими скалами по темному ущелью, на дне пропасти; высоко в небе громоздятся скалистые верхушки гор, похожие на зубчатые хребты сказочных чудовищ или развалины замков, а старые сосны, качаясь от ветра, гулко поют буйные песни или угрюмо шепчут друг другу жуткие разбойничьи сказки.

Ветер в этом ущелье ежеминутно меняется, из-под каменных берегов звенят подземные ключи и чернеют пещеры, полные темной воды.

Стоит на Усе высокая обрывистая Девичья гора; по преданиям, с нее когда-то, сотни лет назад, сбросили девушку в Волгу, невинную чистую девушку; и с тех пор каждую весну горит село Девичье, горит весеннею ночью, а на горе, в зареве пожара, видят будто бы люди ее огненный мстительный образ. Уже позабыто теперь, за что ее сбросили . . .

Есть тут урочище Воеводино: стоял над Волгой красный терем с высоким окном, воеводин терем, и любила жена воеводы удалого разбойника, на легкой лодочке приплывал он к ней, свистал по-соловьиному, в терему отворялось окно, и по веревке она принимала к себе атамана. Но в последний раз не воротился он из терема: только лодка плыла без него по течению, а за нею — молодецкая шапка с красным верхом, с золотой кистью . . .

. . . .

А вот мрачная Кудеярова гора. Кровожаден, жесток и мстителен был Кудеяр. Лил, как воду, кровь человеческую, любил похищенную красавицу и держал ее взаперти на вершине горы. Кончил жизнь свою Кудеяр монашеством: стал грехи свои замаливать.

Есть на Усе двенадцать малых курганов — могилы двенадцати братьев. Позабыто уже, что это были за братья.

Все кругом обвеяно поэтической песней, седой легендой. И начинает казаться, что между стволами старого бора, что всходит прямыми рядами на вершины гор, мелькает кто-то безмолвный, кто-то величаво-печальный, могучий, в златоверхой шапке, в дорогом кафтане с оторочкой.

И так жутко становится в этой мрачной тишине, что хочется крикнуть, хочется слышать обычный человеческий голос. Но этого только и надо горам: волшебное эхо подхватит несколько слов и долго будет повторять их громовым, нечеловечески мощным голосом.

Тени далекого прошлого обитают здесь. Воинственные, смелые, сильные люди когда-то жили здесь, и жизнь их была вольной, и гибли они в борьбе за волю . . .

Давно уже нет их.

И хочется знать, кто живет здесь теперь, где потом-

ки тех сильных людей, настоящих хозяев этой страны, поливавших ее кровью своей.

Как бы в ответ на эти мысли, неожиданно выносится Уса из глубокого ущелья в привольную долину, окруженную подковой гор, задумчиво глядящих на Селитьбу — серое, печальное, нищенски бедное село, что приютилось в долине на берегу реки, убогое село среди роскошно-величавой природы.

Тут же впадает Уса в широко разлившуюся Волгу, так широко, что чуть виден простым глазом луговой плоский берег ее.

При слиянии рек, выдаваясь вперед, как на страже, стоит грозный Молодецкий курган — сказочная голова гиганта с морщинистым, угрюмо-страдальческим каменным лицом, с нахмуренным лбом и зеленым бором вместо волос. И бьются певучие волны о печальное лицо его, и шевелится под ветром звенящий бор. А угрюмый курган глядит на соседние зелено-кудрявые, ласково-спокойные горы, отраженные в мощной зеркальной реке, и хмурится, и вечно думает свои старые разбойничьи думы.

И так хорош, так целомудренно хорош этот благодатный край, столько в нем глубокого покоя, приветливой ласки и нежной грусти, такою дышит он думой и силой, ширью и волей, что хочется позавидовать людям, живущим здесь, что невероятным и невозможным кажется в краю этом горе людское.

1

Более чем сто тридцать лет прошло с тех пор, как весь этот чудный приволжский край — эти реки, земли, леса и горы — стал родовым графским достоянием; в неприкосновенном виде переходит это маленькое царство из рода в род старой графской фамилии, представители которой никогда не живут здесь. Но Селитьба древнее старого графского рода: в маленькой старой церковке до сих пор хранятся старые летописи, в которых рассказана странная история села.

Еще при царе Иване Васильевиче Грозном пришли сюда вольные люди, новгородские ушкуйники, пришли с пищалями и бердышами, прогнали отсюда какое-то басурманское племя и „окопались около кургана“.

Жили они в постоянной борьбе с кочевыми племена-

ми, но утвердились и стали границей царства Московского, стали постоянной угрозой для врагов его.

Подвиги воинственной Селитьбы оценил царь Алексей Михайлович: всю прилегающую к Селитьбе долину даровал он им, и дарственная царская грамота из поколения в поколение сохранялась старейшими людьми Селитьбы.

И долго жили они среди непроходимых дебрей, скрытые от чужой жизни горами и лесами, и долго никто не знал о них. Век проходил за веком, а дети леса жили без перемен, все так же, как и прежде, и знали только свою землю, лес и горы. Потом отыскало их крепостное право, покорило и ввело в колею. А при Екатерине они были подарены вместе с землей, с телом и душой в „майоратное“ вечное владение „великолепному“ графу и всему его потомству. „Царская грамота“ стала ненужной, ее забыли, потеряли. Осталась только глухая, неистребимая, незабываемая легенда о ней. И старики рассказывали внукам сказку „о царской грамоте“.

Потом пало крепостное право.

Мужики пошли на малый надел и оказались без клочка земли, окруженные владениями графа.

И превратились они в рабочие руки графских имений, обрабатывая барскую землю после воли так же, как и до воли.

Она, эта „воля“, как будто прошла мимо Селитьбы, не коснувшись ее.

Ушла она от них за леса и горы, а они остались, как и прежде, неподвижными, жили покорно и недоуменно страдали.

Только с новою силой стала оживать сказка о пропавшей царской грамоте, только еще больше украсилась эта сказка бессознательно красивыми вымыслами, невесть когда рожденными поэтической душой народа.

И вечно юным оставалось в этой душе все давнее, легендарное. Смутно жили в ней вековые, забытые воспоминания о земле и воле, о первобытной справедливости, о старой патриархальной жизни. И не знали они, что сделала жизнь там, за этим лесом, за грядой таинственных гор, куда мчалась их старая разбойничья река и куда уносила ее воды могучая Волга . . .

История железною пятой шагала по их спинам, а они все жили в мире лесных сказок, гремящих ручьев, играющего эха, и под бессознательными образами и тем-

ными, смутными воспоминаниями спящей глубокой души лежала, как сказочный клад, какая-то утраченная великая правда.

И долго бы жили они так в своем покорном и таинственном безмолвии, если бы однажды, во время пожара, когда горела в Селитьбе хижина какой-то столетней одинокой старухи, спасавшие ее добро не выбросили в окно маленький старый сундучок, который при падении разбился и из потайного, никому доселе не известного ящика выскочил старый пергаментный сверток, испещренный странными буквами, исписанный малопонятными словами, — удивительный сверток с большой старинной печатью.

В городе эти слова разобрали, прочли и перевели ходокам Селитьбы на жигулевский язык.

В этой полусказочной воскресшей хартии могучий царь брал их под свою высокую царскую руку, миловал за старые вины, а за подвиги ратные щедро жаловал на веки вечные землей и угодьями. К грамоте была приложена тяжелая именная царская печать.

Много снится людям снов золотых, много райских видений проплывает над спящей душой человека, но крестьянский сон всегда один: крестьянину снится земля. И с тех пор двадцать лет ходили ходоки села Селитьбы по судам и палатам больших городов. Они искали все какую-то „подземельную канцелярию" и взамен ее попадали в острог или в сумасшедший дом. Они казались выходцами из шестнадцатого века. Современный век не понимал их, и они не понимали его.

А они хотели — суда.

Всюду подавали странные прошения, в которых рассказывалась сказочная история, и отовсюду прошения им возвращали и суда начинать не хотели.

Многим казались интересными эти самобытные, оригинальные люди в живописном национальном наряде, с заветной кожаной сумкой, с волшебной сказочной грамотой чуть ли не сказочного царя. И смотрели на них с любопытством, как на действующих лиц волшебной сказки или оперы, смотрели у них грамоту и отсылали от одной канцелярии к другой, от одного адвоката к другому.

Тогда они шли к царю, но дойти не удавалось, и ни с чем возвращались ходоки в родную свою Селитьбу.

На некоторое время мечты их о земле как бы замирали, но потом опять возрождались с новой силой. Стои-

ло кому-нибудь уверить их, что дело их правое, что землю высудить можно, — и опять собирался сход, галдел, составлял „приговор", выбирал ходоков.

И снова шли ходоки в далекий, не понимавший их город, ходили долго и опять ни с чем возвращались домой. Писали графу — граф жил за границей и ничего не отвечал им; немец-управляющий гнал их, не желая слушать. В последнее время составляли приговоры „об отобрании земли у графа" и вручали их земскому начальнику для представления высшему начальству, но земский грозил и ругался, брал себе приговоры и никому не отсылал их.

Так двадцать лет тянулась эта бесплодная история — бесконечная, старая, обыкновенная, всем надоевшая история мужичьей темноты, задавленности и бесправия.

И никто не мог их убедить, что уже бессилен теперь „добрый московский царь Алексей Михайлович" и бессильно его „могучее царское слово", и никто не мог доказать им, что бессильна теперь та правда, в которую одну они верят, которую ищут и не могут не искать, ибо глубоко заложена жажда ее в темных недрах их измученной молчаливой души.

II

В светлое майское утро, когда разлившаяся Волга и полная бурная Уса были особенно прекрасны, отражая в себе зеленые горы, когда радостное весеннее солнце насквозь пронизывало золотым своим светом прозрачный молочно-синий туман, поднимавшийся над ширью отрадно свежей, исполненной величавой неги, силы и спокойствия гигантской реки, в это дивное утро в чудной изумрудной долине, обрамленной полукругом разодетых в нежную зелень гор, на границе крестьянской и графской земли происходило что-то необыкновенное.

Тысячная толпа с женами и детьми, с целым табором телег, сох и лошадей расположилась в поле.

Вся Селитьба выехала сюда, и, кроме нее, пришли толпы из соседних деревень и маленького городка, который чуть виден был отсюда на горизонте сквозь редеющий золотой туман.

Весь этот народ галдел и копошился, как на ярмарке. Лошади из телег были выпряжены и паслись рядом. Оглобли подняты кверху. Почти у каждой телеги пылал

костер, на котором женщины готовили пищу, и эти бесчисленные огни придавали колоссальному табору нечто древне-дикое. Говор мужчин и женщин, писк и плач ребят, ржание лошадей — все это создавало настроение чего-то необычного. А вдоль межи на целую версту растянулись цепью триста или четыреста сох с запряженными в них лошадьми. И вся эта картина удивительно гармонировала с могучими горами, курганами, огромной сверкающей рекой и лесом, бесконечным лесом, что покрыл собою весь горный хребет, отразился в реке и ушел до края нежно-голубого неба.

Около межи, в центре всего табора, стояло два больших стола, накрытых скатертью.

На одном из них лежали предметы и церковная утварь для молебна.

На другом столе были приготовлены письменные принадлежности — перо, чернила, бумага — и лежала знаменитая кожаная сумка с „царской грамотой".

Маленький, старенький селитьбенский попик уже надел ризу и выправлял из-под нее жидкие седые волосы.

Толпа, стихая, тяжело и плотно сгрудилась к столам и обнажила головы. Впереди всех стояли старшины, сотские и несколько самых старых крестьян с длинными седыми бородами.

Начался молебен.

В тишине издалека доносился густым, чуть слышным струнным звуком шум леса и волн...

Накануне этого дня крестьяне села Селитьбы собрались на сходе и составили приговор о „полевом суде".

Решили они выехать в поле, созвать туда со всей округи окольных людей, пригласить графского управляющего, уведомить об этом исправника и земского начальника и в присутствии окольных людей, пред лицом начальства, показать управляющему „царскую грамоту", а затем потребовать, чтобы и он положил на стол рядом с ней те документы, по которым граф владеет землей. И тогда как решат окольные люди, так и будет: коли присудят землю графу — покориться и разойтись, а присудят мужикам — то запахать ее тут же, торжественно, всем селом: пусть тогда граф судится и сам доказывает свое право.

Но если при запашке графские люди и городская полиция будет препятствовать, то ни в каком случае не сопротивляться и не прибегать к насилию, а чтобы не оклеветал кто-нибудь крестьян в сопротивлении вла-

стям, то не брать с собой никому ни палки, ни прутика, ни даже кнута для лошади: пусть не смешивают их поступок с разбоем, насилием и захватом чужой собственности, — они хотят добиться правды, законности и вынуждены после двадцати лет бесплодных страданий обратиться к „полевому суду“.

Густо вздыхала толпа, и ровною певучей волной доносилась музыка соснового бора.

Вдали, с горы, со стороны графской усадьбы, спускался по дороге экипаж и несколько всадников.

Молебен кончился.

Толпа опять загудела. Выделялись отдельные восклицания:

— Исправник едет!

— А верхами-то — урядники!

— Управитель-то! Рядом с исправником.

— И земский с ними!

— И все — на графских лошадях! Ха-ха!

Послышался презрительный смех.

Скоро к табору подкатила щегольская коляска, запряженная парой вороных лошадей. Коляску сопровождал наряд конных урядников.

Мужики стихли и сняли шапки.

Из коляски медленно вышло начальство.

Пожилой исправник походил на червонного короля: борода его, длинная, волнистая, слегка разделенная внизу на две половины, почти уже седая, ниспадала на высокую грудь.

Земским начальником был мешковатый, неуклюжий господин медвежьего телосложения, рыжий, сутулый, со взглядом исподлобья, с тупой жестокостью и злой ограниченностью в выражении угрюмого, грубого лица. Даже фуражка с красным околышем сидела на его круглой стриженой голове как-то слишком определенно и бесповоротно, а широкий плоский затылок внушал безотчетный страх.

За ними из коляски выпрыгнул управляющий — немец с черной бородой, в соломенной шляпе и парусиновом костюме. Он смотрел на толпу брезгливо, не скрывая своего презрения.

Старшина и один из стариков поднесли исправнику „хлеб-соль“. Над толпой невнятно звучали отрывочные фразы короткой речи, которую сказал старшина:

— ...Хлебом живем — хлеб и подносим... не обессудь... не за худом собрались... изволь выслушать...

Исправник движением руки велел положить хлеб обратно на стол и сам подошел к столу вместе с земским, управляющим и урядниками. Толпа раздалась, приняла их в себя и затем опять сомкнулась вокруг них густым широким кольцом.

Исправник быстрым взглядом окинул море голов, табор, костры и сохи и спросил мягким, хриповатым басом:

— В чем дело? Зачем собрались?

Вся толпа заговорила разом. Даже бабы что-то кричали, волнуясь и поднимая руки к небу.

Исправник замахал рукой:

— Тише! Молчите! Говори кто-нибудь один... выборные!

Выступили вперед опять старшина, несколько стариков и молодых.

— Мы — выборные!

— Пусть кто-нибудь один!

Раздались голоса из толпы:

— Епанешников, говори! Или ты, Башаев!

Стал говорить Башаев, молодой, лет тридцати, живой, энергичный мужик небольшого роста, с курчавой светлой бородкой.

— Ваше благородие! — взволнованно, смело, звонким голосом крикнул он. — Мы не воровать приехали! Мы приехали свою землю пахать! Свою! Будьте свидетели! Вот здесь налицо господин управляющий, а вот окольные, посторонние люди — мы сами их призвали! Пусть нас здесь рассудят, будем в поле судиться, как наши прадеды судились! Ваше благородие! Посмотрите: вот на этом столе лежит царская грамота, царская! Дарственная! От самого царя Алексея Михайловича. Наша земля! Почему же ей владеет граф? Пускай господин управляющий положит на другой стол графскую грамоту! Може, его грамота сильнее — тогда мы уедем, там уже окольные люди будут судить! Мы требуем, нам желательно, чтобы показал, положил... Мы двадцать лет... Пусть положит!

Звонкий голос его разносился по всему полю.

— Пусть положит! — густо откликнулась толпа.

Исправник затряс бородой, и толпа, погалдев, стихла. Вперед выступил управляющий, желая что-то говорить.

Он говорил тихо, спокойным голосом, и его речь плохо была слышна в задних рядах.

— Я не понимайт... — доносились ломаные слова. — Какой такой полевой суд?.. Зачем суд? Какое имеет право? Я не обязан... ничего не покажу...

Толпа заглушила его враждебным рычаньем:

— Ага! не показывает, немчура! Харя!

— Видно, и показать-то нечего!

— Слышали? Не показывает!

— Не показывает!

Толпа гудела.

Исправник замахал платком.

Когда гул затих, он выпрямился, тряхнул волнистой бородой и закричал, напрягая грудь:

— Предупреждаю!.. Вы затеваете противозаконное! Никакого полевого суда нет и быть не должно! Убеждаю вас разойтись по домам!

— Не разойдемся! — загремело кругом.

Начался всеобщий говор. Толпа начинала возбуждаться, жестикулировать... Мелькали руки, бороды, оживленные, негодующие физиономии. Тысяча голосов на разные лады кричала:

— Мы требуем! Пусть прочитают! Двадцать лет!.. Документ! Управитель! Правда!.. Закон!..

Земский начальник давно уже весь трясся от злости. Бледный, с потемневшими горячими глазами, он протолкался вперед и что-то кричал рыкающим голосом, грозя кому-то кулаком.

Рев толпы стал затихать.

— Запрещаю!.. — услышала она грозный окрик. — Уйдите!.. Бунт!

При этом слове все сразу стихло. Словно разом вспомнили все уговор не давать повода к обвинению их в насилии. Толпа словно подавила в себе что-то. Только где-то позади опущенных долу голов вынырнула черная хохлатая голова с дерзкими острыми глазами, и среди внезапной тишины прозвучал насмешливый спокойный голос:

— Эй, ваше благородие! Ваше дело — только запрещать! Все вы закуплены графом! Мы ляжем костьми, а не уйдем! Так и знайте!

— Не уйдем! — опять загудела толпа. — Бунтовать мы не станем: мы по закону! Кабы захотели, давно бы... как пыль с лубка стряхнули!

Толпа оскорбленно рычала.

— Господа окольные люди! — нараспев зазвенел голос Башаева.

Он показался на столе, видный всем, и, протягивая народу развернутую хартию, не то кричал, не то пел:

— О-коль-ны-е лю-ди-и! Видели вы нашу царскую грамоту? Вот она-а! Глядите! Во-от! Видели?

— Видели! — ухнула тысяча голосов.

— А управитель... своей графской грамоты... не показа-ал?

— Не показал! — прокатилось по всему полю.

— Стало быть — чья земля?

— Ваша! — в один голос грянули окольные люди.

— А коли на-ша-а, — торжествующе продолжал Башаев, все повышая и повышая свой звонкий голос и возбуждением своим заражая толпу, — коли она, матушка, на-аша, то как же повелите вы сделать нам, господа окольные люди? Па-ахать?

— Пашите! — загрохотало поле.

Исправник, земский и управляющий устремились в коляску. Старшина помогал им.

— Я еду к губернатору, — взволнованно сказал ему исправник, — наблюдайте по крайней мере, чтобы не вышло столкновения. Я дал урядникам инструкции — не раздражать!..

— Слушаю, ваше благородие! Прощенья просим!

Коляска покатилась.

А четыреста пахарей уже приступили к делу. И в первой сохе пошел девяностолетний Епанешников, красивый старик, подносивший вместе со старшиной хлеб-соль исправнику, бессменный ходок по делам села Селитьбы. Высокий, внушительный, с длинной седой бородой, в лаптях и длинном кафтане, он встал на меже, выпрямился, как-то вдруг помолодел, ожил, словно загорелся весь и, махнув шапкой остальным, глухо крикнул:

— С богом, пашите!..

Потом широко перекрестился, вытер рукавом слезы и взялся за соху.

— Господи, благослови! — шептали его шамкающие губы.

Урядник встал на борозде, загораживая ему дорогу.

Тогда Епанешников объехал его, как объезжают пень, и повел борозду дальше, где опять молча стоял полицейский чин.

И другим пахарям другие урядники тоже молча ста-

новились поперек борозды, и они, как и Епанешников, объезжали их, и в руках у всех не было кнутьев.

И стало покрываться обширное поле кривыми, вычурными бороздами, похожими на какие-то никому не ведомые письмена, в которых словно скрыт был глубокий смысл и ключ к пониманию души народа.

Гигантскими буквами начертали они на родимой земле свою правду, свой крик о справедливости. И казалось им, что этот крик пронесется могучим набатом и разбудит Россию.

Три дня и три ночи, всем табором и не отпуская от себя окольных людей, жили они в поле, дожидаясь губернатора.

На четвертый день он явился к ним — все с тем же исправником, с земским начальником, окруженный конной стражей, с возом свежих розог, нарезанных в графском лесу.

Грозным, взбешенным, неистовым предстал губернатор. Высокий он был, здоровый, женоподобный, с бритым румяным лицом и стриженой седой головой.

И, завидя его, старшина и Епанешников поднесли хлеб-соль.

Но ударил он по хлебу и рассыпал соль.

Не говорил — визжал губернатор... Клейкая слюна брызгала изо рта его на золотое шитье мундира.

Начал он речь свою словами: „бездельники“, „разбойники“, а кончил криком: „Будете наказаны!“

И велел схватить „зачинщиков“.

Было их схвачено сорок три, самых старых, самых почтенных, самых уважаемых, лучших людей Селитьбы.

Тут же, на захваченной земле, положили их.

Лежали они на родной земле, окруженные густым кольцом губернаторской стражи, и слышно было, как свистели в воздухе длинные прутья да раздавались глухие, сдержанные, словно подземные, стоны.

Толпа безмолвно и неподвижно стояла здесь же, и слезы текли по лицам ее.

Земский начальник радовался и наслаждался. Под свист розог неумолимо, непреклонно и ненасытно звучал его грубый, рыкающий голос:

— Крепче! Кр-репче!

По сто ударов получили они.

На мужицкие же телеги замертво положили их,

окровавленных, и повезли, как везут с бойни освежеванное мясо.

Кровавая лужа осталась на месте казни.

И когда везли их медленным зловещим обозом в село, то кровь текла сквозь окровавленные телеги и сочилась на землю большими тяжелыми каплями, и кровавый путь шел к селу от мрачного места „полевого суда".

По сто ударов получили они.

III

Целый год они сидели в тюрьме в ожидании суда, того настоящего суда, которого так долго добивались. Крепкие натуры вынесли жестокую пытку.

Через год их судили в том самом маленьком городке, который в дымке волжского тумана был виден из Селитьбы, откуда призвали они окольных людей.

В маленьком убогом зале уездного суда они сидели, все сорок три, занимая скамьи, приготовленные в обычное время для публики, и казалось, что не их судят, а они пришли судить.

Лица их не были печальными, но были исполнены торжества и уверенности в своей правоте.

Судили их тупые „добросовестные" чинуши, равнодушные „порядочные" люди, старались отнестись к ним „справедливо" и — осудили.

Когда после этого вели их к Волге, на пристань, чтоб отправить в губернский город и снова посадить в тюрьму, был опять сияющий весенний день.

Двигалась вслед за ними огромная толпа народа: вся Селитьба была тут, и вся округа, и все жители городка, жадного до зрелищ.

А они шли, понурив головы, ни на кого не глядя, и было что-то недоумевающее в их согбенных спинах и тяжелых движениях. Казалось, что они все еще не верят в подлинность произведенного над ними суда и уносят в своей разочарованной душе неистребимые древние фантазии о какой-то божеской и царской правде.

Пароход медленно отходил. А они стояли все в ряд, у борта парохода, бледные, с крепко стиснутыми челюстями, судорожно схватившись напряженно вытянутыми руками за перила.

Стояли неподвижно, словно окаменелые, впиваясь

остановившимися глазами в родную толпу, в родные горы. И в этой каменной неподвижности их чувствовалось тяжкое напряжение огромной силы, и каменными казались крупные лица их, и железными казались вцепившиеся скрюченные пальцы.

Долго уходил пароход, уплывая все быстрее и дальше, становясь все меньше.

Долго стояла толпа на берегу и все смотрела в блестящую речную даль, где в сиянии весеннего дня черной точкой потонул пароход.

Зеленые кудрявые горы целиком отражаются в зеркальной глубине, чуть виден вдали плоский луговой берег, да Молодецкий курган — богатырская голова с мощным выражением каменного терпения и таинственной печали на морщинистом тысячелетнем лице — угрюмо смотрит на окружающую ширь, и хмурится, и вечно думает свои старые разбойничьи думы.

1905



ЛЕС РАЗГОРАЛСЯ

I

На луговой стороне Волги стоит голая каменистая гора, похожая на опрокинутый вверх дном котел. Зовут ее курганом.

Курган странно и неожиданно возвышается на плоском песчаном берегу. Передняя часть его, обращенная к реке, безжизненно-каменная, а затылок покрыт зеленой березовой гривой.

Позади кургана гладкая степь до самого горизонта.

У подошвы горы приютилось маленькое село с белой церковкой; оно называется Буяном.

Весной Волга подходит вплоть к селу и кургану, заливает кругом все луга и перелески, и тогда стоит курган среди широкой водной равнины. Через Волгу, прямо против кургана, виднеются крутые зеленые горы, заросшие кудрявым лесом, окаймленные внизу, около воды, сверкающей белой полосой: это каменоломни обнажили их девственные известковые груди.

И стоят горы, словно девичий хоровод, зеленой гирляндой, белогрудые, кудрявые, отраженные в реке, как в зеркале, и молча улыбаются кургану, но курган угрюм и печален: голый, каменный, он словно сжал и затаил в твердом сердце своем огромное, глубокое горе.

Из-за спины его глядит серое, голодное село с маленькой беленькой церковью.

Бедно живет Буян. Земли у буяновцев мало, и родит она плохо: они умерли бы с голоду, если бы не кормилица-Волга, если бы не благодатные горы: весной у кургана бывает хлебная пристань, и буяновцы грузят, а летом они идут в горы, в каменоломни, и ломают камни.

Тяжел и суров их труд: каждый год во время ломки

камня погибает их несколько человек, раздавленных каменной глыбой, и каждый день кто-нибудь возвращается с работы окровавленный. Оттого и характеры у буяновцев дерзкие, мрачные, оттого и пропивают они осенью почти весь свой заработок.

Вдали с кургана виден большой, красивый город. Днем он блестит на солнце золотыми головами церквей, а ночью горит красными огнями, словно тысячью пламенных глаз. И кажется, что многоглавый исполинский зверь днем и ночью смотрит на приволжские села, внушает им что-то и властно притягивает к себе своим огнем и блеском, как бы простирая к ним длинные лучистые нити, по которым льется ток его жизни, отзываются удары его сердца. Он не только вытягивает из этих сел жизненные силы, но и сам дает в обмен что-то горькое и острое, блестящее и опасное, то, что мучит, но зажигает, что становится огненным оружием против него же. Можно подумать, что в дымящихся зданиях каменоломен, мельниц и кузниц, разбросанных по берегу у подножия гор, в зданиях, где мучатся порабощенные села и деревни, — сотни мускулистых рук уже куют богатырский меч освобождения.

А кругом, по обоим берегам громадной реки, день и ночь горят заповедные, вековые леса. Облака серого дыма вместе с запахом гари, разрежаясь, плывут над горами от горизонта к Волге, и над нею стоит серый, дымный туман.

Ночью по всему небосклону — то за лесистыми горами, то в далекой степи — пылает гигантское зарево, освещающее кровавым светом высокое ночное небо. Едва потушат пожар в одном месте, как огонь появляется в другом. Но крестьяне как бы не замечают лесного пожара, не любят говорить о нем. Лица их серьезны, уклончивая речь коротка и осторожна. Молчат крестьяне.

Горит огромное богатство, дивная красота, первобытный угол мира. Быть может, скоро пламя охватит милые кудрявые горы, обоймет каждую стройную сосенку, и запылает вся страна.

Тревожным настроением затишья перед грозой охвачено все кругом: и горы, и Волга, и старый печальный курган.

Тревожнее блестит вдали каменный город, окутанный облаком дыма и пыли, напряженнее смотрит он в темную весеннюю ночь своими кровавыми глазами на

тихие приволжские села, озадаченный тем, что со всех сторон приближается пламя.

Все молчит; молчит напряженно, тревожно, торжественно...

Лес разгорается...

II

Сельский учитель села Буяна, Дивногорский, сидел утром перед раскрытым окном своей маленькой квартирки, пил чай и поджидал к себе в гости мужика Мирона, обычного и почти единственного своего посетителя.

Дивногорский, длинный, нескладный юноша с первым пухом на румяных щеках, застенчивый, робкий и тупой на вид, был здесь учителем недавно и уже тяготился своим положением. Исключенный за малоуспешность из духовного училища, он долго шатался без дела и наконец, чтобы не идти в солдаты, пристроился в учителя. Но ему претила возня с ребятишками, дерзкими и озорными, как и все на селе; ребятишки и мужики невзлюбили его, и он стал бояться их.

Юноша не ожидал, чтобы мужики могли быть такими, какими он их нашел, ему казалось, что они умнее его и желают дать это почувствовать: при всяком разговоре предлагают ему замысловатые вопросы и злорадно любуются его невежеством, ненаходчивостью и мальчишеским смущением.

А невежество свое он впервые почувствовал только здесь. Прежние учителя приучили здешних мужиков к воскресным лекциям, любительским спектаклям, запрещенным книжкам и всяким умственным разговорам. Обо всем этом Дивногорский не имел понятия, как будто жизнь его до сих пор проходила где-то в пустыне. И ему хотелось как можно скорее сложить с плеч непосильное бремя учительства.

„Уйду в дьяконы", — думал он, помешивая ложечкой простывший чай. Широкие белые брови юноши были низко опущены над маленькими серыми глазами, смотревшими угрюмо и грустно, а пухлые, сочные губы, чуть-чуть оттененные золотистым пушком, складывались в капризную детскую улыбку. Мысль о дьяконстве он уже однажды высказал сторожу, и сторож иронически одобрил ее.

Хотелось ему об этом поговорить еще с Мироном, молодым грамотным парнем, который за последнее время что-то часто повадился к нему приходить. В первый раз Мирон пришел недели две назад, и между ними произошел следующий разговор:

— Здравствуйте.

— Здравствуй! Чего тебе?

— А до вашей милости, Иван Петрович, с докукой.

— С какой?

— А вот вы люди ученые, всякие умные книги читаете.

— Ну так что же?

— А мы мужики-дураки, ничего не знаем...

— Ну?

Мирон осклабился.

— Нет ли у вас какой книжечки почитать?

Дивногорский не ожидал такого вопроса и запнулся.

— Есть у меня книги, да ведь они... того...

— Чего?

— Не разрешены для вас, для мужиков...

Мирон словно ждал такого ответа.

— Как это не разрешены? Для всех разрешены, а для нас — нет? Отчего? Почему такое?

На учителя посыпался дождь щекотливых вопросов. Юноша растерялся. Вопросы Мирона казались заранее обдуманными, и учитель дал ему книгу из „неразрешенных".

Но Мирон не отвязался. Через два дня он опять пришел — возвратить прочитанную книгу — и опять завел разговор в форме вопросов, которыми он как бы вытягивал желаемые ответы. Дивногорскому было не по себе.

— А вот, — завел Мирон, уже развязно сидя на стуле перед стоявшим учителем, — есть ищо одна книга по этому самому, как бы сказать, вопросу...

И он, смешно перевирая, с трудом выговорил какое-то иностранное слово.

— Вы, чай, знаете ее? Читали?

— Нет, не читал... — сконфузившись, произнес юноша.

— А я читал! — неожиданно заявил Мирон и медленно вытащил из кармана истрепанную книгу. — Не желаете ли почитать? Примечательная книга.

С тех пор они стали обмениваться книгами, а визиты Мирона стали почти ежедневными.

„Мужик, — с досадой думал про него Дивногорский. — Какой он мужик — он студент! Нахватался где-то верхушек, брошюр, книг, обо всем толкует, обо всем знает, выписывает какую-то газету... что я ему дался? Зачем ходит?“

И у него к Мирону зародилось двоякое чувство: завистливой вражды и невольного уважения. Ему хотелось сравняться с Мироном в развитости и выйти из того унизительного положения ученика, в котором он нечаянно очутился.

Он смотрел в окно и все хмурился. Весеннее утро было тихое, отрадное. На широкую сельскую площадь, заросшую зеленой травой, падала горбатая тень кургана. Волга тихо дрожала на солнце. У берега чернела длинная купеческая баржа, которую крючники-буяновцы уже более недели с перерывами нагружали чужим хлебом, а теперь почему-то забастовали, и кажется, что забастовкой руководил Мирон.

За дверью послышались тяжелые, быстрые шаги; учитель обернулся. На пороге стоял улыбающийся Мирон. Он вошел, и Дивногорскому показалось, что все кругом стало яснее, веселее и проще, а сам Дивногорский почувствовал себя более умным и более нужным для людей, и все это произошло, должно быть, от широкой улыбки Мирона, от его сияющих серых глаз и всей крепкой, бодрой фигуры.

— Здравствуйте, Иван Петрович! Чай да кофей, — звучным тенором громко заговорил Мирон.

— Милости прошу! — улыбнулся и Дивногорский. — Садись за компанию.

— Милости прошу к нашему грошу со своим пятаком! — досказал Мирон, садясь, и засмеялся рассыпчатым смехом.

Он в самом деле походил на студента из крестьян: это был крепыш лет двадцати семи, блондин, с маленькими белокурыми усами, с красивым загорелым лицом. Серые глаза его искрились умом, хитростью и весельем. Такие лица бывают у бедняков-студентов и у некоторых рабочих. Волосы он стриг ежиком, одевался в синюю рабочую блузу и высокие сапоги. Но, походя на студента, он все-таки оставался мужиком: он был крепкий, ядреный, сочный, как морковь, только что вытащенная из влажной, теплой земли. Он весь был насыщен запахом солнца и поля.

Мирон придвинул к себе стул, сел к самовару и, кивнув на открытое окно, спросил:

— Любуетесь?

— А чем тут любоваться? — угрюмо ответил учитель.

— Как чем? Лес горит! Казенный лес! Вы сходите на курган да оттудова поглядите: так и полыщет! Дымище надо всей Волгой столбом стоит! Страсть! Вот, брат Иван Петрович, до чего дошло.

— Отчего же он горит? — пробурчал учитель, хмурясь и прихлебывая чай.

Мирон слегка отодвинулся от стола, прочно уселся на стуле, как раз против учителя, расставил короткие ноги в тяжелых сапогах, уперся руками в колени, глубокомысленно нахмурился и воскликнул своим звучным грудным тенором:

— Как отчего? Да мужики же поджигают! Неужто не знаете? Стражники давно уж перестали тушить — все равно никакого толку не выходит, вроде того, как бы на смех: в одном конце зальют, а хвать — с другого занялось. Рази можно что поделать супротив народа? Все сгорит!

— Неужели? — изумился учитель, близко нагнувшись к Мирону и глядя ему в лицо.

А светло-серые глаза Мирона сияли каким-то особенным, привлекательным огоньком. Он пришел точно до краев переполненный какими-то большими чувствами.

— Весь народ, — продолжал Мирон самоуверенно, — зашевелился! На том берегу что делается — слышали? Васильевцы забастовали ренду платить, говорят: не дадим одиннадцать рублей за десятину, хотим пять. А в других которых деревнях и того не платят: давайте, говорят, нам землю даром, потому что наша она — крестьянская!

Мирон энергично тряхнул головой, стукнул себя по колену и воскликнул, сияя глазами:

— И дали даром! Ого!

Он весь дышал злорадным торжеством. Широкая синяя блуза облегала его плечи, и заметно было, как высокая плотная грудь Мирона глубоко и свободно дышала.

Учитель, облокотясь на подоконник и вытянув свои длинные, худые ноги в коротких брюках, молча смотрел на него, слушал, заражался его самоуверенностью и ощущал желание так же волноваться, иметь такую же

объемистую грудь, как у Мирона, и таким же звучным грудным голосом говорить о народе.

— Димакраты! — неожиданно воскликнул Мирон. — Они говорят этак, иные прочие господа — так! — Он повернул растопыренную ладонь сначала в одну, а потом в другую сторону. — И все промеж собой спор ведут! — Он развел руками, пожал плечами и глубокомысленно нахмурился. — Не нам их разбирать! Мы, мужики, знаем одно: землю! Там вы как хотите, а нам перво-наперво землю подайте! Нарежьте нам землю, а потом мы уже поглядим и сами разберем всю нашу нелягальную литературу.

Мирон чуть было не подавился двумя последними словами, но выпалил их самоуверенно.

— А не дадите — сами возьмем! — добавил он гордо.

Когда он заговорил о земле, лицо его преобразилось, приняло одухотворенное выражение, глаза сверкали, грудной голос тепло вибрировал. И чувствовалась в нем могучая жажда земли, нежная любовь к ней. Он словно сжал и затаил в сердце что-то огромное и тяжелое, и только слово „земля“ могло всколыхнуть затаенное.

Сильным человеком показался он в эту минуту Дивногорскому.

— Да будет ли все это когда-нибудь? — жалобно спросил учитель. — Победит ли народ?

Мирон словно загорелся весь.

— Будет! — с необыкновенной силой убеждения ответил он. — Победит! Восторжествует правда!

Глубоко взволнованный, он замолчал и, глядя на собеседника блестящими глазами, полными слез, почти прошептал трепещущим от сильного чувства голосом:

— Настал великий час!

Оба торжественно замолчали. Сердце Дивногорского трепетало. Словно волна прокатилась и захватила их или огненная искра, родившись в душе одного, проникла в сердце другого и обожгла . . .

Слезы из глаз мужика сверкнули и высохли, голос опять зазвучал ровно и твердо, но долго еще после этой минуты сердце юноши продолжало гореть и трепетно биться.

Мирон придвинулся к нему ближе, наклонился к самому лицу и заговорил тихим, таинственным голосом.

— В Ключах мужики землю захватили у помещи-

ков. Выехали в поле и давай пахать... Конечно, скачет стражник верхом. „Что вы делаете?“ А ему говорят: „Не лезь! Рази не видишь? Весь мир здесь“.

Голос Мирона опять затрепетал и зазвенел как струна, лицо словно осветилось изнутри, глаза сияли.

— Весь мир! — повторил он, вставая и наклоняясь к другу; в мерцающих глазах Мирона были восторг и любовь, детская вера и сила внушения. — Мир!..

Он хотел было разъяснить смысл этого слова учителю, но только махнул рукой и стал продолжать:

— Стражник поглядел, видит — народу много, что с ним поделаешь, с народом-то, подумал и говорит: „Братцы, я и сам знаю, что ничего против вас не могу, да ведь — служба, взыщут с меня! Вон управляющий на меня в окошечко глядит. Пожалейте, притворитесь, будто бы я вас прогнал, так — для близиру, а когда уеду — опять пашите!“

Ну, мужики пожалели его, повернули назад, стражник уехал, а они воротились. Управитель все это видел и присылает сказать им: „Хочу, дескать, добром поговорить с вами, соберитесь к моему крыльцу“. Мужики послушались, пришли. Вышел на крыльцо старичишко, Мосеем его зовут, я его знаю: хитрый, из мужиков он, и вся мужицкая душа наизусть ему известна. Поклонился на обе стороны всему народу, сделал харю ласковую и говорит: „Православные! Не я хозяин земли, мне все равно, а только я добра вам хочу, потому как и сам мужик. Ну, хорошо, запашете вы землю... ведь должны вы знать, что даром это вам не пройдет: приедут казаки, начальство, что тут хорошего? А не лучше ли, говорит, сделать так: я вам земличку-то вспашу и посею на ней, а время придет — уберу, обмолочу и в амбар ссыплю. А вы осенью придете на все готовенькое и возьмете? Ась?“

Мирон, изображая управляющего, заговорил смешным старческим голосом и состроил такую комическую рожу, что учитель не выдержал и расхохотался.

— Ах, чертова ноздря! — воскликнул он, заливаясь тонким бабьим смехом, и брыкнул ногами. — Ну, что же мужики-то?

— Мужики? — ухарски переспросил Мирон. — Мужики задумались, помолчали маленько, а опосля того говорят ему: „Верно!“

И опять он изобразил из себя мужиков, которые задумались над ехидным предложением старичишки, не-

уклюжие мужичьи фигуры, простодушные рожи и легковерие на этих рожах.

— Хи-хи-хи! — взвизгивал развеселившийся учитель. — Чудак ты, брат Мирон! Как это все у тебя ловко выходит! И откуда ты все знаешь? Я вот, например, про здешнюю забастовку — и то ничего не знаю.

— А что же, вам рази надо про нее знать? — серьезно спросил Мирон.

— Очень любопытно! — вспыхнув, признался юноша.

— Ну, так я расскажу вам . . .

Мирон опять отодвинулся от учителя, облокотился на спинку стула, положил ногу на ногу и стал рассказывать.

— Составилась нас артель, — начал он деловым, обстоятельным тоном, — в двести пятьдесят человек. Прежде-то всегда по четыре рубля с тысячи грузили, а теперича захотели наши грузчики свою цену поставить. Отрядили меня съездить в город — цены узнать. Поехал я. Вижу, в городе все бастуют, грузчики — тоже, и мы забастовали на десяти. Тогда купец бросился в степные деревни и набрал там пока что человек тридцать по старой цене. Мы им сказали: „Что вам за охота — по четыре, когда мы хотим не только для себя, но и для вас десяти достигнуть. Ведь вас тридцать, а нас двести пятьдесят, вашей смене раз в неделю придется грузить. Много ли заработаете? Проедите больше!" Ну, они сейчас же перешли на нашу цену и стали вместе с нами бастовать. Он — другую артель, и другая к нам пристала. Делать нечего — согласился. Поработали немного, опять вчерась забастовали: просим двадцать.

— Ну, это, пожалуй, не того, нехорошо, — возразил учитель.

— Нехорошо-о? — иронически протянул Мирон и вдруг побледнел, на лице его выразилась ненависть, тонкие ноздри расширились, глаза сверкнули недобрым огнем, и весь он, энергичный и дикий, напомнил какого-то красивого, опасного зверя. — Нет, это хорошо! — крикнул он. — Купец-то ведь скулил: „Что вы со мною делаете? Это раздеванье нашего брата! Я, говорит, в город поеду, губернатору донесу, казаков сюда потребую, усмирю вас!" А я и говорю ему: „Ваше степенство! Сколько лет мы чуть не даром на вас работали, когда была ваша сила, а ведь не ездили к губернато-

ру усмирять ваш аппетит! Отчего же вы-то, говорю, теперь о казаках мечтаете? Что у нас здесь? Беспорядки али бунт? Ничего, мол, такого нет! Напротив того — у нас, ваше степенство, теперича оч-чень даже тихо! А ежели вам кажется, что от нашей забастовки ваша милость чахнет и хиреет, то, мол, у вашего степенства еще многонько осталось". Подошел и пальцем ему в толстое брюхо ткнул.

Мирон зло засмеялся и начал ходить по комнате. Учитель сконфуженно следил за ним глазами и не находил возражений.

Успокоившись, Мирон опять заговорил:

— У нас ведь на самом деле теперича во всем селе тишина: ни драк, ни песен. Винную лавку закрыли приговором, всем селом согласились так, чтобы не пить, — не такое время. Мужик теперь должен быть постоянно трезвый, потому что пьяный он не вытерпит, разгорячится и выболтает что-нибудь секретное . . . У нас только один раз и отпирали казенку, когда намедни исправник приезжал и с похмелья был . . .

Мирон стоял посреди комнаты, широко расставив ноги, и, потрясая поднятой кверху рукой, ораторствовал перед учителем:

— Протрезвились мужики! Проспались! Призадумались. Помяните мое слово: будут теперь дела у нас! . .

И, как бы вспомнив что-то, Мирон развеселился и прервал самого себя:

— А поп-то наш! . . — весело вскрикнул он. — Слышали, как он проповедь сказал про нашу забастовку?

— Нет, я не был, — сказал учитель.

— Не были? Скандал вышел в церкви! Пошли мы с отцом моим певчих послушать в воскресенье к обедне . . . Ладно. Вот поп вышел проповедовать. „Горе вам, говорит, братие. Ефто все внешние и внутренние враги устраивают у вас ваши окаянные забастовки. Все, говорит, будьте довольны тем, что у вас есть, а лишнее — ближнему. А кто ближний? Начальники". Тут мой отец не вытерпел, протолкался к нему поближе да как заорет ему на всю церкву, проповедь перебил: „Батюшка! У нас вот земли нехватка, а у помещиков много ее. Что же они с нами не поделятся?"

Голос Мирона опять дрогнул уже знакомой учителю струнной дрожью, лицо преобразилось, на глазах сверкнули слезы. И опять волна сильного чувства охватила обоих, а жгучая искра, рожденная одним сердцем, вновь

зажгла другое. Слово „земля“ гремело в душе Мирона, оно потрясало ее, жалило в нем сердце.

— Остановился поп и отвечает строго: „А это, говорит, кому сколько дадено свыше; овому талант, овому два“. Тут вся церква так и загудела: „А! хорошо попу говорить! Он сыт!“ Отец мой подступил к нему совсем близко, головой мотает, длинную бороду вперед выставил, весь дрожит со зла, лысина светится, кафтан распахнул, уперся в боки да и говорит ему: „Эх ты, поп, поп ты и есть! Пустозвон ты, пустосвят! Все-то ты врешь, да еще и Писания не знаешь! Понимаешь ли ты, что значит талант, в каком смысле, и к чему про талант в Писании сказано?“ — и пошел, и пошел чесать... А народ галдит, никто никого не слушает, скандал! Поп — тягу в алтарь, а народ весь из церкви разошелся с руганью, с гвалтом, со злостью...

Мирон выпрямился и воскликнул, смеясь:

— Вот так обедня была!

Он жестикулировал перед учителем, в лицах изображая попа, своего отца и мужиков, а учитель, не спуская с него глаз и съежившись на стуле, жадно слушал его рассказы. Он думал о попе и о том, что такое талант... И талант казался ему то могучей волной любви одного человека к другим людям, то жгучей искрой, рожденной сильным сердцем и зажигающей слабые души. В голове его смутно мелькала мысль, что, пожалуй, не стоит уже уходить в дьяконы, потому что тогда Мирон, наверно, лишит его дружбы, прекратит свои интересные посещения, и что надо как-нибудь так жить, чтобы возвыситься во мнении Мирона. Но как же? Что нужно делать?

— Приходи ужо на курган! — как бы отвечая на его мысли, сказал Мирон и взялся за картуз.

— А что? — спросил вдруг учитель.

— Будет собрание трезвенников, всего нашего кружка сознательных мужиков.

— Приду, непременно приду! — радостно забормотал учитель, вставая во весь свой длинный рост и возбужденно махая руками. — Я теперь — вот что: я прямо — ваш! Да, поверь мне, Мирон, милый ты человек, ей-богу!.. Примите меня, пожалуйста, в этот ваш мужицкий кружок! А? Может, и я пригожусь вам на что-нибудь? Ну, хоть писарем, что ли...

На глазах юноши сверкнули слезы.

Мирон снисходительно засмеялся.

— Ладно, ладно! — сказал он, протягивая учителю сильную загорелую лапу. — Там видно будет. Парень ты хороший... только не ходи в дьяконы: не к лицу это учителю!

— Ни за что! — вскричал учитель. — Какие там, к черту, дьяконы! Я с вами!..

— Ну, то-то...

— Это я так, сдуру болтал, а теперь у меня голова просветлела, ей-богу, голубчик Мирон!

И, приняв степенный вид, юноша деловито спросил:

— Насчет чего будет собрание?

— Михайлу Васильевича судить будем! — спокойно ответил Мирон.

— Судить? Агронома? — изумился Дивногорский. — Это за что же?

— А там увидишь... Недовольны им мужики. Начал он назад пятиться, как рак... А мужики на уме держат много... Вот теперь леса горят, — широко махнул он рукой, — а придет осень, усадьбы запылают! Да!

Глаза Мирона сверкнули ненавистью.

Озадаченный учитель немножко попятился от мужика.

— У меня в аккурат есть книжечка для вас по этому самому, как бы сказать, вопросу, — продолжал с прежним спокойствием Мирон и полез в карман штанов; он вытащил оттуда маленькую, сложенную вчетверо книжечку и молча сунул ее учителю.

— Это что? — спросил тот, с любопытством перелистывая тонкую бумагу.

Тогда Мирон оглянулся по сторонам, близко наклонился к плечу учителя и, понижая голос почти до шепота, сказал сильно, многозначительно и любовно:

— Не-ля-га-шка.

Учитель вздрогнул и застыл на месте с „нелегашкой" в руке. Рот его раскрылся, сердце горело.

— Ничего, ничего, — успокаивал его Мирон, уходя, — займись.

Глаза их встретились, и оба они почувствовали, что теперь уже заключен между ними прочный, важный союз, как будто за время разговора души их наконец соприкоснулись и одна из них, горящая, победила другую — темную.

III

На затылке кургана, там, где по отлогому зеленому склону росла кудрявая роща, собралось на поляне человек двадцать — тридцать мужиков. Немного пониже горной дороги, в тени деревьев, на горбе кургана, пестрели они своими разноцветными рубахами.

Тут были пожилые кудластые головы, густые черные и рыжие бороды, лапти, сапоги, босые ноги. Молодые парни были в блузах и брюках и носили длинные волосы, закинутые назад.

В центре всей группы, в позах противников, сидели друг против друга Мирон и земский агроном Михайло Васильевич, давнишний друг и руководитель буяновцев. Рядом с Мироном сидел учитель.

Агроном и Мирон спорили.

Все слушали.

Михайло Васильевич был худенький, маленький человечек в пиджаке, косоворотке и высоких сапогах. Бледное нервное лицо его с подстриженной остренькой бородкой, в которой уже пробивалась кое-где седина, казалось измученным.

Он полулежал на траве, нервно комкал и кусал сорванный стебель и внимательно, враждебно слушал. Говорил Мирон.

— Пятнадцать лет! — звучал его грудной голос. — Пятнадцать лет ты шептал нам каждому поодиночке, а которым чуть ли не сызмальства: „поднимайтесь", а мы спали, ходили впотьмах, боялись, как маленькие ребятишки. Мы тогда, правду сказать, мало что у тебя понимали. А все-таки мы думали: ежели придет это время, то уже не кто, как он, пойдет у нас впереди.

Мирон сидел в центре всей толпы, поджав под себя ноги, нервно возясь на месте и сдвинув картуз на затылок. Лицо его было серьезно, брови нахмурены, плотная грудь глубоко дышала — что-то сильное хотел он сказать и не находил подходящих слов. Он перевел дух, отер пот со лба и хмуро задумался. Учитель подобострастно смотрел ему в лицо. Толпа молчала.

По густым сочным ветвям берез, лип и вязов скользил теплый весенний ветерок, и листья тихо, задумчиво шелестели. Сквозь темно-зеленую листву мелкими бликами пробивалось золото солнечного света и падало пятнами на густой зеленый ковер травы. Солнце садилось за потемневшие горы. С кургана раскрывался гро-

мадный горизонт: была видна Волга, вся гряда Жигулевских гор и безграничная ровная степь. Темные горы разостлали по Волге свои черные, как тучи, тени, а вдали, в матовой дымке вечернего тумана, гасли на солнце золотые главы церквей большого каменного города. С грустью задумалась Волга, все мрачнее и мрачнее становились тени.

Над лесом стоял дым.

Нежною, печальною грезой, восточной сказкой веяло кругом.

Вся страна была как мучительно грустная песня о скованной силе, о задавленном гневе . . .

— Выслушай ты нас, пойми ты нас! — нервно звенел голос Мирона. — Мы терпели, и отцы наши терпели, и деды и прадеды терпели . . . Мы сотни лет терпели . . . А когда мы спрашивали, где правда, нас усмиряли, секли, сажали в остроги, и мы опять терпели. Конца не было нашему терпению . . . Будь оно проклято — мужицкое терпение! Кровавыми слезами мы поливали вот эту каменистую землю, костями своими удобряли ее. И — терпели . . .

Толпа беспокойно зашевелилась и глухо, невнятно застонала: не было слов и не было ясных восклицаний — был только стон и вздох одной общей груди.

— Но вот пришел конец терпению . . . мы пришли к тебе и сказали: „Веди нас, указывай, что нам делать; мы согласны“. А ты что нам сказал? Ты испугался первый! Ты не ведешь нас, и прочь не отходишь, и даже — мешаешь нам! Зачем же ты нам столько лет говорил, коли слов своих не можешь оправдать на деле? Вспомни, как ты нам возвещал о правде и учил, как надо стоять за нее, жертвовать всем, что только есть у тебя, оставить все, что дорого сердцу, — жену, отца и мать, — и идти. И когда у нас открылись глаза — вспомни, легко ли нам было исполнить то, что ты требовал? Мы по ночам ходили к тебе, а наши жены не знали, куда мы ходим, допытывались, плакали . . . Эх! Бывало, сердце переворачивается, когда воротишься домой под утро, а жена-то на крыльце сидит, и все ждет, и все плачет, и не понимает ничего. Да как начнет молить, чтобы сказал, кто ее разлучница, да головой об землю биться, да обмирать, — так света божьего не взвидишь! Я свою-то жену тогда под навесом с вожжей снял, да целый год она, бедная, не в своем уме была — вот до чего доходило! . . А рассказать, от-

крыть — нельзя было: страшную клятву взял ты с нас, ты учил нас тайну свято хранить! И мы сохраняли. А старики воевали с нами из-за бога, из-за церкви, из-за постных дней! .. Что только было в семьях — какой содом! .. какая распря! Но для нас твои речи были как новая вера, за которую мы все с радостью готовы пострадать! ..

Ты посмотри-ка теперь на село — что с ним стало? Все ходят со светлым лицом. А у тебя, скажи-ка, признайся, что на душе? Кажется нам теперь, что один только страх у тебя там, страхом полна вся твоя душа! .. Ну, так что же? Ступай куда-нибудь от нас подальше, на спокой, мы тебя не неволим, только хоть не мешай ты нам. Кончилось время, когда по задворкам-то шептались, пора громко говорить ... Настал час идти нам всем добывать свое мужицкое счастье ...

Слова о мужицком счастье Мирон произнес торжественно, глубоким голосом. Этот крепкий грудной голос дрогнул всем знакомой огненной дрожью, лицо Мирона преобразилось, глаза сверкнули слезами. Он стоял перед изможденной фигурой Михайла Васильевича, словно вылитый из бронзы, сильный, молодой, вдохновенный.

— Не становись на дороге, Михайло Васильевич, уходи, — прошептал он, энергично тряхнув головой.

У Михайла Васильевича дрожали руки, мигали глаза, судорожно подергивались беззвучные бледные губы. Толпа молчала.

Внизу, рядом с курганом, серели крыши изб, тянулась, как лента, дорога, исчезавшая за селом в сосновом лесу.

У берега чернела длинная баржа, от которой были спущены мостки на берег. На берегу виднелись мешки с хлебом. Толпа народа в цветных рубахах усеяла берег. Она все увеличивалась; к ней со всего села сползались люди. Все внизу уже тонуло в сумерках, и только верх кургана освещался красными лучами солнца.

— Верно ли я сказал? — спросил Мирон, обращаясь к собранию.

Толпа молчала. В ней копилась тяжесть, готовая оторваться и упасть, как нависшая капля.

— Верно! — вдруг резко вымолвил кто-то.

И тогда что-то прорвалось и хлынуло. Все загалдели разом.

— Верно! Верно! Все сказал!

— Пора в отставку! Ха!

— Отобрать доверенность!

— Пусть уходит! Невозможно с ним!.. Не согласны!..

Михайло Васильевич побледнел. Губы его искривились, глаза замигали, левая бровь подергивалась.

— Господа! — шевелил он губами, озираясь на все стороны.

— Уходи! — кричали кругом возбужденные, враждебные лица.

Михайло Васильевич переводил растерянный взгляд с одного лица на другое, желая найти хоть одно сочувствующее, и не находил. Он стоял на бугре один перед бунтовавшей толпой.

— Уходи! — галдели мужики.

Тогда он сделал отчаянный жест, прося слова, и толпа мало-помалу стихла.

Михайло Васильевич заговорил хриплым, дрожащим от волнения голосом. Сначала он заикался и подбирал слова, но потом овладел собою и стал говорить свободнее, горячо жестикулируя и пронизывая мужиков колющим, проницательным взглядом.

— Постойте! — крикнул он. — В чем дело?.. За что вы гоните меня?.. Не за то ли, что я пятнадцать лет воспитывал, развивал, учил вас? Пятнадцать лет шептался с вами по задворкам? Но как бы я мог иначе говорить, если бы не шептался? Я шептал вам великие слова... слова о правде... о человеческом счастье... о том, чтобы вы поднялись когда-нибудь... Я налагал на вас страшные клятвы, и вы держали их, вы повиновались одному моему слову, вы всегда верили мне... И оттого я пробыл с вами так долго и создал вас! Не за то ли вы гоните меня, что я отдал вам лучшую часть моей жизни, или, может быть, за то, что я любил вас, как своих детей?

Теперь — дальше: вы укоряете меня за то, что вы решили „подниматься“, а я не соглашаюсь вместе с вами, не исполняю моих слов на деле... Но как вы поднимаетесь? Стихийно! Вы поджигаете лес, открыто захватываете землю, собираетесь громить помещиков! Мне не жалко леса и не жалко помещиков, мне жалко вас: вас разгромят казаки, вас перебьют, рассажают по тюрьмам! Погибнет мой труд, погибнет все, над чем я трудился пятнадцать лет! Если за это вы гоните меня, то я откровенно заявляю вам: да, я не пойду впереди

вас, я буду останавливать вас на этом пути до тех пор, пока не будет обеспечена победа! Я умоляю вас: подождите, готовьтесь понемножку, потихоньку, не вступайте в открытую борьбу... Я всю жизнь боялся, всю жизнь хитрил и говорил шепотом — и теперь уже не могу ничего иначе и не верю еще, что настало время громко говорить!.. Может быть, придет время, когда я решусь и докажу своею смертью, что не смерти я боялся! Послушайтесь меня, как слушались прежде, не выходите под выстрелы, поберегите себя... вы — мужичья интеллигенция, вас мало! Вас перебьют свои же, темные, несознательные односельчане.

Вы подумайте только, что начинается теперь в деревнях: все перемешалось, перепуталось, какая-то всеобщая смута, льется кровь, отнимают землю, лес загорается...

— Будет! — крикнули ему. — Поздно тушить! И не тебе бы за это дело браться! Сказано — уходить!

— Довольно, Михайло Васильевич! Брось вожжи! Теперь мы сами хотим, одни, без тебя! Не хотим постарому!

Мужики размахивали руками и возбужденно шумели:

— Врут, всех не перебьют!

— Чего тут? Уходи домой!

— У нас Мирон будет заместо тебя!

— Не хочешь быть впереди, так останешься сзади!

— Он — ни взад ни вперед!

— Стара стала — уставать стала!

Краска сдержанного гнева залила бледные щеки агронома.

— Прощайте, больше не о чем говорить! — прерывающимся голосом резко крикнул Михайло Васильевич. Он весь перекосился, безнадежно махнул рукой, повернулся от мужиков и стал спускаться с бугра вниз по откосу. Ноги его скользили по влажной траве, и он, прыгая, побежал вниз, раскинув руки, как подшибленные крылья. На бегу он цеплялся за кусты и камни, падая то в одну, то в другую сторону, и был в то время похож на подстреленную птицу.

Он бежал все быстрее, спотыкаясь и поднимаясь, и наконец пропал из глаз.

Солнце погасло за горами, и только широкое кроваво-золотое зарево весеннего заката великолепно пылало и медленно гасло на причудливых облаках. Закат

был гневным: его золотистые краски чуть заметно багровели, сгущались, темнели и блекли. А уже все кругом одевалось мягкими печальными тенями, погружалось в густую теплую тьму. И на все легла печать грусти и величавой, строгой думы: как будто великий гнев и безмолвную смертельную боль затаило в себе могучее, молчаливое сердце.

Вдали задрожали бесчисленные серебристые городские огни. С темнеющего неба одна за другой стали выглядывать любопытные милые звездочки, а над лесом ясно обозначалось грандиозное зарево пожара. Угасающий закат перелился в грозное, живое пламя.

Казалось, что за гребнем темных, угрюмо-задумчивых гор бушует огненно-кровавое море, что оно идет все ближе и ближе, охватывая лес.

Алые волны рдели, вздымались, и падали, и опять вздымались, а над ними пылало небо.

Свет колоссального пожара озарял весь курган от подошвы до вершины фантастическим красноватым сиянием, и оно возбуждало людей, раздражало и звало куда-то.

Внизу, около подошвы кургана, отблески огня освещали огромную черную толпу народа, — она копошилась и сердито ворчала.

От околицы села скакал к ней отряд казаков; с кургана было видно, как болтались за их спинами ружья.

Мужики на кургане все обернулись лицом к Мирону.

Освещенный красным заревом, в рубахе, с шапкой на затылке, приставивши щитом ладонь одной руки к глазам, а другой отстраняя от себя учителя, который хотел ему что-то сказать, он стоял выше всех, на бугре, откуда только что сошел Михайло Васильевич.

Лицо Мирона выражало напряженное, сумрачное внимание, глаза стали острыми и, словно впиваясь во что-то, грозно смотрели из-под густых сдвинутых бровей поверх их голов, туда, где готовилась битва.

В воздухе пахло дымом.

Лес разгорался...

1905



ОГАРКИ

I

Это было в холерный год на Волге. Лето стояло сухое, удушливо-знойное. Волга обмелела, похудела, обнажила отмели и желтые косы свои, а жигулевские леса все время горели от засухи. В горячем безоблачном небе стояла какая-то странная оранжевая мгла, и зловещее солнце светило сквозь нее красным шаром, словно раскаленное железо. А ночью весь далекий хребет лесистых гор за Волгой освещался тихим, спокойным заревом пожаров, и было что-то жуткое в их неугасающем свете, в их медленности, постоянстве и бледном, скромном спокойствии.

Весь город обнимала непривычная, многозначительная тишина. Этот прежде шумный, безалаберный город, где всегда на улицах было много пьяных, а местное население оглашало воздух визгом гармоники, бранью и воинственными криками уличной драки, — этот типично волжский город вдруг притих, отрезвел и задумался.

Трактиры пустовали, не слышно стало музыки, ругани и песен, на улицах и на пристани замерло движение. Пассажирские пароходы по-прежнему совершали свои рейсы, но все чаще и чаще подходили к пристани с желтым флагом, означавшим, что на пароходе не все благополучно, что на нем едет страшная гостья, чье имя все, как бы по уговору, избегали произносить.

А „она“ давно уже работала в городе. Работала усердно, правильно, переходя из дома в дом; нажравшись в одном квартале, оставляла его в покое и переходила в соседний, свежий, пировала там и неуклонно шла вперед, от одного края города к другому.

И в том квартале города, где появлялась она на не-

делю, каждый день и каждую ночь слышался вой и плач по умершим, а из домов выносили гробы. Были такие дома, в которых никого уже не оставалось в живых, и они стояли тихие, опустошенные, с раскрытыми дверями и окнами.

Каждый день по дороге на холерное кладбище несколько раз проезжали длинные огромные дроги, запряженные парой лошадей и нагруженные, как дровами, целым возом черных гробов, а на верху этого воза сидел возница, мужичонко в рваном полушубке, крутил вожжами в воздухе и погонял своих кляч. Этот Харон был всегда немножко выпивши, добродушно улыбался и, давно уже привыкнув к своему делу, кощунственно мурлыкал беспечную песню.

А по городу ходили невнятные, глухие, но чудовищные слухи о воскресающих мертвецах, о заживо похороненных, о докторах, пускающих заразу, о бунте и убийствах, о виселицах и повешенных людях.

На столбах и заборах города белели длинные афиши, а на них большими черными буквами что-то кому-то приказывалось, опять упоминалось о бунте, о черни и стояла старинно-откровенная угроза „вешать".

Казалось, что весь воздух был насыщен опасностью и смертью.

И все жили под страхом этой смерти.

Люди, за минуту перед тем здоровые, падали прямо на улице, на дороге и умирали, извиваясь винтом в мучительных судорогах.

Полупьяный возница мертвых, казавшийся всем отвратительным сновидением, каждый день проезжал по городу, сидя на верху своего страшного воза, крутил вожжами в воздухе, торопливо погонял лошадей, гнусаво, скверно пел и смеялся...

А „она" шла и жрала людей...

Солнце зловещим красным шаром светило сквозь оранжевый дымный туман.

Ночью бледно и ровно пылали далекие лесные пожары.

В городе было неестественно тихо и жутко...

В нем пировала холера.

В это время весело поживали на свете „огарки". Так их прозвали в городе, и в слове этом заключалось брезгливое пренебрежение, и оно пристало к ним.

Их было целое братство: Илья Толстый, выгнанный из всех русских университетов, его ближайший товарищ

Сашка, тоже выгнанный из Петровской академии, некто Новгородец, родом из великого Новгорода, человек, служивший писцом во всех министерствах, певчий Северовостоков, выгнанный из шестого класса духовной семинарии с единицей поведения, слесарь Михельсон, сосланный на Волгу из Петербурга за политическую неблагонадежность, и австрийский дезертир Пискра, бравшийся за всякое дело и делавший его всегда одинаково скверно.

К ним каждый день приходил еще кузнец, по прозванию Сокол, появлялся и жил иногда бродячий недоучившийся художник Савоська, бывал сотрудник местной газеты Небезызвестный, машинист Митяга и другие. Раз в месяц приезжал кутить с ними купеческий сынок Гаврила.

Жили они в подвальном этаже большого дома, стоявшего на горе над Волгой, при самом спуске к реке, на хлебах у Павлихи. Сама Павлиха помещалась в кухне с двумя дочерьми, а огарки занимали две комнаты, из которых одна была большая, длинная, а другая, смежная с ней, поменьше. Потолок этой квартиры был сводчатый, окна маленькие, прорезанные высоко, почти под потолком, — в ней царил мрачный полусвет и почти всегда стоял дружный, забористый хохот веселой компании.

Не умолкал этот хохот и во время холеры: в растворенные окна огарческого подземелья почти целый день выносились на улицу раскаты здоровенного смеха, звуки струн и пение веселых песен, а иногда, как гром, раскатывался необыкновенной силы бас, и тогда случайные прохожие шарахались в сторону, отплевывались и, делая крюк, подозрительно переходили на другую сторону улицы: это певчий Северовостоков прочищал свое необъятное горло.

...Огарки сидели под мрачными сводами Павлихиного подземелья за простым, некрашеным столом в непринужденных позах и беспрерывно ржали гогочущим смехом. Толстый, как всегда, что-то рассказывал.

Павлиха, пожилая, с морщинистым добрым лицом, одетая по-деревенски, стояла у печки и тоже смеялась вместе со всеми.

Рассказы Толстого слушали кузнец Сокол, Новгородец и Пискра.

Кузнец был в синей рабочей блузе, смуглый, с коротко подстриженной черной бородой, черными глазами, с густыми черными волосами. Весь черный — он смахивал на цыгана. Облокотясь на стол большими загорелыми руками, Сокол грубо хохотал, и ровные белые зубы его сверкали.

Новгородец — тщедушный, бледный, тонконогий и тонкогрудый, типичный разночинец — был тоже в синей блузе, подпоясанной ремнем от чемодана, но блуза не шла к его нервному лицу с клинышком рыжей прямой бороды. Голова его, остриженная наголо, поражала несоразмерной величиной.

Он запрокидывал эту необыкновенную голову назад и, потрясая бородой, хохотал резким смехом.

У Пискры было большое, крупное лицо с громадным носом, с густыми и широкими рыжими усами, с твердо очерченным выдающимся вперед бритым подбородком — настоящее австрийское лицо, невыразительное, но упрямое, узко-энергичное . . . Многое, вероятно, пережил австрийский дезертир в России, прежде чем попал в компанию огарков. Он смеялся сдержанно, плохо понимая соль русского языка.

Перед всей этой компанией расхаживал по комнате и говорил Илья Толстый — импозантная фигура.

Он был очень большого роста, широкий, полный, белый — великолепный экземпляр севера. Молодое прекрасное лицо его, гладко выбритое, как у актера, выражало гордость, смелость и юмор. Голубые глаза искрились весельем. Красивая большая голова его была гладко выбрита, как у турка или запорожца, а на широкий, просторный череп туго натянута мягкая красная феска с густой длинной кистью. Костюм его состоял из белой ночной рубашки, заправленной в широчайшие штаны табачного цвета. На босых ногах шлепали опорки от сапог. В руке дымилась трубка с полуаршинным черешневым чубуком.

Огарки ржали . . .

— . . . Сами виноваты! — смеясь, говорила Павлиха. — Рази можно полицейских бить?

Толстый повернулся к ней, ловко расшаркался и галантно произнес приятным тенором:

— Достохвальная Прасковь Пална! Уверяю вас, мы их не били, мы только загнули им сак-са-у-ла!

— Хо-хо-хо! — грянули огарки.

— Правда, перед тем мы порезвились немножко в пивной у Капитошки...

— Хо-хо-хо!

— Устроили на лужайке детский крик...

— Хо-хо-хо!

— Выпили — средне!..

— Хо-хо-хо!

— В голове у нас был медведь...

— Хо-хо-хо!

— Ну, и попали в префектуру!

— Хо-хо-хо!

Компания покатывалась со смеху над каждым из его словечек.

— Да уж я знаю вас! — возразила старуха. — У вас все средне!..

— А околоточного мы действительно оскорбили...

— Чем?

— Да я ему сказал: „Иудой бы тебя, гнусная личность, нарисовать на картине Страшного суда".

— Хо-хо-хо!

— А когда мировой в оскорблении околоточного виновными нас не признал, я обернулся к свидетелям — полицейским — и сказал: „Что? Взяли? Лже-сви-детели!"

— Хо-хо-хо!

— Началось-то все с того, что схватились мы по части выпивки с какими-то интендантскими чиновниками. Переведались. Выпили средне. Сашка-то с чиновником побратались и шинелями поменялись: тот надел его студенческую, а этот интендантскую — и пошли с гармоникой. Боролись еще они на поясах — так Сашка как был подпоясан поверх шинели полотенцем, так и остался. А в префектуре долго не могли установить его личность: „Кто такой?" — „Студент академии". Смотрят: фуражка студенческая, шинель интендантская, морда арестантская, подпоясан полотенцем и гармония в руках.

— Хо-хо-хо!

— На сколько присудили, Илюша, в кутузку-то? — сердобольно спросила Павлиха.

Толстый выразил на своем подвижном лице трагизм и принял театральную позу.

— На двое суток, мать! На двое суток за нарушение общественной тишины-с! Завтра обоих нас поведут в префектуру!

— Хо-хо-хо!

— Ах вы несчастные! — причитала старуха, качая головой. — Прямые огарки!

За дверями, на лестнице, ухарски рявкнула в чьих-то умелых руках хорошая „саратовская“ гармонь, и на пороге показалась фигура в казинетовом „пеньжаке“, сапогах бутылкой, в ситцевой рубахе, выпущенной из-под жилета, и старой, выцветшей студенческой фуражке, сдвинутой на затылок. Молодое улыбающееся лицо его, с густыми белыми усами и эспаньолкой под нижней губой, было полно того веселого задора, какой бывает у загулявших мастеровых.

Фигура, пошатываясь, ввалилась, оглушительно растянула мехи гармони и запела:

Дри-та, дри-та, дри-та, дрита...
Поп любил архимандрита...

— Санька! не безобразь! — крикнула на него старуха.

Огарки смеялись.

Санька шумно сомкнул гармонию, поставил ее у порога и, ударив себя в грудь, сорвал с головы фуражку, склонил голову и воскликнул, обращаясь к хозяйке:

— Мать! осужден! прости!

Он совсем не был пьян, но куражился.

Его лицо, костюм и манеры — все обличало в нем плебейское воспитание, и почти ничто не говорило о студенте, кроме разве умных глаз, которые как бы смеялись над ним самим, над его ломаньем и куражем, но куражу этому он отдавался все-таки с видимым удовольствием.

Он повернулся к товарищам, и озорной взгляд его почему-то упал на Новгородца.

— Эй, Новгородец! — возопил Сашка, уперев руки в бока. — Толстоголовый черт! Такали-такали, да Новгород-то и протакали. Дьяволы! А?

Новгородец обиделся.

— Не трогай Новгород-то! — „верховым“ тотокающим говором возразил он, вскочив и ударив по столу костлявой рукой. — Оставь Новгород-то в покое, горчица ты самарская-то, лезешь-то в глаза-то!

— Ну, затотокал, — смеясь, гудели огарки.

Толстый ласково посмотрел на Новгородца и нежным голосом, выразительно, с расстановкой поддразнил:

— Ин-дю-чок! не хорохорься!

„Индючок“ ответил замечательно метким, злым ругательством, что вызвало всеобщий огарческий хохот и вполне удовлетворило Новгородца. Он рассмеялся и успокоился.

— Ну, с нами бог и святая София! — воскликнул Толстый. — Так кричали новгородцы, когда спросонья, пьяные, в одних рубашках и без штанов бросались в бой. Мы же сядем в префектуру, но знамя свое будем держать твердо! Павлиха! Благослови!

Толстый и Сашка встали в ряд перед Павлихой и, отирая притворные слезы, повторяли:

— Прощай, родимая!

— Не поминай нас лихом!

— Бог простит! — смеясь, отвечала Павлиха.

— Карты нам дай! Картами снабди нас: по носам в префектуре дуться будем.

Огарки хохотали.

— Завтра, как проснемся, — в префектуру!

— Сначала в пивную! — поправлял Сашка Толстого.

— И откуда ты это, Саша, нынче такой веселый? — смеялась Павлиха.

Сашка присел к столу на скрипевший стул базарной работы, развалился и, закуривая „собачью ногу“, ответил:

— Заработал. Сегодня экзамены в реальном по математике. Ну, значит, ученики-то мои, купеческие сынки, встрепетали: „Помози“, — а я им: „Дав сюды по двадцати ликов с рыла, три лика другу-сторожу, а пива без обозначения, сколько выпьем!“

Огарки смеялись.

— Ну, они было торговаться. Я осерчал: „Не умеете учиться, так умейте хоть платить! Коли дорог — не надо!“ Заплатили. И вот засел я, значит, на углу, в пивной у Капитошки, против реального, пью со сторожем пиво и решаю задачи, в реальном экзамены идут, а сторож вроде как беспроволочный телеграф!

— Хо-хо-хо! — заржали огарки, заржал и Сашка вместе с ними и, чтобы ржать безобразнее, нарочно сделал губы трубой. Потом выхватил горсть серебра и вновь закуражился, со звоном рассыпав по столу серебряные „лики“, как называл он рубли.

— Да-ка, да-ка сюды деньги-то! — вступилась Павлиха, подбирая со стола монеты. — Чево шевыряешься? Сам, чай, знаешь, что всю неделю на одной картошке сидим, голодаем!

— Хо-хо-хо-хо! — грянули голодающие.

Сашка сгреб оставшиеся на столе деньги в пригоршни и высыпал их все в передник хозяйки. Она, прихрамывая, поплелась в кухню.

— Ну, теперь у меня вы хоть лоб расшибите — на водку ни гроша не дам! — крикнула она с порога.

— Хо-хо-хо! — гремели огарки.

— Гнусная старушонка! — заметил Толстый. — Деньги копит и в чулок кладет, — один чулок уж полон, теперь в другой начала! . .

Гнусная старушонка рассмеялась и возразила из передней:

— Накопишь с вами! Пуще всего! Только деньги отдадут, как и начну-ут пятиалтынный просить! Тьфу!

— Хо-хо-хо!

— Вот рассержусь да брошу вас всех!

— Хо-хо-хо! Где тебе бросить! Не бросишь! Где уж!

— А ежели брошу, как тогда станете без меня жить-то? Пропадете!

— Пропадем! Хо-хо-хо!

— Что мне от вас! — продолжала, рассердясь, Павлиха. — Одно мученье! А я бы у сына могла на спокое жить! Почему же это я вас не брошу?

— Жалко тебе нас, потому и не бросишь, хо-хо-хо!

Павлиха плюнула и ушла.

Огарки долго смеялись.

— Прижал ты богатых-то учеников! — сказал Сашке Пискра, на каждом слове ошибаясь в ударениях.

— А то как же? — удивился Сашка. — Так и надо: их, богатых-то, при случае очень даже невредно за жабры взять! Они нас-то ведь и не так еще жмут! Жмут рабочего, конторщика, служащего, того же репетитора, всех! Чего же мы-то будем с ними церемониться? Нажмем ему на брюшко, чтобы сок дал! Очень просто!

— Хо-хо-хо!

— Да еще как просто-то, сокол! — внезапно заговорил кузнец и встал из-за стола, сверкая черными глазами. — Тут вражда ведется с детства, в крови она! Моя мать была кухарка, а потом была кормилицей . . . Братишку Ванюшку кормить из-за нужды не стала, а выкармливала своею грудью одного богатого щенка . . . Вот я и хаживал в этот дом на кухню. Один раз даже на елку допущен был, то есть так — постоять у двери и посмотреть на радость богатых детей . . . С тех пор, бывало, как встречу кого-нибудь из них на улице — так

и кинусь лупить... Д-дам ему рвачку, а мне, конечно, за это дома порка, а после порки я еще того злее луплю их, да так и пошло потом... на всю жизнь...

— Вот она еще откуда, антипатия-то, ведется! — тонким голосом ядовито протянул Новгородец.

— Классовая борьба! — изрек Толстый, расхаживая вдоль всей комнаты и раскуривая длинную трубку.

— Борьба? — возразил кузнец. — Мой отец был всему городу известный борец и кулачный боец, никто его не мог победить — такой был сокол, а богатые слопали! Да и я — слава тебе господи... ежели бы в настоящей борьбе... по совести... один на один... без подлости... а так... значит...

Кузнец не нашел слова и только вытянул могучую черную ручищу с громадным, похожим на молот, кулаком.

— В честной драке! — подсказал ему Толстый.

Все сочувственно засмеялись. Кузнец благодушно улыбнулся и, махнув рукой, сел к столу.

— Эх, Сокол! — сказал он со вздохом.

— В честной-то драке-то? мы-то? ого! — воинственно воскликнул Новгородец, потрясая костлявой бессильной рукой.

— Ну, опять затотокал? — возразили товарищи. — А кто протокал Великий Новгород?

Новгородец опять пришел в ярость:

— Вы Новгород-то не тово... что там Новгород? Зачем вам Новгород?

Толстый ласково посмотрел на Новгородца и опять затянул нежным голосом:

— Ин-дю-чок...

Сашка ударил по столу кулаком и крикнул:

— Эх, кабы вся суть была в драке, так мы бы первыми людьми стали. В прошлый раз вышло у нас побоище с калашниками... Я был за сапожников... на другой день попадается мне на улице чья-то рожа с во-о каким синячищем! Я как взглянул на синяк, так сразу и вижу: наш удар!

— Хо-хо-хо!

В это время на пороге уже стоял рабочий в распоясанной промасленной блузе, запыленный, с грязными руками, худой, лет тридцати, с продолговатой козлиной бородой и холодными серыми глазами.

— Подайте кто-нибудь умыться! — устало сказал он приятным, чистым тенором.

Из угла встал Пискра и тут же, за порогом, стал из ковша лить ему воду на руки.

Это был Михельсон, только что возвратившийся с завода.

— Эх ты, жисть, — потихонечку ложись, еще тише умирай, а не хочешь — удирай! — певуче говорил он, плескаясь над лоханью.

Неизвестно, почему он звался Михельсоном, — все в нем было русское: мягкие черты лица, прямая козлиная борода, певучий выговор и остроумная речь, пересыпанная русскими поговорками.

Скоро он вошел в чистой „сарпинковой" рубахе, подпоясанный, умытый и причесанный.

— Ну и устал же! — сказал он нараспев. — По субботам страсть как тяжело работать! Ждешь не дождешься воскресенья, чтобы порезвиться хоть! .. А там опять каждый день молотом стучать от семи до семи вечера! Всю поясницу разломило! Выпить бы! — впал он сразу в жалобный тон, завидев в глубине дверей Павлиху. — По случаю холеры! А то ведь заберет, проклятущая! Наш брат мастеровой-голубчик — что паровой огурчик: день цветет — неделю вянет!

— Никогда не поверю, чтобы меня холера забрала! — рыкнул кузнец, вытягивая руку и сжимая кулак.

— А с завода нынче увезли одного! — заявил Михельсон.

— Главное — не нужно изменять образа жизни! .. — убежденно воскликнул Сашка. — Кто пил, тот так уже и пей, не бросай!

Огарки вздохнули.

В комнату, ковыляя, вернулась Павлиха. Сашка совершенно неожиданно заключил ее в объятия.

— Да ну тебя! — сердито отбивалась Павлиха.

Она вырвалась и торопливо заковыляла в кухню. Но тут подвернулся Михельсон и загородил ей дорогу.

— Ах ты, хромой ты наш велосипед! — воскликнул он, льстиво улыбаясь ей, и взял ее за талию.

Старуха вырвалась, но попала прямо в широкие, могучие объятия Толстого.

— Друг ты наш сладкий! — заговорил он воркующим голосом, низко наклоняясь к ее морщинистому, добродушному лицу. — Кабы ты знала, как мы любим тебя! Ну вот, лопни моя утроба, не видать мне ночью солнца, а днем месяца, коли мы тебе к именинам новое платье не сошьем! А как нам еще известно, что за тебя,

честную вдову, лавочник сватается, то мы и подвенечное тебе...

— Не умасливай! — перебила Павлиха и не выдержала — рассмеялась. — Не дам ни копейки!

Но Толстый еще ниже наклонился и начал что-то убедительно шептать ей на ухо. До слушателей долетело слово „чулок“. Легенда о „чулке“ опять рассмешила Павлиху.

— Накопишь с вами! Отвяжись ты от меня, окаянный, деймон ты искуситель! — говорила она, сдаваясь.

— Дай пятиалтынный! — энергично шептал ей искуситель.

— У меня мелких нет!

— Ничего! Мы — раз-ме-няем!

— Знаю я, как вы разменяете! — совсем уже смягчилась Павлиха, вытаскивая из кармана большой кожаный кошель и сребролюбиво роясь в нем.

Огарки окружили ее, жадно заглядывая в Павлихины богатства.

— Я тебе песенку спою! — пообещал кто-то.

— Слыхала я ваши песенки! Эх вы, пьяницы, пьяницы! — укоризненно качая головой и отдавая пятиалтынный, говорила она. — Нет вам ни дна ни покрышки!

— А ты давай, давай! — сразу переменили тон огарки.— Нечего раздобарывать! Небось и самой-то, старой ханже, выпить хочется, так только, для виду, ломается, старая карга! А? Можете себе представить, что она делала, когда сын ее ханжой называл? Она думала, что это богохульство, плакала, грозила проклясть Андрюшку родительским проклятьем навеки нерушимо, ходила к попу спрашивать, что такое значит слово „ханжа“! А?

— Гнусная старушонка! — неблагодарно отозвался Толстый, передавая пятиалтынный Новгородцу и сделав ему глазами какой-то знак.

Новгородец шмыгнул в дверь с пустой бутылкой под мышкой.

— Ну, больше не просите! — заявила с порога Павлиха. — В последний раз дала!

И, удаляясь в кухню, бормотала:

— И что это я живу с такими дураками? Уйду, право слово, уйду! Вот только бы сын приехал! Уж мое-то слово — олово!

— Слышали мы это! — беспечно смеялись огарки. — Знаем! Никуда ты не уйдешь!

Через несколько минут Павлиха стала собирать ужин. Она накрыла стол грубой скатертью, подала хлеб, деревянные ложки, поставила тарелки.

— Хоть бы поужинали скорее! — говорила она. — Все, может быть, вина-то меньше выпьют.

Новгородец мигом принес бутылку сивухи самого низшего сорта, налитой прямо из бочки.

Огарки сели ужинать. Смеркалось. В подземелье стало совсем темно. Павлиха внесла и поставила на стол жестяную лампу.

В центре стола сидел Толстый. Он уже снял феску и сидел между огарков, огромный, с голым широким черепом, красивый и сосредоточенный.

— Пи-искра! — сказал он среди всеобщего молчания каким-то особенным, тонким голосом, словно подчеркивая что-то в этом слове. — Писк-ра! .. готовь плюм-пудинг! ..

Пискра молча и покорно, так как приготовление „плюм-пудинга" было его обязанностью, начал резать на тарелку тонкими ломтиками свежие огурцы ... Нарезав, полил уксусом, обильно посыпал солью, посыпал перцем, пустил еще ложку горчицы и, приготовив забористый салат, поставил на стол для закуски.

Толстый дрожащей от нетерпения рукой налил водки в старую свинцовую чашку и, пробормотав: „За земледелие и промышленность", — выпил первый, передал чарку соседу и аппетитно закусил „плюм-пудингом".

Чарка пошла вкруговую.

Пили молча, с нетерпением ожидая очереди, и только вполголоса переговаривались:

— Не задерживай! Люди ждут!

— По душе-то как будто с образами прошли! — сказал Толстый, прислушиваясь к ощущениям желудка.

— Как Христос босиком прошел! — поддержал его Михельсон.

— Не задерживай!

— Ворсинки-то в желудке от радости и руками, и ногами машут! — поделился своими ощущениями Сашка.

Свинчатка совершила два круга.

Павлиха принесла огромную глиняную миску щей. Застучали ложки.

Толстый расстегнул ворот рубахи, засучил рукава ... Вид пищи волновал его.

Он ел вдохновенно, увлекательно, с каким-то сладо-

страстием, одним своим энергичным видом возбуждая у всех аппетит, заставляя поспевать за собой.

Но поспевать было трудно.

Руки его дрожали от волнения, глаза возбужденно сверкали, на щеках заиграл румянец.

Ложка эгоистично ловила ему весь жир с поверхности щей, обижая остальных огарков.

Он ел.

Свинчатка безостановочно ходила вкруговую. Огарки дружно работали ложками и, любуясь Толстым, посмеивались над ним.

— На поправку пошел, шельменок!

— Инда за ушами ужжит!

— Розовый какой!

— Амур!

— И рубашечка на брюшке вздернулась!

Павлиха подала жаркое с картофелем. Толстый молча положил себе мяса и картофеля на тарелку „конусом".

— Ну и аппетит же у тебя, Илюшка! — невольно изумился кто-то.

— Средний, — отвечал он скромно.

Кузнец, сидевший рядом с ним, любовно опустил на его спину пудовый удар смуглого кулака.

Толстый не обратил внимания.

Он ел.

Все огарки любовались его аппетитом, цветущим здоровьем и красотой.

— Детина!

— Женщины больно любят его! Даже Павлиха и та все норовит ему лакомый кусочек подсунуть.

— Что нового на заводе? — спросил кузнец Михельсона.

— Ставили мы нынче гидравлический пресс! .. — не спеша отвечал Михельсон; он говорил, словно пел. — Махина! На заводе — теснота; хоть бы и еще такое здание по количеству машин! Наладили „тали" — это чем поднимают тяжести, — начали набивать их. Только я обернулся зачем-то, гляжу — идет хозяин: такой сытый, тело жирное, белое, рассыпчатое, волосы ежиком, лоб — ат-ле-та, а на брюхе золотая цепь — хоть коня приковывай, на пальцах перстни, визитка — словно влитая, только фалды, как у щедринского героя, от умиленья сзади раздвигаются, вид — важный, как есть индюк! А у нас идет работа: цепи у „талей" похрустывают, деся-

тидюймовый ремень, как старик, кряхтит, металлы блестят, пресс медленно, но верно идет в свое место. Я покрикиваю: „Набивай, молодчики! Набивай, родимые! Скоро он, голубчик, начнет денежки выжимать! хо-зяину! хар-ро-ше-му да д-доброму!“

— Хо-хо-хо! — прорвало огарков.

— Вдруг — он ко мне; побледнел, пыхтит, глаза круглые, злые: „Т-ты, говорит, вот что . . . того . . . попридержи язык-то . . . надо дело делать, да поскорея, а то больно долго возитесь! мне убыток!“ У меня — заклокотало. Однако сдержал себя и вежливо спрашиваю: „Вы — что? Иванушка-дурачок, что ли?“ — „То есть как это?“ Глаза вытаращил. „Да так, говорю, ведь это ему можно было: „По щучьему веленью, по моему хотенью — пресс! встань передо мной, как лист перед травой“, — а он бы вам — бух! вроде как в ножки — и готово!“

— Хо-хо-хо!

— „А впрочем, говорю, если вы можете скорее делать, так извольте — честь и место! работайте сами!“ — расшаркался перед ним, при этом что было в руках из инструментов — бросил, рабочих остановил. Встали мои ребята.

— Здорово!

— Откуда ни возьмись — механик: „Вы что стоите? Пожалуйста, продолжайте, время дорого, я вас прошу . . .“ Да мы, мол, ничего, а это вон их степенство недовольны . . . Механик сейчас к нему: „Вы ко мне? пожалуйте в контору“, — подхватил его таково нежненько под ручку и увел.

— Смикитил!

— Не пес, а смыслит!

— Еще бы! А в конторе, говорят, вышел у них такой разговор: „Да они у вас разбойники, нельзя слова сказать — всякое лыко в строку! Ведь я — хозяин!“ А механик юлит: „Вы, Николай Михалыч, не разговаривайте с ними, вы ко мне обращайтесь, я вам все объясню“. А тот: „Не надо мне вашего объяснения! Я — хозяин! Могу я распоряжаться али нет?“ — „Конечно, конечно, только вы их не знаете . . .“ — „Знаю! Рвань! Голь! Туда же, с гонором! Вчера думал их поощрить: „Братцы, говорю, постарайтесь!“ А они окрысились, кричат: „Попробуй сам! Какие мы тебе братцы? Серый волк тебе братец!“ Сволочи! Это, чай, все больше зачинщики действуют, смутьяны, Михельсон да тот, черный-то, — как

его? Сокол, что ли? И прозвище-то разбойничье!“ — „Не знаю, — отвечает механик, — который из них лучше: два сапога пара, и оба на левую ногу!“

— Хо-хо-хо!

— Опять попрут вас, голубчиков!

— Попрут!

— Я в степь уйду! — с диким видом воскликнул кузнец. — На молотилку! Там воля, простор! . .

— После этой передряги, — продолжал Михельсон, — потянуло меня на воздух. Вышел я из завода на Волгу — и не мог налюбоваться. Представьте: над Жигулями облако в тон им, раза в четыре выше гор, не разберешь их соприкосновения . . . слышу, кто-то говорит: „Эх, как Жигули-то выросли!“ А наверху белое облачко, как будто снег на вершине, освещается все это заходящим солнцем сквозь розовую дымку тумана. Волга-то тихо течет, не шелохнется и совсем розовая! Прелесть! А на нашем берегу мотаются, как маятники, пять пар пильщиков . . .

— Это уж диссонанс! — вставил Толстый.

— И представилось мне, братцы, — воодушевляясь, продолжал Михельсон, — будто мы всей нашей фракцией сидим за Волгой на лоне природы, глаза у всех горят, все на седьмом взводе, и орем песни. И происходит у нас этакое удивительно приятное для всех нас пьянство! . .

— В самый бы смак теперь Гавриле с икрой приехать! — мучительно вырвалось у Сашки. — Брюшко тле пощекотать бы!

— Пермешков ба! — мечтали со всех сторон. — Пивца ба! . . Вышневочки ба! . .

— Рожна бы вам горячего! — пожелала Павлиха, проходя мимо и унося пустые тарелки.

— Ведьма! — отпарировал Толстый.

В минуту общего смеха на пороге подземелья появился высокий и узкий, похожий на фабричную трубу, детина в длинном летнем пальто, надетом поверх синей блузы. Лицо у него было маленькое, с жидкими, бесцветными усами и с глубоко сидящими в орбитах угрюмыми и вместе добродушными глазами, смотревшими из-под низкого, узкого лба.

— Вы всегда все только ржете! — укоризненно, резонерским тоном заговорил он, вертя в огромных закоптелых руках новый суконный картуз на красной подкладке.

— А-а! Митяга! — шумно загудели огарки. — Балда царя небесного! Не хочешь ли выпить с нами?

Митяга с нескрываемой брезгливостью сел на стул поодаль от огарков и, поматывая картузом, смотрел на них угрюмо, враждебно и раздраженно.

— Я не пью! — сказал он, как бы огрызаясь. — Да и вам бы не велел! Пить — безнравственно и некультурно! А ведь вы, если бы захотели, могли бы сделаться сознательными личностями . . . Могли бы даже быть приняты интеллигенцией . . .

— Балда! — кратко, но увесисто вымолвил Толстый.

— Орясина! — подхватили другие. — Лошадь! Телеграфный столб!

Митяга смотрел на них угрюмо, с ненавистью.

— А вы не ругайтесь! — возразил он добродушно и мрачно. — Ведь я правду вам говорю: ничего вы путного не делаете! Только у вас и занятия, что — хо-хо-хо да го-го-го! На язык вы мастера, а на поверку-то какой от вас толк? Охальничанье да пьянство — больше ничего! Стыдно! Гаврилу, например, опиваете! Разве порядочные люди так делают?

В глубине души огаркам было действительно немножко стыдно за отсутствие у них настоящего, достойного их дела и настоящей жизни, было больно и обидно за что-то, но тем громче они смеялись над Митягой.

— Молчи, ты! . . — презрительно крикнул на него Толстый. — Вавилонский кухарь! Что смыслишь ты в жизни и судьбах огарческих? Как смеешь являться к нам с твоею пошлою мещанской моралью? Жалкий сплетник, ты играешь гнусную роль соглядатая и парламентера между нами и опереточными генералами интеллигенции! Мы порвали с ними! Мы, может быть, что-нибудь сделаем и без них! Мы — выделились в самостоятельную огарческую фракцию! Мы сами — люди бывалые! Я выгнан из всех университетов! — гордо закричал Толстый. — Я везде держал высоко знамя, всегда был в первых рядах! Попал сюда после разгрома Дерптского университета! Михельсон был выслан на Волгу по этапу, и его привезли в кандалах, изъеденного вшами! Мы явились с волчьими паспортами, без копейки денег, без знакомых в чужом, диком городе! Кто пришел к нам на помощь? Никто не пришел, кроме Павлихи! Интеллигенция нас не приняла. Интеллигенция нас оскорбила и оскорбляет. Они подвергли нас остракизму за

то, что мы не захотели ей повиноваться, и все-таки в случае надобности пользуются нами. Они там все только словоизвержением занимаются, а нелегальных личностей — у нас укрывают? Безработных — к нам присылают? А доступ к рабочим кто им дает, как не огарки? Мы, конечно, гусиной шеи не делаем, мы сидим здесь, как греки под березой, но ведь на то мы и огарки, а вот им-то какое дело до нас? Зачем они присылают тебя подглядывать за нами? Руководители! Кто из этих болтунов делает хоть что-нибудь действительно важное? Неужели Лось? Васька-Слюнтяй? Или, может быть, Таинственный Викентий — эта тириликалка, пустая балалайка, гнусная помесь обезьяны с канарейкой?

Огарки захохотали.

— Ну и черт! — восхитился Михельсон. — Слово скажет — как подзатыльник даст!

Толстый сидел на стуле посреди комнаты в картинной позе, и лицо его во время этой тирады выражало уничтожающее презрение.

Митяга стал еще мрачнее от едких слов Толстого. Он долго мотал картузом и наконец вымолвил:

— А все-таки вы беспутный народ . . . Ничего не делаете.

— Да ты-то что делаешь, Митька? — хором огрызнулись огарки.

— Я? — глухо возразил машинист, поднимая голову и обводя своих врагов тяжелым взглядом. — Я как приезжаю с поездом, вывернется у меня три дня свободных — сейчас за книгу залягу, и читаю не какую-нибудь беллетристику: я читаю, например, Дарвина, Спенсера, Бокля, Маркса . . . Тяжелые это книги для понимания, ну, а я упрям, хочу-таки их понять.

— Поймешь ли, Митя? Смотри не надорвись!

— Пойму! — отвечал Митяга, угрюмо глядя перед собой.

— А потом что будешь делать, когда поймешь?

— Потом . . . накоплю денег . . . я уже и теперь коплю их . . . двести рублей отложил уж . . . и поеду за границу . . . поступлю там в университет . . .

Огарки были озадачены.

— Да зачем тебе учиться? — спросил Толстый.

— А что?

— Да не лучше ли тебе, Митя, жениться?

— Тьфу, — плюнул Митяга.

— Он у них самый умный! — донимали его огарки.

— Председателем выбрали! — с важным видом заявил Толстый, расхаживая по комнате и шлепая обрезками от сапог.

— Ну-у?

— Как же! И ключи у него!

— Какие ключи?

— От исполнительного комитета!

— Хо-хо-хо!

— Совсем напрасно смеетесь над чтением, — мрачно возразил Митяга. — Как вам знать! Может быть, я их и пойму все-таки, книги-то? Тогда и видно будет, что надо делать! А тебе бы и совсем стыдно смеяться! — обратился он к Толстому. — Ты во всех университетах учился! . .

— Я не только в университетах! — серьезно заговорил Толстый. — Я везде учился . . . во всей жизни . . . Я и в казенной палате начальником был и мальтийский крест за это имею . . . А потом — в оперетке пел!

— Неужто? — заинтересовался Митяга. — Неужто и в актерах был?

— Был.

— От этого ты и бреешься по-актерски?

— От этого самого.

— А мальтийский крест отчего ты получил?

— Оттого, что я — мальтийский рыцарь!

— Ну, диво! . . А в оперетке какие ты роли играл?

— Всякие! . . — небрежно ответил Толстый. — Играл королей . . .

— Ну?

— Ду-ра-ков . . . — тянул Толстый, в упор смотря на Митягу.

— Ну, а в каких же ты оперетках участвовал?

— Да много . . . Вот, например, есть оперетка „Нашествие французов, или Смерть Ляпунова“.

— Ну и, конечно, ты на афишах был не под своей фамилией?

— Уж это само собой разумеется!

— А какая же у тебя была фамилия по сцене?

Толстый сел к столу, принял величественную осанку и, театрально барабаня пальцами по столу, процедил сквозь зубы:

— Казбар-Чаплинский.

Митяга посмотрел на художественную фигуру артиста: Казбар-Чаплинский полулежал в могучей и небрежной позе гениального Кина.

— Как же ты мог петь? — соображал Митяга. — Ведь у тебя, кажется, голос-то плохой.

— Это ничего не значит: я знаю средство, как с плохим голосом брать высокие ноты, — самое плевое дело . . . сожмешь себе хорошенько вот в этом месте . . . под микитками . . . — Он сделал неопределенно-фривольный жест и воскликнул: — Сразу на два тона выше берешь!

Огарки долго крепились, но тут не выдержали.

Грянул хохот.

Митяга сообразил наконец, что над ним издеваются.

— Тьфу! — плюнул он с негодованием. — Я с вами серьезно хотел поговорить, а вы . . .

И неожиданно добавил:

— Храпоидолы! нет у вас никаких убеждений! . .

— А у тебя-то что за убеждения? — возражали ему.

Митяга встал, нахмурился, принял важный вид и многозначительно щелкнул пальцем по красной подкладке своего картуза.

— Вот мои убеждения! — сказал он.

Опять грянул хохот.

Но Митяга продолжал:

— Каждый интеллигентный человек, который имеет убеждения, должен их проповедовать другим. За этим я к вам и хожу, да только время зря теряю. А вот недавно за городом, около монастыря, встретил я монаха . . . Сейчас это завел с ним разговор . . . „Ты что, мол, дармоедничаешь-то? А разве это хорошо?“ Он отвечает: „Я, говорит, вроде как спасаюсь!“ А я ему и сказал: „Что там „вроде“? Просто даром хлеб жрешь! Тунеядец ты! Вот дам тебе раз по шее — ты у меня в землю и вопьешься!“

— Хо-хо-хо-хо! — восторженно загремели огарки. — Митька! Дерево ты стоеросовое! Убирайся к черту! Уморить ты нас пришел!

— И то пойду! — с неизменной серьезностью согласился Митяга. — Лучше книги читать, чем с вами время губить! . .

Митяга нахлобучил свой картуз с красными убеждениями и пошел к выходу, а вслед ему весело неслись отборные слова, заимствованные огарками у запорожцев.

— Свинячья морда!

— Александрийский козолуп!

— Вавилонский кухарь!

— Македонский колесник!

— Великого и Малого Египта свинарь!

— И самого Вельзевула секретарь!

— И ключарь!

— А нашего бога ду-у-рень!

Огарки кричали, надрываясь, и ржали после каждого ругательства.

— Олоферна пестрая, эфиопская!.. Го-го-го!..

Даже молчаливый Пискра сосредоточенно и серьезно лаял, ошибаясь в ударениях:

— Мы тебя кулаком по башке!.. Не ходи к нам на квартиру!

II

Кто-то с треском подкатил на извозчике к подземелью огарков. Сашка вскочил на стол и выглянул в окно.

— Гаврила! — радостно заорал он, оборотясь к „фракции" в торжествующей позе. — Ого-го-го!

Произошло радостное движение.

— Икряный? — спросил его Толстый озабоченно.

— Икряный! Кульки! Пиво!

— Ого-го-го-го! — загудела вся фракция.

В прихожую вошел извозчик. Он внес несколько кульков, из которых торчали горлышки бутылок, корзину пива, мешок муки и с полпуда говядины в кульке.

За извозчиком вошел и Гаврила, снял с головы котелок и раскланялся на все стороны.

Это был совсем еще безусый юноша. Одетый безукоризненно, в новую пару и желтые ботинки, в белоснежных воротничках и цветном галстуке, — он казался благовоспитанным маменькиным сынком, закормленным сладостями, скромным, милым мальчиком, который всегда послушен родителям и наставникам.

— Гавр-рила! — радостно заорали огарки и раскатились оглушительным смехом. — С икрой? С вишневкой? С рябиновкой? Все как следует?

— Все как следует! — тоненьким скромным голоском отвечал Гаврила. — Урвал деньжонок у мамаши, а где же мне и порезвиться-то, как не у вас!

— Верно! Где тебе более занятную компанию найти?

— Я Илюшу больно люблю! — продолжал Гаврила, пожимая руки огаркам. — Он ведь мой учитель! Через него я на весь мир другими глазами стал смотреть!.. Ну, и прочих тоже... Души у вас хорошие, вольные... Ах

да! — хлопнул юноша по лбу себя. — Ведь я только вино взял, а водки позабыл! Послать, что ли?

Он был порядочно пьян.

— Конечно, послать! — загудели огарки. — Водка — это самое главное!

Гаврила вынул пятирублевку и, сунув ее Новгородцу, сказал:

— Тащи бутылку!

Новгородец устремился.

Скоро непокрытый огарческий стол украсился бутылками вишневки, рябиновой, коньяку и самой изысканной закуской, среди которой главное место занимала свежая зернистая икра в очень большом количестве.

Огарки весело галдели. Пробки хлопали.

В дверях появился Новгородец с четвертью вместо бутылки.

— Я уж четверть взял-то, — простодушно заявил он, — чтобы зря-то не бегать-то!

— Странная вещь! — продолжал Толстый. — Как все глупо на свете: у кого есть деньги, тот не умеет делать из них надлежащего употребления, а вот тут люди и знали бы, и умели — денег нет!

— Кабы нам да деньги, — гремели огарки, — мы бы устроили на лужайке детский крик!..

— Как бы нам-то да капиталы-то. Ого! — слышался голос Новгородца. — Мы бы знали! Мы бы умели!

— Индю-чок!

Огарки галдели...

Все они сидели обычной группой за столом, уставленным бутылками, и предавались чревоугодию. Звенели стаканы, хлопали пробки. То и дело раскатывался хохот.

Во время одного из раскатов смеха от порога длинного и полутемного „вертепа Венеры погребальной“ раздался необыкновенно густой, мрачный бас:

— Приветствую пир во время холеры!..

— Ба! — закричали огарки. — Северовостоков! Степка-Балбес! Доброгласная труба господня!

— ...Жажду принять в нем участие! — трубил Северовостоков, подходя к столу и появляясь на пространстве, освещенном лампой.

Это был высокий, ширококостный, плечистый человек, страшно худой, истомленный, но необыкновенно жилистый, казавшийся скованным из железа. От него веяло тяжестью и силой.

Он состоял только из крупных, словно мамонтовых, костей, смуглой кожи и стальных сухожилий.

Голова его казалась громадной от целой охапки густых и длинных черных кудрей, гордо запрокинутых назад и открывавших прекрасный „шекспировский“ лоб. Лицо было огромное, с крупными энергичными чертами, обрамленное темной бородой. Эта голова была утверждена на могучем, словно дубовом, стволе длинной, крепкой шеи, в которой чувствовалась страшная физическая сила. Шея незаметно переходила в пологие огромные плечи, по которым поверх пиджака выпущен был широкий ворот голубой атласной рубашки, завязанный толстым шелковым шнурком с голубыми кистями.

Пиджак, надетый прямо на эту франтовскую, оригинального покроя рубашку, заправленную в брюки, был распахнут и обнаруживал гибкий богатырский стан, туго перетянутый широким кожаным поясом.

Когда эта фигура уместилась за стол между Соколом и Толстым, то даже среди здоровяков показалась вышедшей из богатырского века.

— Промочи хайло-то! — сказали ему огарки. — Надоело, чай, аллилуиию-то тянуть!

— Дайте ковшичек — выпью! — прогудел Северовостоков, усаживаясь. — Колена моя изнемогоста от поста, всенощная длинная была: Гуряшка служил и чуть языком ворочал, пьян был . . . еле можаху . . .

— Хо-хо-хо! Это архирей-то?

— Ну да, Гуряшка . . . У нас это зачастую бывает: архирей пьян, протодьякон пьян, регент пьян и хор весь пьян: вся обедня пьяная!

— И ничего — поете?

— Поем!

— Хо-хо-хо!

Пискра подал ему железный ковш, которым Павлиха обыкновенно черпала воду. В этот ковш архиерейскому басу налили водки, и он выпил ее, как воду.

— Многовато я пью ее, проклятой! — сказал он, мощно крякнув и вытирая усы.

— Средне! — ввернул Толстый.

— Да он как будто и пришел-то тепленький?

— Есть! — рокочущей октавой признался бас. — С нынешнего дня разрешил я . . . С полгода ничего не пил . . . а нынче и за всенощной пил, мы ведь всенощную поем на эстраде, позади клироса устроена, — сел я — ножки калачиком — на пол, кругом хор стоит — не ви-

дать меня народу-то: сижу с бутылкой, пью и пою октавой: „К тихому пристанищу притек, вопию ти“ . . .

— Хо-хо-хо! И в ноты не глядишь?

— Чего в них глядеть-то? С детства пою: не умом живем, а глоткой! . .

Огромное, мужественное лицо его с ввалившимися щеками, изрезанное, как шрамами, трагическими морщинами, носило следы исключительных страданий, пламенных душевных мук, еще и теперь не совсем угасших. Из ввалившихся орбит печально смотрели большие темно-карие глаза: суровые, добрые и глубокие, эти глаза таили в своей глубине мрачно тлеющий огонь.

Смотря на исстрадавшееся лицо Северовостокова, трудно было решить, сколько ему лет: можно было дать и сорок, и двадцать восемь . . .

— Хайло у тебя, Степан, завидное!

— Шляпа пролезет! — говорили огарки, смачно выпивая.

— Еще бы! — подтвердил Толстый. — Я как-то недавно пьянствовал с их регентом Спиридоном Косым и отцами дьяконами, так они говорят, что сам Гурьяшка на его горло не нарадуется: никто, говорит, так „облачения“ спеть не может, как Степка-Балбес, хоша и пьян, говорит, всегда, но облачает меня торжественно! — так Гурьяшка выразился. Давно бы, говорит, я его протодьяконом сделал, голоштанника, да за поведение-то у него единица значится, у свиньи гадаринской, — так добавил преосвященный!

— Хо-хо-хо!

Северовостоков улыбнулся.

И эта улыбка, светлая, удивительно добродушная, вдруг осветила его мрачное лицо, а из глубоко ввалившихся печальных глаз неожиданно глянула доверчивая детская душа. И только после этой улыбки можно было рассмотреть и убедиться, что ему не больше тридцати лет, а может быть — и меньше.

— Да! — прогудел он. — Уж Гурий меня призвал к себе: „Зачем, говорит, погибаешь в пианстве?“ А я ему: „В бездне греховней валяяси, неисследную твоего милосердия призываю бездну!“

— Недурной каламбур! — похвалил Толстый.

— Всю жизнь из-за этого кола страдаю, — продолжал певчий, — никуда не принимают . . . Так и остался на клиросе . . .

— За что же тебе единицу-то? — пропищал уже забытый всеми Гаврила.

— А за мальчишество за мое: увлекся нигилизмом, а наипаче того в кулачных боях отличался, и еще я любил по ночам на пустырях купцов пугать: едет купец в коляске на вороном рысаке, сейчас это подкараулишь, схватишь лошадь под уздцы, скажешь: „Стой“, — лошадь-то и присядет на задние ноги. Тут подойдешь к нему, вежливо шляпу приподнимаешь: „Позвольте от вашей папироски прикурить!“ — „Как? Что? Пошел прочь! Трогай!“ Кучер тронет, а я опять лошадь остановлю, нажмешь плечом на оглоблю — дуга-то и распряжется. Тогда опять подходишь: „Позвольте прикурить!“ Делать нечего . . . Кругом пустырь, безлюдье, ночь . . . Затрясется и даст прикурить.

— Го-го-го!

— А выгнали-то меня из шестого класса семинарии из-за пустого случая. Поднимался я от Волги на гору по Заводской улице . . . Спуск там крутой. Лез я, лез по мостовой. Только выбрался на гору, перевел дух и крякнул. И как раз в эту пору из-за угла губернаторская карета с губернаторской дочкой . . . Лошади-то испугались меня и понесли . . . Дочка — в обморок. Выгнали.

— Хо-хо-хо! Не крякай! . .

— И выгнали-то как раз перед экзаменами, весной. Поехал я тогда к отцу, — в селе он у меня дьяконом, и сейчас жив. Открылся я ему. Погоревал, поругался старик и обошелся было: не клином же свет . . . Единицу-то я скрыл. „Поедем, говорит, рыбачить за реку“. Запрягли лошадь, поехали. Выбрали место, телегу на берегу поставили, лошадь пустили на траву. Сами наладили удилища, сидим рядком, удим.

И зашел у нас спор о философии. Я как начал, по мальчишеству моему, выкладывать ему Конта да Канта, Шопенгауэра да Декарта, всю мою скороспелую ученость, бога-то у меня и не оказалось . . . А старик озверел. „Так ты, говорит, этак?“ — „Этак, мол!“ — „Прочь, говорит, с глаз моих долой, в одной и телеге-то с тобой не поеду!“ — А я ему: „Баба с возу — мерину легче!“ — „Я, говорит, любил тебя, черта!“ А я ему: „Полюби лучше коневу маму — она принесет тебе и-го-го“. Разговор вышел громкий: голосище у него куда здоровей моего, вся и рыба-то на дно ушла, все птицы попрятались. „Отвечай, орет, есть бог?“ — „Нет!“ Тут он как вскочит да как схватит меня за жабры, поднял на воз-

дух одной рукой да и шваркнул оземь. „Муж язычен не исправится на земли". Пролетел я под телегу, треснулся башкой об землю — инда огни из глаз посыпались. Потом вылезаю из-под телеги, гляжу на колесо и говорю ему: „А угоди я башкой об колесо — разлетелась бы в черепки башка-то!" И он уж испугался, злость прошла, шепчет: „Слава богу, что не об колесо!" Тут я ему: „Ну, счастлив твой бог, что я ногами-то земли не достал, а то быть бы тебе в реке!"

— Переговорили о боге!

— Хо-хо-хо!

— На какое же чудовище похож твой батька, коли с тобой под силу ему так обращаться?

— Я перед ним плюгав и тонок, как дягиль: он толщины необъятной да и ростом повыше...

— Да!.. выходит, что захудал ты, Степка-Балбес, не можешь иметь толщины!..

— Ого! не может! Пусти-ка его на хорошую-то жизнь, что из него получится?

И огарки звучно расхохотались при одной мысли о том, что получится из Степана-Балбеса, если „пустить" его на хорошую жизнь.

— Сила у нас в роду! — гудел Северовостоков. — Мой младший братишка Николька так даже в беду недавно попал. Поет он теперь в Киеве, в Софийском соборе... Ну, подрались там между собой в трактире два баса, товарищи его: взяли каждый по гире и лупят друг друга гирями. Ну, он и подошел их разнять: схватил их обоих за шиворот да и стукнул друг об дружку лбами — их в больницу и отвезли! Вот ведь какой неосторожный народ!

— А чем у вас тогда кончилась драка с отцом?

— С отцом? Сели опять рыбачить. Только все-таки я скоро уехал и с тех пор не был у него... лет десять... Жалуется он постоянно в письмах: „Все сыны мои бродят по белому свету, и не вышло толку ни из одного: все из духовного звания вырвались, не хотят!" Молчали мы с ним тогда с неделю. Только когда уж собрался я уезжать, спрашивает: „Что будешь делать?" — „В актеры, говорю, уйду!" Ну, тут опять ссора вышла. „Врешь, говорит, не уйдешь! А уйдешь — воротишься: кровь заговорит! Нельзя уходить из духовного рода! Наш-то род, говорит, еще из Византии пришел! Еще при Владимире Красном Солнышке наши-то предки духовными были! Сила-то наша тысячу лет копилась, отвердела,

окаменела она!“ И разное такое понес. „Держись, говорит, ближе к храму!“ Я его и спросил: „Куда же мне девать силу мою, во храме-то, коли мне ее тысячу лет мои предки копили?“ Ну, в оперном хоре мне все-таки действительно скоро петь прискучило! .. Возненавидел лукавствующих и нечестивых!

Огарки на минуту задумались.

Пискра вновь наполнил стаканы для фракции и ковш для Северовостокова.

Толстый встал в позу, поставил одну ногу в опорке на табурет, подбоченился и поднял в руке чайный стакан рябиновой.

— Милостивые государи! — театральным тоном провозгласил он, обводя всех вдохновенным взором. — И милостивые государыни! — галантно кивнул он Павлихе, стоявшей у печки. — Па-аз-вольте в краткой, но беспристрастной форме сообщить вам д-духх и направление... современной деф-фи-ми-ции! Пауперизм, происшедший от аномальных элементов нашей современной культурной изолированной расы, и цинизм принципов, лик-то-фи-руя авторитеты симптомов парадоксальной иллюзии, игнорирует, так с-сказать, теорию самобытности и абстрактного бытия человечества и индивидуумов!

Скажу проще: мы — огарки, дети бедняков, дьяконов, мастеров, дворовых людей, дети крестьян, ку-хар-ки-ны дети, черт возьми! Мы — олицетворение пауперизма! Цинизм принципов нашего голоштанного существования сов-вер-шен-но игнорирует все абстрактные теории, так же как и теория игнорирует нас! Она — не предусмат-р-ривает нашего бытия в подонках культурной изолированной расы, а культурная раса даже ощутила бы некое торжество справедливости, если бы с поверхности земного шара исчезли такие индивидуумы, какими являются огарки! Но в жилах наших течет кровь народа, здоровая кровь трудящегося класса! В душе нашей живет вековая любовь к несправедливо обиженной и молчаливо прощающей деревне, природе, земле! Жизнь вырвала, вырвала оттуда нас с детства и бросила в этот „вертеп Венеры погребальной“, где сидим мы, как греки под березой, не получая со стола жизненного пира ни гусиной шеи! О, проклятая деффимиция! Что она такое? На каких зверей похожа? Она давит и душит нас, обрекая на гибель от голода и пьянства!

Но — клянусь, мы не погибнем! мы — не сопьемся!

Пусть культурная изо-ли-рован-ная раса считает нас

илотами, огарками — пусть! Время покажет цену каждого! Жизнь, как математика, всегда верна самой себе и всегда беспощадна! Пробьет час — изолированные потерпят неизбежную кару за свою изолированность и со скорбью в сердце узнают кузькину мать, узнают, чему равняется квадратура круга и где зимуют раки!

Господа! Мы находимся на границе босячества — да! Но мы не пойдем в босяки, мы будем добиваться ответа у жизни, чтобы узнать, где же, наконец, наше место в природе? И — я уверен — она укажет нам его, не в отбросах общества — нет! напротив, снизу поднимемся мы на самый гребень волны и, быть может, еще скажем свое огарческое слово! Придет время, и все огарки воспрянут и соберутся вместе! Тогда и мы найдем себе поле, и поднимем свое знамя, и будем держать его твердо!

— Есть еще порох в пороховницах! — заорал Толстый, патетически указывая на бутылки. — Переведаемся!

Он запрокинул голову и, не меняя своей картинной театральной позы, выпил свой стакан.

Из-за стола вскочил Михельсон, побежал в соседнюю темную комнату и вынес оттуда народные волжские гусли, формой своей напоминавшие шляпу Наполеона. Они были некрашеные, грубой работы, только стальные колки были сделаны и отполированы изящно, очевидно любящей рукой артиста слесаря — вероятно, самого Михельсона, — да трещина на верхней деке была скреплена медным изображением какой-то фантастической птицы, похожей на ту, которую боялся Гаврила; птица была сделана тоже очень хорошо. Края верхней деки были еще разрисованы кем-то, а над рисунками крупной славянской вязью был написан какой-то афоризм.

Северовостоков вытянул длинную ручищу, подхватил гусли и начал налаживать струны. Близко к нему подсел Михельсон. Кругом в разнообразных позах пили огарки.

— Заводи! — прогудел певчий слесарю и взял нежный бархатный аккорд.

Огарки затихли.

Михельсон сидел, съежившись, около гуслей, взял в горсть длинный клин своей бороды, закрыл глаза и запел.

Гусли вторили ему.

У него был небольшой тихий тенор, необыкновенно приятного тембра, чистый, светло-серебристый, с бари-

тонными нижними тонами, звучавшими в его груди как-то особенно бархатисто.

В саду ягода лесная
Приукрытая спела! .. —

пропел он нежно, печально и спокойно, как бы рассказывая что-то эпическое и уже обещая драму.

А княгиня молодая
С князем в тереме жила! .. —

густо подхватили огарки знакомую, любимую песню . . .

Все звуки поглощала темная глухая октава Северовостокова. Он брал медленные стройные аккорды на певучих струнах и пел осторожно, сдерживая колоссальный голос до полушепота, он как бы мурлыкал себе под нос, и все-таки казалось, что где-то по темной каменной лестнице катится в „вертеп Венеры погребальной" огромная пустая бочка.

Как у князя был Ванюша,
Кудреватый, молодой . . . —

нежно и задушевно звенел бархатный тенор. Нежно и певуче говорили за ним гусельные струны.

Ванька ключник, злой разлучник —
Разлучил князя с женой . . . —

ответил огарческий хор, накрытый отдаленным гудением расплывающейся, как туча, глухой тяжелой октавы.

Эта старая песня свежа и поэтична: она полна веянием грустной легенды. Представляется мрачный старинный терем с низкими сводчатыми потолками, с маленькими слюдовыми окнами, гордо и мрачно стоящий среди княжеских полей и лесов . . . В нем живет молодая княгиня, тайно любящая „кудреватого" ключника . . . Старая грустная песня.

Князь дознался-догадался,
Посадил Ваню в тюрьму . . .

Князь хочет вырвать у него признание. Он говорит:

Гей вы, слуги мои, слуги,
Слуги верные мои,
Вы подите — приведите
Ваньку ключника ко мне!

Голос запевалы взвивается высоко, звонко и размашисто:

Ой, ведут-ведут Ванюшу!
Ветер кудри Вани вьет...

И Ваня перед смертью своей жестоко вонзает в сердце врага роковую правду:

Целовала-миловала!
Называла „милый мой“!
Вместе спать с собою клала...

Льется все тот же мотив, эпически простой, печальный, оплакивающий. Глухо, как отдаленная гроза, плывет неясная октава.

Как повесили Ванюшу
На пеньковой на петле!.. —

повествует тенор.

Огарки любили эту песню: она будила в их душе что-то глубокое, родное.

А княгиня молодая
Умирает на ноже... —

размашисто откликнулись они запевале.

Но Толстый, раскрасневшийся от вина, уже не был способен к лиризму; его распирало от веселости, ему хотелось озорства.

Все вертится на ноже!.. —

радостно пел он в неуместном восторге. Со стаканом в руке, с веселой и озорной улыбкой на румяных губах, он тотчас же запел новую песню, беспечную, веселую...

Аристотель мудрый,
Древний философ...

Гусляр и хор подхватили:

Пропил панталоны
За сивухи штоф!

Голоса у Толстого не было никакого, но пел он задорно, остроумно и великолепно декламируя:

Цезарь — сын отваги
И Помпей-герой...

Хор грянул:

Пропивали шпаги
Тою же ценой!..

Толстый царил... Толстый дирижировал. Морда его то сжималась в кулак, то снова разжималась...

Папа Пий Девятый
И Десятый Лев...

Хор не давал ему докончить и, чокаясь между собой, пел:

Пили доппель-кюммель
И ласкали дев!..

Толстый всех уверял:

Даже перед громом
Пьет Илья-пророк...

Хор добавил:

Гоголь-моголь с ромом
Или чистый грог!

Все уже постукивали каблуками и кулаками. Глаза огарков сверкали, щеки горели. Тогда гусляр как-то особенно забористо ударил в струны.

Чарочки по столику похаживают,
Пьяницы бородушки поглаживают! —

звонко запел Михельсон, поглаживая бороду. Толстоголовый Новгородец тоже демонстративно теребил рыжий клок на своем подбородке.

— Толстоголовый! Лезгинку! — кричали другие.

На середину комнаты выскочил пьяный Новгородец. Гусляр заиграл лезгинку.

Новгородец пустился танцевать. Огарки мерно хлопали в ладони. Лица их были серьезны.

Толстоголовый танцевал безобразно. Видно было, что о лезгинке он не имел понятия, и почему ее любил — оставалось тайной.

Он был смешно пьян, телодвижения выходили у него

преднамеренными, заранее обдуманными, неудачными, и вся тощая фигура его — в синей блузе, подпоясанной ремнем от чемодана, в традиционных огарческих обрезках, с толстой стриженой головой и близорукими глазами в очках — очень мало шла к лезгинке.

Он кончил тем, что подбросил с ноги к потолку свой стоптанный обрезок.

Огарки расхохотались.

После него выскочил на середину комнаты Сашка.

Он сбросил пиджак, ухарски топнул ногой и закричал:

— Гопака!

Раздались подмывающие отчаянные звуки запорожского танца.

— Выходи! — вызывающе крикнул Сашка Толстому.

Толстый медленно вышел из-за стола и встал против Сашки. Он был живописен в своих необъятных штанах запорожца, с расстегнутой грудью, в мягкой тюбетейке с черной длинной кистью на макушке и огарческих опорках.

— Жарь! — сказал он Сашке.

Сашка „пустил дробь".

Он плясал залихватски, отчаянно, весь отдаваясь пляске и любуясь на свои сапоги, со всеми приемами и коленцами пляшущего мастерового.

— Ах, собака, что делает! — одобряли пляску зрители. — Землю ест!

Гусли звенели.

Но когда Сашка, запыхавшись и тяжело дыша, встал на свое место, Толстый с первых же движений уничтожил противника. Начал он с того, что сделал грациозный прыжок балерины и, встав на носки своих опорок, послал на обе стороны воздушные поцелуи „публике". Лицо его в это время изобразило „очаровательную" улыбку. Потом он сделал фривольное „па" и вдруг могуче топнул, подбросил к потолку опорок, опять попал в него ногой, упал спиной на пол, перекувыркнулся через голову, вскочил, разбежался, высоко и легко подпрыгнул и только тогда уже пустился в могучую запорожскую „присядку".

Эта пляска сотрясла всю комнату, заставила плясать стол и стулья, со стола с громом повалились на пол бутылки, половицы пола заходили, как клавиши, а Толстый все плясал, плясал, плясал, все сильней, все отчаяннее, увлекательнее, вдохновеннее. Черная кисть на

его феске на бритой голове извивалась и тоже плясала, напоминая чуб запорожца, и весь он, неистовый и мощный, в своем диком веселье напоминал далекие разгульные времена Запорожской Сечи.

„Гопак“ звенел...

III

Так жили огарки, и так заканчивался для них каждый приезд Гаврилы.

Его появление в „вертепе Венеры погребальной“ было для них праздником пьянства и обжорства. Они „нажимали ему на брюшко“, и Гаврила „давал сок“. Все привезенное им выпивалось и съедалось тотчас же: на другой день уже нечем было опохмелиться, а через несколько дней опять все сидели на „одной картошке“.

Половина огарков по различным причинам всегда лежала без дела, а тот, кто сколько-нибудь зарабатывал, все отдавал Павлихе на содержание всей фракции.

Сашка и Толстый жили грошовыми уроками, Новгородец случайной перепиской. Пискра брался за все.

Главным фондом был труд Михельсона, каждую субботу приносившего семь рублей. Иногда в ожидании этих рублей огарки голодали дня по два. Мучения голода они старались заглушить в себе остротами над собой и, увеселяя себя, хохотали обычным своим смехом.

Когда наконец на закате солнца являлся Михельсон и приносил так мучительно и нетерпеливо ожидаемый заработок, следовал быстрый, лихорадочный ужин, приправленный всегда свежим остроумием.

Но по утолении голода огарки начинали скучать.

Им становилось тесно и душно сидеть в „вертепе Венеры погребальной“, хотелось каких-нибудь впечатлений, хотелось куда-то пойти, но пойти было некуда, кроме общественного сада на берегу Волги.

И они ходили в сад.

Огарки ненавидели это место общественного гулянья, где, казалось, каждый куст был засален и захватан „публикой“, но тем не менее, томимые скукой, оторванностью от жизни и однообразием своего отброшенного существования, ходили туда каждый вечер.

Там они прятались от людей в темной поперечной аллее, где почти всегда никого не было, садились все в ряд на длинную скамейку и слушали музыку струнного

оркестра, звуки которого мягко доносились к ним с вышки курзала.

Они не знали названий пьес, исполняемых оркестром, но многое из его репертуара слушали в сотый раз и знали мелодию наизусть.

И была у них любимая пьеса, так же как и прочие, неизвестная им, которую они называли „прорезающая".

Каждый вечер дожидались они, когда оркестр заиграет ее, и упивались чьей-то удивительной музыкой.

Иногда они выходили из своей аллеи к курзалу, где на веранде, за столиками, накрытыми белой скатертью, пила и ела разодетая чистая публика, а мимо по главной, ярко освещенной электричеством аллее медленно двигалась густая толпа гуляющих, такая же чистая, нарядная, затянутая и шуршащая, как и та, которая ела на веранде.

И огарки становились в ряд, как раз против веранды, наполненной ужинающими, и лицом к лицу с бесконечной вереницей гуляющей нарядной толпы.

Прислонясь к фонарному столбу или изгороди, долго и угрюмо смотрели они на все происходившее перед их глазами и стояли как укоризненные, голодные тени.

Всматриваясь в мелькающие физиономии толпы, они словно хотели узнать, чем эти люди, прилично одетые, имеющие деньги, жен, счастье, выше и лучше их, огарков, ничего из благ жизни не имеющих.

И все эти без конца сменявшиеся лица сливались наконец в их глазах в одну огромную, скверную, скотскую рожу, безобразно самодовольную, низменную и неприхотливую, поразительно ко всему равнодушную, не слышащую за своим гвалтом чудной музыки.

И огарки чувствовали себя выше толпы.

Им казалось, что если бы они когда-нибудь попали в это общество, живущее в роскошных квартирах, где звучат струны рояля, где женщины красивы, образованны, нежны и выхоленны, то непременно были бы там интереснее других, умнее, остроумнее, лучше всех. Но они презирают это общество. Они там издевались бы.

Презирая сытую толпу, огарки все-таки с завистью смотрели на еду сидящих на веранде, на рюмки, на бутылки, на золотистое пенистое пиво.

Если в этот момент в гуляющей толпе мелькал высокий Митяга в своем новом картузе, — Сашка, как самый дерзкий из огарков, открывал на него охоту: выждав, когда Митяга доходил до конца аллеи, Сашка внезапно

появлялся из-за куста и, не говоря ни слова, срывал с головы Митяги знаменитый картуз, подбитый красными убеждениями.

— Дав сюда пол-лика! — говорил он Митяге, держа картуз за спиной.

Чтобы скорее отвязаться от огарка, скупой Митяга, растерявшийся и негодующий, ворча ругательства, быстро вынимал кошелек и вносил выкуп за свои убеждения.

С пол-ликом огарки отправлялись в дешевую, грязную пивную Капитошки.

Там, за пятью бутылками пива, они давали волю своему сарказму. В душе их поднималась бессознательная едкая горечь, обида и отчаяние, но выливалось все это в крепкое, ядреное остроумие и бесшабашную удаль, — они словно хотели сказать кому-то: „Вы считаете нас пьяницами, кабацкими личностями, ну так вот смотрите: мы действительно такие, думайте о нас именно так, — нам на это наплевать!"

Толстый сыпал самыми неожиданными сравнениями, меткими убийственными словечками, и фракция топила свою горечь в громозвучном смехе, а тоску — в пиве.

Знакомство огарков с Павлихой началось еще в первые дни появления их в городе, когда они бродили в одиночку в поисках работы, как голодные собаки. Можно сказать, что цементом фракции была Павлиха.

Один по одному, по какой-то роковой случайности, собрались они в ее „вертепе" — голодные, грязные, измученные.

Квартирная хозяйка, у которой столовались рабочие из мастерских, она каждого из них обласкала, накормила, словно не замечая того, как они опустились.

Она так славно улыбалась каждому новоприбывшему, как будто бы невесть какой клад к ней свалился.

У нее была незлобивая, детски доверчивая душа. Всю жизнь от рождения до старости судьба жестоко била Павлиху, словно насмехалась над ней, а Павлиха так и не озлобилась на судьбу, продолжая быть преисполненной доброты и того сердечного жаления людей, которым отличаются деревенские женщины.

Из ее отрывочных, бессвязных упоминаний о прошлом огарки знали, что Павлиха два раза была замужем, похоронила обоих мужей и осталась нищенствовать с тремя детьми: двумя девочками и мальчиком. Была прач-

кой, служила в няньках, торговала воблой и ягодами, ходила с лотком по улицам города с раннего утра до поздней ночи, выручая двугривенный на калач ребятишкам и себе. Казалось бы, что при таких плачевных обстоятельствах ничего не оставалось ей делать, как стонать и жаловаться, а всегда выходило так, что к ней же люди шли за утешением и помощью, и она находила в себе силы вселять упавшим духом веру в лучшее будущее. В ее кухню постоянно приходили кухарки, судомойки, няньки и горничные без мест, каждая со своим горем, выплакивали ей свои слезы, и Павлиха всех утешала.

— И-и, матушка! — слышался в таких случаях ее голос. — Всего горя не перегорюешь! Утрись-ка, родимая!

И начиналась поучительная повесть о собственном прошлом, о прежних и настоящих страданиях.

— Погляди-ка на меня; ведь живу же! — философски оканчивала свой рассказ Павлиха.

Дочери ее работали в швейной мастерской, а сын, о котором она всегда упоминала с гордостью, был машинистом и жил где-то в другом городе.

Огарков она любила не меньше, чем родных детей. В первое время жизни с Павлихой они долго недоумевали, за что она так матерински ласкова с ними, но потом убедились, что Павлиха со всеми обездоленными одинакова, что вместе с ними находили у нее приют и другие. Эти другие были — безработная прислуга, которую Павлиха умела устраивать. Иногда в ее кухне находила пристанище и горничная, забеременевшая от „чистенького господина“.

„Чистое общество“ было предметом старой огарческой ненависти: отбросы его потребления неизменно попадали к Павлихе и перед глазами огарков всегда была оборотная сторона „чистенькой жизни“.

Если в эти минуты приходил к ним Митяга — обращать к интеллигенции, то не было конца их желчным выходкам, скверным словам и жестоким шуткам.

— Женился бы ты лучше, Митяга! — возражали они на все его рассуждения.

— Жениться, — поучал их Митяга, — культурному человеку не так просто, как, например, мужику: надо сначала сойтись характером...

— Конечно, — желчно перебивал его Толстый, — вон у Павлихи беременная горничная живет: какой-то че-

ловек культурный сошелся с ней характером... Ты, Митя, напечатай объявление в газете: „Сходится характером! Согласен в отъезд“.

— Хо-хо-хо-хо! — гремела фракция.

Нравственный Митяга отплевывался, а огарки злорадно хохотали недобрым хохотом: слишком глубока была их затаенная, почти органическая, ненависть к „чистой публике“.

Иногда фракция огарков увеличивалась приезжими, бродячими огарками: это были рабочие вроде Михельсона, или разночинцы по разбору Новгородца, отправляемые в ссылку и возвращавшиеся из нее, или просто гонимые судьбой и беспокойством своих натур.

Каждый из них жил во „фракции“ несколько дней и затем исчезал навсегда. Появляясь, они приносили письма и вести от каких-то далеких огарческих друзей, разбросанных по различным окраинам России: приезжали с Кавказа и Крыма, из Украины и Польши. Путники эти были большею частью рваные, запыленные, обожженные солнцем.

Входя, они спрашивали Толстого и подавали ему измятое, засаленное в дороге письмо. Толстый с важностью кошевого атамана, развалясь на стуле и посасывая трубку, углублялся в чтение, а новоприбывший стоял перед ним под испытующими взорами огарков.

Толстый прочитывал письмо, задавал гостю несколько кратких вопросов о каких-то ему одному известных людях и затем уже торжественно „принимал“ его в „лоно“ фракции.

И гость с первых же слов оказывался чистокровнейшим „огарком“. Можно было думать, что на Руси огарков много, что „фракция“ эта существует во всех климатических поясах России: видно было, что огарки иногда сидят в тюрьмах и, выходя из них, отправляются в Сибирь и возвращаются из Сибири, имеют своих вожаков и атаманов, содержат своих безработных и всячески помогают друг другу, но проделывают все то самостоятельно, без особой организации и как бы тайно от интеллигенции. За внешне разгульной и непутевой огарческой жизнью чувствовалась другая, внутренняя жизнь, строго скрываемая, но полная значения для них.

И она, эта скрытая обособленная жизнь, только что зарождавшаяся в самом сердце рабочего класса, эта близость к рабочим и давала огаркам ту гордую само-

надеянность и чувство собственного достоинства, которые отличали их повсюду, среди всех людей.

Всем огаркам все-таки хотелось выбиться из „вертепа Венеры погребальной“. Они вечно мечтали об этом, строили планы, хватались за всякий удобный случай. Но удобные случаи почти всегда оказывались неудобными для огарков. Толстый давно уж был изгнан из богатого дома Гаврилы, которого он готовил было куда-то, и потерял ценный урок, поссорившись с его отцом: открылось, что по наущению Толстого Гаврила покупает запрещенные книги. Кузнец Сокол был выгнан с завода и уехал „в степь“. Остальные мечтали „податься на низовье“, „на Кубань“, где „вольные земли“, думая, что „там“ будет лучше; Северовостоков пил водку ковшом и ждал, не проедет ли мимо гастролирующая опера, чтобы „опять пошататься“.

На темной стене вертепа у них было единственное украшение — большая фотографическая карточка никому из них не известного города, снятого с птичьего полета: за городом до самого горизонта тянулась не то степь, не то пустыня, а под карточкой размашистым твердым почерком Ильи Толстого было подписано: „Вольные земли“.

В редкие минуты скуки, грусти и общего молчания они, сидя вокруг стола, иногда подолгу смотрели на этот неизвестный город, и лица их делались грустными, задумчивыми . . . Каждый думал о проклятом вездесущем гнете жизни и мечтал о вольной, свободной стороне, дороги в которую никто из них не знал . . .

В один из таких черных скучных дней, когда огаркам еще с утра нечего было есть, Толстому выпало небывалое счастье: через какое-то знакомство ему предложили урок на сто рублей в месяц „в отъезд“ в аристократическое семейство, уезжающее на все лето в свое родовое имение.

Фракция была в восторге. Толстый великодушно обещал взять сто рублей задатку и оставить его товарищам, а затем, „порезвясь“, „улететь в сияньи голубого дня“ „на солнышке покорячиться“. Нужно было только пойти представиться, условиться и взять задаток.

Вся фракция одевала Толстого: на него надели чистую парусиновую блузу, Северовостоков дал ему почти новые брюки, пояс, широкополую шляпу. Павлиха вымыла ему ноги, дала чистые портянки, а опорки вычи-

стила ваксой: в таком костюме Толстый выглядел внушительно.

— Облече бо тя в ризу спасения и одеждою веселия одей тя! — гудел певчий, одевая товарища.

— Ужгу я их блузой-то, — говорил Толстый самоуверенно.

— Ну, тоже и против таких опорков не всякое дамское сердце устоит!— любовалась им фракция.

— И брюки — к лицу!

— Адью!

Толстый сделал прыжок балерины, послал на обе стороны поцелуи и „улетел“, „как птичка“.

Через час он вернулся назад мрачнее тучи. Уже по лицу его было видно, что Толстый провалился.

— Все к черту, — бурчал он, переодеваясь в свой домашний костюм, то есть надевая феску и широкие штаны, — потерпел фиаско!

— Из-за чего же? — изумились огарки.

— Из-за фрака! Совсем было кончил разговор и сто рублей получил, как вдруг мне еще одно маленькое условие: „К обеду вы должны непременно во фраке выходить“ . . . Ну, я и отказался от урока.

Огарки прыснули.

— Да что же это ты?

Как ни зол был Толстый, но вся эта история представилась ему с комической стороны.

В феске набекрень, в запорожских штанах и опорках, он стал перед фракцией и начал оправдываться:

— Не могу я во фраке, господа! Во фраке я буду чувствовать себя, как Венера, выходящая из воды!

И Толстый представил Венеру.

Огарки захохотали.

— И фиговым листком буду закрываться!

И опять изобразил всей своей фигурой, сколь стыдливо он будет закрываться, если наденет фрак.

— Хо-хо-хо! — непрерывно ржали огарки над каждым его словом и телодвижением.

— Вот тебе и покорячился на солнышке!

— Улетел в сияньи голубого дня!

— В брюхе-то у всех ни гусиной шеи!

— Хо-хо-хо!

— Уж как жрать хочется! Кажись, топор бы съел!

— Топор не топор, а медный ключик перевариваю! — похвалился Толстый.

— В семь часов Михельсон придет! — уповающе воскликнул кто-то. — Денег принесет!

— В семь! С утра ничего не жрали, а теперь только пять! Вон в соборе ко всенощной ударили! Балбес, орать идешь?

— Иду! — прогудел Балбес, надевая шляпу. — Восхвалю бога моего, дондеже есмь!

— Хвали с голодным брюхом! Не пошлет ли господь тебе косушку? Небось Гуряшка-то будет служить сыт и пьян и нос в табаке?

— Не ядый ядущего да не осуждает! — басом изрек певчий. — И не пияй пиющего — такожде!

— Не пияй! — с тоской загудели огарки, поджимая животы.

Северовостоков ушел.

— Сходите хоть раз в церковь-то! — вмешалась Павлиха. — И я бы пошла! Некогда мне с вами, греховодниками, и богу-то помолиться!

Толстый хлопнул себя по лбу.

— Прекрасная мысль! — воскликнул он с пафосом. — Постоим до семи в соборе, послушаем, как Степка на клиросе горло дерет, подобно влюбленному ослу, — про еду-то и забудем!

— Идем! — согласилась фракция.

Все они отправились в собор: впереди шел Толстый с Павлихой под ручку, а за ними Сашка, Новгородец и Пискра.

Но в церкви всех их и даже Павлиху насмешил Толстый.

В громадном соборе при начале всенощной молящихся было мало. Голоса хора гулко перекатывались под высокими сводами, а все звуки подавлял мощный бас Северовостокова: он пел как артист, выразительно отчеканивая каждое слово.

Запоминались огаркам отдельные красивые слова.

Толстый встал впереди всех и так усердно молился, что ежеминутно клал земные поклоны, словно хотел ими заглушить плотские требования желудка. Но, опускаясь на колени и склоняясь к холодному каменному полу, он одним глазом выразительно глядел между своих ног на стоявшую позади и непривычную к церкви фракцию. Этот молчаливый, серьезный и внимательный глаз как бы заглядывал в их души, — сознавался в бессилии молитвы и словно хотел сказать: „А есть-то все-таки хочется!“

И чем сильнее молился искуситель, тем более уничтожал молитвенное настроение фракции. Улыбнулась даже Павлиха, „подбулавленная“ в черный новый платок.

Народу в соборе все прибавлялось, хор гремел, седой протодьякон внушительно ревел, на амвоне показался архиерей Гурий и благословил народ, а всю фракцию уже начал душить хохот, вызванный усердной, но безуспешной молитвой Толстого.

Наконец стало неприлично оставаться в церкви, и компания поспешила выйти.

Предаться религиозному настроению никому не удалось, зато все развеселились и, смеясь над Толстым, легче переносили голод.

Так прошло время до семи часов.

Едва они успели возвратиться домой, как пришел Михельсон с получкой за неделю.

Павлиха затопила печь, и голодающая фракция приняла участие в изготовлении ужина.

— Илюша! — доносился из кухни озабоченный голос Павлихи, хлопотавшей около печи. — Поди-ка погляди, так, что ли, я делаю?

Толстый имел откуда-то кулинарные познания, умел делать „коньяк“ из водки и сахара, а в денежные дни учил Павлиху стряпать какие-то особенные кушанья.

— Сейчас! — притворным голосом и в тон ей отвечал он, запуская в бездонный карман широчайших штанов пустую бутыль от водки и ловко вылезая со стола в окно.

Он исчез, как дух, сопровождаемый благодарными взорами молчаливой фракции.

Через пять минут Толстый возвратился тем же путем с наполненной бутылкой.

Как раз в этот момент Павлиха опять позвала его:

— Илюша! поди-ка, говорю, сюды!

Толстый отправился к ней.

— Вот так . . . а это . . . сюда . . . поставить на вольный дух . . . — глубокомысленно доносился его смакующий голос.

Когда Павлиха вошла в комнату с большой дымящейся миской в руках, она чуть не вскрикнула: все огарки с невинным видом озабоченно пили водку и жевали „плюм-пудинг“.

— И какой это леший спроворил? — возопила Павлиха, крепко поставив миску на стол и всплеснув ру-

ками. — Уж я сама у порога караулила! Ни одного пса бы из избы не выпустила!

Огарки глухо ржали с набитыми ртами.

— Ладно, ладно колесить-то тебе, гнусная старушонка, хромой велосипед, чертова перешница, старая карга! Небось и самой-то, старой ханже, выпить хочется?

Началась обычная сцена.

В самый разгар „выпрашивания пятиалтынного“ появилось новое лицо — художник Савоська.

Он был поразительно малого роста, почти пигмей, но сложен крепко.

Его костюм составляла измятая шляпенка, рубашка „фантазия“, коротенький пиджачок с жилетом и запачканные красками брюки, заправленные в высокие охотничьи сапоги. Физиономия Савоськи походила на лягушачью: широкий чувственный рот, выпученные рачьи глазки в очках и тоненькие жиденькие усишки, задорно закрученные кверху. В целом он был похож на фавна из детской сказки и на Кота в сапогах.

В одной руке Савоська держал под мышкой складной мольберт, а в другой — ящик с красками.

Художник несколько мгновений постоял у порога, укоризненно покачал своей круглой головенкой с отросшими до плеч прямыми серыми волосами и произнес каким-то уморительно важным квакающим тоном:

— О изверги рода человеческого! Доколе вы будете трескать винище и пивище?

Он поставил у порога атрибуты своего искусства и продолжал:

— Истинно говорю вам: не войдете вы в царствие небесное и не будете там вместе с херувимами восклицать: „Осанна!“ Ибо сказано: трудно пьяному сквозь игольное ухо пролезть! Что вы тратите свои молодые силы у дверей кабаков, грязных, прокопченных табачным дымом и людским неряшеством? Оглянитесь, бледнолицые братья мои! Посмотрите на меня: водка не искушает меня, ибо ужасные примеры перед моими глазами! Гнусен грязный вид рваного огарка, глаза его как у слепого, и мрачна душа его, как у слепого, и хочется плакать над ним и говорить: „Брат! вот дал бог тебе от рождения душу чистую — и что сделал ты с нею? Какой ответ дашь ты ему?“ — „Пропил, господи!“ — трясясь и стоная, ответишь ты . . . Братцы, поднесите рюмочку, с большого я похмелья и, кажется, избит был кем-то! — неожиданно заключил Савоська . . .

Быстро переменив тон, художник уже сидел за столом среди огарков и тянулся к рюмке.

Огарки смеялись.

— Откуда ты это, Савося, с такими сентенциями? — иронически спросил его Михельсон.

Савоська важно развалился на стуле, засунул руки в карманы брюк и, пережевывая „плюм-пудинг“, квакал:

— С этюдов . . . шатался по Жигулевским горам . . . а сюда привез полотно на выставку . . . целый месяц мазал . . . Шаркнул я, братцы, такую картинищу — ого! Угадайте сюжет!

— А чего тут угадывать? — вмешался Толстый. — Ведь ты давно собирался писать картину на тему: „Хам, насмехающийся над своим пьяным отцом Ноем“.

— Хо-хо-хо!

— А вот и нет! — возразил Савоська. — Такой неприличной сцены я писать не собирался! Я написал картину „Волки“.

— Это что же за картина?

— Это? — Савоська воодушевился. — Это — зимняя ночь в степи. Темное-темное беззвездное небо . . . темная даль . . . только зимняя холодная луна одним краешком освещает снежную равнину . . . снег такой чистый, влажный, холодный . . . и мгла ночная тоже написана холодными тонами. Холодно . . . грустно . . . одиноко . . . А на дороге стоит волк. Такой матерый, старый волчище . . . Худой, голодный. Он весь сжался в комок, согнулся и стоит, поджавши хвост, но щелкая зубами . . . Понимаете? Поджав-ши хвост, но щелкая зубами! . .

Савоська увлекся и, жестикулируя, изображал из себя волка. Огарки, улыбаясь, слушали и ели.

— „Хорошо теперь с овцами! — думает волк. — Живут они в теплой закуте, спят в теплом навозе, плодятся и едят теплый, готовый корм . . . Э! не беда, что их стригут, — шерсть опять отрастает, — что их караулят собаки, эти подлые твари, продавшиеся человеку за кусок хлеба, ведь овцы не нуждаются в свободе! Проклятые! Они не знают волчьей свободы, волчьих страданий! . . Они сыты! всегда сыты! О! так бы их всех и перерезал, впился бы острыми, как пила, зубами в глупое овечье горло, пил бы кровь и приговаривал: а! вы сыты! вы счастливы в вашем подлом навозе! подлые,

глупые, рабские твари!“ Так думал волк, поджавши хвост и щелкая зубами.

— Здорово! — одобряли огарки.

— Но вот он повел носом... чем-то пахнет... он видит: на снегу чернеет что-то... так... это падаль, почти занесенная снегом... Э!.. поедим хоть падали! А на горизонте мелькают парами огненные точки — волчьи глаза... слышен голодный вой... волк озирается... длинная мокрая шерсть встает на его хребте... Вот вдали мелькнул волчий силуэт... Э! придется поделиться...

Савоська щелкнул зубами.

— Вот моя картина! — торжественно воскликнул он.

— Рассказано хорошо, а вот как все это на картине — неизвестно... — поддразнил Михельсон.

— Э! — гордо квакнул Савоська. — Не знаете, что ли, вы мою кисть? Написано моим широким мазком... Да... Это, впрочем, не важно, как написано, — главное замысел, идея! Это — просто небольшой этюд, а у меня ведь пристрастие к большому полотну! Ты мне дай полотно в несколько сажен, тогда я шаркну картинищу! А может быть, что я совсем и не художник, а будущий великий диктатор? А может быть — поэт? Черт меня знает! Я не могу вполне отдаться живописи, она не увлекает меня! Мне вот хочется стихи писать; разные сказки и рассказы лезут в башку!

— Знаем! — со смехом прервали Савоську. — Из лягушиной жизни! Слышали!

— Или из быта африканских львов!

— Нет, в прошлый раз он хорошо рассказал „комариное заседание на болоте“.

— Хо-хо-хо!

— Э! — самодовольно квакнул Савоська. — Я не люблю людей, я люблю животных, насекомых, пресмыкающихся, птиц и зверей... Шатаясь по лесам и болотам, я подружился с ними, я знаю их душу, их мысли, жизнь и борьбу, любовь и маленькие звериные драмы... Я много могу о них рассказать!

— А ну расскажи что-нибудь... — лениво отозвались огарки, — из быта африканских львов...

После ужина они испытывали чувство неопределенной, знакомой тоски: денег не было, идти было некуда, делать нечего, все чувствовали, как давит их проклятый „вертеп Венеры погребальной“.

Огарки разбрелись по углам подземелья: кто при-

лег, кто сел на убогую постель, кто угрюмо слонялся из угла в угол.

Толстый сидел у стола и задумчиво сосал длинный чубук.

Пигмей поместился на полу, у ног его, облокотился на колено гиганта и, глядя ему в глаза, начал рассказывать.

Жестяная лампа слабо мерцала на столе, рождая в черном печальном подвале трепещущие, молчаливые тени, которые, вместе с неясными фигурами людей, словно прислушивались к звукам голоса почти одичавшего лесного человека.

— Э! — квакал он, улыбкой фавна раздирая лягушачий свой рот почти до ушей. — Как хороша африканская пустыня на закате солнца! Багряным шаром погружается солнце на горизонте в раскаленные волны песку, и молчит кругом великанша-пустыня. Только около крохотного оазиса, у маленькой вечно мутной лужицы, стоят высокие тонкие пальмы и, шевеля своими головками, с мольбой смотрят на небо... А небо?.. Безжалостно и жестоко вечно ясное небо пустыни!

Вот пробежало на водопой стадо хорошеньких антилоп... Темнеет. Становится прохладнее...

Савоська величественно протянул перед собой руку и продолжал, вдохновляясь:

— Подул сухум...

— Может быть, самум? — поправил из угла ядовитый тенор Михельсона.

— Рахат-лукум! — добавил кто-то.

Все засмеялись. Савоська пришел в бешенство.

— Не перебивайте меня, — крикнул он, — ну, самум, ну, что же из этого? Художник имеет право не знать географии! Ведь я же не был в Африке! Я напрягаю мою фантазию, когда переношу вас отсюда в Сахару, в быт и нравы африканских львов, а вы меня перебиваете! Не буду рассказывать!

— Ну, ну, Савоська, не ужжи!

Савоська с минуту помолчал. Гнев его отошел.

— Расскажу вам другое... О слоне... — примирительно начал он. — Огромный серый индийский слон тяжело ступал по дороге своими могучими лапами... На спине его колыхалась роскошная палатка, в палатке сидел принц с принцессой и детьми, а около головы слона сидел назойливый человечек с острым молоточком и пребольно постукивал слона по затылку. Слон давно уже

привык возить на себе принца и давно притерпелся к назойливому человечку, но сегодня ему было особенно грустно . . .

Дорога шла к старому тропическому лесу, о котором в душе слона еще хранились смутные детские воспоминания: он помнил, как еще маленьким слоненком взят был в этом привольном лесу, полном чудес, и с тех пор жизнь его полна несчастий: его приучили возить на спине палатку, ему постоянно стучали по голове острым молоточком . . .

Но лес, таинственный лес, внезапно пробудил в нем глубокую тоску по свободе, по веселому умному стаду свободных слонов.

Слон шагал по опушке леса и, хмуря брови, думал: „Э! неужели все слоны возят на себе принца? Неужели так-таки необходимо повиноваться этому ненавистному маленькому человечку, которого можно было бы сбросить самым легким ударом хобота? . . Как хорош лес! Как хорош лес! Э!“

Слон шагал через лесную поляну. Могучие деревья шумели под ветром; по гибким лианам лазили проворные обезьяны, дразнили его и убегали на верхушки леса; разноцветные попугаи висели на ветвях вниз головой и смеялись над ним.

Слон шагал и хмурил брови, палатка мерно покачивалась на его могучем хребте, а назойливый человечек все стучал ему по затылку острым молоточком, все стучал, все стучал . . .

— Вдр-руг . . . — Савоська опять величественно вытянул перед собой руку и восторженно продекламировал: — Из опушки леса на полянку вышел и остановился в изумлении прямо перед ним — молодой, прекрасный д-ди-кий б-бе-лый сл-лон! . .

— До белых слонов доврался! — не выдержал кто-то.

— Да не перебивайте же! — взмолился Савоська. — Иначе я ни одного рассказа не кончу! Ну вот, теперь надо опять что-нибудь новое! Поймите же, что ведь это — импровизация, экспромты! Я и сам не знаю, что и как расскажу и чем кончу! Ну, слушайте!

Э! Весело было в зверинце: старый хриплый оркестрион ревел на три версты кругом, день был праздничный, чистая публика гужом подходила к кассе, где продавал билеты армянин, хозяин зверинца, и двугривенные звонко сыпались в его шкатулку.

Весело было в зверинце: по бокам длинного сарая

стояли огромные железные клетки с четвероногими узниками, музыка гремела, а чистая публика гуляла, переходя от одной клетки к другой, и любовалась заключенными. Публику водил за собой толстый, рыжий немец и ломаным русским языком рекомендовал каждого зверя:

— Хорек! ошинь злёбни! воруит яицы!

— Руски вольк! кровожадни звер...

— Бури медведь!..

Молодой бурый медведь сидел в своей клетке на задних лапах, а одну из передних протягивал к зрителям; он просил сахару, но кто-то просунул ему сквозь решетку палку. Острая морда была грустна и добродушна.

— Американски павиан!

Несчастная чахоточная обезьяна, исхудалая, как скелет, съежившись в жалкий комок, кашляла за решеткой душераздирающим чахоточным кашлем и смотрела на людей человеческим страдальческим взглядом из глубоко ввалившихся орбит.

— Бенгальский тигр! — громче обыкновенного провозгласил немец, гордясь этим важным и опасным узником.

За решеткой безостановочно расхаживал взад и вперед великолепный бенгальский тигр. Шаги его были беззвучны, все движения полны эластичности и благородной грации. Зеленые глаза горели неугасимым гневом. Он с ненавистью и презрением скользнул по толпе своим загадочным, пламенным взглядом.

„Проклятые! — словно хотел он сказать им. — Проклятые! трусы! Ведь вас много, а я один! Отопри же клетку, и тогда открыто померяемся силами! О, как бы я бросился на вас! Каким фонтаном брызнула бы ваша подлая кровь из-под моих справедливых лап! О проклятые!“

Вдруг он внезапно, как молния, прыгнул в сторону зрителей, вцепился всеми четырьмя лапами в толстые железные прутья, выпустил огромные когти, затряс клетку и яростно заревел своим могучим, наводящим ужас голосом.

— Проклятые! — слышалось в этом ненавидящем реве. — Проклятые!..

Савоська стоял уже на ногах, потрясал кулаками в воздухе и, бледный, дрожа всем телом, сверкая глазами, повторял с глубокой, искренней ненавистью, от которой дрожал его голос:

— Проклятые! . .

В эту минуту Савоська совсем не был смешон: он захватил слушателей. Накопившаяся горечь, многолетние обиды и пламенная жажда мести звучали в его проклятиях.

Всем стало немножко жутко.

Жгучая сила ненависти изошла от его маленькой, трагикомической фигуры.

Он отдышался и, после всеобщего минутного молчания, продолжал более спокойно:

— Публика шарахнулась прочь. „Свят, свят, свят!“ — прошептал кто-то из толпы.

А вслед за смелым криком тигра стал бесноваться весь зверинец: все звери выли, ревели, рыкали, лаяли, визжали и яростно метались в клетках. За грозным шумом возмущенных зверей не слышно стало музыки.

Тогда раздался наконец голос льва. До этих пор он спал, положивши голову на лапы. Словно гром, прокатил голос царя по всему зверинцу, и все узники сразу смолкли, внимая царственному слову.

— Довольно! — гремело рыкание льва. — Замолчите! Не все же наши сидят за железной решеткой! Еще много есть тигров, барсов, львов и леопардов там, на воле! Замолчите же и не беспокойте меня! — сказал лев, вытянул передние лапы, опять положил на них свою косматую мощную голову и закрыл глаза.

Наступило глубокое молчание. Все невольно почувствовали бессознательный символизм Савоськиных рассказов.

— Савоська! — с важностью вымолвил Толстый. — У тебя есть несомненное перо!

— Наверное! — охотно согласился Савоська. — Я иногда и стихи пишу. Хотите — прочту!

— Валяй!

Савоська опять уселся у ног Толстого, облокотился на его колено и стал читать тихим, размеренным голосом:

Я не люблю, как вы, ничтожно и бесстрастно,
На время краткое, без траты чувств и сил,
Я пламенно любил, глубоко и несчастно —
    Безумно я любил.
Я весь был для нее, и от нее все было,
И вся моя душа стремилась к ней, любя,
Я воспевал ее . . . Она, смеясь, твердила:
    „Я не люблю тебя“.

Я звал забвение. Покорный воле рока,
Бесцельно я бродил с мятежною душой,
Но всюду и всегда, преследуя жестоко,
Она была со мной.
Я проклинал ее и с бешеною силой
Искал всесильного забвения в вине...
Но и в парах вина являлся образ милый
И улыбался мне.
И в редкие часы, когда, людей прощая,
Я снова их люблю, им отдаю себя,
Она является и шепчет, повторяя:
„Я не люблю тебя!"

Савоська вздохнул и еще раз горько прошептал:

Я не люблю тебя!

В эту минуту вошел Северовостоков, успевший после всенощной где-то выпить.

Он оглядел скучающую фракцию и покрутил головой.

— Эге! душа ваша — яко кожа! Что же вы тут сидите! Пойдемте в сад: сегодня вечер — благорастворение воздухов! А! Савоська, здравствуй!..

— В самом деле! — зашевелились огарки. — В сад! в сад! Чертова скучища здесь!

— Скверна квартира! — отозвался даже вечно безмолвный Пискра.

И они пошли в сад.

Там они сели все в ряд, на своей скамейке, в темной аллее, и погрузились в молчаливые думы. Весенняя ночь была теплая, черная, небо — почти без звезд. Сквозь ветви сияли огни курзала, и слышалось гудение „гуляющей" чистой публики.

— Проклятые! — все еще шептал Савоська, стискивая зубы.

Вдруг заиграл оркестр. Огарки насторожились.

То была „прорезающая".

На фоне плавно-густых, нежно-стройных звуков вдруг взвился вопль первой скрипки и уже не умолкал до конца пьесы. Скрипка пела и плакала, прорезая своим гибким голосом весь оркестр, словно вырвался голос ее из глубины души и запел о какой-то великой обиде, словно безвозвратно и непоправимо погибло что-то удивительно чистое, редкое и важное для всех. И скрипка, плача, требовала, чтобы весь оркестр остановился и выслушал ее... Но он мерно и стройно плыл, как плыла внизу спокойная Волга.

И огаркам казалось, что беспокойно прорезающая оркестр скрипка поет о неудачничестве, о лишних людях, об униженных и оскорбленных, о не замеченной никем, оклеветанной и растоптанной огарческой жизни. Затаив дыхание, бледнея и волнуясь, с трепещущим сердцем слушали они эту музыку.

— Черт возьми! — со вздохом вырвалось у кого-то из них.

— Хотя бы узнать как-нибудь, что это за вещь? В чем тут дело? Отчего она так забирает?

— Я знаю! Вспомнил! .. — прогудел в темноте голос Северовостокова. — Это — из „Риголетто“! Это — проклятие Риголетто!

Тогда все огарки хором прошептали:

— Проклятие Риголетто!

И задумались.

Они долго и мрачно молчали и все смотрели туда, где сквозь ветви аллей горели огни и гудела чистая публика.

— Проклятые! — стиснув зубы и грозя кому-то кулаком, шептал Савоська.

Осенью, с последними пароходами, Михельсон и Новгородец „подались на низовье“, „на вольные земли“; Сашка уехал в Сибирь искать счастья „на новых местах“, Митяга накопил денег и тоже уехал — за границу; Пискра смешно женился на русской бойкой мещаночке, „переменил квартиру“ и раззнакомился с огарками.

Зато возвратился Сокол, остались такие „столпы“ фракции, как Толстый и Северовостоков, и с ними стал жить Савоська, промышляя „по декораторской части“. Запил Небезызвестный и почти не расставался с ними.

Фракция начинала медленно падать и разрушаться, но жизнь ее все еще текла по-прежнему.

IV

Пришла зима.

В пивной Капитошки в зимний вечер набиралось много народу.

Капитошкино „заведение“ состояло всего из одной тесной и низкой комнаты, заставленной круглыми столи-

ками. За этими столиками сидели и пили пиво закоптелые фигуры рабочих с ближайшего завода, налево от двери помещалась стойка, на которой, в виде украшения, стоял маленький стеклянный аквариум с золотыми рыбками, а за стойкой сидел „сам Капитошка“ — буфетчик в русском стиле, толстый, в розовой рубашке навыпуск, в глухом черном жилете и высоких сапогах, степенный, деловитый, полный чувства собственного достоинства. Из „помещения“ были открыты двери в кухню с плитой, а за кухней виднелись апартаменты Капитошки, откуда по временам доносилось пенье канарейки.

В углу пивной, за большим круглым столом, сидели Толстый, Северовостоков, Савоська, Гаврила и фельетонист Небезызвестный. У фельетониста была типично литераторская наружность: длинные до плеч пушистые волосы, козлиная борода, бледное лицо с тонкими чертами и прекрасным открытым лбом.

В противоположность косматой шевелюре фигура его была хрупкая, небольшая, изящная. Разговаривая, он однообразным жестом помахивал перед собой правой маленькой, как у женщины, ручкой. Лет ему, казалось, за сорок.

Толстый к зиме отрастил густые кудри пепельного цвета и, по-прежнему тщательно выбритый, походил теперь на хорошего провинциального актера.

Перед всей компанией стояло уже с дюжину опустошенных бутылок пива.

Гаврила пил клюквенный квас, был совершенно трезв и очень серьезен. Он говорил:

— Да-с, господа! Этот спектакль и весь вообще литературный вечер в пользу общества трезвости устраиваю я, а не кто другой! Потому и приглашаю вас смело участвовать! Это, братцы, моя идейка! Я им покажу, как нужно устраивать литературные вечера, я так поставлю вечер, как еще не ставили до меня и не будут ставить после меня! Вы только послушайте, какая программа и сколько будет участвующих: во-первых — пьеса, во-вторых — чеховский водевиль, а не какое-нибудь старье, и в третьих — разнообразный дивертисмент: музыка, пение, чтение! . .

— Кто же участвующие?

— Участвующие? Пьесу будет играть железнодорожный кружок любителей, и в ней примут участие из нас только двое: я и Савоська. Савоська будет играть

еврея, а я сыграю пьяного. Чеховский водевиль, вроде монолога, сыграет Илюша, а вот на дивертисмент-то я и приглашаю вас всех! У нас приглашена уже известная певица Соловьева-Перелетова, будет читать один декламатор из адвокатов, Степан Северовостоков выступит соло с хором, да и господин Небезызвестный согласились прочитать своего „Илью Муромца“!

— Так в чем же теперь дело! В псевдонимах? — квакнул Савоська.

— Да, в псевдонимах! — задумчиво подтвердил Гаврила. — Не могу же я, антрепренер, выводить вас в качестве огарков: пусть думают, что вы какие-нибудь приезжие.

Взоры всех обратились к Толстому.

— Кто же лучше Илюшки выдумает? Ни у кого нет таких слов, как у него. Выдумывай, Толстый! — гудела фракция.

Толстый побарабанил пальцами по столу.

— Что ж тут выдумывать? — возразил он. — Кто еще, кроме нас, участвует в дивертисменте?

— Один частный поверенный, ходатай по делам...

— Ну, вот и пиши так: при благосклонном участии адвоката Ходатай-Карманова, литератора Сам-Друг-Наливайко, певца Степана Балбесова, а сам подпишись: антрепренер и распорядитель Плач-Гаврилин.

Все засмеялись.

— Почему же „Плач“? — спросил Гаврила, невольно улыбаясь и все-таки записывая в книжку „псевдонимы“.

— Да ведь ты же всегда плачешь, когда бываешь пьян!

— Верно! — согласился антрепренер. — Потому я и перешел на квас...

— Как вы себя чувствуете на квасу? — галантно спросил его Небезызвестный.

— Отлично! — отвечал Гаврила. — Я первый раз в жизни отведал этот напиток.

— Неужели, братцы, у него это квасопийство сделается хроническим?

— Ну вот еще! — возразил Толстый. — С какой стати? Вот, бог даст, проводим литературный вечер, и тогда... опять...

Он запнулся, подыскивая словцо позабористее.

— Опять... как-нибудь его... встр-ретим!

— Ну, нет, не встретите! — нервно воскликнул Гаврила. — Для меня этот литературный вечер — важное

дело; после него я поднимусь... и брошу пьяную жизнь!..

— Дай бог! — со вздохом пожелал Толстый.

— Ну, а тебя-то как записать? — спросил Гаврила, тыкая карандашом Толстому в брюхо.

— Меня?

Толстый задумался.

Потом тряхнул кудрявыми волосами, сказал, раздув ноздри:

— Пиши меня крупными буквами: известный артист Казбар-Чаплинский, проездом из Петербурга в Сибирь...

Дружный взрыв огарческого смеха покрыл его слова.

Дверь с улицы отворилась, впустила целое облако холодного воздуха, а из облака выделился и подошел к огаркам кузнец Сокол.

Он был все такой же, как и летом, сильный, черный, в меховом пиджаке и высоких сапогах. Только смуглое лицо его стало еще чернее и худее, а черные глаза горели мрачной печалью.

— Здравствуйте, хлопцы! — звучно сказал он, протягивая товарищам черную кузнечную лапу.

— Ну что, как твое дело? — спросили его.

Сокол присел к столу, отхлебнул немного пива, облокотился и вздохнул тяжело, глубоко и протяжно. Потом скрипнул крепкими зубами и безнадежно махнул рукой.

— Швах! — промолвил он тихим голосом.

Лицо его было усталое и грустное.

— Совсем поругался с купцами. Ходил к фабричному инспектору, сейчас от него — сюда. И слушать не стал! Конченое дело, ушел я от них: теперь только одно осталось — газета!

Сокол грустно посмотрел на товарищей и, обращаясь к Небезызвестному, попросил голосом, полным последней надежды:

— Напишите об них, подлецах, в газете.

Все засмеялись.

— Крепко же вас они обидели, видно? — улыбаясь, спросил газетчик.

— Обидели-то? Да меня всю жизнь, как волка, травят, душат за горло, а теперь вот устаю терпеть! Начальство везде меня знает, ненавидит оно меня и на работу нигде не берет, даром что я по мастерству один из лучших считаюсь. Думают, что я зачинщик и смутьян,

а ведь у меня семья — пятеро! Тяжело. Иногда даже такая мысль приходит: броситься под поезд.

— Ну что ты, Сокол! — в один голос воскликнули слушатели.

— Да! — мрачно воскликнул кузнец. — Тяжело становится! Невмоготу терпеть! Если бы вы знали, — продолжал он, понижая голос до задушевного, грустно-мрачного шепота, — если бы вы знали, какая в нашей жизни, у рабочих, борьба идет, неустанная, на жизнь и на смерть, как никогда ни одной минуты вздыху не знаешь и как со всех сторон норовят наступить тебе на горло и задушить!

Черные глазищи Сокола свирепо сверкнули.

— Я бы их, — прошептал он тихо, но с такой злобой, которая могла накопиться только годами, подавляемая, но хранимая в глубокой, сильной душе, — я бы их схватил вот так за глотку да и вырвал бы ее, глотку-то!

Он протянул перед собой свою черную, словно железную, ручищу и сделал мощный жест, от которого всем стало немножко страшно.

Капитошка, собственноручно ставивший на стол свежие бутылки, поймал его слова, искоса взглянул на кузнеца и счел нужным нравоучительно вставить свое слово:

— Прощать надо... любить и терпеть... да! а не скандалить! Вот!

И, не дожидаясь ответа, Капитошка с важностью удалился за буфет.

Сокол тяжело и глубоко погрузил свой жгучий взор в наблюдательные глаза фельетониста.

— Терпеть... — вымолвил он, — прощать... но надо ли терпеть-то? можно ли простить это? Да ведь я же только и делал, что терпел... поневоле терпел и поневоле прощал, не мстил. Только и было моей мести раз, на молотьбе, в степи, когда я работал у казаков... Богатые они, черти, и здоровые... Велели они меня работникам своим связать и связанного бить... Да тут, на мое счастье, подоспели рабочие мои, артель работников разогнали, а меня освободили... Хотели они и казаков, хозяев моих, вздуть, да я не велел никого из них пальцем тронуть, а велел только всех их связать. И когда их связали, я дал им каждому по одному разу в морду, собственноручно дал, чтобы испытали они на себе то же самое, что надо мной выделывали... Вот только и было за всю жизнь... а то — никогда не мстил...

Глаза его опять мрачно сверкнули, и, поднявшись во весь рост, он громко и возбужденно заговорил своим резким, металлическим голосом, обращаясь к фельетонисту:

— Ведь вот вы пишете, — а про что пишете? Заглянешь в газету — все больше кругом да около ходите! А вы бы написали про начальство да про купцов, про эту мошну расейскую, бесславную, дикую, которая весь рабочий люд гнет, мнет и бьет; про нее бы, грязную и нахальную, написали вы, как она оскорбляет и унижает нас, да и не понимает еще всей силы унижений наших, потому что у нас больше чести и уважения к человеку, чем у них, потому что очень уж у нее, у мошны у этой, рабского много, чтоб ей задохнуться в себе самой!

Сокол поднял и показал всем свои здоровенные ручищи.

— Поглядите на меня, — продолжал он, — поглядите на эти руки и подумайте: разве это не дико, чтобы такой здоровый детина, вот с такими руками, мастер своего дела, желающий трудиться, не находил себе работы? Ну как это понять? Ах, чтоб их черт взял в самое пекло или бы они нам хоть это место, пекло-то, уступили, а то мы и на том свете не поладим с ними.

Он тяжело опустился на стул и продолжал уже тише, сдержаннее:

— Ведь они чего хотят?

И сам же ответил:

— Чтобы я человеком не был, человека во мне топчут, за человека меня не считают! О, черти! Никогда я им не покорюсь, до могилы бороться буду, не могу не бороться! Ведь и хотел бы покориться, — семья страдает, неповинные дети, пятеро . . . н-но . . . как только подумаю переломить себя, переворотить себя наизнанку . . .

Сокол скрипнул зубами, затряс головой и энергично крикнул:

— Нет!

Он замолчал и вытер грязным кулаком глаза, на которых внезапно выступили слезы, словно выжатые из сердца железными тисками, и уже чуть слышно и коротко, но решительно, с бессознательным драматизмом прошептал:

— Нет!

Слезы не изменили его лица в жалкую гримасу: оно по-прежнему было мужественное, сильное.

За столом наступило общее молчание... Все насупились и потянулись к пиву.

— Знаешь что? — воодушевился вдруг Гаврила. — Поступай к нам в театральные рабочие! А? Я бы мог это устроить! Пока идут вечера и спектакли, все-таки сколько-нибудь заработаешь.

— Господи! — воскликнул обрадованный Сокол. — Да я с радостью, хоть сейчас! Ведь ребятишки-то у меня без хлеба сидят, Настя плачет!..

— Ну вот! пусть не плачет. Я тебе сейчас вечеровой задаток выдам.

Гаврила порылся в кошельке и вытащил трешницу.

— На! — сказал он. — Завтра же являйся в Народный дом, будешь там Савоське помогать декорации писать... В день спектакля будешь их уставлять, а в пятом акте громом греметь...

— Здорово! — одобрили огарки.

— Вся наша фракция примет участие.

— Не вешай голову! Чего тут? Впервой, что ли? — ободряли Сокола.

Сокол внезапно утешился.

— Чего мне вешать? Вота! — весело воскликнул он. — Проживем!

Он „хлопнул" стакан пива и добавил, вставая:

— Ну, одначе, побегу с трешницей-то: дома ни чаю, ни сахару, ни крошки хлеба!

Он крепко пожал всем руки и ушел, громко хлопнув заиндевевшей дверью пивной.

— Сколько лет уже я его знаю! — сказал Савоська. — Всегда он так жил!

— И все-таки как много в нем энергии, — прогудел Северовостоков, — и этой постоянной веры в будущее!

— Верой живем! — сказал Толстый, барабаня пальцами.

— Проклятые! — шептал Савоська, наливая пива.

Фельетонист Небезызвестный встал с полным стаканом в руке и постучал ножом по бутылке, желая сказать речь. В глазах его мелькало легкое опьянение.

— Дорогие мои! — начал он и сделал свой обычный жест маленькой изящной ручкой. — Э... э... дорогие мои, наш общий товарищ, только что ушедший кузнец Сокол, бросил мне совершенно справедливый упрек в том, что наша пресса совсем не о том пишет, не о важном пишет она, бедная провинциальная, пришибленная

пресса! Э... И я совершенно согласен с ним. Скажу даже более: писание в газетах отныне я считаю пустым и бесполезным толчением воды в ступе! Д-да-с!

— Дорогие мои! — продолжал он, воодушевляясь и все сильнее помахивая рукой. — Пред вами стар-рая литературная собака, с вами вот уже несколько лет пьет по кабакам старая водовозная кляча, которая однажды сказала сама себе: „Не хочу возить воду“ — и распряглась! Да-с!

Голос его звучал резко и до ненужности громко.

— Сегодня объяснился я с редактором и заявил, что выхожу из состава сотрудников! Пускай поищут себе другого такого водовоза, как старик Небезызвестный! Ха! Не могу больше.

Он поднял стакан кверху, запрокинул голову и завопил:

— Свободы жажду, обновления хочу! Я им там, в редакции, высказал сегодня все, сбросил с моего стола все газеты на пол, истоптал их ногами и... ушел! Ушел на волю! Э! Все живое уходит, ищет живой жизни, иду и я!

— Куда же ты идешь, мужественный старик? — улыбаясь, спросил его Толстый.

— Я? Я иду проповедовать! Да, на проповедь вышел я! Пора, давно пора вынести свободное слово прямо на улицу, а не держать его под полой, не душить эзоповщиной! Я буду говорить открыто, на площадях, на вокзалах, в вагонах, в пивных — везде, где встречу толпу: бояться и терять мне нечего! Э, дорогие мои, ведь все в прошлом: восьмидесятые годы, народничество... любовь... жена... остроги... ссылка... семь лет Якутии... все проходит перед моим умственным взором, как сквозь дымку, все позади! Потом — крушение идеалов, гибель веры во многое, усталость сердца и — пьянство! Вот — жизнь!

— Н-но! — резко и грозно повысил он голос. — Не смирился я! Пусть я устал, постарел, измят и изранен, пусть уже отходит мое поколение в прошлое, но жива душа моя! Снова вспыхнул я и горю последним огнем моим, хочу сжечь остаток жизни моей в неустанном движении вперед, хочу и умереть так же ярко, как жил!

Под бр-роней с простым набором,
Хлеба кус жуя,
В жаркий полдень едет бором
Дедушка Илья.

И ворчит Илья сердито:
— Ну, Владимир, что ж?
Посмотрю я, без Ильи-то
Ка-ак ты проживешь?

Ударившись в стихи, Небезызвестный растопырил руки и в полном упоении возопил на всю пивную режущим уши голосом:

Вновь изведаю я, старый,
Волюшку мою!
Ну же, ну, шагай, чубарый,
Уноси Илью!

Огарки разразились сочувственным смехом.

— Дай обнять тебя, мужественный старик! — театрально воскликнул Толстый, раскрывая объятия.

Хрупкое тельце „мужественного старика" прильнуло к богатырскому брюху Толстого. В этой позе две комически несходные фигуры замерли на минуту, при общей сочувственной улыбке.

— И ты ведь ушел когда-то, Илюша, из казенной-то палаты? — прижимаясь к Толстому и впадая в чувствительность, нежно спросил его бывший фельетонист.

— Ушел ... — согласился Толстый.

— А кстати, как это все случилось? — спросил Савоська. — Меня тогда здесь еще не было!

— Дорогие мои! — встрепенулся Небезызвестный. — Позвольте уж мне рассказать и выяснить, по моему разумению, всю эту, так сказать, эпо-пе-ю Илюшкиных подвигов на государственной службе...

Он нервно привскочил за столом, поправил очки, невольно и без нужды сделал странную ужимку, как бы собираясь чихнуть, и быстро почесал пальцем около носа.

— Э ... э ... дорогие мои! Дело в том, что об этом я даже хочу написать рассказ ... да! Представьте вы себе такую картину: учреждение ... чиновничество ... власть и давление так называемых „шишек" и покорная пришибленность „мелких сошек" ... Понимаете, м-мел-ких с-сошек! Величие с одной стороны, и трепет — с другой. И вот в качестве самой мелкой сошки появляется там такая личность, как Илюшка Толстый. И обаяние этой личности оказалось таким, что около него мало-помалу сплачиваются все мелкие сошки и под его предводительством вступают в борьбу с шишками. Шаг за шагом завоевывают они себе человеческие права, на-

учаются сознавать себя силой, действовать заодно. Наконец уже диктуют шишкам свои требования, а на требования шишек выражают свое коллективное несог-ла-си-е или даже порицание. Одним словом, все перевернулось — учреждение испортилось! Понимаете, учреж-дение испор-ти-лось! Ха-ха! Шишки оказались под контролем сошек, сошек стали считать людьми, обращаться с ними стали вежливо, стали прислушиваться к их мнениям, желаниям, настроениям. С ними стали бороться и — не могли побороть! Д-да-с, дорогие мои, сошки победили шишек!

Небезызвестный отпил пива, опять сделал гримасу и продолжал, махая ручкой:

— И все это, дорогие мои, сделал один человек, потому что мелкие сошки оказались в конце концов все-таки мелкими сошками! Можете представить себе гнев начальства и ненависть его к этому предводителю сошек! Ненависть эта возросла тем более, что выжить его оказалось очень трудно: у него обнаружился гений быстро и талантливо выполнять самую трудную, ответственную, самостоятельную работу! Озолотить можно было такую голову, не передайся он на сторону сошек!

И вот, дорогие мои, со скорбью в сердце, начальство должно было держать его на виду, на ответственной, важной работе, выдавать ему награды и представлять к повышению. Каково это было начальственному отеческому сердцу? Какую змею отогрело оно?

Но тут с героем моим что-то случилось: забравши силу и наладив своих сошек, он вдруг отчего-то загрустил, все бросил, ушел и — запил!

И тогда, дорогие мои, все моментально принимает свой первоначальный вид, как будто сошки им одним и держались: мелкие сошки все бросаются врассыпную, теряют все свое значение и становятся по своим прежним местам. И опять с одной стороны неукоснительная строгость, а с другой — рабская трусость и трепет.

Небезызвестный крепко поставил на стол опорожненный стакан, который он все время своей речи держал в руке, и закончил резким голосом:

— Вот, дорогие мои, что значит сильная личность, вот тема будущего моего рассказа: „Шишки и сошки".

Он снова наполнил свой стакан, отпил его и, помахивая ручкой, продолжал:

— И представляется мне, дорогие мои, жизнь Ильи Толстого в таком виде: вышел он из деревенской земли

и, стремясь к свету, алкая какого-то большого, особенного дела, для которого он родился, проходит через нашу мелкотравчатую жизнь, как через мутную речку. Идет он, неудовлетворенный, не находя себе места, а по пути, мимоходом, случайно, при малейшем соприкосновении с жизнью, обнаруживает дивную силу свою! И чувствуется, что все это — слишком тесно, узко и мелко для него и что настоящей своей точки, на которую он мог бы упереться и проявить всего себя, он не находит!

Эх ты, камень самоцветный, дивный перл, драгоценный дар великого народа, выброшенный им из недр своих, никем не узнанный, не оцененный и сам себе цены не знающий! Да неужели ты не догадываешься, что ты создан быть вождем, что у тебя есть сила влияния на толпу, тебе дано увлекать ее, ты — природный агитатор! Ты — артист, поэт и вдохновитель!

Небезызвестный запрокинул свою косматую голову и, простирая вперед руки, произнес важно, с пророческим видом:

— Придут дни, великие дни! Мелкую речку покроет грозное, бушующее море, будет великая буря, великий гнев. И в первой волне возмущенного народа пойдут Михельсоны и Соколы; Северовостоковы будут строить баррикады, поднимая самые громадные тяжести, и будут драться на баррикадах все долго и много терпевшие, все озлобленные, все годами копившие горечь свою, и явятся среди них вожди и герои! Из неизвестности своей явятся они, из отброшенности придут эти люди. Илья Толстый, остроумный, чарующий, спокойный и мужественный, он займет тогда свое место, он поднимет знамя! . .

Сквозь шум и гвалт кабака из хозяйского помещения давно уже доносилось треньканье балалайки. Двери через кухню были отворены насквозь, и всем в пивной была видна Капитошкина комната, увешанная желтыми птичьими клетками.

Капитошка сидел у порога на обитом белой жестью сундуке и артистически играл на балалайке. Струны так и выговаривали „Барыню", подмывая в пляс; массивный серебряный перстень на среднем пальце пухлой Капитошкиной руки, с непостижимой быстротой ударявшей по струнам, сверкал в воздухе как молния, но лицо самого Капитошки было неподвижно и бесстрастно, как лицо судьбы.

Он играл, как власть имеющий, словно зная вперед, что пернатые певицы, заключенные в его клетках, и люди, сидящие в его кабаке, не уйдут из-под власти его.

Через минуту канарейка покорилась звукам балалайки и запела сначала с перерывами, а потом увлеклась аккомпанементом и залилась бесконечною песней. Она музыкально следовала темпу и мотиву балалайки, вслед за звуками струн повышая и понижая трели, почти выговаривая „Барыню".

Мало-помалу кабак заинтересовался певицей и притих. Взоры всех посетителей — по виду большею частью рабочих — устремились на двери кухни.

— Ишь как заливается! — сказал некто.

— Веселая! — добавил другой.

— Песельница!

— Что ей? Птица! Корм готовый! Одно ей занятие — петь!

— Тебя бы, черт, посадить в клетку-то, как бы ты там развеселился!..

Промерзлая дверь с шумом отворилась, и вместе с белыми клубами морозного воздуха в пивную вошел гигант в огромных валяных сапогах с красными крапинками, в засаленной, рваной, чем-то подпоясанной куртке и рваной шапке. Борода и усы у него обледенели.

Он крепко хлопнул дверью и, стащив шапку, грузно опустился на табурет около свободного столика у входной двери.

Пока ему подавали пиво, он отдирал лед с бороды и усов и, глубоко кашляя, сказал сиплым, густым голосом:

— Хорошо кобелю в шерсте, а мужику — в тепле.

И улыбнулся.

Его темное лицо было страшно от сажи и копоти, а когда он улыбнулся, обнаружив белые, сверкающие зубы, то от улыбки стал еще страшнее.

— Силан, здорово! — громко сказал ему кто-то из рабочих.

— А, и ты здесь! кхе! кхе! — кашляя, ответил Силан и протянул товарищу нечеловечески огромную руку. — Чево это вы все туда глядите? кхе! кхе!

— Не глядим, а птичку слушаем: хозяин ей на струнах играет, а она поет!

— Птичку! — мрачно говорил громадный человек. — Ну, я уж птичку не услышу: у нас, у глухарей, тугое

ухо! Со мной говорить-то надо громче, а то не слышу. В ушах гудит от котла.

— Ты нешто в котле работаешь?

— В котле... кхе! кхе!... глухарь я... Все мы такие-то... кхе... без ушей... такая работа!.. как в аду живем!.. кхе!.. кхе!..

Он говорил спокойным тоном, не жалуясь и не возмущаясь, а только называя вещи их именами.

— О чем толкуют-то? — хрипел глухарь, кивая собеседнику на огарков.

— А видишь ли, — закричал ему товарищ, — господа в тиятре ломаться хотят... представление будут делать... в пользу общества трезвости...

Глухарь помотал головой.

— Ни к чему это! — вымолвил он. — В пользу общества трезвости... пустяковина все... Небось и сами-то пьянствуют... а нашему-то брату при такой работе как не пить? И то сказать: на представление-то рази пропустят глухаря? А пустят — ничего не услышу... кхе!.. кхе! Вот кабы они в пользу облегчения рабочего человека что-нибудь сделали, потому забиждают нас шибко! Вот — я, к примеру, кашляю... кхе!.. а от чево? от серы! Хозяин в топливо серу валит! Ему от этого в угле экономия, а нам — смерть, да ведь и барыш-то ему от серы этой так себе — пустяковый. Так нет! Ему свой грош дороже людей... Человек-то для него что выходит? так себе — тьфу! околевайте, мол, много вас!.. кхе! кхе!..

Небезызвестный быстрыми, хотя и нетвердыми шагами подошел к глухарю и заговорил взволнованно, в чрезвычайном возбуждении протягивая ему обе руки:

— Дорогой мой, я с вами совершенно согласен, совершенно согласен, вы — глухарь? гаршинский глухарь? да? Очень приятно встретиться! Позвольте пожать вашу честную руку!

И, пожимая огромную черную ручищу глухаря, он сел с ним рядом.

— Будемте друзьями! — задушевным голосом продолжал он, помахивая ручкой. — Я — стар-рая литературная собака! Понимаете? Стар-рая литера-тур-ная с-собака, стар-рая кляча, которая однажды сказала сама себе: „Не хочу возить воду“ — и распряглась!

— Ну-ну! — сказал Толстый, выходя из пивной на тротуар вдвоем с Гаврилой. — Ты говоришь, что надо теперь в Народный дом завернуть на репетицию кружка?

— Непременно, — повторил Гаврила, махнув рукой извозчику, — тебе нужно посмотреть расположение сцены и познакомиться с кружком. Я тебя представлю!

Они сели в извозчичьи сани и понеслись в вихре морозной пыли. После промозглого воздуха Капитошкиной пивной так хорошо дышалось на морозе. Жгучий ветер покалывал щеки, снег визжал под полозьями.

В довольно большом зале Народного дома была устроена крохотная сцена. Стены зала, бревенчатые, без всяких обоев, имели грустный и мрачный вид. Вместо кресел стояли длинные скамьи, выкрашенные охрой. Театральный зал был окутан мраком, и только несколько тусклых керосиновых ламп в рампе освещали авансцену.

Посреди сцены за большим круглым столом сидел весь „железнодорожный кружок" — человек десять; это были, словно на подбор, тщедушные и плюгавые люди с болезненными, нервными лицами, одетые в форму мелкого железнодорожного начальства.

Они сидели каждый с тетрадкой и были очень серьезно заняты „считкой" пьесы.

Сцена была обставлена декорацией комнаты, но сверху, вместо картонного потолка ее, висел огромный холст, изображавший небо.

Для входа на сцену из зала была приставлена деревянная лесенка из трех или четырех ступеней. Гаврила, с видом хозяина, знающего здесь все ходы и выходы, поднялся по этой лесенке, приглашая за собою жестом и своего спутника.

Но едва Толстый встал на ступени входа в храм Мельпомены, как они затрещали под тяжестью его большого тела и рассыпались, а сам он всею массой грохнулся на сцену, но тотчас же с ловкостью гимнаста вскочил на ноги.

— Ну, смею сказать, и скамейки у вас! — сказал он, снисходительно рассмеявшись над собой, хотел отряхнуться, но в рассеянности и от непривычки к декорациям прислонился огромной спиной к холщовой стене.

Тогда стены комнаты закачались и рухнули на сцену, небо упало и накрыло всю труппу.

Все это случилось так неожиданно и быстро, что никто даже не успел крикнуть, и „кружок" только завертелся под огромным полотном.

Артист Казбар-Чаплинский несколько мгновений стоял, как демон разрушения, над кучкой слабых людей,

придавленных небом, потом сконфуженно махнул рукой, осторожно вылез в зал и направился к выходу, недовольно бормоча:

— Что за кукольная сцена, ей-богу, право. Не разберешь ни гусиной шеи! Сидят все, как греки под березой, ну, и чувствуешь себя, как собака на заборе!

V

В день спектакля театральный зал Народного дома был переполнен публикой: было как раз „двадцатое число“ и в публике преобладали „двадцатники“ — полупьяное чиновничество, праздновавшее „двадцатое“, свой „двунадесятый“ праздник.

Почти все мужчины были „навеселе“, в антракты во всем театре стоял веселый гул, воздух, испорченный спиртным дыханием, пропитался табачным дымом... Было тесно, жарко, грязно и пьяно.

За кулисами тоже теснились, толкались, бегали, кричали, ругались. Пьеса не ладилась и шла так скверно, что Гаврила, в гриме „пьяного“ и сам пьяный, усталый, растерянный, глубоко унылый, вяло ходил за кулисами в состоянии тихого отчаяния. На всевозможные вопросы, просьбы и требования участвующих он только безнадежно махал рукой.

За кулисами хлопали пробки и булькало пиво, некоторые из актеров были пьяны, „герой“ Сурков, единственно талантливый человек из кружка, мог держаться на ногах только тогда, когда его выталкивали на сцену. Адвокат Ходатай-Карманов и литератор Сам-Друг-Наливайко тоже были „на взводе“ и все еще „подкреплялись“. Трезвыми казались только Северовостоков и Казбар-Чаплинский.

„Декоратор“ Савоська, одетый и загримированный „евреем-ростовщиком“, вдребезги разругался со всей труппой из-за „театрального рабочего“ Сокола: в труппе оказалось начальство железнодорожных мастерских, знавшее Сокола и помнившее за ним какие-то старые вины. С горя Савоська тут же, около кулис, выпил из горлышка одну за другой, без передышки, две бутылки пива, что, при его малом росте, возбудило всеобщее удивление.

Сокол, наткнувшись в труппе на своих исконных врагов, был мрачен, зол и швырял декорациями, не обра-

щая ни на кого внимания. Три первых акта пьесы прошли позорно: Сурков упал на сцене, Савоська вместо „еврея“ сыграл какого-то „рыжего“ из цирка и только один Гаврила прекрасно сыграл „пьяного“, но он действительно был пьян.

Шел последний, четвертый акт пьесы, и Гаврила все еще волновался за исход его.

Растрепанный, мокрый от пота, с бледным, страдальческим лицом, обсыпанным пудрой после снятого грима, он подошел к одному из распорядителей, молодому человеку приличного вида.

— Удивляюсь, — сказал он, пожимая плечами, — отчего до сих пор нет Соловьевой-Перелетовой: ведь она первая играет в дивертисменте!

— А уж я не знаю, — отвечал молодой человек, тоже раздраженный и усталый. — Ты послал за ней лошадь?

— Какую лошадь?

— Да ведь ты же сам говорил ей, что пришлешь за ней лошадь. Она, вероятно, и ждет, когда за ней пришлют!

Гаврила хлопнул себя по лбу.

— Вот лошадь-то послать за ней и забыл, а теперь уж поздно посылать! Какая досада! — произнес он печально.

— А я так даже рад этому, — возразил собеседник. — Она бы тут в обморок упала, при виде пьяной труппы и пьяной публики! Эх!

Гаврила подумал и, махнув рукой, сказал:

— Ну, черт с ней!

В такт этим словам над сценой прокатился удар театрального грома.

Гаврила вздрогнул и схватил себя за волосы.

— Р-рано! — зашипел он сдавленным „трагическим“ шепотом. — Р-р-ра-но! . . И-дол! Чер-рт! . .

На колосниках, высоко над сценой, виднелась мрачная фигура Сокола: он держал в руках огромный лист кровельного железа и гневно потрясал им.

И по всему театру грохотали оглушительные непрерывные громовые раскаты. Напрасно актеры на сцене повышали голоса и наконец, охрипнув, выкрикивали каждое слово: их никому не было слышно, и яростное смятение овладело труппой. Напрасно из-за кулис делали ему знаки и кричали, чтобы он остановился: громовержец был неумолим.

Гневный, с горящими глазами, черный, страшный, недосягаемый, он был выше всех и чувствовал свою власть надо всеми.

В громе железа разразилась гроза его души, неотомщенные обиды, страдания, лишения, унижения долгих и многих лет. Он чувствовал себя как Самсон, ощутивший свою силу и собирающийся погубить врагов своих. Потрясающие звуки грома были как бы увертюрой, в которую вложил он всю свою жажду мщения, всю мрачную музыку тех громов, которые рабочий призывал на головы своих угнетателей.

Оглушительная гроза продолжалась до самого конца пьесы, не услышанного никем, и когда опустился занавес, гром все гремел и наконец в последний раз ударил с такой силой, визгом и стоном, что казалось, будто удар этот брошен был кем-то с неба на землю.

„Чеховский" водевиль на обычную тему о страданиях „дачного мужа" походил на монолог, и Казбар-Чаплинский был единственным лицом на сцене.

Эта сцена представляла крохотную комнату вроде бонбоньерки.

Он вышел в халате, загримированный солидным дачником в баках, с брезгливым и вместе олимпийским выражением на лице. Должно быть, он сразу напомнил собою какое-то живое известное лицо, так как, при самом его появлении, в публике пошел шепот и смех.

Усаживаясь в кресле около стола на авансцене, он проделал какую-то мимическую сцену, вызвавшую новый смех.

Затем он принял в кресле шаблонно водевильную позу, побарабанил пальцами по столу и, обращаясь к публике, заговорил.

Сначала это было несколько фраз из его роли, но потом артист начал приплетать к ней „отсебятину", и наконец из уст его полилась речь, ничего общего с „чеховским" водевилем не имеющая.

— Милостивые государыни и милостивые государи! — говорил он. — Позвольте в краткой, но беспристрастной форме сообщить вам дух и направление современной деффимиции . . .

Публика заинтересовалась.

Чтобы лучше слышать, сидевшие в задних рядах встали и сгрудились к передним рядам.

Наконец всем стало ясно, что артист экспромтом пародирует важное административное лицо. Жалобы дач-

ника заменены были жалобами администратора, в которых сквозила давно всем известная история о „шишках и сошках“.

Со сцены говорил как бы губернатор, внушающий обывателям в мягкой канцелярской форме свои предначертания. Физиономия его то сжималась в кулак, то разжималась, глаза вращались, а указательный палец, плавно двигаясь, грозил.

Публика хохотала.

— М-мы, — говорил он жирным генеральским баском, — мы, сановники, стоим в центре, находимся, так сказать, в водовороте жизни, мы кипим, но тем не менее не забываем и о вас, скромных тружениках, обитателях „окраин“, мы интересуемся также и вами: м-мы — следим . . .

— Хо-хо-хо! — гремела публика.

— Конечно, мы готовы сделать все для вашей самодеятельности, но только в известных гр-раницах! В известных, так сказать, р-рамках! Д-да-с! Мы стоим за прогресс! Н-но . . . чтобы под боком у меня действовали злонамеренные лица? . . Чтобы под носом у меня была Женева? — Эт-того я н-не потерплю! Н-не допу-щу! Очищу! . .

Глаза Казбар-Чаплинского совсем вылезли из орбит, указательный палец двигался удивительно эластично и внушительно.

— Посмотрите на мой палец! — воскликнул „сановник“. — Он движется, а вся рука и даже самая кисть — непоколебима: так движется палец только у тех, кто самой природой предназначен в губернаторы! . .

Публика вслед за ним начала проделывать это „губернаторское“ телодвижение, и оказалось, что никто не мог грозить пальцем так внушительно и с соблюдением полной неподвижности руки, как это умел делать „губернатор“.

Поднялся хохот.

А Казбар-Чаплинский не унимался.

Скоро весь театр был охвачен гомерическим смехом: смеялись все до одного человека, все сторожа и лакеи, все находившиеся за кулисами, все хохотали как сумасшедшие, плакали от смеха, хватались от боли за бока.

Наконец он только молча показал публике палец.

Началась буря смеха, стонов, криков: „Браво, спасибо! Довольно!“

Во время исступленного рева публики и был опущен занавес.

Когда публика успокоилась и занавес подняли, на сцену из-за кулис медленно вышел человек, одетый и загримированный очень странно: хрупкая, тщедушная фигура облечена была в поддевку с чьих-то богатырских плеч, на ногах громыхали огромные мужичьи сапожищи, накладная полуаршинная борода и наклеенные косматые брови скрывали почти все его маленькое, с кулачок, личико, — перед публикой был мужичок с ноготок, борода — с локоть.

Сапоги его гремели, спадая с ног, и можно было опасаться, что он как-нибудь выскользнет из них и сапоги пойдут отдельно от человека.

Но человек благополучно дошел до рампы, встал в трагическую позу, скрестил руки на груди, сдвинул свои невероятные брови и мрачным, режущим уши голосом начал:

Под бр-роней с простым набором,
Хлеба кус жуя,
В жаркий полдень едет бором
Дедушка Илья.

Литератор Сам-Друг-Наливайко (ибо это был он) читал монотонно, и все-таки в его чтении подкупала необыкновенная любовь чтеца к этому стихотворению. Он читал — и всем существом своим испытывал наслаждение. Стал понятен и его странный костюм: он загримировался „Ильей Муромцем“.

И видно было, что стихи эти, столь прочувствованные чтецом, относились им непосредственно к самому себе:

Все твои богатыри-то,
Значит, — молодежь! . .
Вот без старого Ильи-то
Ка-ак ты проживешь?

Резким голосом бросал он кому-то укоризны, повернувшись в ту сторону, где, по его мнению, было здание оставленной им редакции.

Публика заинтересовалась чтецом. Этот человек, много поработавший для жизни, много выстрадавший и уже сходящий со сцены, говорил теперь свое последнее, невольно укоризненное слово „публике“, которая каждый день читала его всегда ядовитые и злые строч-

ки и никогда не знала живого, доброго человека, болевшего о чем-то душой своей.

И, глядя на него, вспоминались его резкие, коротко брошенные слова: „Восьмидесятые годы... семь лет Якутии... крушение идеалов и пьянство“...

Погружаясь в жизнь огарческую, он еще не терял какой-то надежды уйти навстречу новым скитаниям.

Душно в городе, как в скрыне,
Только киснет кровь!
Государыне-пустыне
Поклонюся вновь!

Богатырь в пояс поклонился публике, потом выпрямился, растопырив руки, и завопил своим оригинальным, режущим слух голосом:

Снова веет воли дикой
На меня простор!
И смолой и земляникой
Дышит темный бор.

Грянули дружные аплодисменты, а „Илья Муромец“ пятился задом за кулисы, грациозно, как будто всю жизнь свою пожинал лавры на сцене. Только борода его с одного боку отклеилась да сапоги чуть-чуть не остались на сцене.

После него вышел адвокат Ходатай-Карманов и прочитал стихотворение „Сумасшедший“. Для вящего сходства с умалишенным он вышел в больничном колпаке и горячечной рубашке, что было уже излишним: Ходатай-Карманов так был пьян и взъерошен, что и без того мог походить на сумасшедшего.

Прочитал он артистически.

Это был неудавшийся актер по призванию, страстный любитель искусства, которому в прошлом не пришлось почему-то попасть на сцену. Худой, желтый, испитой и пьяный, он весь казался одним болезненным комком издерганных нервов и трепетал от избытка чувств.

Публика ревела, как прожорливое чудовище, и требовала „биса“.

Но, читая на бис известное стихотворение „Бурлак“, он сбился. Вместо слов „петухи пропоют“ он сказал „петухи отдохнут“ и, наткнувшись опять на слово „отдохнут“, — встал.

Хмель, временно соскочивший было с него, снова

окутал его голову. Он развел руками и, обращаясь к публике, пьяным голосом удивленно воскликнул:

— Вот так фунт!

Публика приняла это за „фортель“ и дружно аплодировала.

Но Ходатай-Карманов исчез.

В этот же вечер „в высшем интеллигентном обществе“ было очень скучно.

Еженедельные вечера в квартире либерального деятеля были известны всему городу и в шутку назывались „ассамблеями“ за их демократический характер, за то, что, кроме „высшей“ интеллигенции, туда допускалась и „низшая“; набивалось народу каждый раз человек сто, и выходило „всякой твари по паре“. Кроме „судейских“ и „железнодорожных“, присяжных поверенных и учителей гимназии, там бывали сотрудники местной газеты, врачи, статистики и даже „неблагонамеренные“, молодые люди без определенных занятий.

Иногда появлялся актер или певица, какая-нибудь заезжая маленькая провинциальная знаменитость, певец, беллетрист или делец — все равно, все это одинаково преподносилось гостям к ужину, как десерт.

До ужина почти всегда было скучно: публика наполовину собиралась случайная, не знакомая между собой. Но за ужином происходила „демократическая“ выпивка, и „преподносилась“ гостям какая-либо „интересная личность“, если таковая имелась.

В этот вечер преподнести было, должно быть, некого, и ужин подавать медлили.

Во всех комнатах, и даже в передней, толпились нарядные гости. Было тесно и жарко. Дамы и девицы в светлых платьях обмахивались веерами. Мужчины блистали шитьем „судейских“ и „железнодорожных“ мундиров.

Все гости тоскливо бродили по комнатам, не зная, что им делать. Деревянная скука и хандра написаны были на лице у всех.

Разговоры плохо клеились, и видно было, что всем этим людям ни о чем не хочется разговаривать. Казалось, что они выжимают из себя слова и говорят только для того, чтобы не воцарилось всеобщее молчание, которого они боялись.

В просторном зале кто-то пробовал играть на рояли что-то ухарски-веселое, пробовали петь хором, но ничего не выходило.

Наконец в столовой зазвенели тарелки, и публику пригласили „закусить".

Столовая не могла вместить всех, и поэтому сначала пригласили дам.

Дамы наскоро закусили и опять занялись в зале музыкой и пением.

Тогда призвали к закуске мужчин, и мужчины плотно засели за длинным столом, уставленным тарелками, бутылками и закуской. В мужском обществе осталось несколько женщин.

От выпивки настроение несколько поднялось, и загудел общий говор.

В самый разгар закуски в дверях столовой появился пьяный литератор Небезызвестный под ручку с Толстым, облеченным в сюртук Северовостокова.

Небезызвестный сделал театрально-торжественный жест и провозгласил своим резким голосом:

— Дорогие мои, р-рекомендую: мой старый товарищ... петербургский фельетонист... только что приехал!..

„Петербургский фельетонист" взглянул на своего товарища.

Один только миг на лице Толстого мелькнуло изумление, потом ирония, а в следующий момент он уже заговорил с милой любезностью путешествующей знаменитости:

— Господа, прошу, пожалуйста, меня извинить... что я так... запросто... хе-хе... прямо с дороги.

Его внушительная фигура и красивое, выразительное лицо сразу произвели на всех выгодное впечатление.

Новым гостям тотчас же дали место за столом. На „петербургского фельетониста" все устремились, все думали: „Так вот кого преподнесли нам сегодня!.."

На „интересную личность" сразу насели. „Приезжего" закидали вопросами. Около него тотчас же образовался кружок.

Толстый врал артистически. Выпивая и закусывая, он отвечал на все стороны и тотчас же обнаружил своеобразное остроумие.

Его „словечки" уже начинали вызывать смех и невольное восхищение.

Сразу было видно замечательного фельетониста. По всем общественным вопросам он был в курсе дела, все знал из первых рук, обо всем судил смело и оригинально, не допуская возражений. Он бывает „запросто" у

всех петербургских знаменитостей, знает много интересного из их прошлого и настоящего. А чем пахнет теперь в Петербурге? О! это ему прекрасно известно: пахнет очень и очень интересными вещами... Но, к сожалению, он должен быть немножко конспиратором... Он приехал сюда по одному конспиративному делу... небольшое поручение общественного характера... Во всяком случае, в Петербурге все идет на повышение... Жизнь растет... Заря занимается...

Ножи и вилки стучали. Рюмки и бокалы звенели. Гости оживились. В столовой гудел общий говор.

Из зала привалила еще толпа, под предводительством бледной дамы в шикарном костюме, с пышными белокурыми волосами и с гитарой в руках.

— Божественно! восхитительно! чудно! — говорили ей изящные „фрачные" кавалеры.

Дама улыбалась.

Она как-то особенно ухарски села на стул перед пьющей и закусывающей публикой и заиграла на гитаре цыганский романс.

Дама изображала из себя „цыганку" и запела с деланной, преувеличенной страстностью, растягивая мотив и как бы изнемогая:

З-за-ха-чу — пал-лю-балю!
З-за-ха-чу — ра-залюба-лю!

И вдруг, всей рукой ударяя по струнам, выкрикивала дикий припев:

Я — как пташка вольна...
Жизнь на радость нам дана!

Около нее сладострастно млели несколько товарищей прокурора, напоминая голодных собак, сидящих у дверей кухни, хотя в даме не было ничего ни цыганского, ни соблазнительного.

Я а-ба-ж-жа-а-ю... —

запела она, снова ударив по струнам.

А около „петербургского фельетониста" все более и более увеличивалась толпа слушателей.

Наконец и дама прекратила цыганские песни и вместе с другими стала заглядывать через чужие плечи на интересную фигуру. „Литератор" говорил тихо, и толь-

ко по взрывам дружного смеха можно было судить, что речь его остроумна.

Общий говор затих, и тогда в столовой стал раздаваться только один голос „петербургского фельетониста“:

— ...Да, господа! если бы вы знали, как хочется иногда встретиться и наговориться с читателем-другом, с невидимкой, с этой фантазией писателя!

В поздние ночные часы, при свете рабочей лампы, являлся в былое время его задушевный образ пред измученным взором писателя и одним своим видом прибавлял ему силы и бодрости. Он был молчаливой тенью, в которую верил писатель.

Изредка и одиноко мелькая перед ним, друг-читатель делал ему таинственные, ободряющие знаки, — и он писал... Сердце его горело ярче, а из-под пера смелее лились горячие строки.

Но зато сильнее разгоралась ярость живого, настоящего читателя, читателя-врага, и тогда печальная, но сочувственная тень скрывалась и молчала.

Но жизнь все-таки шла вперед, она росла вширь и вглубь, и уже никакие силы не могли остановить ее роста.

И вот писателю стало чудиться, что бодрое слово, которое иногда вырывалось на волю из глубины его пришибленной души, сказанное его одиноким, надорванным голосом, повторяется где-то волшебным невидимым хором, вызывает далекий, но могучий отклик, перекатывается, словно чудодейственное эхо в сказочных горах.

И чувствует писатель, что это как будто он — читатель-друг — воплотился и так размножился, что до него дошел голос писателя, что, вместо редкого и молчаливого мелькания, откликается он тысячами уст, миллионами вздохов, откликается жаждой жизни, молодой верой в светлое будущее, в лучшие дни, в новые, бодрые песни! И тепло стало в груди писателя.

„Писатель“ отпил глоток вина из большого чайного стакана, встал во весь свой рост и, поднимая стакан, продолжал уже громче, с искренним чувством:

— Приветствую тебя, простой читатель, мой друг и брат по духу и несчастьям! Ты груб, но у тебя нет фарисейского презрения к ближнему, который смеет думать не как все! Ты не умеешь смеяться над смелой мыслью, потому что у тебя нет предвзятых мыслей и

ты сам способен быть смелым! Для читателя-врага искусство и литература — предмет развлечения, для тебя они — источник чистых слез. Ты чувствуешь биение сердца писателя: оно бьется в такт с твоим, потому что оба вы просты сердцем, знаете грусть и горечь жизни и все-таки любите жизнь, и у вас еще не иссякла сила души, и есть еще порох в пороховницах.

Пусть твоя жизнь грустна и неприглядна и много в ней темного, пусть долго приходилось тебе, как и мне, блуждать ночью в пустыне, ища дорогу к свету, пусть много сил твоих убито, — но верь мне — ночь прошла, и пустыня кончена!

Во мгле и тумане виден ярко-красный шар солнца, сквозь гарь и дым горящего болота свет его кажется багровым и зловещим — не унывай: ночь все-таки прошла!

Из глубины народной жизни идут волна за волной свежие, пробужденные силы, и уже близко то время, когда эти силы оплодотворят увядшую жизнь, завладеют ею, станут хозяевами ее, и властно раздастся их голос, требующий для всех счастья, света и свободы! Они идут уже, и от них брызжут горячие солнечные лучи, здоровый смех и отважный вызов жизни!

И тогда — горе тем, кто спал в жизни тихой, в жизни сытой, в жизни спокойной.

Горе тем, чья плоская мещанская жизнь течет в дорогих, богато убранных квартирах, тусклая жизнь, освещенная матовым светом китайских фонариков, убаюканная звуками рояля, усыпленная сладострастными песнями!

Внезапно придут к ним бесчисленные легионы обездоленных и обойденных и ударят их в тупое ожиревшее сердце!

Придут отброшенные и непризнанные, насквозь, до мозга костей, прожженные огнем страданий, придут „огарки“ и разобьют у них скучное низменное счастье! Придут „огарки“, прошедшие через огонь и воду, побывавшие и закаленные в горниле жизни, придут — и выгонят трутней из жизни тихой, жизни сытой, жизни спокойной!

Речь оратора была покрыта дружными аплодисментами.

VI

Пришла опять весна, разлилась Волга, засияло щедрое весеннее солнце...

Приехала на гастроли оперная труппа.

Все чаще и задумчивее смотрели огарки на таинственную картину неизвестного города с надписью: „Вольные земли".

Савоська по неделям пропадал на „этюдах". Расписывал какому-то купцу потолки в новом доме и руководил где-то в имении на Волге постройкой сельской церкви, так как считал себя еще и архитектором.

Толстый, подобно Сашке, „зарабатывал" на „экзаменах".

Северовостоков пил без просыпу целый месяц. Все это время он лежал в постели и спал; просыпаясь, доставал из-под кровати бутылку водки, дрожащей рукой выливал ее в железный ковш, выпивал одним духом и опять „погружался в нирвану".

В мае наконец он решил прекратить спячку.

— Многовато я пью ее, проклятой! — глубокой и мощной октавой пророкотал он товарищам.

— Надо полагать! — с хохотом согласились они. — Ковшом вместо рюмки дуешь — не всякий черкасский бык такую марку выдержит!

— Марка большая! — вслух размышлял могучий бас. — Дальше-то, пожалуй, и некуда идти в этом деле! Велик я в пьянстве: чем больше пьешь, тем больше жажда — бездна бездну призывает!

Он сел на кровать, спустил ноги и пощупал свое железное тело.

— Силе-то ничего не делается! — с грустью убедился он. — В молотобойцы, что ли, хоть пойти? Осточертело мне Гуряшкино „облачение": утрудихся воздыханием моим!..

— Опера приехала! — сказали ему.

— Опера? — Северовостоков задумался. — Пойти разве? Попробовать голос? — рассуждал он сам с собой.

— И то, пойди! — посоветовал Толстый. — Пора нам всем отсюда... на вольные земли...

— Да и уехать? — продолжал размышлять певчий.

Наконец он решительно крякнул в какую-то подземную, не существующую в музыке ноту, поднялся во весь свой богатырский рост и густо произнес:

— Аз уснух и спах, восстах! Гряду!

Северовостоков одел свою испанскую рубашку, расчесал кудри и отправился в театр.

Через час он возвратился сконфуженный.

— Что? — спросили его.

— Не приняли! — глухо прогудел бас. — История: стали под рояль пробовать голос, я разинул хайло, хвать — вместо верхнего „до“ из глотки-то свист!

— Хо-хо-хо!

— Что же тебе сказали?

— Что сказали? Бился-бился я — ничего нет, кроме свисту, плюнул да и пошел, а дирижер остановил меня и говорит: „Это у вас не от водки ли?“ От нее, мол, от проклятой: сильно, говорю, страдаю этим известным русским недостатком.

— Хо-хо-хо!

— Ну, говорит, полечите горло, а потом приходите! Это он потому, что октавой-то я ему контр-соль взял . . .

— Смажь чем ни на есть хайло!

— Дня через два все само воротится! — уверенно возразил Северовостоков.

Через два дня голос действительно воротился, и обладатель его был принят в оперный хор на семьдесят пять рублей в месяц.

Басу позавидовал Савоська.

— Э! — квакнул он. — Пойду и я! Не попаду ли в помощники декоратора?

При содействии Северовостокова взяли и Савоську „по декораторской части“.

Около того же времени Толстый получил откуда-то большое письмо: какие-то далекие друзья звали его к себе на юг России.

„Мужественный старик“, которому было „все равно“, не захотел отстать от друга, и они решили ехать вдвоем.

Уговорились „податься на низовье“ все вместе, после прощального спектакля, на одном пароходе с труппой.

„Фракция“ распадалась.

„Вертеп Венеры погребальной“ скоро должен был опустеть.

Дня за три до прощального спектакля Северовостоков достал всем даровые билеты на „Демона“.

Оперная труппа оказалась большая, солидная. „Демона“ пел знаменитый баритон, хор был огромный, со-

ставленный исключительно из больших, сильных голосов.

Огарки более, чем Демоном, заинтересовались хором: одетый в живописные черкесские костюмы, красочный, картинный хор наполнял весь театр густыми волнами красивых аккордов.

Северовостоков и фигурой и голосом выделялся из всего хора: в коричневой черкеске, в белой папахе, плечистый, смуглый, в своей собственной бороде, он, как шапкой, накрывал все голоса громовым басом и в сильных местах заглушал все звуки хора и оркестра.

Публике казалось, что какой-то необыкновенный певец скрывается в хоре.

В „Ноченьке" он пел октавой.

Хор красиво полулежал в глубине потемневшей сцены, около декоративных скал и электрических „костров", а в центре всего хора, лежавшего полукругом, виднелась богатырская фигура Северовостокова и рокотала, покрывала всех:

Но-чень-ка . . . тем-на-я . . .
Ско-о-ро ль . . . пройдет она? . .

Тихо и стройно звучала толпа голосов и, когда хор переводил дыхание, густая, чугунная октава, расширяясь, как волна, продолжала катиться и снова подхватывала весь хор на свой темный, широкий и неясный хребет:

За-втра же . . . с зорень-кой . . .
В пу-уть нам . . . о-пять . . .

Накануне отъезда огарки „резвились" за Волгой.

По разбойничьей, дикой реке Усе, которая, подобно тетиве, соединяет огромный полукруглый изгиб Волги, добрались они на лодке до величавого Молодецкого кургана, залезли на самый верх его и устроили „на лужайке детский крик".

Все шестеро — Толстый, Северовостоков, Сокол, Савоська, Небезызвестный и Гаврила — сидели и полулежали на заросшей зеленым дерном верхушке кургана, под тенью старого развесистого дуба, и отдыхали от суточного путешествия по Усе на лодке. На суку, над головой Северовостокова, висели, покачиваясь, гусли; струны гусель под свежим теплым ветром издавали по временам тихие, грустные и невнятные аккорды, и под эти

мелодичные, чуть слышные звуки Савоська рассказывал товарищам свои лесные сказки.

Они слушали или не слушали, но с наслаждением, почти без слов и без движения, жадно и ненасытно отдавались созерцанию чарующей и приковывающей к себе волжской природы, — это было все, что они здесь любили.

Они лежали на краю гигантской отвесной скалы, высоко над водой, почти наравне с вершинами соседних гор.

Внизу, у подножия Молодецкого кургана, чуть слышно плескалась Волга и разливалась кругом, как море: у кургана Уса впадает в Волгу; Волга, блестящая, глубокая и спокойная, здесь так широка, что чуть-чуть видна вдали песчаная отмель противоположного берега.

Молодецкий курган — отвесный утес, правильный, как стена крепости, — грозно стоит над широкой водной равниной. Он встает прямо из пучины, неприступный с Волги, и кажется сложенным циклопами из огромных слоистых камней.

Из расщелин этих камней растут ели и березы, охватывая своими корнями голые, твердые камни. Внизу клокочут степные орлы, вьющие здесь свои гнезда. Да и сам Молодецкий курган, полукруглый, окаймленный с двух сторон лесом, напоминает собою огромное разбойничье гнездо. Позади кургана, еще выше его, поднимаются самые высокие Жигулевские горы, амфитеатром окаймляя устье реки Усы. Страшные скалы, словно сдвинутые когда-то гигантской рукой, висят над водой с вечной, неизменной угрозой. Высоко на соседней горе виднеются причудливые камни, похожие на развалины замка с зубчатыми стенами и острыми башнями, с неясными сказочными фигурами людей и небывалых зверей.

Все здесь широко, привольно и романтично, природа словно дышит героическим настроением, и кажется, что только при такой декоративной обстановке могли совершаться народные мятежи и разбойничьи подвиги.

Над этими горами еще носятся величавые тени далекого прошлого, еще бродят таинственно бесприютные горные духи, еще живут они в лесных дебрях Жигулевских гор и в лунные весенние ночи играют и аукаются в горах и купаются в зеркальной Волге под сере-

бряными лучами месяца среди таинственной ночной тишины. Хоровод окружающих гор, шевеля своими кудрявыми лесами, шепчет все еще прежние величаво-печальные истории.

Привидения прошлого стоят здесь близко-близко, дышат на вас за вашими плечами, и вместе с шепотом ветра и шелестом листьев, вместе с ропотом волн шепчут и они что-то неведомо грустное...

Чуткая, торжественная тишина охватывает девственные горы и Волгу, и только слышится журчание быстро мчащейся воды да горные ключи бьют из камней и, звучно струясь, падают в реку.

Тишина и необъятная ширь.

Над серебряной, блестящей на солнце гладью реки опрокинулась глубокая чаша неба, и в ее безграничной вышине мчатся белые стада облаков.

А внизу — мерные волны, неслышно приходя одна за другой, таинственно бормочут о чем-то...

„Гусли-самогуды", качаясь на дереве, отвечают что-то невидимке ветру...

Савоська рассказывает.

Все огарки лежат под тенью дуба над обрывом утеса в различных позах... Толстый — в феске и коричневых запорожских штанах. Северовостоков — в испанской рубашке и черной широкополой шляпе, делающей его похожим на бандита.

Рядом пылает костер и кипятится в котелке „уха".

Около котла хлопочут Сокол и Небезызвестный.

Савоська сидит, поджавши под себя ножки, лицом ко всей компании, величественно протягивает перед собой руку и квакает:

— Э!.. Хорошо быть вальдшнепом, хорошо лететь высоко-высоко в небе и мчаться на легких крыльях в необъятной небесной пустыне, мчаться над спящей печальной Россией все дальше и дальше на юг, в далекий теплый край, за теплое море... Э... Хорошо!.. Харг!.. Харг!..

Звуки земли становятся все тише и глуше, поля, леса и реки заволакиваются туманом, и слышен только нежно-задумчивый шелест... Что это? Шелест грустных камышей, склонившихся над зеркальным озером, или знакомый лес шелестит своими махровыми ветвями? Ветер ли в степи звенит высокою сочною, зеленой травой?.. Харг!.. Харг!..

Савоська растопырил обе руки, как крылья, и, во-

ображая себя летящим в небе вальдшнепом, продолжал вдохновенно:

— Далеко-далеко внизу вьется широкая блестящая лента Волги... Зеленеют горы... Желтеют песчаные косы... Сереют печальные деревни... Стонет песня Волги — „Дубинушка"... Дальше... дальше... Харг!.. Харг!..

Широкие зеленые степи, старые степные могилы... хутора... стройные тополя... белые хохлацкие хаты, окутанные вишневыми садами...

Парубки в сивых шапках и дивчата в ярких нарядах, с цветами и лентами в русых волосах, водят хороводы и поют печальные песни... Дальше!.. Все дальше!.. Харг!.. Харг!..

Море! Вот оно, густо-синее, излишне синее южное море!.. Солнце!..

Яхонтовые струи лениво говорят что-то на своем языке и со звоном разливаются по золотистому песку.

Ширь морская в необъятной дали сливается с безоблачным небом и, слабо дыша, колыхает на своей груди, словно белых птиц, турецкие парусные лодки, а южное солнце потоками мягких лучей заливает эту лазурную громаду, играя радужными брызгами... Э!.. Хорошо!

Теплый, влажный ветер, пропитанный запахом пряных трав и соленого моря, страстно шепчется с рядами стройных кипарисов... Смуглые люди... Южные женщины, еще хранящие в своих чертах античные типы... Э!.. Хорошо любить жизнь, красоту и море!.. Харг!.. Харг!..

Дальше!.. Все дальше!.. Море!.. Все только волны и небо, небо и тучи!.. Взволнованная громада глубоко дышит крупными тяжелыми волнами, по небу мчатся косматые, разорванные тучи, и кажется, что на горизонте они опускаются в пучину, и волны, вздымаясь, касаются туч. Как чудовища, низко ползут они над волнами... Волны прыгают и ревут, как белогривые звери...

Кажется, что царь морской возненавидел надводный мир, — так гневно дышит море своею мощною грудью.

И поет море... Поет, как орган, могучую, торжественную вечную песнь... И песнь эта — о тайнах мира, о морской глубине, о вечности звезд, о торжестве всемогущей природы... Э!.. Хорошо быть вальдшнепом!.. Дальше!.. Все дальше!.. Харг!.. Харг!..

Как хороша Розовая скала около Сорренто!

— Хо-хо-хо! — не выдержали огарки. — А ты был в Сорренто?

— Не перебивайте! .. — в отчаянии возопил Савоська, потрясая кулаками. — О, черти! Все пропало! Не могу больше о вальдшнепе!

Савоська „тяпнул“ водки и углубился в себя, вдохновляясь на новую тему.

— Видел ли ты море-то? — спросили его.

— Никогда! — отвечал Савоська.

— Расскажи лучше о твоей преступной связи с аптекаршей! — невозмутимым тоном посоветовал Толстый. — Или о том, как ты выстроил церковь!

Все рассмеялись.

— Э! — квакнул Савоська. — В церковь, выстроенную мной, я никогда не войду, а об аптекарше не стоит вспоминать: когда я пришел к ней в последний раз — квартира оказалась запертой. Я — в аптеку и, конечно, наткнулся там на аптекаря. Однако не сморгнул глазом: где, спрашиваю, мадам такая-то? А аптекарь мне с ядом: „Уе-ха-л-ли, говорит, в Петербург! ..“ И так это он скверно сказал, что я тотчас же в тон ему ответил: „Кл-ли-зма“, — повернулся, хлопнул дверью и ушел. Вот и все! — печально закончил Савоська.

— Хо-хо-хо! — гремели огарки.

— По-моему, любовь — это чепуха! — продолжал Савоська. — Это нечто буржуазное! Э! — хлопнул он себя по лбу. — Хотите, расскажу вам „лягушиную любовь“?

— Жарь! ..

Савоська подобрал ноги под себя, протянул перед собой руки и начал торжественным голосом:

— Тихо было на болоте . . . солнце закатывалось . . . На вязком грязном берегу от лошадиного копыта остался глубокий след, наполненный водой. И вот туда-то, в это уединенное место, скрытое тенью колоссального лопуха, и заплыли две зеленые молодые лягушки помечтать на закате солнца. Э! .. Хорошо мечтается на болоте в колдобине от лошадиного копыта!

Тихо шевеля своими зелеными лапками, две подруги тихонько напевали нежный лягушиный дуэт, — шалуньи! Они уже знали, что около колдобины робко плавает головастик, безумно влюбленный в одну из них!

Наконец он не выдержал и тоже появился в этой

уютненькой лужице с только что пойманным хрущом во рту.

Грациозно подплыл он к подругам и положил хруща к ногам любимого существа.

— Это для вас! — выпуская пузыри, галантно прошептал головастик. — Он еще живой-с! Э!

Огарки рассмеялись.

— К черту лягушиную любовь! — загалдели они. — Отхватывай лучше стихи...

Сокол, в красной рубахе без пояса, в высоких сапогах и без картуза, стоял на краю обрыва и давно уже задумчиво смотрел на Волгу.

— Никакими ты мне стихами не опишешь того, — с расстановкой, медленно вымолвил он, — как плывет тихая река к морю.

— Верно!— поддержали его.

— Мне теперь так вот кажется, — продолжал Сокол уже патетически, — что вот эти все горы, и вот эта гора, вон-вон, что похожа на развалины дворца, — все это вовсе не графа какого-то там, а мое, наше, потому что предки наши здесь разбойничали и все эти места им принадлежали. Они здесь были хозяева! Да!

— Дорогой мой, вы, как мне кажется, смотрите на природу с точки зрения крестьянского малоземелья! — прервал его Небезызвестный.

Все засмеялись.

— Что ж! — отважно возразил Сокол. — Я говорю о самой истинной справедливости: кажется мне вот, да и баста, что воротился я сюда как будто бы домой, в свое владенье, к этим развалинам дедовским, и все это — мое! Но только что, конечно, забыли все настоящего-то владельца, не признают его и в грош не ставят, потому что давно уже он в неизвестной отлучке, в бедности и унижении, жизнь ведет огарческую, цыганскую, как есть — цыганский барон! Вот он придет когда-нибудь и скажет: дав сюды мое графство!

— Держи карман!

— Огребай плотву, яко щучину! — прогудел Северовостоков.

— У моего папаши земли тоже целое графство, — пропищал Гаврила, — а попробуй-ка сказать ему: „дав“, — как он завизжит!

— Палил черт свинью: визгу много, а шерсти мало! — отозвался Толстый.

— Хо-хо-хо!

— А все-таки этот курган — мой! — не унимался Сокол, сверкая глазами. — И горы — мои, и скалы — мои! Все здесь — мое!

Слегка выпивший, возбужденный, он говорил это полушутя, полусерьезно. Черные густые волосы его стояли дыбом, ветер трепал красную распоясанную рубаху.

— Вот здесь, — пнул Сокол камень, на который опирался ногой, — вот, может быть, на этом самом месте стоял каменный стул батюшки Степана Тимофеевича, и он позволил тут суд рядить и ослушников казнить: прямо в Волгу их отсюда сбрасывали! Ого! — радостно крикнул он.

— Это в тебе разбойничья кровь говорит! — спокойно заметил Толстый, полулежа на земле и наливая себе водки в свинцовую чарку. — Истинно говорю тебе: долбанешь ты когда-нибудь какое-либо начальство шкворнем по башке!

— Долбану! — согласился Сокол.

— Постойте-ка! — вдруг вскрикнул Савоська и, склонив голову набок, прислушался. — Слышите? .. Голоса! .. Там, внизу, — драка! — решил он, вставая. — Плюньте мне в морду, если вру: у меня ухо охотничье! ..

Все прислушались.

Сквозь шум волн действительно чудилась человеческая ругань, крики и чей-то плач.

Огарки вскочили на ноги.

Через минуту они уже спускались по затылку Молодецкого кургана к берегу Усы.

Впереди всех был Северовостоков. Против кургана стояла на Усе барка, грузившая камень, а на берегу шумела толпа бурлаков, крючников с этой барки, человек двенадцать. Одни из них смеялись, другие ругались. Плакали и визжали трое деревенских мальчишек: крючники поймали их, держали за шиворот и за что-то били, поднимая за волосы на воздух...

— Москву им надо показать! — со смехом галдели крючники.

Вдруг с горы загремел голос Северовостокова:

— Гей, вы! ухорезы! Не смейте бить детей! ..

Крючники задрали головы кверху: в полугоре стояли, выжидая, огарки, а по тропинке спускался с кургана „барин“ — человек в широкополой шляпе; шляпа возбудила в крючниках ненависть.

В ответ на грозный окрик певчего посыпался град вызывающих, скверных ругательств, таких изысканных, какие можно слышать только от бурлаков на Волге.

— Эй! шляпа! .. Убирайся на легком катере к чертовой матери! .. Твово бы отца величать с конца! .. Барский нищий с худой голенищей! ..

Ругань была рифмованная, художественно-артистическая, перебиравшая всю родословную, полная самых невозможных пожеланий.

Из толпы выделился здоровенный парень и принял вызывающую позу.

— Потрафь ему в морду! — просили его товарищи. — Д-дай ему!

Крючники хотели воспользоваться случаем — поколотить „барина".

Северовостоков преобразился — он сразу вспыхнул, рассвирепел и пришел в состояние величайшей ярости: смуглое лицо его покрылось мертвенной бледностью, брови грозно сдвинулись, глаза осветились огнем. Он быстро сбросил с себя пиджак и шляпу, окинул толпу молниеносным взглядом, потом огляделся кругом, и взгляд его упал на разбитый остов челнока-душегубки, валявшийся на песке. Это было дно маленькой черной долбленой лодки, с расколотой носовой частью. Как тигр, прыгнул он к ней, наступил ногой на одну половину, схватил другую обеими руками, с треском разодрал челнок пополам и в неподражаемо гордой позе замахнулся этой половиной лодки, намереваясь ею истребить своих врагов. Он был удивительно красив, живописен и страшен в эту минуту, ловкий, гибкий, как хищный зверь, бледный, с горящими глазами и целой гривой развевающихся кудрявых волос.

Крючники в ужасе бежали от него. Северовостоков не стал их преследовать, но, чтобы разрядить свой гнев, грянул половинкой челнока о большой камень, и она разлетелась в щепки.

Убежали и крючники, и побитые ими ребятишки.

Издали слышались голоса:

— Это сам окаянный!

— Эх, паря, на какого черта наткнулись!

— Они все, должно, такие! ..

— Хо-хо-хо! — ржали огарки, опускаясь к реке. — Наш удар!

После такой легкой победы над крючниками огарки

разделись и стали купаться в зеркально чистой Усе, около своей лодки.

Северовостоков бросился в воду первый и сразу же поплыл вдаль мимо кургана, к Волге. Плавал он великолепно, легко рассекая спокойную гладь реки своими богатырскими руками и взбирая грудью пенистую волну. Огарки долго любовались, как после каждого взмаха руки показывалась над водой его могучая смуглая спина, влажная и блестящая на солнце, вся из напряженных мускулов.

Наконец он пропал из глаз.

Прошло с четверть часа, а Северовостоков не возвращался.

Огарки вылезли из воды, оделись, а его все не было.

Тогда они стали беспокоиться.

— Что за черт? Куда он делся? — недоумевали огарки. — Не утонул же в самом деле?

И они все хором, разными голосами, надрываясь, начали кричать, издавая протяжные, дикие звуки:

— Ого-го-го-го!

Но никто не отзывался — только эхо гудело в горах.

Тревога их стала возрастать.

— Поедемте за ним на лодке! — предложил Толстый. — Заплыл, должно быть, далеко, черт!

Они уселись в лодку, отчалили и направились через Волгу к ее чуть видному песчаному берегу.

Ехали, уныло всплескивая четырьмя веслами, озирались кругом, кричали, махали рубахой, привязанной к багру.

Но кругом расстилалась и молчала огромная водная ширь, блестящая под лучами солнца.

Молодецкий курган остался далеко позади них, сделался маленьким, а песчаный берег был еще далеко. Волга здесь разливалась версты на три.

Доплыв до середины реки, они долго кричали, пока не охрипли.

Северовостокова нигде не было.

Огарки бросили весла, умолкли и задумались.

Сокол, сняв шапку, перекрестился.

— Царство небесное! — сказал он строго и мрачно.

Тогда и остальные, при всем их равнодушии к религии, обнажили головы и тихо прошептали:

— Царство небесное!

— Хороший был огарок, а как умер глупо!

— Главное — молодой еще... жалко!

— Некролог напишу! — сказал Небезызвестный.

Они повернули лодку обратно и поплыли опять к Молодецкому кургану в глубоком печальном безмолвии.

Но лишь только подъехали они к берегу, как откуда-то издалека доплыл до них могучий знакомый голос...

— Это он! — радостно закричали огарки, подняли весла и прислушались.

На далеком песчаном берегу Волги пел Северовостоков, и голос его разносился на три версты кругом:

Меж крутых бережков
Волга-речка течет,
А по ней, по волнам,
Легка лодка плывет...

— Орет! — радостно закричали огарки. — У, Балбес проклятый, сколько людям крови испортил, подавиться бы тебе!.. Айда, ребята, скорее к нему!.. Хорошо, что хоть хайло-то у него как у влюбленного осла!..

И огарки, дружно работая веслами, снова поплыли за три версты.

А Северовостоков орал все громче и ужаснее, забираясь на самые верхние ноты:

В ней сидел молодец,
Волны резал веслом.
Шапка с кистью на нем
И кафтан с галуном.

Это была волжская разбойничья песня. Огарки мчались прямо на голос.

А в боярском дому
Отворялось окно,
По веревке краса
Молодца приняла, —

гремело по реке.

Степка-Балбес долго пел еще и кончил песню громовой размашистой нотой.

Только через час переплыли они Волгу и причалили к песчаной отмели лугового берега.

Под лучами полуденного солнца Северовостоков дав-

но уже спал нагой на песке. Он лежал вниз лицом, положивши косматую голову на вытянутые могучие руки; голова его и грудь были на берегу, а все тело по пояс лежало в воде: ленивые волны медленно перекатывались на его спину и снова сбегали с худого, мускулистого, словно вылитого из бронзы тела. И казался он какой-то символической фигурой, странным исчадием Волги, наполовину принадлежащим ей и заснувшим в энергичной позе стремления вперед.

VII

Отъезжавших огарков пришли провожать на конторку парохода Павлиха, Сокол и Гаврила.

Явились еще певчие — девять басов архиерейского хора, вся басовая партия, и регент Спиридон — провожать Северовостокова.

Опять было прелестное весеннее утро. Волга дышала привольем, свежестью, отрадой.

Огромный двухэтажный пароход, белый, как лебедь, пыхтя и выпуская в воду пары, зашевелил могучими лопастями колес и стал медленно отходить от конторки.

На верхней площадке его сгрудилась густая толпа отъезжавших; внизу, на конторке, не менее густая толпа их родных и знакомых. Слышались восклицания, приветствия, прощальные пожелания.

В воздухе мелькали платки.

На корме стояли Северовостоков, Савоська, Толстый и Небезызвестный.

На конторке с растроганными лицами замерли Сокол и Гаврила. Подле них тихо плакала Павлиха.

Пароход пошел. Огарки кланялись, махая шляпами и платками.

Когда наконец пароход отошел на середину Волги и стал круто поворачивать вниз по течению, архиерейские басы выстроились все в ряд, регент поднес к уху камертон, задал тон и взмахнул рукой — басы мощно и стройно, все враз и в одну ноту, заревели оглушительными голосами:

— Про-ща-а-ай!

Толпа шарахнулась от них.

Северовостоков долго не отвечал им. На корме парохода едва можно было различить его картинную фигуру в широкополой шляпе.

Только когда пароход совсем перевалил на другую сторону реки, оттуда доплыл густой, круглый и могучий ответ в ту же самую ноту:

— Про-ща-а-ай!

Голос его, плотный, цельный и громадный, дошел, как волна, издалека и долго катился по реке.

И сразу все почувствовали превосходство этого благородного, кованого голоса над всеми девятью архиерейскими басами.

Пароход быстро удалялся и скоро исчез вдали, за изгибом реки.

С конторки все разбрелись.

— Эх, соколы! Улетели вы! — все еще глядя на блестящий горизонт, с чувством воскликнул кузнец. — Подались наши на новые места!

— На вольные земли! — грустно отозвался Гаврила.

Павлиха молча вытирала слезы.

— Эх, Павлиха-соколиха! — обнял старуху Сокол. — Как теперь ты без огарков жить будешь? .. Заскучаешь! ..

— Вота! — возразила Павлиха, улыбаясь после слез. — Мало, что ли, огарков на свете? .. Новых наберу!

— Правда твоя, мать огарческая! — подтвердил Гаврила. — Новых набирай! .. Только вот уж я . . .

Гаврила запнулся, подбородок его задрожал, на глазах навернулись слезы.

— . . . Я уж останусь один . . . — он овладел собой и улыбнулся, — как собака на заборе!

— Д-да! Посидим пока что, как греки под березой! — толковал кузнец. — А потом и мы . . . куда-нибудь . . . улетим . . . в сияньи голубого дня . . .

Через неделю Гаврила застрелился из ружья у себя на хуторе, в степи . . .

Огарческий период жизни кончился для огарков. Разбросанные в разные стороны света, они вступили в новый фазис своего развития. Их ждала новая жизнь, совершенно отличная от жизни огарческой.

. . . .

Март, 1906

Воспоминания



УЛЬЯНОВ-ЛЕНИН

Было это в конце восьмидесятых годов прошлого столетия в Самаре. Старая Самара, ныне Куйбышев, была тогда типично провинциальным городом, славившимся грязью и пылью.

В то же время это был как бы пересыльный пункт для высылаемых из столиц „политических", вносивших единственное оживление в умственную жизнь скучного, сонного города.

Это оживление было особенно заметным, когда в столичных университетах ввели новый, жестокий устав, уничтожавший остатки вольностей для учащейся молодежи. Самара наводнилась высланными по случаю студенческих „беспорядков".

Незадолго до этого произошло неудачное покушение на жизнь царя Александра III.

На нелегальных, но многолюдных вечеринках революционной молодежи выступали иногда крупные люди того времени, посидевшие в „Крестах", отбывшие почетную ссылку или бежавшие из ссылки. Многих через Самару высылали дальше — в Сибирь.

К весне 1887 года весь этот шум, внесенный политическими, куда-то схлынул, почти все приезжие „уехали".

Я был тогда очень юным человеком, только что окунувшимся в эту кипучую жизнь и вдруг оставшимся „без среды".

На таком же положении оказался и друг моего детства, мой однодеревенец, крестьянин моей родной деревни Бестужевки — Марк Елизаров, получивший образование в Петербургском университете и „вышибленный" оттуда во время „беспорядков".

Мы ежедневно виделись. Марку было двадцать пять, мне — восемнадцать лет. Нас связывали деревенское

детство в нашей Бестужевке, среди красивой природы, на берегу Волги, стремление обоих к образованию и революционное настроение.

Однажды под вечер теплого майского дня я зашел к Елизарову. У него оказался гость — юноша моего возраста, крепыш среднего роста, с большим лбом и длинными, до плеч, густыми, светло-каштановыми, вьющимися волосами, закинутыми назад. Веснушчатое, с первым золотистым пушком на подбородке, лицо его, с веселой усмешкой на пухлых, но крепко сжатых губах, еще носило следы юношеской мягкости. В небольших голубоватых глазах светился быстрый и острый ум. Говорил он усмехаясь, негромким, слегка грассирующим голосом.

— Ульянов! — отрекомендовался он, крепко сжимая мне руку.

О семье Ульяновых, с которой Елизаров познакомился в Петербурге, я много слышал от него и прежде. По его словам, все они были способные люди. Старший брат, Александр, был казнен за участие в покушении на жизнь царя, после чего вся семья очутилась под надзором полиции. Передо мной был младший Ульянов — Владимир. Он ехал в Казань с целью поступить в Казанский университет.

Начался обычный разговор учащейся молодежи того времени: о том, как и где сдать экзамены „вышибленному" человеку и как, наконец, при всей любви к науке, может она в таких скитаниях осточертеть.

— Прежде я был не в ладах с математикой! — посмеиваясь и запуская руки в карманы брюк, говорил Ульянов. — Рассуждал так: если назначен урок по математике — значит, я свободен! Хе-хе! Но теперь, когда вник, люблю ее! Но все-таки, если мыкаться из города в город с мешком толстых учебников, то, кажется, так бы и спихнул их в Волгу!

— Ну, при твоей-то башке, с такой памятью, — возразил Марк, — как не сдать!

— Сдам, конечно! Да вся эта казенная учеба давно в зубах навязла! Надоела! Меня теперь совсем не это занимает.

Внезапно загоревшись, расхаживая по комнате большими шагами, юноша заговорил об истории революционного движения в России.

Он не говорил звонких слов — говорил просто, понятно, — поэтому сразу захватывал убедительностью

своих суждений. Видно было, что этот почти еще мальчик хорошо, основательно знает тот предмет, о котором говорит. Центральной областью его интересов и познаний как тогда, так и во всю последующую жизнь была революция.

Елизаров на первых порах пытался было вставлять в его речь краткие реплики, но вскоре умолк: Ульянов сыпал датами, цитатами, цифрами, историческими подробностями, иногда отвлекаясь далеко в сторону от своей основной мысли и как бы теряя связь с ней, но потом оказывалось, что он нисколько не забывал о ней, подтверждал ее, развивая сложное и строго построенное мировоззрение. Спорить с ним не приходило в голову ни мне, ни Елизарову: под конец его обширной, содержательной речи мы оба должны были только слушать, а юный ученый, по-видимому, чувствовал себя в любимой стихии. Ульянов, засунув руки в карманы и потряхивая длинными золотистыми кудрями, большими шагами как бы вымерял комнату, говорил с увлечением математика, доказывающего совершенно ясную для него теорему. В эти минуты юноша словно вырос перед нами, казался много старше своих лет. Было ясно, что даже по своей теоретической вооруженности Владимир Ульянов представляет незаурядное явление.

Иногда он останавливался у окна и, оборотясь к нам, продолжал говорить.

Заходящее весеннее солнце косыми лучами освещало его оживленное, сделавшееся чрезвычайно интересным лицо. Небольшие, искрящиеся лукавым торжеством глаза светились в это время голубым, сияющим светом.

Таким на всю жизнь остался в памяти моей юношеский образ Ульянова-Ленина при первой моей встрече с ним в 1887 году.

На другой день он уехал — и, конечно, сдал экзамены в Казани. Вскоре Елизаров женился на Анне Ильиничне, старшей сестре Владимира Ильича.

В 1893 году я уехал из Самары. В это же время, исключенный из Казанского университета, Ленин уехал в Петербург. Марк с женой переселился туда же, поступив снова в студенты, несмотря на свой более чем тридцатилетний возраст.

Мы расстались на многие годы, встретившись уже возмужавшими людьми в обстановке надвигавшейся революции 1905 года.

В 1903 году, будучи уже профессиональным писателем, я в первый раз в жизни поехал за границу посмотреть европейские страны и кстати побывать в гостях у зарубежной революционной эмиграции, среди которой выделялось имя Владимира Ильича Ленина, уже известного тогда всей России.

На летние месяцы попал в Женеву, остановился в гостинице и тотчас же вышел пройтись по городу; но едва вышел, как столкнулся со знакомым московским студентом-партийцем. Он окликнул меня:

— Давно ли на сей земле?

— Только что. Еще и города не видал!

— Пойдемте сейчас на эмигрантское собрание, вот в этом доме, здесь же, на площади. Я думал, что и вы туда идете. Вероятно, знакомых своих, вроде меня, многих встретите. Жаль, немножко запоздали!

Мы вошли во второй этаж, в довольно большой зал собрания, наполненный русскими эмигрантами. Оказалось, собрание кончилось, публика расходилась.

Мы спустились по лестнице обратно, невольно остановившись у подъезда.

— Знаете что? — сказал мой спутник в раздумье. — Давайте завернем сейчас к Ленину! Наверное, он дома теперь.

— Пожалуй! Мы встречались с ним когда-то давно, в юные годы.

— Да, он говорил мне. Ленин помнит вас, и ему, конечно, будет приятно повидаться с вами. Ведь ваше „Знание“ гремит теперь!

Через несколько минут ходьбы мы нашли квартиру Ленина; это был отдельный маленький флигелек или, скорее, избушка во дворе большого дома, в саду. Обстановка жизни Ленина в Женеве выглядела аскетически: через прихожую мы вошли в небольшую комнату, которая казалась голой от скудной мебели: вместо письменного — простой, некрашеный стол, несколько венских стульев и этажерка с книгами.

В момент нашего прихода сам хозяин быстро шагал по своей комнате, по-видимому о чем-то думая.

Я сразу узнал Ленина, хотя за пятнадцать лет после нашей встречи наружность его значительно изменилась. В это время ему было тридцать два — тридцать три года. Но вместо прежних золотистых кудрей на макушке светилась небольшая лысинка, поредевшие волосы коротко острижены, отросла маленькая бородка. По-

прежнему крепко сложенный, казался он худее, сутуловатее и одет был неважно: потертый коричневый пиджак, надетый на косоворотку, коротковатые брюки.

Увидев меня, он не особенно удивился, словно давно поджидал писателя из России.

На первых порах отдали дань воспоминаниям.

— Отлично помню нашу с вами встречу у Елизарова. Вы и тогда, кажется, неплохо стихи пописывали. Марк показывал. Он чудак: почти сорока лет опять в студенты поступил, в Технологический, но, конечно, от политики не мог отстать — влопался, в тюрьму попал, выслали. Пропало инженерство!

Он стал с интересом расспрашивать меня о России, о литературе и литературных наших делах.

Мне удивительно было видеть огромную мощь духа, заключенную в человеке маленького роста, с огромным лысеющим лбом, непрестанно работающим над тем, чтобы из-под семи замков могли вырваться скованные силы революции.

Во время революции 1905 года Ленин появился в Петербурге и начал руководить газетой большевистского направления „Новая жизнь". Статьи Ленина поражали рядового читателя новым, широким масштабом.

Я жил в то время в Петербурге.

Когда появился царский „манифест" с подозрительными „свободами", ко мне в то же утро прибежал мой приятель, сотрудничавший в газете большевиков „Новая жизнь".

— Можно в вашей квартире сделать экстренное собрание? — запыхавшись, спросил он меня.

— Можно. А что это за собрание?

— Наша газета только что закрыта, явилась полиция. Нужно немедленно обсудить положение.

— Хорошо, собирайтесь.

Через полчаса моя квартира стала наполняться сотрудниками закрытой газеты, руководимой Лениным. Собралось человек сорок. После всех приехали вместе Ленин и Горький.

Ленин выглядел почти весело, в противоположность всем: о закрытии газеты говорил с той же спокойной усмешкой, с какой говорил прежде о „пропавшем инженерстве" Елизарова.

Я предоставил собранию самую большую комнату

в квартире — мой кабинет, и они, не садясь и не раздеваясь, тотчас же начали дебаты.

Говорили спешно, возбужденно. Ленин все время молчал, руки у него были засунуты в карманы.

Я ушел в другую комнату.

Через час все разбежались с такой же быстротой, с какой собрались.

После всех остался у меня посидеть Горький.

— Вы сами-то как думаете: чего теперь можно ждать?

— Вероятно, реакции.

— Да! — со вздохом подтвердил он, уходя. — Идет реакция.

Ленин после этого собрания исчез из Петербурга.

1939

МАКСИМ ГОРЬКИЙ

Встречи

I

В начале 1897 года, вернувшись из пятилетних скитаний по России в родной мой город Самару, я впервые в качестве постоянного сотрудника в возрасте двадцати шести лет начал печататься в „Самарской газете“, откуда только что, за несколько месяцев до моего приезда, выбыл и уехал из Самары молодой беллетрист Алексей Пешков, подписывавшийся под газетными фельетонами „Иегудиил Хламида“, а под рассказами — „Максим Горький“.

Имя и произведения „Хламиды“ были у всех на языке в Самаре. В это время он уже начал печататься в журналах, и я читал его „Челкаша“, находя этот рассказ мастерски написанным. Отдельного издания его произведений тогда еще не было, но я судил о них по „Челкашу“.

Рассказывали мне мои самарские знакомые, что и человек он интересный, оригинальный:

— Высокий такой, в крылатке и широкой шляпе ходил, как и ты прежде, тоже плащ носил, демоном тогда кричал — „проклятый мир“ с крыши по ночам пел! . .

В Самаре у „Хламиды“ — Горького было много почитателей и друзей, поклонников и поклонниц.

Его прежде всех оценила читательская масса — трудовая интеллигенция, учащаяся молодежь, трудящийся люд — рабочие, которые назвали его „наш Максим“. Так называемое „высшее общество“ отзывалось о новом писателе враждебно.

К этому обществу в большинстве примыкала и фешенебельная буржуазная интеллигенция.

Как сотруднику „Самарской газеты“ эта интеллигенция открыла свои двери и для меня. Вот там-то однажды подошел ко мне человек, отрекомендовавшийся „другом Горького“, некто С.

Принадлежа к состоятельному кругу буржуазной интеллигенции, он был гласным городской думы, имел

доходные дома, доходную контору, но тяготел, по его словам, к литературной богеме.

С фешенебельным обществом я не сошелся, зато с „другом Горького“ завязалось знакомство из-за любви его к литературе и к Горькому. Правда, любовь эта у эстетствующего состоятельного „рантье“ казалась мне вытекающей, главным образом, из тщеславия.

Однажды он принес мне свежую книжку толстого журнала, в котором было напечатано большое стихотворение Горького под заглавием „Песня о Соколе“.

— Прочтите! — сказал С. — И скажите ваше мнение... Вот талант! Жаль, что вы, кроме „Челкаша“, ничего у него не читали. Какая прелесть „Старуха Изергиль“ или „На плотах“, и это печаталось у нас, в „Самарской газете“!

Продолжая разговор, мы пошли гулять по городу. Когда проходили мимо старого, мрачного, облезлого дома с подвальным этажом ниже тротуара, он сказал мне:

— Обратите внимание: в прошлом году здесь в подвале жил Горький! И как подумаешь, что в этой обстановке была написана такая вещь, как „Изергиль“, — прямо удивляешься, откуда у вашего брата берется фантазия?!

Потом стал рассказывать о Горьком как о человеке:

— Это необыкновенная фигура! Во-первых — силач! Мы как-то компанией на пикник за Волгу ездили, так он там такой огромный камень по берегу катал, который мы вчетвером не могли сдвинуть с места. Во-вторых, вся его жизнь — фантастическая. Был крючником на Волге, молотобойцем в кузнице, калачником в пекарне (пешком исходил всю Россию). Вам надо непременно с ним познакомиться: вы одного с ним духа. Когда-нибудь поедемте к нему в Нижний, он в Нижнем теперь живет.

Однако случай познакомиться с Горьким представился мне только года через два после начала моей работы в „Самарской газете“, а именно весной 1899 года, когда только что вышло в свет издание первых двух томов Горького.

В Самаре они были расхватаны на лету. В надежде, что С. их уже имеет, я в погожий весенний день отправился к нему за город, на его дачу на берегу Волги, где проживал он с семьей каждое лето.

Застал его в саду, в крытой беседке за чаем, в обществе небольшой компании наших общих знакомых.

— Вы явились очень кстати, — торжественно сказал С., — только что приехал Горький и сейчас будет здесь!

За эти два года Горький быстро сделался всероссийской известностью. О „Фоме Гордееве", печатавшемся в „Жизни", уже писал Н. К. Михайловский, толковала критика, вся читающая Россия встретила его произведение с большим интересом и сочувствием. Наконец, только что вышли его книги. Этих книг я еще не видел, не было их и у С., и вдруг оказалось, что к нам в беседку ожидается сам автор.

Я все поглядывал на калитку, представляя себе, какая должна быть наружность у Горького.

Вдруг калитка отворилась, и вошел высокий молодой человек в длинном крылатом плаще, какие тогда уже вышли из моды, в широкополой шляпе и голубой косоворотке, широкоплечий, но очень худой, с бледным лицом и небольшими светлыми усами. В этом неправильном, словно топором вырубленном, лице при первом взгляде было какое-то мрачно-суровое выражение, как бы никого близко к себе не допускающее.

Хозяин пошел ему навстречу, гость улыбнулся неожиданно добродушной улыбкой и снял шляпу, обнаружив густые, длинные, прямые волосы.

Это и был Максим Горький в 1899 году — лет тридцати от роду, молодой, начинающий тогда писатель.

Войдя вместе с хозяином к нам в беседку, он поздоровался со всеми за руку. Рука у него была большая, длинная, и чувствовалась в ней значительная физическая сила. Помнится, что суровое выражение его лица через несколько минут разговора заменилось чрезвычайной симпатичностью.

Горький с первых же слов оказался живым, остроумным собеседником, простодушным и задушевным человеком. Говорил с подкупающим добродушием, рассказывал с природным артистическим талантом, а главное, с какой-то внутренней сочностью, с той игрой „изюминки", о которой говорится где-то у Толстого; человека этого как бы распирало от бродивших в нем образов, мыслей и свежих, ярких впечатлений. Казалось, что он может заворожить, затопить слушателей своими неистощимыми рассказами, которым не виделось конца.

И это без всякого литературного красноречия, разговорным, простым языком, короткими, грубоватыми фразами, глуховатым баском с заметным нижегородским ударением на „о“.

— Большинство современных писателей — буржуазны! Вот! — говорил он с юмористической миной своего живого, выразительного лица. — Они всегда стараются вызвать жалость в читателе. Они, лешие, всегда прощают и оправдывают грешников, а этого не нужно, это — лишнее, это — к черту! Зачем? И бога они ему выдумывают кроткого, прощающего мерзавцев, ибо такой именно бог нужен буржую. Буржуй прочтет своего писателя, щекочущего ему нервы, растрогается и почувствует себя человеком. „Должно быть, я еще не совсем свинья!“ — подумает он, опять станет уважать себя и успокоится. Писатель для этого и нужен ему, подлецу! А это лишнее! Зачем услужать буржую? Не давать ему бога! не давать! пусть живет без бога, пусть он чувствует себя свиньей перед господом, пусть живет, не уважая себя! Вот!

Это была как бы увертюра к определенному, выработанному миросозерцанию. Говорил это не трафаретный, холодный мозговик-интеллигент, а много выстрадавший новый человек „из народа“, говорил страстно, убежденно, и чувствовалось, что за этими словами может последовать действие, что в душе этого оригинального человека горит большой костер выстраданной ненависти.

Когда разговор затянулся и С., говоря о писателях из народа, упомянул о Шевченко, Горький сказал, усмехаясь:

— Ну, что же Шевченко? Не вполне проявил себя, остался только поэтом, а ведь по-настоящему-то ему бы гетманом надо быть!

Мне показалось, что этот новый наблюдатель народной жизни вынес оттуда тоже что-то новое, бодрое, что под рубахой длинноволосого странника нет-нет иногда нечаянно звякнет железная кольчуга бойца. Боец, несомненно, чувствовался и тогда в скромном бытописателе „низов“, протестующих натур „люмпен-пролетариата“, оригинальном мстителе, проникнутом стремлением судить верхние классы с заранее приготовленным приговором: „Нет прощения!“

Говорили о книге Ницше „Так говорил Заратустра“,

и опять мне показалось, что увлечение Горького „ницшеанством“ было не то что „приятием“ идей Ницше, но являлось соприкосновением с ним в той части, которая касалась „суда“ над европейской культурой. В результате длинной и увлекательной беседы получилось, что главным образом говорил Горький, а все собравшиеся с большим интересом слушали.

Не все были согласны с ним, в особенности С., стремившийся оправдать буржуазию, но речи молодого писателя были своеобразны, смелы и ярки, тем более что пересыпал он их еще более яркими, образными, художественными иллюстрациями из своих еще свежих тогда впечатлений, наблюдений и приключений пешехода. Говоря об изменившихся понятиях в толще народной, рассказал маленький эпизод, происшедший за время его пешего путешествия через землю Войска Донского.

— Зашел я ночевать в одну станицу... большая станица и богатые казаки, хорошо живут. Посмотрели на меня, пустили. Стал я разговаривать. Заинтересовались. Стали и мне свои нужды и обиды выкладывать. Жалуются на всякие земельные утеснения, „москалей“ ругают. Я им и сказал: „Ведь у вас есть сабли?“ — „Есть!“ — „Так что же вы?“ — „А як же царь?“ — возразили мне. Ну, тут я про царя им немножко поговорил. Наутро прислали за мной от станичного атамана и слушателей моих — казаков — позвали тоже, в качестве свидетелей. Вышел атаман, посмотрел на меня, сморщился, ничего не спросил, а прямо к свидетелям: „Правда ли, что проходящий насчет сабель и тому подобное и про царя говорил?“ Тут один из них, бравый такой усач, прищелкнул каблуками, ус закрутил и за всех отрапортовал: „Никак нет, не говорил и про царя не казав! Да неужели ж мы позволили бы ему, голодрапанцю, такое про царя говорить?“

И так это внушительно сказал „не позволили бы“, что у атамана сразу от сердца отлегло.

Все-таки посадили меня в телегу и молча повезли за село. Я уже начал думать, что тут мне и конец будет, однако провезли версты за три по дороге в степь, высадили и отпустили.

Горький рассказывал все это мастерски, в лицах, изображая действующих лиц с украинским акцентом.

Скитания свои по Кавказу с политическим каторжа-

нином — человеком, по его словам, „почти гениальным“ — передавал не менее интересно.

О нелегальном „человеке вне общества“ Горький не раз потом говорил мне: по-видимому, этот экономист, философ, мыслитель, широко образованный человек и большой природный ум произвел тогда на талантливого юношу сильное впечатление и, так сказать, наложил свою печать, дал его мыслям определенное направление. О нем в ранних своих произведениях Горький несколько раз упоминал с большой теплотой и благодарностью.

Не его ли образ, кажется мне иногда, послужил Горькому прототипом для создания одной из самых живых и рельефных фигур в пьесе „На дне“ — Луки?

Сквозившее в каждом слове рассказчика, а также и в его художественных произведениях, лежавших на столе перед нами, бодрое, жадно-оптимистическое отношение к жизни, неудержимо смелый порыв к свободе — все это с неожиданной силой действовало на его слушателей и читателей. Все, что говорил и писал тогда Горький, звучало как бы сплошной „песнью о соколе“, и сам он появился как сокол, как давно желанный и долгожданный гость — вовремя.

Его жгучие песни показались жаждавшим свободы подлинным, реально существующим новым миром, ярким, солнечным, широким и радостным, откуда лилась волшебная музыка новой жизни.

При этом первом знакомстве Горький пригласил меня побывать у него в Васильсурске, где проводил он тогдашнее лето.

II

Маленький городок Васильсурск приютился над Волгой, на верхушке остроконечной, крутой и зеленой горы при впадении реки Суры в Волгу. Это одно из красивейших мест на великой русской реке. Сура и Волга, сливаясь, образуют огромную водную равнину, а над ней, как в сказке, возвышается конусообразная, зеленая, вся в садах, высокая гора; на гору с трудом взбираются бревенчатые избы, вьются тропинки, ползут, подпираясь кольями, покосившиеся плетни и частоколы, высоко-высоко, под самой вершиной, выделяется прилепившийся к ней, как ласточкино гнездо, хорошенький

бревенчатый одинокий домик в три окна, с тесовой крышей „коньком“, с расписными крашеными ставнями и резьбой по карнизу. Этот домик было видно издалека, когда, бывало, подплывешь на пароходе к Васильсурску, я помню его с детства, когда он был еще новенький, золотом горевший под лучами обильного волжского солнца, потом посерел, а за последние годы покосился набок и скоро упадет, если не упал. Видел его на фотографиях и на полотнах картин. От калитки вьется вниз к Волге желтая, золотистая тропинка, а по тропинке иногда спускается румяная волжская девица с ведрами на коромысле, в ярком платочке, в цветистом, пестром платье, вся красочная, гармонирующая с золотистым домиком и зеленой горой, с голубой Волгой и широким синим горизонтом, сияющим под лучами щедрого, пышущего солнца. И кажется эта картинная, зеленая гора, домик над Волгой, „красная девица“ с ведрами на коромысле и сказочная ширь кругом — какой-то странной русской песней в лицах, волжской былиной, красивой легендой, созданной эпическим баяном с развевающейся под ветром седой бородищей; будто бы едет он на старом коне среди зеленой, богатырской степи и „бряцает“ на червонных гуслях с гулкими на всю степь струнами, на великанских гуслях, которые положил поперек холки тихо идущего коня с длинной, до земли, косматой гривой, и плывут по всей земле густые струнные аккорды.

Вот такие странные, яркие образы являются в воображении, когда встанешь на вершину васильсурской горы и окинешь с невольной гордостью грандиозный горизонт Заволжья, что лежит на сотни верст кругом.

Васильсурск оставался, вероятно, все таким же старинным приволжским городком, каким был издревле, только вместо прежних „барок с хлебушкой“, влекомых тяжко идущими по берегу бурлаками с разносящейся над Волгой заунывной „Дубинушкой“, и расписных разбойничьих стругов плыли по ней буксирные пароходы с караванами чудовищных барж, пробегали двухтрубные „самолеты“ и белые, как лебеди, двухэтажные „Меркурии“. Кипела жизнь на великой реке, но по-прежнему стоял бревенчатый приволжский городок и даже звучала над ней все та же бурлацкая песня:

Дубинушка... иде-идет!
Зеленая, сама пойдет!

И казалось, что не великая река плывет, а сдвинулось с места и „идет“ куда-то за горизонты что-то огромное, чего никто остановить не может.

Где край всему этому? Нет края. Что возможно и чего нельзя? Все можно, все безгранично, как безграничны эти волжские горизонты!

„Все возьму! Все покорю, все опрокину! Шире дорогу, великая страна сдвинулась с места! Идет!“

Эти мысли и чувства сами собой являются благодаря необъятным волжским горизонтам.

Недаром и Горький, писавший тогда волжскую поэму „Фома Гордеев“, весь во власти волжских горизонтов, весь обвеян певучими сказками Волги, забрался тогда на самую верхушку, на самый шпиц васильсурской остроконечной горы, где под вечным ветром гудели старые великаны осокори, закрывшие могучими ветвями маленький серенький домик, в котором он жил тогдашнее лето. Это было как бы орлиное гнездо, да, кажется, так и называлось это место в Васильсурске. И, вероятно, когда выходил он на край этой сказочной горы и охватывал взором с высоты ее колдующие, покоряющие, гордые горизонты, то чувствовал в себе необъятные силы и такими близкими, такими возможными и естественными казались грандиозные фантазии о мировом счастье, какими насыщены были они, эти волжские горизонты!

И я тоже был опьянен ими, когда наконец добрался до вершины горы и постучался в маленький домик.

Что-то расширилось, выросло в душе: казалось, сказочный клубок с бесконечно разматывающейся путеводной нитью жизни привел меня через дикие дебри к пещере дружественного волшебника.

Я застал Горького в столовой маленькой квартирки с низенькими потолками и тусклыми окнами, сидящим на полу и заколачивающим в ящик детские игрушки. Тут же стояла красивая молодая женщина южного типа — его жена — и бегал шустрый шестилетний мальчик.

Увидя меня, бросил молоток и поднялся на ноги, улыбаясь своей привлекательной улыбкой.

— Вот это здорово!.. — сказал он, крепко сжимая мне руку. — Наконец-то вы собрались ко мне! А я все ждал вас, черт побери мою душу! Скучно здесь без лю-

дей! Вот видите, чем занимаюсь? Завтра с пароходом возвращаемся в Нижний.

— Я тоже туда еду, а по дороге завернул к вам.

— И отлично сделали. Пообедаем, переночуем, и завтра — айда! Ну, садитесь, рассказывайте, — я последний гвоздь заколочу.

Познакомившись с Катериной Павловной, я начал рассказывать о знакомых нашего города. Он слушал, продолжая возиться с ящиком. Гвоздь попался капризный, не слушался, сгибался под молотком. Терпеливо, настойчиво расправлял его и опять заколачивал, а гвоздь снова сгибался.

Я смотрел с улыбкой и думал, что в числе различных свойств этого замечательного человека были, несомненно, терпение и настойчивость.

— Ты сгибаешься, — разговаривал он с гвоздем, как с человеком, — а я опять тебя выпрямляю!

Наконец удачным ударом вогнал гвоздь и закончил упаковку.

Катерина Павловна говорила мало, но приветливо: от нее веяло искренностью, простотой, чем-то очень хорошим; с этими людьми я сразу почувствовал себя просто, весело и задушевно.

За обедом они расспрашивали меня о моем прошлом. Рассказывали о своих приключениях; я особенно заинтересовал их сценами из жизни певчих: этот интересный мир бедных артистов, утешавших грешные души своих богатых хозяев, мир талантливых людей, жизнь которых проходила между церковью и кабаком, Горькому был совершенно неизвестен. Слушали они с увлечением, многозначительно переглядываясь во время рассказа.

Наконец Горький не выдержал, стукнул кулаком и воскликнул с волнением:

— Черт возьми, как все это хорошо можно написать!

— Да я уже писал! — возразил я. — В „Самарской газете" напечатано довольно много моих рассказов из этой области.

— Я не все их читал! Вы не захватили с собой?

— Захватил . . . некоторые . . .

— Чего же вы молчите? Давайте сюда, я хорошенько прочту их сейчас же! Это же черт побери мою душу как интересно! Новый быт!

Обед был окончен, я вынул из кармана несколько моих рассказов, вырезанных из газеты, и отдал ему.

— Ну, вы отдохните с дороги, а я почитаю. Катерина, устрой его в угловой комнате!

Горький удалился из столовой, унося мои рассказы и озабоченно приговаривая: „Черт побери мою душу!“

Как опытный литератор и чуткий художник, он почувствовал, что у меня есть интересный литературный материал. Угадал в моих рассказах тот „дух“, которым сам дышал, а начинающих писателей, подходящих ему по духу, как я после убедился, усиленно высматривал тогда повсюду не только по доброте душевной, но и по деловым соображениям: Горький был уже главной силой и руководителем журнала „Жизнь“, стремился придать журналу свое, „горьковское“ направление; ему как вдохновителю журнала хотелось привлечь туда „подходящих“ сотрудников, более или менее талантливых, и он искал их среди „начинающих“.

К чаю вышел с чрезвычайно довольным лицом.

— Ну, я прочел!.. — заявил Горький, возвращая мне вырезки. — Мне говорили многие о вас, я даже читал в газете кое-что ваше; знал, что вы пишете интересно, но все-таки эти вот рассказы неожиданно хорошо написаны! Вам нужно обрабатывать ваши произведения — тогда вы будете писать в журналах!

Я был чрезвычайно обрадован таким для меня оборотом дела.

— Соберем ваши рассказы, прибавим к ним ваши стихи, а потом и книжку издадим! Надо бы вам еще что-нибудь покрупнее написать!

Тогда я поведал ему, что давно собираюсь написать повесть, но газетная работа сильно отвлекает: хочу бросить газету, уехать куда-нибудь, найти службу и писать.

— А какая тема вашей повести?

Я рассказал содержание, и опять Горький слушал с увлечением.

— Черт побери, это можно великолепно написать и это до зарезу нужно! Это очень важно! Понимаете ли вы, что такие писатели теперь необходимы? Вы — интеллигент, вы — из народа, и у вас, по-видимому, столько накопилось здесь, — стукнул он себя в грудь. — Знаете что? — вдруг перебил он сам себя. — Бросьте газету, переезжайте ко мне в Нижний, найдете себе комнату за восемь рублей! Обедать будете у меня — и за милую душу напишете вашу повесть. Тогда и деньги появятся! А?

Я подумал — и отказался от этого задушевного предложения.

— Нет, — сказал я, — бросить газету пока не могу, но через год разрешите воспользоваться вашим любезным приглашением. На будущее лето я бы охотно приехал к вам дней на десять, где бы вы ни были.

— На десять? — удивился Горький. — Но в десять дней вы не напишете повесть!

— Ну, недели на две?

Он рассмеялся.

— Положим, вы будете писать ее месяц или два, но это не важно!

Он подумал, покручивая ус.

— Вот что: если теперь вам мешают ваши обстоятельства, то непременно приезжайте ко мне писать на будущее лето. Я говорю вам серьезно. Вы непременно должны написать эту повесть. Будущей весной я напомню вам письменно и сообщу свой адрес, тогда выезжайте немедленно. Боюсь, не лентяй ли вы? И что за дикая мысль найти службу и писать? Конечно, не напишете, а так и будете валандаться! Лучше приезжайте ко мне: уж я-то заставлю вас написать!

Так мы и условились.

Он настроил меня говорить, и я говорил, и когда рассказывал ему о своих внутренних переживаниях, о душевной близости к простым, трудящимся людям и неистребимой отчужденности, которую чувствовал, когда попадал в так называемое „высшее общество", такое пустое, такое лживое и мещанское, которым тяготились даже некоторые его представители, вроде С., и когда говорил о ненависти, невольно скопившейся и затвердевшей в глубине души в течение всей жизни, Горький прерывал меня с волнением:

— Вот видите, видите, как вы все это чувствуете! А ведь этого „они" не могут чувствовать. Для этого нужно пережить то, что мы с вами пережили. С одной стороны — мы, с другой — они. И эти „мы" и „они" никогда не сольются. Мы должны сказать свое слово в литературе, в этом наша миссия, наша судьба. В настоящее время для литературы нужны именно мы. Пока нас только двое, но потом будет много. Вам теперь, после того, что вы видели, выстрадали, пережили, нужно выпеть душу. Нужно, пока не остыло, вылить все это в звонко-бронзовую такую форму!

— Понимаете ли вы сами себя? Сумрачная фигура,

вылезающая откуда-то со дна жизни, из нижних недр земли нашей! Вот и нужно, чтобы „они" увидали наконец ее, эту фигуру, не обещающую им ничего хорошего! Понимаете? „Они" все ждут от народа благодарности, сладостей всяких, пряников каких-то!

Он помолчал, покрутил ус и продолжал:

— А народ озлоблен и ненавидит их всех — вы это знаете! Так вот — будьте в литературе этим первым криком снизу, из глубины, из пропасти этой проклятой, из вулкана, на котором они так легкомысленно танцуют! Нужно грянуть предупреждающим набатом, который, может быть, заставит их вздрогнуть и оглянуться. Понимаете вы меня?

Я, конечно, понимал. О, как я понимал и горячо чувствовал тогда эти его жгучие, пламенные тирады, какой гулкий отклик находили они в моем сердце!

Там, „внизу", мы не только побывали, но родились и выросли, а главное, вышли оттуда и принесли в сердце все отзвуки „страшной жизни", страшной по своей тьме, тяжести, чудовищности и веками накопившейся лаве, уже расплавленной и клокотавшей пока глубоко внизу.

Горький и сам переживал такое состояние, когда нужно было „выпеть душу", претворить в звуки и брызги все, что запечатлелось в ней там, „на дне".

III

На следующее лето с перепиской у нас вышла какая-то путаница, и я долго не знал, куда он уехал из Нижнего. Решив все-таки оставить газету и написать наконец задуманную повесть, я уехал из Самары в Москву, где один книгоиздатель, случайно узнав, что я знаком с Горьким, обратился ко мне с просьбой съездить к нему с поручением от издательства, предлагая мне денег на дорогу.

Оказалось, что на лето 1900 года Горький, ведший всегда фантастическую жизнь, забрался в село Мануйловку вблизи Харькова, около местечка Голтвы, еще до этого описанного им в рассказе „Ярмарка в Голтве"; очевидно, он уже и прежде бывал в этих местах.

Я с величайшим удовольствием принял предложение издательства и в начале августа выехал в Мануйловку. Ехал от какой-то маленькой станции двадцать пять верст

на лошадях и всю дорогу беспокоился: а вдруг не застану там Горького? Но едва я подъехал к маленькому, обмазанному глиной и выбеленному домику, крытому соломой и стоявшему в саду запущенной усадьбы, как он уже выбежал ко мне навстречу и без лишних слов заключил меня в дружеские объятия.

Я начал было говорить, что приехал с деловым поручением, но он и слушать не стал:

— К черту! Ерунда! Никуда не отпущу! Садитесь и пишите повесть!

Кроме членов его семьи, гостила у него еще какая-то рослая и толстая пожилая женщина в очках, „идейного" типа, которую все звали „тетушкой", не называя ее по имени, и ежедневно заходил приятель — сосед-химик из Киева, тоже демократической наружности.

Жили мы, в сущности, в заброшенной усадьбе какой-то престарелой и разорившейся княгини, которая здесь же доживала свой век, вынужденная сдавать несколько домиков усадьбы „под дачников", землю давно продала крестьянам, а сама помещалась тоже в одном из маленьких домиков около заколоченного большого помещичьего дома: похоже было на известную картину „Все в прошлом". Старую княгиню никто никогда не видел; она никого не принимала; на наших глазах был уголок помещичьего строя, который умирал сам собою, чуть дыша перед смертью, а кругом складывалась новая жизнь; крестьянское село рядом с усадьбой жило бедной, но крепкой мужичьей жизнью, а в тенистом старом княжеском парке, веявшем воспоминаниями прошлого, завелись „дачники": городская интеллигенция, писатели, химики, люди с идейными, демократическими наружностями, с книжками и книжными разговорами.

Вероятно, тут только что кончилась какая-нибудь помещичья драма, похожая на „Вишневый сад", вскоре написанный Чеховым.

Домик, в котором жили мы, служивший прежде больницей, был уютный, в пять маленьких комнат, с крытою, опрятною террасой, окруженный фруктовыми деревьями и подсолнышками.

Мне отвели комнату с окном в сад, смежную с кабинетом хозяина; когда по вечерам мы оба сидели каждый в своей комнате и писали, нас разъединяла только притворенная боковая дверь.

Горький работал, „как сапожник", — с ремешком

вокруг головы, чтобы не сваливались на бумагу длинные волосы.

Работал усидчиво, часов до двух ночи, и когда я видел, что в его комнате еще светится огонь, то, несмотря на утомление, тянулся за ним, не оставляя работы раньше, чем он не гасил своей лампы. Таким образом, он как бы впряг меня в работу, и я должен был писать с некоторым соревнованием.

В девять часов утра, когда я еще толькс просыпался в постели, дверь из кабинета Горького слегка приотворялась и в нее просовывалась его длинноволосая голова с юмористически нахмуренной физиономией.

— Вставать! — рычал он на меня басом.

Я вставал, одевался и немедленно выходил в столовую к чаю. Там уже все были в сборе: Катерина Павловна, мать ее — Марья Александровна, маленький Максим с бонной и толстая „тетушка"; Алексей Максимович председательствовал за столом и уже что-то рассказывал, по своему обычаю, из неисчерпаемых воспоминаний и необычайных приключений, происходивших с ним когда-то.

Чего только не случалось с ним: он и тонул, и в огне сгорал, вися на мускулах над пылающим овином, но в конце повествования непременно из воды сух выходил и из пепла, как феникс, возрождался для новых ужасных опасностей и невероятных приключений.

Однажды, по его словам, он так был избит в каком-то селе мужиками в качестве бродяги за оскорбление попа, руководившего публичным истязанием женщины, провинившейся перед мужем, что был, как мертвое тело, выброшен в овраг.

В другой раз, когда путешествовал по Кавказу с „человеком вне общества", их обоих придавила внезапно обвалившаяся часть горы, но так счастливо, что головы и руки у них остались на свободе, и так они лежали, наполовину заживо похороненные, ожидая, когда их откопают.

Все это в другом изложении могло бы показаться голым вымыслом, но Горький рассказывал с таким художественным мастерством, с таким обилием описаний и всевозможных реальных подробностей, что получалось впечатление полной правдоподобности.

Мне кажется, что, занимая нас рассказами, он сознательно упражнял свою способность к фантазированию, а может быть, незаметно давал и мне уроки твор-

чества, как из самого обыкновенного материала можно создать художественное произведение.

Однажды он даже пропел перед нами в лицах шуточную оперетку неизвестного автора в одном действии, будто бы где-то напечатанную и поставленную в каком-то театре, до такой степени забавную, что все мы хохотали до слез. Впоследствии я убедился, что такой оперетки никто никогда не писал и даже сам рассказчик не мог вспомнить ее содержания, созданного, по-видимому, экспромтом.

Горький был от природы чрезвычайно музыкален, обладал большим музыкальным чутьем. Мне однажды пришлось быть в числе слушателей его разговора о музыке с знаменитыми музыкантами и композиторами мирового масштаба, разговора, затянувшегося на несколько часов, в котором Горький обнаружил серьезное понимание и знание истории классической музыки; возможно, что, кроме природной музыкальности, он обладал и литературными знаниями в этой области.

Не имея певучего голоса, он все-таки попутно своим изумительным рассказам иногда пел нам интересные бытовые песни разных народностей, по всей вероятности действительно слышанные им во время скитаний по Кавказу, Крыму и Прикаспийскому краю. Так, например, он признался, что известный его фантастический рассказ-поэма „Хан и его сын“ сделан им из песни, которую он слышал на Кавказе от бродячих базарных певцов; кто-то не поленился ему перевести ее. Он действительно спел нам эту речитативную восточную песню — на татарском языке, известном ему только в рамках этой песни.

После такого, всегда интересного, чаепития мы оба удалялись в наши комнаты и работали до обеда. Насколько мне было известно, Горький писал в это время свой роман „Трое“, последовавший за напечатанием „Фомы Гордеева“.

За обедом Горький острил, критикуя кушанья, изощряясь в юмористических сравнениях, большей частью метких, образных и забавных: настроение у него было неизменно веселое и бодрое.

К вечеру приходил химик — добродушно-молчаливый человек в ситцевой рубашке с поясом, в высоких сапогах, в очках, с желтоватой небольшой бородкой.

Горький говорил о нем как о большой силе в научном мире. Фамилию его я теперь не помню. Через год

он умер в Киеве, отравившись чем-то нечаянно во время химических опытов.

Приходили еще какие-то молодые люди, проживавшие у химика, и начиналась игра в городки, которой Горький очень увлекался: он все еще, несмотря на подтачивавшую его здоровье болезнь, обладал большой физической силой, отличаясь при этом ловкостью и верностью удара.

По праздникам приходили принимать участие в этой игре деревенские парни — друзья Горького, и тогда от здоровенных ударов ломались палки, а куски дерева, из которых строился „городок", летели в небо. Горький серьезно завидовал им, а за меня огорчался, что удары мои, несмотря на силу, никогда не отличались меткостью. В этой атлетической игре проходило время до вечернего чая.

За километр от нашего дома протекала река Псел. Туда перед вечером я отправлялся купаться. Иногда присоединялся и Горький, но я предпочтительно ходил один, обдумывая в это время мою работу и любуясь красотой окружающей природы. Тропинка к реке шла через огромный княжеский парк, а затем через широкий луг, за которым бежал чрезвычайно быстрый Псел с твердым песчаным дном, чистой, как слеза, водой и гористым берегом на другой стороне. По дороге к селу, которая вела через луг, иногда медленно проезжала арба, запряженная двумя волами, с идущим рядом тяжеловесным мужиком в широких шароварах и холщовой сорочке. Все это меня занимало, и я просиживал до темной ночи на берегу Псла, созерцая новый для меня уголок юга.

Работа у меня двигалась быстро, повесть была выношена, продумана, отдельными пятнами написана прежде, оставалось только все переработать.

Горький иногда заглядывал ко мне и спрашивал:

— Ну, как идет работа? Боюсь я, как бы не пришлось вам ее потом переделывать, возиться! Вы картинами пишите: картинами выйдет!

Однако я не показывал ему рукопись, пока не кончил.

Через десять дней или, скорее, ночей напряженного труда я принес Горькому оконченную повесть.

Он запер дверь своей комнаты и, оставшись вдвоем со мной, начал читать вслух. Сначала, попутно чтению, подчеркивал карандашом неудачные выражения или

„лишние“ слова, приговаривая: „Это к черту!“ или „Это лишнее!“ — но потом, по мере увлечения чтением, подчеркивал все меньше и почти перестал приговаривать. Наконец стал читать уже с явным пафосом: повесть увлекла его.

— Ну, вас можно поздравить: вы написали удачную вещь!

Общество, собиравшееся за чайным столом, давно уже было заинтересовано — зачем я приехал и что делаю, почти не выходя эти дни из маленькой комнаты. „Катерина“, конечно, догадывалась, но, по своему обыкновению, молчала. „Тетушка“ же за это время вся изъвелась от неудовлетворенного любопытства.

Теперь Алексей Максимыч торжественно объявил за столом обо всем. Фурор был необычайный. У „тетушки“ свалилась гора с плеч. Все искренно радовались. Горький решил, однако, не спускать с меня глаз, а всем вместе ехать в Нижний, где я еще буду отделывать повесть для печати, а потом поселюсь в Нижнем, чтобы писать только в журналах.

Ему казалось, что он „призвал“ меня к большой литературе, „поймал“ в море жизни, „выудил“ наверх из низов провинциальной прессы.

И действительно — его ласка, пылкая дружба, возгоревшаяся с этих пор между нами, его похвалы моему первому серьезному труду значительно подняли мой дух, ободрили, воодушевили, вызвали к жизни все мои силы. В этом было главное, чем он поддержал меня при первых моих шагах в литературе. Благодаря ему повесть была направлена в „Жизнь“ — лучший тогдашний журнал. Заглавие ее было „Октава“.

Горький не ко мне одному так относился: он вообще искал тогда молодых писателей с целью набрать из их числа свою „литературную дружину“, что вскоре и удалось ему, когда появились сторонники „Знания“ и блестящая группа „знаньевцев“.

Однажды он снял с полки маленькую переплетенную книжечку, подал мне и сказал:

— А вот еще один начинающий. Прочтите, а потом скажите мне ваше мнение!

Я развернул книжку: там были вырезанные из газет рассказы, тщательно и аккуратно наклеенные на хорошую бумагу. Все это было сделано с любовью, переплетено в хороший переплет с золотым обрезом, чувствовалась нежность автора к этой маленькой книжеч-

ке и заветная мечта выпустить ее когда-нибудь в свет. На корешке книжечки было оттиснуто золотыми буквами: „Сочинения Леонида Андреева“.

Я прочел ее, и у меня осталось впечатление, что это не начинающий, а совсем готовый беллетрист, опытный мастер слова, несомненный талант. Так я и сказал Горькому.

— Это не просто талант, — возразил Горький. — Это талантище! И вот — работает в московском „Курьере“, пишет фельетоны, получает гроши, кормит большую семью и, говорят, пьет. Вы с ним познакомьтесь, когда будете в Москве: интересный парень — молодой, красивый такой! Вот и товарищ вам!

IV

Я действительно, как советовал Горький, снял себе в Нижнем комнату за восемь рублей, недалеко от его квартиры, в тихом семействе пожилой вдовы. Это была чрезвычайно маленькая комната, в которой едва помещались железная кровать, два стула и дамский письменный столик. Но в ней было уютно. Светлая лампа с зеленым абажуром тепло горела по долгим зимним вечерам, и далеко за полночь светилось мое единственное маленькое окошечко, завешенное коленкоровой занавеской.

Обедать я ходил к Горькому и поэтому видался с ним ежедневно. Он тоже усиленно работал: закончил роман „Трое“ и тотчас же засел за свою первую пьесу.

Жизнь наша была замкнутая, вся внутри, вся в литературном труде, и это было так красиво в тихом, старинном, романтического вида городе, стоявшем на высокой горе в серебряных сугробах, с золотыми куполами художественных старых церквей, со сказочными зубчатыми стенами древнего Кремля, все еще стоявшего со времен удельной Руси.

Это был медовый месяц нашей литературно-творческой дружбы, когда мы оба работали с чрезвычайным воодушевлением, веря в близкое и радостное будущее нашей страны, когда нам казалось, что она уже на пороге красивой и светлой, свободной жизни.

В небольшой, скромной, сорокарублевой квартирке Горького весь день с утра до вечера толпился всевозможный народ, приходивший к нему со всякими прось-

бами, за помощью не только общественного, но и частного, личного характера.

Я знаю, что он из своих — не очень больших тогда — средств давал стипендии бедным студентам, помогал нуждающимся рабочим и не отказывал в подачках попрошайкам босяцкого вида.

От этого имя его с необычайной быстротой сделалось популярным и любимым в нижегородских „низах“, среди всякой городской бедноты и голи, которая вряд ли даже могла читать его литературные произведения. Имя его гремело как имя человека, близко принимающего к сердцу всякое человеческое горе, в особенности горе бедных и простых людей.

В то же время к нему непрерывно наезжали из столицы для свиданий и каких-то дел всевозможные знаменитости: художники, скульпторы, артисты, редакторы, общественные деятели, появились и люди подпольно-партийного вида. Посетители, которым Горький отдавал свои дни, не всегда были симпатичны ему, но всегда интересны: так, например, однажды я застал у него уже собравшегося уходить после, вероятно, длинного разговора не кого другого, как известного нижегородского миллионера — купца Бугрова; он был в длинной дорогой шубе, в бобровой шапке, с умным лицом в окладистой бороде — осанистая, властная фигура. Ему принадлежала чуть ли не вся земля нижегородская. Одевшись, он, по-видимому, опять воротился: стояли друг против друга в кабинете, у письменного стола. Входя, я слышал, как Бугров сказал:

— И чего вы этой самой конституции хотите, Алексей Максимыч? Мы тоже ее хотим: при конституции мы вас всех вот как прижмем! — и сделал жест, будто ногтем придавил что-то к дереву стола.

Когда он ушел, Горький сказал мне, кивнув в его сторону:

— А ведь буржуй верно оценил конституцию! Умный мужик этот удельный князь нижегородский!

Горький пока еще ни разу не бывал в Петербурге, но Петербург уже присылал к нему своих людей по всевозможным литературно-общественным делам: нижегородская квартира Горького издалека многим казалась воинственной ставкой, где около пролетарского писателя зачиналось вольнолюбивое, все нараставшее общественное движение.

Чувствовалось, что к писателю уже близко подхо-

дит настоящая, большая слава, не только литературная. Имя его становилось легендарным, и легенды повторялись уже в таких широких массах, где его писательское лицо было менее известно, чем политическое. За ним, его квартирой и посетителями была установлена для всех заметная жандармская слежка. Тайные агенты в переодетом виде иногда являлись к нему даже на квартиру, чаще всего под видом „начинающих писателей". Алексей Максимович имел терпение с ними беседовать, хотя прекрасно знал, с кем имеет дело.

Моя „Октава" появилась в октябрьской книжке „Жизни" в 1900 году, и тотчас же о ней стали писать в газетах: мое имя замелькало в газетных статьях, повесть хвалили, ожидая от автора дальнейших трудов.

Когда была получена книжка журнала с напечатанной повестью, Горький радовался больше меня: перелистывал ее, читал вслух отдельные места, хлопал по плечу, радостно смеялся и все спрашивал:

— Ну, что? Приятно небось видеть в журнале первую вещь? А? — И потом серьезно добавлял: — Теперь вы должны написать вторую повесть — лучше первой, третью — лучше второй, и так далее. Тогда публика поставит вас на пьедестал и будет перед вами преклоняться. Когда вы после всего этого напишете вещь хуже прежних, то эта же публика столкнет вас с пьедестала к чертовой матери!

И тут же кстати рассказал про одного молодого писателя, не называя его имени, который после удачного дебюта выступил с неудачной вещью, провалился и, заболев нервным расстройством, вылежал три месяца в больнице.

После таких предосторожностей мне, конечно, особенно радоваться не приходилось: наоборот, я впервые почувствовал ту страшную и нескончаемую ответственность, которая делает путь даже прославленного писателя усеянным не столько розами, сколько терниями, большею частью невидимыми публике. Тем не менее я тотчас же засел за новый рассказ и, кроме того, почти ежедневно писал стихи.

Стихи эти являлись невольным отражением переживавшихся настроений, новых впечатлений, прочитанных книг и ежедневных, чрезвычайно содержательных разговоров с Алексеем Максимычем: он всегда был полон ярких, оригинальных мыслей и образов, которые, как искры, рассыпал вокруг себя с беззаботной щедростью.

Каждый день, поджидая меня к обеду, он сам отпирал мне дверь и нетерпеливо спрашивал:

— Стихи есть?

— Есть! — смеясь, отвечал я и вынимал из кармана листки исписанной бумаги. Он поспешно выхватывал их у меня и тотчас же вслух начинал декламировать, плохо, но с чувством и увлечением. В этих стихах, действительно проникнутых нашим с ним общим тогдашним настроением, он видел что-то, чего не видел я и его семейные, довольно спокойно слушавшие его страстную декламацию.

— Хорошо, черт побери мою душу! — иногда со слезами на глазах заканчивал он свою ежедневную предобеденную декламацию. — Будто шампанского выпил! Да вы сами-то понимаете ли, как нужно теперь то, что вы пишете? Никогда еще наша страна не переживала такого всестороннего подъема, который потом будет источником величайших вдохновений! Теперь, как никогда, нужно здоровье, бодрое, творческое, на какое способны в данном случае вы. Нарождается новый читатель, массовый, для него литература не забава сытых людей, а хлеб насущный. Помните, что у вас есть огромный и серьезный читатель и он-то поймет и почувствует ваши произведения так, как, вы видите, чувствую их я. Не будьте только лентяем — пишите!

Само собой разумеется, что подобные разговоры сообщали и мне ту необыкновенную бодрость, веру и энергию, которыми так полон был он.

Жизнь этого действительно необыкновенного человека, всегда горевшего как на костре, была необыкновенна даже в той замкнутой, трудовой обстановке, в какой протекало наше с ним творчество.

Иногда после обеда мы с ним ходили гулять на „откос“ или на окраины города, стараясь сворачивать в сторону, если завидим, бывало, высокую длиннобородую фигуру доктора Золотницкого, запрещавшего своему постоянному пациенту выходить из квартиры в холодную погоду. Обманув таким образом врача, мы свободно разгуливали по таким окраинам, как, например, „Ярило“, самое название которой свидетельствует о ее солнечности и первобытности. Ходили мы и по Миллионной — обиталищу босяков и всякого рода „бывших людей“, где когда-то Горький наблюдал своих героев.

Однажды рассказал, как в ранней юности, живя

в Казани, и, должно быть, в слишком тяжелую минуту, зайдя на казанский „откос“, выстрелил себе в грудь из допотопного „пистолета“, купленного „на толчке“.

На мой вопрос о причине застенчиво ответил:

— Причины особо не было... Так, все вместе подошло... Хорошенько и сам теперь не вспомню... Помню только — купил за три рубля музейную пищаль... зарядил... надел чистое белье... встал на самый край обрыва, спиной к оврагу: думал, что упаду назад, а упал вперед... тут меня и нашли... девятнадцать лет мне было...

Мне вспомнилось тогда его маленькое стихотворение, включенное в один из рассказов, относящихся к периоду „пешеходных“ переживаний и, быть может, еще самим им мало осознанных исканий:

К земле родной припал я грудью:
— Скажи, родная, куда идти? —
И слышал сердцем глубокий шепот:
— Сюда иди!

— С тех пор и завелось вот что-то в груди... Кабы не это, я бы теперь, наверное, в цирке с Фоссом боролся...

Опасаясь, что „есть что-то в груди“, он, мало доверяя Золотницкому, по временам сам проверял состояние своего здоровья. При мне однажды привезли с почты шестипудовый ящик с книгами; Горький попросил меня и еще кого-то вдвоем поднять эту тяжесть ему на спину, после чего пронес ее по всем комнатам своей квартиры, укоряя нас, что неправильно положили.

Ежегодно на Новый год Горький устраивал публичную елку для беднейших внешкольных детей города с раздачей подарков. Задолго до 1 января собирали пожертвования деньгами и вещами, шили мешки для вещей, нумеровали, раскладывали по мешкам. Вся подготовительная работа организована была Екатериной Павловной и происходила в их квартире, превращая ее как бы в швейную мастерскую. Елочное торжество открывалось наконец в грандиозном здании городского манежа: участвовало в нем более тысячи детей бедноты, не имевших возможности учиться в городских школах.

Чтобы организовать такое огромное дело, требовалось немало людей, их труд и энергия. К делу привлекались местные дамы, барышни, студенты, курсистки.

Город разбивали на участки, и устроители, по двое на каждый участок, обходили беднейшие квартиры: один спрашивал, другой записывал положение семьи, количество детей и те вещи, в которых наиболее нуждались дети. Главе семьи выдавался билет за номером.

Душой и руководителем этого хорошего дела был, конечно, Алексей Максимыч. Сам он, наряду со всеми участвуя в обходе квартир, взял себе труднейший участок, где ютилась самая вопиющая нищета, грязнейшие подонки города, а помощником себе взял меня, вооруженного записной книжкой и карандашом.

С утра до позднего вечера обходя жилища бедноты, напоминающие звериные берлоги или заброшенные развалины, попадая в землянки или темные трущобы, мы насмотрелись потрясающих картин одичания. Это была та самая обстановка, в которой протекло его собственное детство и отрочество внешкольного ребенка: здесь, в этом городе, на этих „миллионных“ улицах, в тех самых кварталах, по которым ходили мы, отыскивая детей без отцов и матерей, прошли „в людях“ его тяжелые, сиротские, печальные годы детства. Вид одичавших, забытых и брошенных всеми детей так остро волновал Алексея Максимыча, что он не мог удержаться от слез.

В день Нового года тысяча детей с сопровождавшими их родными явилась в манеж с „номером“ на груди. Им выдавались полушубки, шапки, теплые сапоги, рубахи, чулки и прочее, а для всех — узелки с конфетами. Когда они выстроились попарно с подарками в руках и под звуки духового оркестра стройной колонной двинулись из манежа — трудно было не растрогаться.

V

В сумрачное февральское утро 1901 года мы с Горьким вдвоем приехали в Петербург. Я в первый раз в жизни увидел этот мировой город.

Приезд Горького был событием для Петербурга. В литературном мире его имя уже стояло в ряду крупнейших имен, оно было у всех на устах, всех привлекало, всех интересовало, но сам он до этого момента все еще продолжал оставаться в провинции, невольно разжигая всеобщее нетерпение.

Петербургский литературный мир жаждал видеть эту

легендарную, романтическую фигуру, внезапно поднятую на высоту.

Настал неизбежный момент личного появления Горького в Петербурге: маленькое книгоиздательское товарищество „Знание“, издававшее четыре томика сочинений Горького, сразу сделалось большим книгоиздательством благодаря небывалому, бешеному тиражу этих книг; естественным стало его влияние в этом товариществе. Журнал „Жизнь“ тоже не мыслил себя без его руководства.

Художественный театр впервые гастролировал в это время в Петербурге, и там предполагалась постановка первой пьесы Горького „Мещане“.

Кроме того, у Горького с этого времени уже началась определенная связь с серьезными революционными кружками в Петербурге.

В воздухе без всякой видимой причины как бы чувствовалась тревога и возбуждение, наэлектризованность: все чего-то ждали и не хватало только какого-то звука, крика, слова, чтобы началось катастрофическое движение, как это бывает в горах при снежных обвалах; всем казалось, что этим условным зовом будет имя всеобщего любимца широких кругов народа.

Приехали мы очень скромно, в самое серое, будничное петербургское зимнее утро. Никто нас не встретил. Плелись на плохоньком извозчике, слезли где-то на Надеждинской у ворот и, пройдя во двор, похожий на дно чудовищного колодца, полезли на четвертый этаж по узкой темной лестнице.

Дверь отворил мужчина атлетического сложения, среднего роста и возраста, с небольшой рыжеватой бородой, в очках. Это был Константин Петрович Пятницкий, бывший учитель гимназии — человек усидчивый, трудолюбивый и тяжелый, сумевший создать первоначальное „товарищество“, использовать успех и влияние Горького.

Квартирка состояла из двух или трех маленьких комнат, из которых одна служила Пятницкому кабинетом, столовой и спальней. Это было первоначальное помещение „Знания“, когда оно еще было бедное. Впоследствии разбогатевшее „Знание“ имело отдельную контору на Невском, а Пятницкий — одинокий холостяк — занимал большую квартиру, роскошно обставленную.

Горький кратко представил меня, и тот крепко пожал мне руку, как человеку, которого он уже знает.

— Провинциальные писатели приехали! — со скромностью, посмеиваясь, сказал Горький. — Принимайте-ка гостей да расскажите, что у вас тут делается?

— Новостей много, — отвечал Пятницкий, проводя нас в кабинет-столовую, которая вся была завалена связками неразрезанных книг. На столе валялись корректуры, рукописи, письма, счета.

— Да, новостей много, — озабоченно повторял он. — Садитесь, сейчас принесут кофе. Вы приехали к самому разгару событий: Толстого отлучили от церкви, готовится грандиозная демонстрация, и, говорят, будут применены суровые меры. Весь город волнуется.

— Сегодня в „Союзе писателей" назначено чрезвычайное собрание по этому поводу. Соберутся все наши светила и вообще вся литература. Вам обоим тоже надо быть.

— Придем! — взволнованно сказал Горький. — Я сейчас пойду в редакцию „Жизнь", а вы оба приходите туда позднее.

Выпив кофе, Горький ушел.

Пятницкий заговорил со мной о делах „Знания".

— Работа у нас кипит! — начал он. — До выхода книг Горького наше издательство, как известно, было маленькое, издавали больше учебники. Но колоссальный тираж его книг даст нам возможность расширить дело. Мы хотим издать целый ряд новых беллетристов. Пишите и вы скорее книгу — издадим!

Разговаривая, мы тоже отправились в редакцию „Жизнь".

Петербургский „Союз писателей", в результате последовавших событий вскоре закрытый, находился на Невском, вблизи Надеждинской улицы, и занимал несколько небольших, скромных, но обставленных комнат, в одной из которых была эстрада для литературных и артистических выступлений.

В тот вечер все комнаты „Союза" были полны народа: преобладали длинноволосые писательские головы, но были и бритые актерские лица, много дам и молодежи. Зал гудел от общего говора: предполагались доклады, речи . . . Всюду упоминалось имя Толстого.

Прошел в толпе прямо державшийся, красивый старик с молодыми глазами, с закинутыми назад седеющими, но густыми волосами, с благообразной окладистой бородой — известный тогда публицист и социолог Николай Константинович Михайловский; толпа невольно

расступилась: в ту эпоху, забытый теперь, критик считался в широких кругах народнической интеллигенции „властителем дум".

Вот кудрявый Короленко — тогда еще без единого седого волоса, с густой, слегка вьющейся „бобровой" боярской бородой. Мамин-Сибиряк — крепыш монгольского типа с горячими глазами, с вечно дымящейся коротенькой трубкой в зубах. Елпатьевский — старый народник, писатель и врач, не раз лечивший Толстого, горбатый Горнфельд — критик из „Русского богатства", и Миролюбов — редактор „Журнала для всех" — статный, красивый великан, на голову выше толпы, почти саженного роста, всегда в длиннополом сюртуке, с иконописной бородой медно-красного цвета и вьющимися пепельными кудрями до плеч — похожий на протодьякона: рокочет литавроподобным басом — бывший оперный певец Большого театра.

А вот еще замечательная фигура: высокий, стройный, не ниже Миролюбова, совершенно седой человек с черными усами и бровями, с молодым, замечательно располагающим к себе лицом — создатель Художественного театра Станиславский, и рядом — полная противоположность ему — приземистый, с раздвоенной бородой, безукоризненно одетый, весь корректность — Владимир Иванович Немирович-Данченко.

И много, много еще других известных фигур проплывает в калейдоскопе движущейся толпы.

Но вот общий гул ее почему-то сразу стих: головы всех с любопытством повернулись к входной двери, даже полуседая голова Михайловского поднялась над головами толпы и тревожный взор его внимательно впился во что-то, сверкнув из-под сдвинутых бровей.

Длинноволосые головы повернулись в одну сторону, дамы и девицы приставили лорнетки к глазам, вытягивая шеи через плечи мужчин, и глубокая тишина внезапно заменила гул шумного, набитого людьми длинного зала собрания.

У входной двери появилась только что вошедшая группа редакции сотрудников журнала „Жизнь", с его редактором Поссе, но впереди всех шел оригинальный человек в черной широкой суконной рубахе, высокий, худой, с длинными густыми волосами до плеч, с бледным лицом и голубыми, светящимися, глубоко сидящими замечательными глазами.

— Горький! — послышалось в невнятном, приглушенном говоре как бы очнувшейся толпы.

Горький выпрямился во весь свой высокий рост и, быстро окинув зал зорким, памятливым, смекалистым взглядом „простолюдина“, уверенно и прямо, легкими шагами мускулистого человека направился к Михайловскому, как бы поджидавшему его.

Толпа почтительно расступилась, и они, как два рыцаря, с достоинством встретились. Встреча вышла церемониальная, как на сцене: если один в непроницаемой броне, то и другой — в кольчуге, не с открытой грудью встретились эти два влиятельных человека различных политических воззрений, из которых одно уже падало, а другое — быстро поднималось. Они обменялись официальным рукопожатием, несколькими тихими словами — и разошлись.

Так произошло первое появление Горького в холодном, замкнутом кругу большой литературы каменного Петербурга.

На эстраде молодая поэтесса декламировала свои стихи, в которых заключались всем понятные намеки на готовящуюся демонстрацию молодежи по поводу „отлучения“ Толстого:

Лес рубят! молодой, зеленый лес!

С чувством звучал ее голос.

Писатель Пешехонов выступил с докладом „О Толстом и молодежи“, о наступающем замечательном моменте в жизни русского общества, о надвигающемся небывалом подъеме его сил.

Настроение публики постепенно повышалось. Пешехонова сменил другой оратор, другого — третий.

Речи полились рекой.

Еще задолго до конца публичных речей в большом эстрадном зале — в малом начался интимный писательский ужин для избранных, в числе которых были и мы; ужин состоялся, собственно, в честь приезда Горького.

Приветствовали его появление в Петербурге в такой исключительный и тревожный момент, отдавали должное его литературному таланту. Говорили о России, о начинающейся новой эпохе.

Горький ответил очень скромно и коротко:

— На безрыбье и рак рыба! На безлюдье и Фома дворянин!

Несколько дней после этого вечера Горький ходил с чрезвычайно мрачным и печальным лицом, что бывало с ним редко. Ходили слухи, что молодежи предстояло стать жертвой кровавых репрессий. По-видимому, именно в это время Горьким было написано стихотворение „Буревестник".

4 марта на Невском произошла грандиозная демонстрация, еще небывалая по размерам.

Вся молодежь всех высших учебных заведений запрудила Невский и площадь Казанского собора. На этот раз в уличной демонстрации участвовали не только интеллигенция, но и рабочие, пока еще в меньшинстве.

На ступенях Казанского собора чуть ли не впервые в России взвилось красное знамя с надписью: „Долой самодержавие".

И все это началось с того, что кому-то зачем-то вздумалось отлучить Толстого от церкви, от которой он сам давно уже отрекся, но этим было нанесено оскорбление всей стране, сделавшейся чрезвычайно чувствительной и склонной к возмущению. Ощущалось накопление горючего материала, страна как бы требовала не только „будирующей" литературы от писателей, но и революционных поступков от революционеров. Не в одних студентах было дело: за экспансивной, негодующей молодежью стояла пробуждающаяся Россия, что-то назревало в ней посерьезнее интеллигентско-студенческих демонстраций; организовывались рабочие, зашевелился мужик.

С демонстрацией расправились жестоко. Невский очищали при помощи казачьих войск. Все высшие учебные заведения были закрыты до конца учебного года, затем последовали массовые аресты и высылки в места столь и не столь отдаленные.

На другой день после участия в демонстрации я уехал обратно в Нижний, а Горький, все еще озабоченный и мрачный, остался на некоторое время в Петербурге.

VI

Когда я приехал в Нижний, тихая зимняя жизнь старорусского приволжского города была нарушена появлением большого количества студенческой молоде-

жи, высланной сюда и наэлектризованной только что пережитыми событиями.

Студенты были героями дня, возбуждая всеобщее сочувствие. Они волновались и здесь, торжествуя и толпами расхаживая по улицам, каждый вечер устраивая вечеринки с пением студенческих песен, с речами и дебатами: намеревались что-то учинить в Нижнем, но ждали Горького. Он приехал в конце марта, когда уже началась ростепель, солнце светило по-весеннему, а по улицам бежали ручьи. Студенты ежедневно собирались к Горькому, кучей сидели, облепив его, как мухи, чрезвычайно довольные близким общением с писателем, а он говорил с ними тепло и сердечно, как только Горький умел это делать.

Молодежь надеялась привлечь его к устройству в Нижнем новой уличной демонстрации, она горела желанием „пострадать". Горький же почему-то медлил разрешением ей этого ее желания, и так незаметно прошло время до апреля.

Наконец он предложил устроить легальное собрание с участием „отцов города", разрешение же на это собрание обещал выхлопотать лично.

— Пусть это собрание и решит большинством голосов: быть уличной демонстрации или не быть! — заявил студентам Горький.

Потолковав, они согласились отложить демонстрацию до собрания, которое предполагалось устроить на ближайших днях в городской думе.

— Это было первое „народное собрание" в России, состоявшееся с разрешения начальства! — говорил потом Горький.

„Отцы города", конечно, говорили „благоразумные" речи. Председательствовал бородатый студент. За председательским столом в числе почетных лиц сидел Горький. Он высказался после всех, и речь его состояла всего из нескольких слов:

— Демонстрации не нужно устраивать по той простой причине, что она уже состоялась — здесь!

Это озадачило молодежь. В пользу уличной демонстрации никто не решился говорить после Горького. Голосовали — и большинством голосов постановили: демонстрации не устраивать.

С тем и разошлись.

После собрания Горького арестовали и посадили в нижегородскую тюрьму вместе с двадцатью двумя „сообщниками", большинство которых состояло из студентов; был в том числе арестован старший брат Якова Свердлова, юноша Зиновий Свердлов, один рабочий и два интеллигента из земской управы.

Пишущего эти строки тоже после безрезультатного обыска препроводили в тюрьму. Непосредственной причиной арестов было телеграфное распоряжение из Петербурга.

Тюрьма была старая, вековая и походила на сказочный замок с четырьмя круглыми башнями по углам. Обнесенная белой каменной стеной, она тогда стояла за городом.

Меня посадили в одну из четырех угловых башен — на дно круглого каменного колодца с маленьким окошечком в виде узкой щели на высоте около двух сажен от пола.

Горький был посажен в другую такую же башню, к обоим нам применялся очень суровый режим. Через четыре дня меня перевели во второй этаж тюрьмы, в большую грязную камеру с несколькими нарами, служившую, по-видимому, для заключения уголовных.

Близко от моего окна было окно Горького, который одновременно со мной был переведен из башни в обыкновенную камеру.

Мы видели друг друга и разговаривали, когда один выходил на прогулку, происходившую под окнами во дворе тюрьмы, а другой стоял у окна своей камеры.

Остальные сидели в соседних камерах, и, таким образом, каждый из нас во время прогулки мог видеть своих товарищей, сидевших за железной решеткой.

Иногда в лунные весенние ночи, когда никому не хотелось спать, мы все стояли, раскрыв настежь окна, каждый у своей решетки, и разговаривали по нескольку часов.

Горький был центром внимания и привлекал симпатии всей тюрьмы, включая даже тюремное начальство. Временным начальником тюрьмы был интеллигентный человек — поклонник таланта Горького. Он делал для нас всевозможные поблажки, чтобы облегчить нам наше положение. Как раз в это время, когда Горький сидел в круглой башне нижегородской тюрьмы, в „Жизни" появился „Буревестник", „черной молнии подобный", промчавшийся над Россией как громовой рас-

кат. Журнал тотчас же закрыли — не только за это стихотворение. Тем не менее голос поэта, заключенного в башне, прозвучал оттуда на всю страну с большей силой, чем если бы Горький оставался на свободе. Арест любимца трудящихся масс и трудовой интеллигенции взволновал буквально всю страну и даже вызвал беспокойство за границей за его жизнь; посыпались телеграммы и петиции от европейских писателей в адрес русского правительства: „Не казните Горького".

Когда меня вызвали в тюремную канцелярию на допрос, то предъявили обвинение в соучастии по пропаганде среди рабочих вместе с рабочим малярного цеха Алексеем Пешковым.

— Да ведь это Максим Горький! — возразил я, на что мне сухо отвечали:

— По документам мы знаем только рабочего Пешкова, по нашим сведениям — рецидивиста!

— Черт знает что такое! — ворчал Горький, возвратясь с допроса, в одну из лунных весенних ночей, когда мы все вели у наших окон обычный „ночной разговор", — в третий раз в тюрьме сижу — никогда не встречал такого отношения!

Выходя на прогулку, он прежде всего здоровался за руку с вооруженными часовыми. „Преступник" и тюремная стража мирно усаживались на травке, покрывавшей весь тюремный двор, дружелюбно беседуя. Тут же садился сопровождавший надзиратель. Осторожно, один за другим подходили уголовные, весь день проводившие на другой стороне двора, и Горький всегда им что-то рассказывал с обычным своим мастерством, убедительностью и юмором.

Была какая-то особенная привлекательность в этом человеке: не прошло и недели, как часовые, надзиратели, уголовные и даже начальник тюрьмы и два помощника его были очарованы необыкновенным арестантом.

В тюрьме он просидел только месяц, но и за это время „что-то в груди" дало знать о себе: здоровье пошатнулось. Горького перевели под домашний арест.

Через несколько дней после того, как был освобожден Горький, оставшихся студентов, земцев и рабочего позвали в контору, откуда они явились прямо к моему окну.

— Прощайте! — кричали мне студенты снизу, со дво-

ра тюрьмы. — Нас сегодня выпускают на свободу! Напишите стишок на память!

— А меня — в ссылку! — спокойно добавил рабочий.

Я написал и бросил им в окно „Прощальное слово“, коротенькое стихотворение, положенное впоследствии композитором Слоновым на ноты для пения. С этим оригинальным „романсом“ впоследствии часто выступал Шаляпин.

Мне пришлось просидеть в нижегородской тюрьме три месяца: лишь в конце лета меня выпустили и, продержав еще месяц в самарской тюрьме, водворили „по месту приписки“, как крестьянина, в мое родное село Обшаровку под гласный надзор полиции „впредь до окончания дела“.

Горького тоже выслали из Нижнего в Арзамас — „на тех же условиях“.

VII

Встретились мы в Крыму, в 1902 году.

Нам обоим разрешен был отпуск из мест нашей ссылки на полтора месяца для поправления здоровья.

Горький приехал со своей семьей на две недели раньше меня. Я застал его в Олеизе — прелестном уголке на берегу моря, верстах в двенадцати от Ялты.

21 февраля 1902 года закрытой баллотировкой Горький был избран в члены Академии наук, но по негласному требованию царя исключен из состава Академии. Ввиду протеста против его исключения демонстративно вышли из Академии писатели Чехов и Короленко. Дача „Нюра“, в которой поселился Горький, стояла всего в нескольких шагах от берега и представляла из себя бревенчатый, выкрашенный белой краской дом затейливой архитектуры.

Было начало апреля, с его нежной и радостной крымской весной, деревья цвели и одевались нежными листьями, а ярко-синее море с гармоническим шумом шевелилось перед самыми глазами.

Слава Горького росла не по дням, а по часам. Тюрьма, ссылка и исключение из Академии только повысили интерес и сочувствие к Горькому широких масс: своих читателей он мог уже и тогда считать миллионами, да и в литературе к этому времени был далеко не одинок: в возглавляемом им „Знании“ сплотился цвет

тогдашней художественной литературы. Все книги „знаньевцев“ с небывалой быстротой расходились в таком колоссальном количестве, что об истинных размерах их тиража Пятницкий, как оказалось после, долго и скромно умалчивал, боясь, как бы у нас „не закружились головы“.

В Ялту на дни весеннего сезона съехались чуть ли не все тогдашние знаменитости; артисты, певцы, музыканты, художники, писатели, заслышав о приезде Горького, являлись в Олеиз для выражения своих чувств. Ежедневно приезжали толпы гостей. Шумно и весело стало на „Нюре“.

Над Олеизом, в Кореизе — совсем рядом — лежал Лев Толстой, оправляясь от тяжелой болезни. В Ялте жил Чехов на собственной даче — тоже больной — и звал к себе Горького повидаться.

Наконец приехал Шаляпин — веселый молодой гигант в поддевке и высоких сапогах. Целую неделю, почти не умолкая, пел он под рояль романсы, восхищая всех гениальным талантом, дивным голосом, искристым остроумием, неистощимой веселостью.

В то же время из Ялты торжественно прибыл Станиславский, а с ним — Владимир Иванович Немирович-Данченко.

Неспроста прибыли. Оказалось, что у Горького вчерне готовилась новая пьеса и они приехали ознакомиться с нею.

Горький в присутствии собравшихся гостей читал свою рукопись.

Когда начал читать — голос иногда срывался, заметно было, что автор волнуется: от этих двух „чародеев“ зависела судьба пьесы, за которую он, по-видимому, боялся. И совершенно напрасно.

Пьеса, еще не законченная, произвела, однако, на всех прекрасное впечатление; оригинальность темы, чеканность языка, где, казалось, не было ни одного лишнего слова, рельефность фигур — все это даже в неискушенном чтении взволнованного автора захватывало. Хотелось скорее увидеть ее на сцене.

По выслушании она была тотчас же принята для постановки в Художественном театре. Называлась — „На дне“.

Отпуск Горького кончился первого мая. Он уехал обратно в Арзамас. Через две недели должен был вернуться и я в Обшаровку.

В августе мне разрешили переехать в Арзамас, к Горькому, по просьбе, мотивированной нашими совместными литературно-издательскими делами.

Арзамас оказался живописнейшим древнерусским, страшно захолустным, тишайшим городком, полным художественно красивых, старинных церквей.

Горький занимал там за тридцать рублей на все лето бревенчатый дом комнат в шесть, с мезонином и садом.

Завидя меня, подъезжающего к дому на извозчике, он высунулся из окошка, все еще худой и бледный после „нижегородского сидения“, но радостный и улыбающийся, и закричал нетерпеливо:

— Отпустили?

Прогостил я в Арзамасе не более недели: наконец-то пришла нам обоим бумага, извещавшая, что „дело о мещанине Алексее Пешкове с „товарищи“ „за отсутствием состава преступления“ производством прекращено.

Освободившись от „отеческой“ опеки жандармского управления, я поселился в Москве. С зимы 1902/03 года туда на жительство съехалось почти все тогдашнее „Знание“: Горький, Серафимович, Бунин, Найденов, не считая коренных москвичей, живших там оседло, — Андреева, Вересаева, Телешова, Белоусова и других.

В это время Горький с особым успехом выступал в драматургии: его пьеса „На дне“, великолепно поставленная в Художественном театре, прозвучала как суровый суд над мрачной русской жизнью. Ряд последующих пьес действовал на публику, как удары бича по натянутым нервам. „Знание“ организовало свои „сборники“, где и начали с 1904 года почти периодически появляться все новые произведения „знаньевцев“, а потом уже выходить отдельными изданиями.

Громадный успех и тираж этих сборников — в шестьдесят тысяч каждое издание — являлось чем-то небывалым до этого времени в истории русской литературы: книги расхватывались на лету, выходя почти ежемесячно; ни один из существующих тогда толстых журналов, с их тиражами не больше десяти тысяч, не мог конкурировать с нами; причина успеха была не только в том, что каждый из „знаньевских“ сборников в зеленой обложке возглавлялся новыми произведениями Горького, но и в том, что он сумел подобрать туда талант-

ливую литературную молодежь, переживавшую необыкновенный душевный подъем; каждый сборник был проникнут будирующим настроением, обещавшим близость радостного утра, восход пышного солнца свободы. Писатели не только заражались бодрым настроением, пламенной верой своего старшего товарища, но и сами черпали из окружающей жизни необычайное воодушевление, выразителями которого невольно становились. Отдельные издания книг почти всех авторов „Знания“ печатались и, как фейерверк, разлетались по стране в сотнях тысяч экземпляров: по крайней мере о таком тираже говорил мне впоследствии Горький.

В начавшейся революции 1905 года Горький участвовал в московском восстании и наконец вынужден был эмигрировать.

Последнее мое свидание с ним перед переходом границы произошло зимой 1906 года в Гельсингфорсе, куда он меня срочно вызвал из Петербурга телеграммой для участия в русско-финском вечере, которым столица Финляндии приветствовала „большого русского поэта“.

VIII

Замечательно красив и симпатичен город Гельсингфорс. Сравнительно с большими столичными городами он кажется маленьким, но более уютным, изящным.

На стройных чистеньких улицах Гельсингфорса, этого уголка Северной Европы, часто встречаются дома из родного финнам серого камня, представляющие как бы олицетворение старой финской сказки: они сложены из художественно-необделанных циклопических глыб, а изза каждого камня, сросшись с ним, выглядывает лукавая рожица маленького финского гнома, домашнего доброго духа, приветливо подмигивающего, с немым хихиканьем дразнящего острым язычком. Они как бы гнездятся между камней, одухотворяют их, вышли из них же, как и сами финны. И на умышленно не отесанных каменных воротах тоже сидят на корточках смешливые химеры, смотря друг на дружку, высунув языки, строят лукавые рожи и, неслышно хихикая, показывают пальцами одна на другую.

Когда я в снежное и влажное зимнее утро ехал на быстрой финской лошадке с Гельсингфорсского вокзала и глазел по сторонам — мне казалось, что от этого

опрятного и европейски стройного города веяло сдержанностью, выдержкой.

Лица встречавшихся финнов, некрасивые, скуластые, неподвижные, серые, словно высеченные из одного и того же финского крепкого камня, говорили об упорной устойчивости людей этой страны.

Я вылез из саней у массивного подъезда первоклассной гостиницы, где жил Горький, и, сопровождаемый отворившим мне дверь молодым человеком в ливрее, поднялся наверх по широкой мраморной лестнице.

— Для вас уже приготовлена комната! — на чистом русском языке сказал мне финн, вводя меня в комфортабельный номер.

— А в каком номере Горький?

— В девятом.

Я отпустил слугу, умылся, переоделся, напился кофе в ресторане, отыскал девятый номер и не без волнения постучался.

— Войдите! — глухо послышался голос Алексея Максимовича.

Я вошел.

Номер состоял из двух смежных больших комнат, почему-то заставленных множеством огромных букетов свежих красных роз: вся комната, в которую я вошел, была в цветах.

За круглым столом сидел Горький, артистка Художественного театра М. Ф. Андреева, финский художник Аксель Галлен и начальник „красной гвардии“, как называлась тогда в Финляндии народная милиция.

Галлен был элегантный, загорелый брюнет лет тридцати, высокий, плечистый, с небольшой черной бородкой, красивый мужественной красотой горного охотника, — таким я представлял себе гамсуновского Глана. С Галленом я был немножко знаком, встретившись летом у Горького в Куоккала в 1905 году.

Начальник гвардии — пожилой человек с большими, свешенными вниз усами и лысеющим лбом — держался по-военному прямо и сухо, говорил по-русски чисто, короткими фразами.

Через плечо у него была одета широкая красная перевязь, напоминавшая генеральскую ленту, в знак принадлежности к народной финской милиции.

— А вот и главный артист приехал! Знакомьтесь! — рекомендовал меня Горький.

— Главный артист — это вы! — возразила Андреева. — В особенности в интимном разговоре!

— Э! Мало ли что! — шутил Горький. — В интимном-то я неотразим, например — в разговоре с жандармами!

Все засмеялись.

Галлен очень плохо и с трудом говорил по-русски, но русскую речь ему в затруднительных случаях переводила Андреева на французский язык.

Она предупредила меня, что Галлен — европейски известный художник и национальная финская знаменитость. Принесли мне репродукции его картин, и я с наслаждением любовался ими.

Финляндия владела сердцем Галлена, была его любовью, грезой, страстью и безумием: всюду, во всем у него была Финляндия.

Он воспел в могучих красках „Калевалу" — эти северные волшебные сказки, стихийные, как зимняя вьюга, — финский эпос.

Пели краски о современной, живой Финляндии с ее седыми скалами и тихими озерами, с девственными хвойными лесами и угрюмым северным морем: серое, свинцовое финское море с набегающими на плоский берег мелкими волнами и тут же прибитое к берегу мертвое дерево, без коры, насквозь просоленное морем, крепкое, как камень: ах, это все символы Финляндии, горько и страстно любимой художником, ненаглядной и обожаемой им сказочной страны „Калевалы"!

Это была жгучая, острая любовь к своей угнетенной стране, но под этой любовью чувствовалась оборотная сторона: ненависть к русскому самодержавию! Именно эта ненависть сближала нас с тогдашними финнами.

Горький заглянул через мое плечо и с глубоким вздохом сказал:

— Как они любят свою страну! Ах, если бы русские так любили свою родину!

— Переведите, пожалуйста, Акселю, — обратился он к Андреевой, — что я никогда не забуду Финляндии и ее народа, ее художников и счастливейших для меня дней, пережитых в Финляндии. Переведите также, что я никогда не забуду его, Акселя, прекрасного художника, пламенного, любящего свою страну и ее свободу!

Когда Андреева перевела, лицо Галлена, отчасти понимавшего сказанное, просияло радостной, детской улыбкой; он протянул писателю большую, замечательно красивую, мужественную руку.

— Сегодня мы с вами выступаем на русско-финском вечере! — сказал, обращаясь ко мне, Горький. — А завтра я уезжаю. Теперь мы, вероятно, не скоро увидимся.

— Не по этому ли случаю у вас здесь столько цветов?

Никто не успел мне ответить. Где-то близко на улице внезапно грянул духовой трубный оркестр. Все мы кинулись к окнам.

Улица была полна празднично разодетой толпой.

Недалеко от гостиницы виднелся среди маленького сквера небольшой бронзовый памятник, теперь весь сверху донизу убранный цветами; около него-то раздавались торжественные звуки оркестра.

— Что это значит?

— Сегодня финский праздник, — объяснил мне Горький. — Чествование памяти ихнего поэта Руненберга: он для них все равно что Пушкин для нас! Вот как умеют чтить своих поэтов финны!

— И не только своих, — возразил тихим голосом молчавший до этих пор начальник гвардии.

— Кроме того, — продолжал Горький, — художники у них прекрасные, архитектура — тоже...

— Но позвольте... — перебил он себя, встрепенувшись и прислушиваясь, — они направляются сюда?

Оркестр, сопровождаемый все возраставшей толпой, сверкая медными трубами и сотрясая воздух торжественными волнами звуков, приближался к подъезду гостиницы. Толпа с обнаженными головами запрудила улицу. Великолепный оркестр грянул под нашими окнами. Музыканты были с широкими красными лентами через плечо.

Едва умолк оркестр, как запел густой и стройный хор.

— Это все вас чествуют! — взволнованно говорила Горькому артистка. — Выходите на балкон, скажите им: „Да здравствует Финляндия!“ — по-фински.

— Но я не умею говорить по-фински! — возразил Горький.

— Ах, да это же можно написать! Аксель!

Она схватила со стола карандаш и бумагу.

Аксель продиктовал ей несколько финских слов. Ан-

древа написала их русскими буквами. Бумажку дали в руки Горькому.

Пение умолкло. Тотчас же с другой стороны загудел новый хор. Потом опять заревели трубы. Толпа прибывала, и уже не видно было ей конца.

С трудом открыли дверь на балкон, забитую по-зимнему. Горький появился на балконе. Оркестр умолк.

Прерывающимся голосом, медленно выговаривая, Горький крикнул два финских слова: „Элекейнен Суоми!“ — означавшие: „Да здравствует Финляндия!“

Воздух дрогнул от восторженных криков, вырвавшихся из нескольких тысяч грудей.

Люди с обнаженными головами махали шляпками и шапками, что-то крича.

Суровый финский народ радостно улыбался и бурно приветствовал русского писателя — борца за революцию.

Горький опять повторил свое восклицание и опять вызвал гул криков толпы.

В комнате все волновались. Было что-то трогательное во всем этом происшествии, в таком выражении любви многотысячной толпы к писателю-революционеру.

Подразумевалось, что эти овации происходят в честь Горького не только как большого писателя, но и как политического деятеля. Это была демонстрация, в которой столица Финляндии почти поголовно приветствовала Горького как представителя русской революции: вместе с ее ущербом падали надежды Финляндии.

Горький вбежал в комнату с мокрым от слез лицом. Все окружили его, растроганные. Артистка плакала, вытирая свои слезы платком.

На улице гремел оркестр, чередуясь с хорами певцов. Толпа не расходилась и все прибывала; крыши соседних домов чернели от зрителей.

Зимний северный день угасал. Смеркалось.

Начальник гвардии вдруг торжественно встал перед Алексеем Максимовичем и, обнаружив военную выправку, произнес торжественно-официальным тоном:

— А теперь пожалуйте на спектакль! Экипаж подан!

Мы все оделись и гурьбой спустились вниз по широкой мраморной лестнице.

На улице, с обеих сторон крыльца, двумя живыми стенами стояла тесная толпа, оставляя для нас только

узкую дорожку, застланную ковром, которая вела к санкам, убранным гирляндами свежих красных роз.

Но сани были без лошадей: за оглобли держалась толпа.

Кругом стояли тысячи людей с обнаженными головами, девушки бросали на снежную дорогу свежие, сочные розы, красные, как кровь.

— Я не могу, — говорил окружающим Горький, — я пойду пешком! Не хочу, чтобы меня везли люди!

Тогда, слегка раздвинув других, встал перед ним начальник „красной гвардии“, серьезный, с седыми усами, в широкой красной ленте через плечо, выпрямился по-военному и сказал официально:

— Народ этого требует!

Горький подчинился народу и сел в сани с открытой головой.

Рядом с ним села М. Ф. Андреева.

Тронулся тихий, торжественный поезд: впереди во всю ширину улицы густо двигалась сплошная, медленная, торжественно-печальная толпа, сзади саней, ведомых людьми, шли десятки тысяч людей с открытыми головами, не было видно конца толпе ни впереди, ни сзади; в демонстрации участвовало не менее сорока тысяч жителей Гельсингфорса. Где-то в этом море людском потерялся затертый и заглушенный гулом движения оркестр, издававший трубные, торжественно-могучие звуки.

А кругом саней в ногу шагала „красная гвардия“ в широких красных лентах через плечо.

Шествие двигалось слишком медленно под торжественные звуки медного оркестра.

Толпа устилала путь русского писателя красными цветами, словно кровью орошали они снежную дорогу, и не знал он, что путь, усеянный розами, по которому его влекли с такими почестями, будет путем многолетнего изгнания, страданий и борьбы.

IX

После отъезда Горького „знаньевцы“ потребовали от Пятницкого отчетности в денежных делах „Знания“, так как доверяли только Горькому. Пятницкий им в этом отказал, что и послужило поводом к уходу „знаньевцев“ из „Знания“.

„Знание“, оставшееся под гнетом злейшей правительственной и психологической реакции, по понятным причинам уже не имело сил по-прежнему возвышать свой голос на борьбу с ней: оно осталось не только без вдохновителя, но и без прежних его соратников, замененных новыми, менее интересными для широких кругов читателей. Пятницкий переехал к Горькому на Капри, и сборники, составлявшиеся за границей, уже не вызывали прежнего могучего отклика в сердцах читателей, павших духом, среди общей подавленности, в обстановке реакции. Тираж сборников уменьшился катастрофически, и, постепенно хирея, они наконец совсем прекратились. Материальное положение знаменитого писателя за границей значительно ухудшилось, пошатнулось и здоровье — обострился туберкулез, доходили слухи об открывшемся кровотечении горлом. После прекращения издательства „Знания“ Горький и Пятницкий разошлись.

В стране безостановочно, подобно бездушной машине, работал военный суд, выносивший задним числом смертные приговоры через повешение, отправлявший людей в ссылку и каторгу. Народный юмор называл повешение „муравьевским галстухом“.

Тогда взошла печальная звезда Леонида Андреева, автора „Семи повешенных“, большой, но болезненный, всегда имевший уклон к пессимизму талант которого звал теперь не „К звездам“, как прежде, а во „Тьму“ трагического отчаяния. Андреев встал во главе модернистского „Шиповника“, более отвечавшего мрачному „духу времени“.

Чувство упадочничества на много лет охватило интеллигенцию.

Всеобщим упадком духа только и можно было объяснить успех пессимистической „арцыбашевщины“, интеллигентное мещанство полезло в „санинство“ („Санин“ — роман Арцыбашева). Начался всероссийский разгул — море по колено.

Из писателей многие надолго замолчали, иные среди всеобщего пьяного угара спились, некоторые морально опустились, психологически жестоко разбитые. Началось „купринское богемство“. „Не разбились, а рассмеялись“ только обеспеченные либералы, эстетствующие „любители словесности“, „ужи“ из „Песни о Соколе“, переставшие в это время „любить Горького“. Теперь они лягали всех и все, что напоминало им рево-

люцию, между тем как „сокол“ истекал кровью на скалистом острове Средиземного моря.

Горький чувствовал, что ему нельзя оставаться только писателем, что слава его — слава борца за революцию — дается ему в ожидании дел, подтверждающих его призывные песни.

Покончив с „бывшими людьми“, ярко обрисованными в первом фазисе его литературных выступлений, заключительным аккордом которых была пьеса „На дне“, он оказался на распутье: тема была исчерпана до „дна“, художник „выпел душу“ и остыл к своим персонажам. Правда, огромный материал поразивших его когда-то впечатлений далеко не весь был переработан, и всякий раз, когда впоследствии автор прикасался к старым струнам, они звучали с прежним очарованием, как, например, в прекрасно написанном „Детстве“, но видно было, что ему необходимо вступить в какой-то новый фазис его литературного развития, не повторяя себя и не возвращаясь вспять.

За границей он впервые берет для своих вдохновений жизнь революционно-рабочей среды — пишет „Мать“ и целый ряд художественных произведений, бесповоротно, как по рельсам, ведущих его на вершину мировой известности большого пролетарского писателя, первого в мире.

Я не был у Горького на Капри. Всего только два-три раза обменялись мы письмами, написанными „эзоповским языком“. В моих старых тетрадях я случайно нашел экспромтный набросок одного из таких моих писем к Горькому на Капри, относящийся к 1908 году, когда у него гостил Леонид Андреев.

Вот отрывок из этого письма:

Синьор Алексис, сын Макса!
Примите привет необлыжный
За те досточтимые строки,
Что мною получены с Капри!
Привет тебе, остров бессмертных!
Бессмертные, будьте здоровы!
Пускай вас минует простуда,
И насморк, и боль головная!
Да греет вас вечная слава!
Вы там — на причудливом Капри,
Герой Леонид хитроумный (Андреев)
И Пятницкий — в белом костюме,
С биноклем и в галстуке красном!
Я вижу вас всех на веранде

За красным вином (вероятно)
По случаю дней карнавала.

У нас же картина другая:
Крутит на Руси Мефистофель,
Ему — „человек“ услужает.
— Эй, красного! — крикнет Люцифер,
И „красное“ льется рекою.
У нас — карнавал Вельзевула:
Мы в галстуках здесь „муравьевских“
Гуляем и пляшем порою
В беззвучии „красного смеха“.
Ведут всюду „красных“ куда-то
И бесятся синие черти.

Бессмертные! будьте бессмертны!
Да здравствует синее небо
Прекрасного острова Капри.

Во время мировой войны, в декабре 1914 года, случилось мне быть проездом в Киеве. Остановившись в гостинице, взял газету: оказалось — в городском театре бенефис Марии Федоровны Андреевой, идет пьеса Чехова „Три сестры“.

В телефон мне ответил приветливый голос артистки:

— Приезжайте, пожалуйста, билет для вас припасут в кассе. Да загляните ко мне за кулисы в антракте, очень рада буду. Между прочим, могу сообщить вам новость: здесь Алексей Максимыч!

В первом антракте пошел за кулисы. На мой стук в уборную бенефициантки дверь отворил — Горький.

С тех пор как мы расстались в Гельсингфорсе, внешность его значительно изменилась: уже не было длинных волос и суконной блузы; коротко остриженный, в застегнутой наглухо тужурке, в высоких сапогах — он теперь показался мне похожим на партийца, но лицо, так хорошо мне знакомое, „солдатское“, с отросшими, опущенными вниз широкими усами, чем-то стало напоминать известный портрет Шевченко. Видно было, что много пережил и перестрадал этот человек, между нами легли девять лет реакции в России, приведшие к еще более безнадежной и ужасной войне, — годы „каприйского отшельничества“ Горького.

В уборной артистки во время краткого антракта были посторонние, незнакомые мне люди, состав которых менялся: одни уходили, другие входили. Все это мешало нашему разговору. Я узнал только, что Горький покинул Капри и направляется в Москву. Ответил ему

на несколько вопросов о себе, поблагодарил Андрееву, стал прощаться — затрещал третий звонок.

Горький пошел проводить меня.

В коридоре театра мы пожали друг другу руки и расстались: я повернул в одну сторону, а он в другую — потом оба оглянулись.

— Редко видимся! — вырвалось у меня.

— Да, редко! — ответил он и вдруг воротился ко мне.

В лице его было какое-то новое, более теплое выражение.

— Приходите завтра часов в шесть к Марье Федоровне — я буду там. Хорошо?

— Хорошо, — ответил я, — если приглашаете, то уж, конечно, приду.

— Ну, так вот. Приходите.

Я ушел из театра, не дождавшись конца пьесы. В душе встало яркое воспоминание о чистоте и непосредственности нашей прежней, почти юношеской дружбы. Теперь мы оба были уже сильно пожившими людьми, много тяжелого пережившими. Горький казался чем-то озабоченным, возвращаясь в Россию в тяжелую годину грандиозной войны. Когда я спросил его, что он думает о войне, — Горький кратко ответил:

— Не вылезем мы из нее! Надо же ее прекратить когда-нибудь!

— А зачем „им" ее прекращать-то? Война дело выгодное — для тех, кто любит устраивать войны: так и будут воевать до тех пор, пока . . .

Дальше разговор оборвался.

Что-то лежало у него камнем на душе. Дирижерскую палочку в литературе как раз подняли наши давнишние, постоянные враги и „любители чистого искусства", от которого рукой подать до церковного благочестия и „ура-патриотизма".

В тогдашнюю реакционную эпоху критика, за которую взялись наши недоброжелатели, любила „хоронить" Горького и „горьковцев". О наших книгах писали: „Прежде это нравилось — теперь не нравится". Неправда! „Мы" — „им" никогда не нравились, а теперь был на „их" грязной улице праздник . . . Никогда еще „мы" и „они" не были так непримиримы: нас травили за то, что наши книги самым своим содержанием возбуждали читателя против „них". Тяжело было тогда в русской литературе! . . И вот — приехал Горький: мо-

жет быть, он опять соберет нас, поднимет, как прежде, наш падающий дух.

С этими мыслями я пришел на другой день в назначенное время на квартиру артистки. Это была крохотная квартирка из трех маленьких комнат с входом со двора; прежде я не видал столичную артистку, привыкшую к комфорту, в такой мизерной обстановке; должно быть, денежные дела ее были неблестящие.

Горький с интересом расспрашивал меня о литературе и литераторах, о старых „знаньевцах", о Куприне, об Андрееве.

Я должен был нарисовать печальную картину всеобщего разброда, упадка, отчаяния, мрачного разгула, пьянства, расхлябанности одних и торжества того „благочестивого" литературного лагеря, который так любит наши „похороны". Горький внимательно слушал, покручивал ус и ухмылялся.

— А что касается меня — хоронить еще рано! Я действительно собирался помирать, но ничего не вышло. Одно время совсем было собрался... Врачи предупреждали, чтобы я, значит, того... приготовился... чтобы на всякий случай привел свои дела в порядок. Лежу это я... кровь горлом... весь асфальтовый пол на балконе залил... Вдруг на лестнице поднимается ко мне этот самый бывший земский врач эмигрант Манухин — слышали о нем? — рассказывает о своем изобретении: „Все равно вам помирать-то: давайте я на вас мое новое средство попробую! Может, и вылечу?"

— Ну, что это? Разве можно так! — со смехом запротестовала артистка.

— А что? — с юмористическим видом обернулся к ней рассказчик. — Ведь действительно вылечил: я сам видел фотографию с моих легких до сеансов с этими самыми рентгеновскими лучами — и после. До сеансов — каверны там и прочее, а после — совершенно чистые легкие. Он, этот Манухин, с догадкой человек. А теперь совсем — „не хочу я помирать!". Вот приеду в Москву, открою журнал и возьмусь за перо, тогда узнают, что я не только жив, но и здоров, пожалуй! Нет, я не умру, — повторил он.

Страна вступила в преддверие новой эпохи.

Много лет случалось мне по делам литературным бывать у него в Горках, и всегда приходилось заста-

вать там десятки людей, ежедневно приезжающих к нему только по делам общественно-государственного значения. За чайным столом садились в очередь, чтобы в порядке очереди беседовать с ним по неотложным, жгучим вопросам, решавшимся тут же.

Смерть пришла как отдых от трудной жизни борца и работника. Но это была не смерть, а наступившее бессмертие.

С присущей ему скромностью он мог бы, умирая, сказать словами другого великого поэта и бойца:

Положите на мой гроб не только
дубовый венок, но и меч,
Ибо я был храбрым солдатом.

1937

ЛЕВ ТОЛСТОЙ[1]

Встречи

1

Мне вспоминается яркий солнечный апрель в Крыму, каменистый берег моря в Олеизе, вечный, неугомонный гул прибоя, а на берегу деревянная дача „Нюра" — вычурной архитектуры, вся белая, веселая, кокетливая.

Темно-синей пеленой колыхалось могучее море, освещенное весенним радостным солнцем, кое-где качались надутые ветром паруса рыбацких лодок; иногда вдали на горизонте медленно проплывал черный грузовой пароход.

Это была весна 1902 года.

На даче „Нюра" жил тогда Горький на рассвете своей славы: вся читательская Россия, жаждавшая обновления и предчувствовавшая близость революции, думала, что у Горького в кармане лежит путь в обетованную страну, текущую млеком и медом, к заветному острову свободы, со всеми угодьями и землями, со всеми благополучиями и воздушно-хрустальными замками.

Все обещало конец тогдашним невзгодам: весеннее небо, весеннее море, теплом веющий южный ветер и весна в сердце.

Шумно и весело было у Горького на „Нюре", наехали гости, приехал Шаляпин.

И когда наконец все они схлынули, из гостей остались только двое: Шаляпин и я, приехавший поправлять здоровье, расстроенное тюрьмой.

Тогда Горький сказал Шаляпину:

— А не сходить ли нам сейчас к Толстому?

Оказалось, что Толстой жил тогда в Гаспре, в десяти минутах ходьбы от „Нюры".

— Пойдем! — согласился Шаляпин.

Я попросил их взять меня с собою. Горький, не раз

---

[1] Первоначальный набросок под заглавием „Как я видел Льва Толстого" был напечатан в 1912 г. в журнале „Пробуждение". Теперь он печатается в переработанном виде. *(Примеч. автора.)*

бывавший у Толстого в Ясной Поляне, стал меня отговаривать.

— Не советую! — сказал он. — Неприятно вам будет! Я вот про себя скажу: ведь какой ни на есть, а всетаки я — писатель, но, когда говоришь с Толстым, черт знает отчего, чувствуешь себя каким-то мальчишкой, ейбогу! Не человек говорит, гора говорит!

Шаляпин заступился за меня. Они посоветовались, поспорили и наконец решили взять меня с собой в путешествие к Человеку-Горé.

Мы отправились к нему прямиком по тропинке, через какую-то рощу, перелезали через изгороди, карабкались на гору и наконец, минуя Кореиз, вылезли прямо к сумрачному замку из темного камня, выстроенному в средневековом, рыцарском стиле. Кругом него был большой запущенный парк, широкий зеленый луг с клумбами цветов — и ни души.

2

Пока шли, Горький рассказывал, что Толстой оправляется теперь от только что перенесенной им тяжелой болезни — кажется, воспаления легких.

Хвалил Софью Андреевну:

— Это правильно она говорит: если бы не она, так он бы десять раз себе Голгофу устроил! Умная баба. Я ей говорю в прошлый раз: „Вот — его отлучили от церкви, в случае, если помрет, без попов хоронить придется!“ Так она даже кулаком по столу пристукнула, говорит: „Вот увидите, митрополит хоронить будет! Митрополит!“

— Да, с большим характером женщина!

Увы! Через восемь лет после этих слов Толстой устроил-таки себе Голгофу, и не „спасла“ его Софья Андреевна, и не хоронил митрополит.

Алексей Максимович рассказывал содержание повести „О. Сергий“, только что написанной тогда, которую Толстой читал ему по рукописи. Говорил о том, какой удивительный рассказчик Толстой в живой беседе.

— Он как-то лепит руками из воздуха, как скульптор, и вот видишь перед собой все эти лица и фигуры, как живые! Лепит, лепит, создает все из воздуха, вызывает к жизни из ничего, а потом дунет — и все ис-

чезло! Колдун! В прошлый раз как-то рассказал мне содержание одной новой повести какого-то молодого, неизвестного автора, напечатанной в одном плохоньком журнальчике: ведь он все читает, ничего не упустит! Ну, братец ты мой, так рассказал, что у меня глаза на лоб вылезли. „Батюшки, — думаю, — новый талантище появился, а я и прозевал!“ Пришел домой, отыскал эту повесть, прочел — только в затылке почесал: конечно, ерунда! Бездарность безнадежная, ничего и похожего-то нет на то, что рассказал Толстой! Ах, если бы тот мог написать так, как этот пересказал им написанное!

Мы взобрались на парадное крыльцо и позвонили.

Огромная дубовая дверь тотчас же отворилась.

Имена Горького и Шаляпина оказали быстрое действие: нас пропустили в зал.

Минут через пять вышла Софья Андреевна. Она в то время производила впечатление бодрой, моложавой женщины. Приняла нас приветливо и завела салонный разговор.

Потом сказала:

— Вы, вероятно, хотите видеть Льва Николаевича? Я уж ему говорила о вас; он очень извиняется, что не может принять вас, и очень сожалеет об этом, но слаб после болезни, ему вредно говорить.

Тут один за другим стали выходить остальные члены многочисленной семьи Толстого: сыновья, дочери и внуки. Мне даже надоело без конца вставать со стула и знакомиться — так их было много!

3

По внешности, манерам и порядкам в доме чувствовалось, что семья Толстого отнюдь не „толстовцы“. Это была обыкновенная, традиционная стародворянская семья, со всеми свойственными таким семьям сословными понятиями и предрассудками. Мне показалось при одном взгляде на них, что Толстой в мужичьей рубахе со всем миром своих идей должен быть одинок в собственной семье, но что это одиночество, может быть, нужно ему.

Впоследствии я водил дружбу с его сыновьями — Сергеем и Ильей, в особенности с последним, из которого получился „до некоторой степени литератор“.

Илья, по наружности похожий на отца, унаследовал от него более других братьев литературную жилку — но, увы, в очень слабой степени.

Помню, в беседах со мной он всегда проклинал свое происхождение от знаменитого отца; по его словам, отец, сам того не замечая, давит в них наследственную талантливость громадностью своего гения: рядом с ним они всегда с отчаянием убеждались в собственном ничтожестве. Сравнение с великим отцом убивало их энергию.

Может быть, и правда.

Разговор графини с Горьким и Шаляпиным был незначительный, условно-салонный, я с нетерпением ждал момента, когда они подымутся уходить.

Высидев десять минут, мы поспешили уйти.

Опять спустились к морю, вниз, по той же тропинке. Горький и Шаляпин шли впереди меня, рядом. Последний, по своему обыкновению, острил и балагурил, а Горький насупился и молчал.

Внизу шумело вечернее море.

Тени гор уже простирали над ним свою тихую вечернюю печаль. В Олеизе и Кореизе, двух смежных татарских деревушках, кое-где зажигались тусклые огоньки.

На другой день уехал Шаляпин, а недели через две поднялся в отъезд и Горький.

4

Я нашел себе комнату в Кореизе, у татарского муллы. Домик его, стоявший в полугоре, ближе к верхнему шоссе, чем к морю, был в два этажа, обычной восточной архитектуры; внизу жил мулла со своей семьей, а верх, состоявший из нескольких отдельных комнат с общей длинной террасой, покрашенной в синюю краску, приспособлен был для сдачи „под приезжих“.

Но в начале весны в Крыму приезжих мало, и я был единственным обитателем верхнего этажа. Жил в полном одиночестве и наслаждался этим одиночеством.

С террасы открывался великолепный вид на море. Кругом цвели розы.

Крымская весна была в полном разгаре. Было так

много солнца, воздуха и зелени, что каждый день казался торжественным праздником. Каждое утро, напившись чаю, я отправлялся на берег моря купаться. Потом некоторое время гулял по берегу и целыми часами сидел на скале, созерцая море.

Это занятие мне особенно нравилось.

Так проходило мое время день за днем.

Охота видеть Толстого у меня после неудачи совершенно пропала, даже как-то самая мысль об этом ни разу не приходила в голову.

Его тогдашний домашний врач, Никитин, частенько заходил ко мне, чтобы идти вместе купаться, и приносил мне свежие книжки журналов.

Мало-помалу мы подружились с этим симпатичным юношей, каким он тогда был: по внешности Никитин походил больше на студента последних курсов, чем на врача.

Прочитанные книги я ему относил сам, так как в графском замке у него была крохотная комнатка в нижнем этаже, с отдельным ходом, в которую можно было заходить, не встречаясь ни с прислугой, ни с членами семьи графа. Поэтому я ходил к нему запросто, как и он ко мне.

В одно ярко солнечное, золотистое утро мы с ним сидели в его комнате и весело о чем-то рассуждали. Потом он вышел взять книги для передачи мне.

Через минуту возвратился и сказал, улыбаясь:

— Лев Николаевич зовет вас! Идите!

Я испугался.

Посмотреть на великого Льва из-за чужих спин, не вступая с ним в разговор, я желал когда-то, но теперь идти к нему самостоятельно и, следовательно, разговаривать — было страшно.

— Зовет? Зачем? Кто ему сказал, что я здесь?

— Я сказал! Ну, он и просит вас на террасу, говорит, что давно желал с вами познакомиться.

Я был ошеломлен: великий Толстой желает познакомиться со мной, молодым тогда, начинающим беллетристом, только что выпустившим первую книжку!

— Послушайте, — в нерешительности протестовал я, — но ведь вы помните, что в прошлый раз . . .

Никитин улыбнулся лукавой улыбкой.

— Это была хитрость Софьи Андреевны: она ему даже и не сказала ничего о вашем визите!

— Ну да, он был тогда очень болен!

— Болен-то он и теперь... поправляется медленно... не в этом причина, а уж это тактика Софьи Андреевны: чтобы чувствовали. А про вас-то я ему сам сказал, да вы еще пока что и не очень знамениты! Хе-хе! Ну, нечего время тянуть, пойдемте, я вас к нему проведу!

5

Долго рассуждать было некогда. Никитин взял меня под руку и потащил в знакомый уже мне зал, затем в смежную комнату, откуда в раскрытое окно виднелась залитая солнцем и обвитая зеленью большая терраса, выходившая в сад.

— Дверь закрыта во избежание сквозняка, лезьте в окно! — скомандовал врач.

Я полез в окно.

Толстой лежал в передвижном кресле-колясочке, в той позе, как он снят в этом виде на портретах того времени: покоящаяся на подушке седая голова с проникновенным, сурово-добрым взглядом из-под густых бровей и бессильно лежащие поверх одеяла изможденные, стариковские руки.

Я заметил, что руки эти были небольшие, узкие, с длинными пальцами, „аристократические“.

И лицо его, изможденное от болезни и старости, выражало доброту и величавость. Вдруг я почувствовал себя маленьким-маленьким, пятилетним мальчиком, на глаза почему-то навернулись слезы, щеки мои вспыхнули, и мне захотелось припасть к его руке, поцеловать ее и сказать: „Дедушка, милый дедушка!“

Он подал мне эту руку, сухую, морщинистую, стариковскую, и сказал слабым, болезненным, старческим голосом:

— Здравствуйте! Садитесь вот тут, около меня! Так вот какой вы... молодой!

Он как бы с завистью окинул меня взглядом.

— Высокий какой! Все вы, что ли, там такие, на Волге? Ведь вы волжанин, кажется?

— Да.

— Из крестьян?

— Да.

— Из какого села?

Я сказал. Толстой спросил, есть ли там сектанты. Я ответил, что мое родное село наполовину старообряд-

ческое, а сектантов там нет и что, впрочем, сельскую жизнь я оставил в шестнадцатилетнем возрасте.

— Почему же оставили? Не надо было землю оставлять!

Я отвечал, что мой отец — безземельный крестьянин, деревенский столяр и что стремление учиться и к писательству склонность были у меня с детства.

— Так! Так! Я читал вашу книгу: хорошо, очень хорошо! Вот это, где там у вас мужики в кабаке рукавицами хлопают, — это хорошо!

6

И Толстой стал говорить мне о мужиках.

Странно говорил он о них.

Говорил с такой любовью, как будто бы они были муравьями и ползали у него на ладони, а он рассматривал их, следил за их работой, беготней, как они двигают головками, шевелят усиками, думают, строят что-то, радовался и как бы приговаривал: „Я их очень люблю! Посмотрите, какие они умные, какие хорошие, как правильна их жизнь! Вот так и нужно жить, как они!“

Казалось, он не замечал, что смотрит на них свысока. Всю жизнь свою стремясь умалиться и опроститься, великан ума, вероятно, на весь человеческий род не мог смотреть иначе, как с высоты своего роста. Может быть, этот досадный рост был даже мучением и несчастьем его жизни: печи клал, землю пахал, а муравьем при всем желании так и не мог сделаться.

Насколько же легче и проще быть муравьем! Мне показалось даже, что от Толстого так и ускользнуло в мужике что-то главное, самое интересное, что ему хотелось рассмотреть, но так и не довелось.

Мне думалось, что мужики все-таки лучше знают друг друга, чем знает их Толстой. Я удивился, как он не может знать о них чего-то самого простого, обыкновенного, что знают все обыкновенные люди.

Казалось, что Толстой не видал мужиков по крайней мере лет сорок и уже неизвестно ему было, о чем они думают.

Мужика он неизменно представлял себе пашущим землю. О том же, что мужики давно хотят быть не только мужиками, но еще и людьми; что надоело быть трудолюбивыми муравьями, божьими пчелками, то есть ра-

ботать на кого-то неработающего, и тысячу лет попусту хлопать в рукавицы; что там, в многомиллионном их улье, происходит какое-то необыкновенное движение, которое скоро — это и тогда чувствовалось — может разрешиться величайшим потрясением, об этом Толстой как будто не то что не знал, но был твердо убежден, что ничему этому быть не следует.

Когда в маленькой реплике у меня сорвалось выражение „о близости революции“, то Толстой с болью на лице и в голосе прервал меня словами: „Не надо желать революции“ — и тотчас же стал развивать свои дальнейшие мысли.

7

Я не ручаюсь, верно ли я понял его в краткой, торопливой беседе, тем более что я умышленно не возражал ему, желая как можно более услышать от него. Но у меня навсегда осталось впечатление от Толстого, как от говорящей горы, не сознающей своих размеров. „Безмерный“, — сказал кто-то о Толстом, и это слово удивительно определяет его во всех отношениях: „безмерный“, огромный, не знавший наших мер и границ, наших „нельзя“ и „невозможно“, свысока смотревший даже в смирении своем.

Казалось мне, что и меня он тоже, чтобы лучше слышать и видеть, бережно и осторожно посадил на ладонь и, чтобы я не пугался, похвалил мою книжку, словно мальчишку по головке погладил.

И казалось еще, что его интересовали писатели „из мужиков“, впервые в ту пору пришедшие в русскую литературу, и, видимо, хотелось ему, чтобы это были хорошие писатели.

Обильный золотой свет торжественного солнца, пробиваясь сквозь густую зелень свежих весенних листьев, обвивавших террасу, нежными лучами освещал его львиную голову и замечательные руки. Он был до головы закрыт толстым широким пледом, и мне казалось, что я говорю с одной только необычной, сказочной головой, возвышающейся „превыше всех церквей“.

Слушая рассказ головы, я смотрел на ее величавое лицо с большим лбом и седою бородой, с добрыми, хитрыми морщинками около глубоких глаз и перестал бояться Льва.

Напрасно говорили мне о его „пронзительных“ глазах, они на этот раз были только „проникновенными“, от которых, пожалуй, нельзя прятать мыслей, и очень добрыми.

Возможно, что в иные моменты эти глаза могли быть невыносимыми для смертных, как глаза Моисея.

„Хитрый ты, хитрый, дедушка! — думал я. — Учишь непротивлению, а между тем на самом-то деле сам-то ты всегда противился, как никто!“

Не знаю, прочел ли он во мне эти мысли, но как раз в этот момент пристально посмотрел на меня и чуть-чуть улыбнулся, как бы спрятав улыбку в свою седую библейскую бороду.

На прощание Толстой подарил мне свой портрет, на котором при мне же с трудом написал дрожащей от слабости рукой ласковую надпись.

Портрет этот не сохранился у меня: отобрали при обыске жандармы.

1934

ЧЕХОВ

Встречи

Весной 1902 года в Ялте, где Чехов жил в это время на своей даче, он позвал к себе на ужин съехавшихся на весенний сезон писателей.

Собралась довольно большая компания: Иван Бунин, Телешов, Белоусов, Найденов, Елпатьевский, поэт Ладыженский и еще кое-кто.

Мы собрались еще засветло, пили чай, гуляли в саду, беседовали в его уютном кабинете, шутили, спорили, острили.

Чехов говорил мало. Как все истинные юмористы, очень редко смеялся, заставляя смеяться других, и лишь улыбались его близорукие глаза, спрятанные за стеклами пенсне. Высокий, со впалой больной грудью, изредка покашливающий сухим кашлем, он говорил низким, приятным басом, благородно звучавшим.

Каждый из собравшихся гостей считал нужным что-то рассказать, о чем-нибудь расспросить Чехова. Говорили о современной литературе, об издателях, о театре, о новых пьесах.

— У меня в этом году не будет пьесы! — с обычным мрачным видом сказал Чехов.

— Почему?

— Лев Николаевич отсоветовал: я его как-то спросил, нравятся ли ему мои пьесы? „Нет, говорит, не нравятся!“ — „Почему?“ — „Еще хуже, чем у Шекспира!“

Все засмеялись и долго острили над „стариком“, как они все называли Толстого.

— А не находите ли вы, что Толстой просто ревнив: завидует всем, кто моложе его?

— Это — правда! — подтвердил Елпатьевский. — Когда я в первый раз лечил его, он вдруг спросил меня, сколько мне лет? „Сорок! — У него даже глаза засверкали. — Эх! Как я в сорок-то лет писал!“

— Антон Павлович! Почему, когда в прошлый раз у вас был молодой писатель и очень долго говорил, вы его внезапно спросили: „А вы любите граммофон?“

— Ну, ясно почему! — добродушно отмахнулся Чехов с юмористической ноткой в голосе.

Маленький, лысый и красноносый поэт Ладыженский, которого все почему-то называли „пензенским помещиком“, подобострастно любивший Чехова, спросил:

— Антон Павлович! Получил ли ты от Академии наук диплом на звание академика?

— Получил! — очень серьезно ответил Чехов. — Хотели и тебя тоже в академики избрать, но когда узнали, что ты пензенский, — сказали: „Нет, нам пензенских не надо!“ — После взрыва общего смеха Чехов добавил: — Я от этого диплома отказался и отослал обратно; то же сделал и Короленко!

— Отчего?

— Да из-за солидарности: Горького тогда в академики избрали, а он в тюрьме оказался! Академия аннулировала в газетах его избрание, ну, мы и решили отказаться!

— Антон Павлович, ведь это, конечно, вы несерьезно сказали, будто по совету Толстого не написали пьесы?

— Ну, само собой, не по его совету, а по нездоровью; сам-то он за это время „Хаджи-Мурата“ и „Отца Сергия“ успел написать! — Чехов вздохнул. — Нет, писать — надо, а то не успеешь! Мне вот недавно в Москве профессора исследование делали, „коховские палочки“ нашли! Надо журнал издавать! Хороший, новый журнал, чтобы всем там собраться!

На этот раз Чехов не в шутку, а всерьез говорил о создании нового журнала или периодически выходящих альманахов. Мысль эта всем понравилась.

— Хорошо бы без буржуя обойтись! Без редактора-издателя!

— Самим дело повести, на паях!

— Товарищество писателей учредить!

— Уж чего лучше — к „Знанию“ журнал пристегнуть?

Засидевшись довольно долго за ужином, мы в оживленных разговорах не заметили, что Чехова давно уже нет за столом. Дежуривший в столовой слуга с улыбкой объяснил, что „Антон Павлович спать пошли, но просили передать, чтобы сидели без него“.

Это было очень похоже на Чехова. Никто из нас не знал тогда, насколько серьезно он был болен. Все мы в самом беспечном и жизнерадостном настроении галдели за столом, попивая после ужина крымское вино, обсуждая судьбы России и родной литературы. Некоторые дошли уже до мировых вопросов — „иерархии и сотво-

рения мира", как говорится в чеховском рассказе „Мыслитель".

Когда уже на рассвете расходились по домам, Белоусов вдруг остановился и хлопнул себя ладонью по лбу:

— Послушайте вы, писатели земли русской! Да что же он такое сказал?

— Кто?

— Да Чехов же! Так, между прочим, вскользь упомянул о „коховских палочках", а потом как ни в чем не бывало начал говорить о журнале! Да как же это мы не заметили и даже не поняли, не обратили внимания, что ведь это он про свою близкую смерть говорил?

Была первая постановка новой пьесы Чехова „Вишневый сад".

Антон Павлович к этому времени женился на артистке Художественного театра Книппер и уже не так легко переносил свое многолетнее, вынужденное болезнью, ялтинское отшельничество. Жена по-прежнему с выдающимся успехом играла в Художественном, выступала в главных ролях его пьес, которые давно уже стали любимыми пьесами публики. Теперь дирекция, по-видимому, попросила его приехать в Москву на премьеру новой пьесы, имея в виду устроить публичные овации первоклассному писателю и драматургу, своими пьесами значительно выдвинувшему театр при его первых шагах, когда бесприютная, беспокойная в своих исканиях „чайка" осталась навсегда его трогательной эмблемой.

Это было в конце зимы 1904 года. Стояли солнечные, мягкие дни, пахло талым снежком.

Театр был переполнен сверх всякой меры. „Вишневый сад" поставили и сыграли изумительно, участвовали лучшие, давно уже ставшие знаменитостями артисты этой неповторимой и неподражаемой труппы, в которой нет плохих исполнителей, где каждый на своем месте прекрасен. Выступал „сам" Станиславский, великолепна была Книппер, ярок Москвин.

Наконец после третьего акта произошло чествование автора. На сцене стояла вся труппа с В. И. Немировичем-Данченко во главе. Вышел Чехов.

Публика почтительно встала.

Трогателен и вместе жалок был Чехов на сцене: вероятно, она ослепила его своими яркими огнями, безжалостно выдала живьем жадной, тысячеликой, глазастой толпе, с невольным разочарованием созерцавшей своего лучшего певца: высокий, худой, не знающий, куда девать руки, слегка горбившийся, с подогнутыми коленками, в куцей визитке и коротковатых брюках, со взъерошенной прической и седеющей бородкой клинышком, в пенсне, окруженный на сцене полукругом актерской толпы, он в этот момент походил на Дон-Кихота перед Альдонсой или на бодлеровского альбатроса, очутившегося на палубе среди забавляющихся матросов и волочащего по земле могучие крылья:

Поэт, вот образ твой!

— Сядьте! — с состраданием сказал среди всеобщей тишины раздавшийся как бы с неба низкий, грудной бас, всегда оказывающийся в подобных случаях на галерке. Но, видимо, страдавший душой от встречи с живыми читателями крупнейший из художников своей эпохи чувствовал себя совершенно растерявшимся, не хотел садиться, да и не на что было сесть, — а следовало бы: вид у него был совсем больной и слабый. Казалось, что единственное, что он сделал бы с удовольствием, — это уйти поскорее со сцены, скрыться от тысяч любопытных глаз.

Но напротив него стоял его друг, великий режиссер театра, всех пьес Чехова и происходящей сцены чествования — Владимир Иванович Немирович-Данченко, с развернутым большим листом в руках: это была речь от лица труппы и всего Художественного театра, благодарственная, юбилейная и вместе дружеская речь, начинавшаяся интимным обращением: „Антон!“

Через несколько дней Чехов встретился мне за кулисами Художественного театра во время представления „Дяди Вани“ и, задержав мою руку в своей, сказал:

— Послушайте, приходите-ка ко мне завтра обедать, часам к двум!

Я был вполне уверен, что Чехов, как и остальные знаменитости, у которых мне доводилось бывать в Москве, затевает у себя званый артистическо-писательский обед, вроде ялтинского ужина, о котором я вспоминал

с удовольствием. Правда, Чехов и тогда был серьезно болен, обмолвившись о „коховских палочках“, но теперь выглядел много хуже, чем два года назад: значительно исхудал, как-то постарел и осунулся. Говорили, что в Москве у него обострился туберкулез и что московские врачи решили вопрос о поездке его на лето за границу, не удовлетворяясь более его крымским сидением, да и самому Чехову, наверное, очень надоела Ялта с русскими почитателями и посетителями, напоминавшими граммофон.

На другой день я аккуратно к двум часам явился на московскую квартиру Чехова — где-то около Каретного ряда, в первом этаже небольшого дома. Вместо многолюдного собрания встретил в гостиной Немировича-Данченко, бывавшего у него ежедневно, и еще двух-трех человек из труппы и администрации театра. Разговор был товарищеский, интимный, отчасти деловой: Чехов указывал на некоторые мелкие, второстепенные недостатки первой постановки „Вишневого сада“ и просил их исправить при следующих постановках.

Поговорив еще о каких-то мелочах, все ушли, кроме Владимира Ивановича, с которым у Чехова завязался разговор совсем домашний: полушутя он жаловался другу на жену, которая его не слушается:

— Ведь она еще после болезни не оправилась, а лекарство принимать бросила — капризничает всякий раз!

— Не мешает в таких случаях и прикрикнуть! — посоветовал Владимир Иванович.

В это время вошла Ольга Леонардовна, молодая, красивая, цветущая. С ее приходом как будто и в комнате стало светлее. Пожимая нам руки, она сияла приветливой улыбкой.

Но муж суровым и даже грубоватым тоном „велел“ ей сейчас же принять какое-то лекарство.

Улыбка жены, стоявшей перед ним „руки в боки“, стала еще более сияющей: видно было, что она и в грош не ставит „строгость“ такого мужа, как Чехов, — он органически не был способен „прикрикивать“ на кого бы то ни было, тем менее на несомненно обожаемую жену. „Суровый тон“ был принят отчасти для нас и, во всяком случае, очень прозрачно прикрывал бесконечную мягкость и нежную заботливость о любимой женщине в то время, когда он сам более чем кто-либо нуждался в подобных заботах о его преждевременно и безнадежно угасавшей жизни.

Через несколько минут ушел Немирович, ушла и Ольга Леонардовна.

Несколько недоумевающий, я было тоже поднялся уходить.

— Что вы? — возразил Чехов. — Сейчас мы с вами обедать будем — вдвоем!

Действительно, когда мы вошли в столовую, там уже был накрыт обед на два прибора. Кушанья подавал единственный в доме слуга. Из поданного маленького графинчика Антон Павлович собственноручно налил мне рюмку водки.

— Выпил бы и я с вами! — со вздохом сказал он. — Когда был здоров — пил с удовольствием, а теперь не могу! Очень жалею, что нельзя мне водку пить.

— Московский климат вреден вам, на юг поезжайте!

— Да, на юг! — опять вздохнул хозяин. — На днях поеду! Доктора посылают за границу на лето, а мне что-то не хочется! Россию люблю! Мне и Крым не нравится! В русскую бы деревню, с этакой бы березовой рощей, а они меня в Биарриц!

Я попросил его подарить мне на память какой-нибудь том его рассказов.

Чехов тотчас же послал слугу в ближайший книжный магазин купить книгу. Тот скоро вернулся с томиком „Хмурых людей". Антон Павлович тут же за обеденным столом сделал надпись своим неразборчивым, тонким, женственным почерком.

— Послушайте, — продолжал он, передавая мне книгу, — отчего вы мало пишете? Вам следует больше писать! Я именно это хотел вам сказать на прощанье! У вас теперь могло быть томика четыре, а вы что-то на первом замешкались. Я и сам много лентяйничал, а теперь очень жалею об этом!

— Не знаю, кого слушать! — смеясь ответил я. — Недавно Лев Николаевич говорил мне: не пишите много, не надо много писать!

Чехов улыбнулся.

— Не верьте хитрому старику! Он это всем говорит, и мне говорил, потому что сам стареть стал! Нет! — Тут Чехов вздохнул печально. — Надо, надо писать! Вы начали вашу песню по-соловьиному, а если остановитесь навсегда на одном томе, выйдет по-воробьиному! Я вам про себя скажу: если бы я остановился на первых рассказах, — меня бы и писателем не считали. Чехонте! Маленький томик маленьких смешных анекдотов! Ду-

мали, что и весь я тут! Серьезные писатели говорили: чужой он нам, потому что смеется! Как можно смеяться в наше время?

Он помолчал.

— Придется ли еще увидеться — неизвестно! Поговорить с глазу на глаз — хорошо бывает! Послушайте, вы помните, как у вас в одном рассказе сказано: „Протодьякон проклинает сомневающихся в бытии божием, а они стоят на клиросе и поют сами себе „анафему“!“

Он откинулся к спинке стула и залился почти беззвучным, но заразительным смехом, вдруг сделавшись похожим на свой молодой портрет, когда Чехов был жизнерадостным, беззаботным „Чехонте“.

Обед наш в разговорах затянулся часа на два. Вдруг мне вспомнилась его загадочная фраза: „Придется ли еще увидеться — неизвестно!“ И меня поразила мысль, что этот удивительный, очень одинокий, замкнутый, приговоренный к смерти человек думает не о себе, не о своем положении, трагичность которого он, как врач, понимал лучше, чем кто-либо из опекавших его друзей, но находил время заботиться и тревожиться о судьбе начинающих писателей. Я знал о его серьезной болезни, но почему-то думал, что еще увижусь с ним. Увидеться не пришлось.

Летом того же года телеграфная весть о смерти Чехова на чужбине больно ударила по сердцам, изболевшим под гнетом мрачной действительности. Смерть отняла тогда у России последнего нежного друга, печальника „чеховской“ эпохи: он был любимым, близким, родным писателем для своего поколения.

Я написал тогда стихи, читанные мной на ряде вечеров, посвященных памяти Чехова. Вот они:

ПАМЯТИ ЧЕХОВА

Неумолимый рок унес его в могилу!
Болезнь тяжелая туда его свела:
Она была в груди и всюду с ним ходила —
Вся жизнь страны родной болезнь его была!

Пророки и вожди, кипя душой мятежной,
Могли быть гневными, могли, любя, карать.
А он любил людей такой любовью нежной,
Как любит женщина, как любит только мать.

Печали жгучий яд он выпил полной чашей,
Впитал в себя всю грусть, глубокий, как родник,
И был отравлен он тоскою жизни нашей,
Терпением рабов и тупостью владык!

Дыханье пошлости ему дышать мешало,
До гроба мучила холодная вражда,
И наконец толпа любовью истерзала —
Но был он одинок повсюду и всегда.

Он жил под темною, загадочною властью
Судьбы насмешливой, бесчувственной и злой,
И капля каждая им выпитого счастья
Была отравлена невидимой рукой.

И, поздно понятый, судимый так напрасно,
Он умер оттого, что слишком жизнь бедна,
Что люди на земле и грубы, и несчастны,
Что стонет под ярмом родная сторона.

И, оставляя мир, он звал тебя, свобода!
Последний вздох его уже звучал тобой:
Он чувствовал, что даль таит лучи восхода,
А ночь еще сильна и давит край родной.

О родина моя, ты вознесешь моленья
И тень прекрасную благословишь любя,
Но прокляни же ты проклятием презренья
Бездушных торгашей, что продают тебя!

Пусть смерть его падет на гадов дряхлой злобы,
Чьи руки черствые обагрены в крови,
Кто добивал его, а после был у гроба
И громче всех кричал о дружбе и любви.

Блесни над родиной, могучее светило,
Птиц ночи разгони, пронзи ночную тень
И, возрождая жизнь над темною могилой,
Приди, торжественный, давно желанный день!

1935

ВЛАДИМИР ГАЛАКТИОНОВИЧ КОРОЛЕНКО

В конце восьмидесятых годов, в годы ранней юности, встретился мне в новой книжке толстого журнала рассказ под красивым заглавием „Лес шумит“. Язык рассказа звучал певуче, мелодично, лучше многих стихов; подобно музыке, открывал он то, что казалось невозможным выразить словами. Тогда я еще не читал, не слыхал такого красивого языка, полного струнной звучности.

Залпом прочел я этот чарующий рассказ, один из первых рассказов Короленко.

В голове шумел стройный звон высокого леса, пели нежные струны бандуры, реяли поэтические образы Опанаса и Оксаны, и вся трагическая поэма звучала в моих ушах, как гул приближающейся бури.

Короленко был тогда начинающим писателем. После этого рассказа имя его зашумело повсюду, как лес: о нем заговорили.

Появился „Сон Макара“.

Это был сон того собирательного, символического Макара, „на которого все шишки валятся“.

На этот раз взята была суровая природа занесенной снегами Сибири. Якуты, олени, юрты, бедная, дикая жизнь, не имеющая радостей, и на этом фоне психология бедного якута, его несложный душевный мир.

В этой поэтической, психологически тонкой, грустно-шутливой фантазии столько чувствовалось любви к человеку и несокрушимой веры в него, любви к символически изображенному в образе бедного Макара темному многомиллионному трудящемуся люду вплоть до вымиравших якутов, находившихся на низшей ступени развития, с их языческими, детскими верованиями, с их жалкой беззащитностью.

Стала ясной литературная физиономия Короленко: это был, прежде всего, гуманист, проникнутый любовью к несправедливо обиженным людям, веривший в торжество справедливости и в искру добра в каждом самом темном или падшем человеке.

Когда возникает судебный процесс по обвинению неких мултанских крестьян в приношении человеческих жертв ради будто бы существовавшего у них язычески-

религиозного культа, Короленко страстно вмешивается в это дело, выступает на суде защитником несчастных, темных, оклеветанных людей. Своею изумительною по силе и страстной вере в человека речью делает это дело знаменитым, навсегда оставшимся в истории нашей общественности. Благодаря ему суд оправдал обвиняемых, и Короленко снял с нашей страны позорное, клеветническое обвинение. Для него это было страшно важным — защищать честь „низших“ классов народа в возведенном на них кровавом поклепе.

Та же черта любви к человеку и веры в заложенные в нем прекрасные возможности красной нитью проходит и через дальнейшие его произведения.

Появляется удивительный по глубине и психологической тонкости рассказ „Слепой музыкант“, ряд мелких рассказов и большая повесть „Без языка“.

Центром пристального внимания и психологического изучения писателя становится задавленный бесправием народ. Еще студентом Петровской академии Короленко выступает в депутации студенчества ходатаем за грубо попранные человеческие права учащейся молодежи; в числе „вожаков“ движения его отправляют на Север, в ссылку. Там он делается сапожником и, окруженный рабочими людьми, наблюдает их жизнь, характеры, типы.

В большом автобиографическом произведении „История моего современника“, посвященном главным образом жизни ссыльных, он говорит, шутливо обращаясь к позднейшим сапожникам, превосходившим его в сапожном искусстве:

— Мы, старые сапожники, иронически смотрим на вас, молодых. Мы шьем такие сапоги, чтобы можно было в них и соломки постелить и чтобы износу им не было: бьем на прочность.

То же самое он мог бы сказать многим „художникам“: все написанное им оказалось той правдой, которая, как золото, не ржавеет.

Восшествие на престол Александра III застает Короленко в ссылке и ставит его, столько видевшего неправды и недостатков тогдашнего строя, перед требованием принять присягу на верность самодержавию. Честность, исключительная прямота совести и мужество характера заставили его отказаться от принятия присяги.

За это писателя отправили в суровую, далекую якутскую ссылку, „куда и ворон костей не заносил“. Там-то и были почерпнуты им впечатления, послужившие для

создания многочисленных сибирских рассказов, в которых он отразил, как никто из русских писателей, сибирскую природу, жизнь ссыльных, уголовных каторжан, бродяг, суровый быт сибирской тюрьмы, своеобразные и мрачные картины жизни гиблых мест Сибири.

По возвращении из ссылки он поселяется на Волге, в Нижнем Новгороде, принимает деятельное участие в помощи голодающим во время страшного голода 1891 года, в результате чего является его книга „В голодный год".

Около этого замечательного человека невольно группируются общественные круги, и Короленко становится крупным общественным деятелем, вдохновителем в борьбе все с тем же ненавистным ему бесправием в эпоху безвременья.

Вместе с тем он наблюдает народную жизнь: участвует в толпе, идущей на богомолье, идет пешком на Святое озеро, где слушает споры сектантов и легенды о „граде Китеже", по народному поверью существующем на дне Святого озера. Скитается по горам и лесам Ветлуги, живет одною жизнью с народной толпой. Так создаются очерки: „За иконой", „На затмении", „Река играет".

Героем последнего рассказа изображен перевозчик через реку Тюлин, вечно страдающий „похмельной скорбью", то есть головной болью от неумеренно выпитой водки, и тяготившийся единственною своею обязанностью — перевозить на пароме редких пассажиров с одного берега на другой.

Отвращение к каким-либо действиям происходит у него не столько от последствий выпивки, сколько от созерцательного характера: Тюлин ко всему окружающему относится как посторонний зритель — безучастно.

Этот образ человека, угнетаемого вечной похмельной скорбью, но обладающего дремлющей в нем богатырской энергией, к сожалению проявляющейся только стихийно, глубоко схвачен в красивом рассказе, как бы выхвачен из жизни.

Чуткое сердце писателя верило и угадывало, что не может погибнуть вечно погибающий человек нашей страны, что за всею неприглядною корою неустойчивости, лени и неверия в плодотворность действия есть в нем что-то глубоко ценное, что в решительный момент дает ему силу восторжествовать над нескончаемыми бедствиями.

Начав писать в довольно зрелом возрасте, Короленко быстро встал в ряды первоклассных русских писателей.

На его примере, на его неутомимой деятельности, когда от палитры художника слова и струнных звуков поэзии он переходит к перу публициста и борца за общественные идеалы, учились писать и действовать младшие, последовавшие за ним писатели.

— Я ученик Короленко, — говорил о нем Горький. — У него учился я технике литературного мастерства, умению расходовать и располагать слова, ритму и плавности языка, отделке и шлифовке речи; он учил меня.

От Короленко произошли и выросли многие позднейшие писатели, передавая друг другу артистическую тайну музыкальности языка русского, без которой, как без музыкального ключа, нет для поэта доступа к сердцу людей.

Кроме художественного искусства и мастерства владеть красками и струнами литературного творчества от Короленко, этого солнечного, красочного, музыкального художника, позднейшее поколение литературы воспринимало его бодрое стремление видеть в жизни нашей не мрак пессимизма, но свет огней будущего.

Весной 1902 года в Крыму, в числе прочих гостей, был я у знакомых на даче около Ялты.

Вдруг в комнату вошел Короленко.

Росту он был среднего, сложен хорошо и крепко. Одет просто, обыкновенно. Обращала внимание его характерная голова: закинутые назад венком лежащие, вьющиеся каштановые волосы, тогда еще без седин, и густая, бобровая „боярская“ борода, мягко-волнистая и окладистая. Внимательные серые глаза, привыкшие наблюдать зорко, все замечающие, сразу же все видящие, блестели твердым, нервным блеском. Было даже неприятно: хотелось избежать их взгляда.

— Позвольте вас познакомить! — сказала хозяйка.

— Да мы же знакомы! — возразил Короленко.

Мы молча пожали друг другу руки.

Через несколько дней я уехал в Москву. Случайно в вагоне увидел Короленко. Я почтительно поклонился, не сделав шагов к разговору.

На станции Конотоп Короленко подошел ко мне на

перроне с маленьким чемоданчиком в руке и сказал, протягивая руку:

— Ну, прощайте, я здесь слезаю!

— Неужели? — вырвалось у меня искреннее огорчение. — А я думал, что вы в Москву едете... Все собирался поговорить с вами, да боялся помешать!

Короленко улыбнулся:

— И мне хотелось поближе познакомиться с вами, но показалось, что вы не хотите!

Я всплеснул руками:

— Какое горестное недоразумение!

— Ну, вот что! — сказал он. — Поговорим, пока стоит поезд!

Мы вошли в буфет вокзала, сели за столик у окна, чтобы видно было поезд.

Четверть часа, проведенные в задушевном разговоре с Короленко, рассеяли последнюю преграду между нами: странным и досадным оказался мой страх; Короленко оставил впечатление человека, не замечающего своего превосходства над людьми, не думающего о своем знаменитом имени.

Разговор наш мог затянуться надолго, но третий звонок прервал его на самом интересном месте. Владимир Галактионович проводил меня до вагона и, когда поезд тронулся, дружески махал мне шляпой.

Чувствовалось, что этот просто державший себя пожилой человек глубоко любил литературу и искренне сочувствовал каждому „начинающему".

Судьба надолго разлучила нас.

Он жил большею частью в своей родной Полтаве, временно по зимам наезжая в Петербург.

Ровно через десять лет, в 1912 году, мы встретились в Петербурге, где я тоже бывал наездом, в традиционных литературных меблированных комнатах „Пале-Рояль" на Пушкинской.

Однажды утром я еще лежал в постели, как в дверь постучали.

— Войдите!

Вошел Короленко.

Волнистая борода его была теперь с сильной проседью и венком лежавшие густые кудри перевиты серебром.

Я и обрадовался, и сконфузился, что он застал меня в постели.

— Ничего, не вставайте! — успокоил он меня. — Я

посижу около вас, так и будем говорить. Я не знал, что вы так долго спите! Вспомнил наш неоконченный разговор десять лет назад: тогда вы были худощавый, руки длинные, ноги длинные, сам поджарый — на комара похож!

Он добродушно и как-то любовно усмехнулся в бороду.

Через десять минут мы уже сидели за самоваром в его номере и вспоминали нашу первую встречу.

Говорил Короленко просто, сжато, но всегда образно, с тонким и серьезным украинским юмором, таившимся где-то в глубине его глаз.

Его интересовало мое происхождение „из народа". Расспрашивал о моей „крестьянской жизни", о том, занимался ли я мужицким трудом.

Много рассказывал и о себе, о своей молодости, как „крестьянствовал": и пахал, и сеял, и траву косил.

С особенными подробностями описывал свое воспоминание, „как они косили".

Проговорили мы все утро, касаясь и других, чисто литературных тем.

Перед самой войной 1914 года Короленко продал свои сочинения Марксу и купил себе маленький клочок земли в Крыму, на берегу моря, около Байдарской долины. До постройки дачи он жил там с семьей во временном дощатом здании.

После закрытия журнала „Русское богатство", в котором Короленко работал несколько десятилетий, он окончательно поселился на Украине в своем родном городе Полтаве.

В это время он уже совсем поседел: кудри и борода были словно вылиты из серебра. Красив он был особенной величавой красотой большого человека, прожившего большую, необычайно чистую и возвышенную жизнь, горевшую благородным огнем любви к человеку и несломленной верой в него.

Грянула война, началась революция.

Голодая с семьей и нуждаясь в самом необходимом, он отдавал всего себя и все свое время ходатайству за невинно осужденных, являясь для населения единственным ходатаем, печальником и заступником „бедных людей", каким он, впрочем, был всегда в жизни и литературе.

За годы революции Короленко написал последнюю часть „Истории моего современника"...

1922

ЛЕОНИД АНДРЕЕВ

I

В январе 1901 года, в Нижнем, в одно мягкое зимнее утро я зашел к Горькому и застал у него в гостях молодого человека замечательной наружности: это был редкостный красавец, напоминавший итальянца с Неаполитанского залива или образ гоголевского Андрия, с маленькими черными усиками на свежем, смугловатом лице, с безупречным профилем, с прекрасными карими глазами и чрезвычайно густыми, черными, волнистыми кудрями, отпущенными до плеч. Шея у него была мощная и, в противоположность лицу, ослепительной белизны и нежности. Среднего роста, широкоплечий, хорошо сложенный, с блестящими глазами, он производил поэтическое впечатление.

— А! Вот и он! Кстати! — закричал Горький, завидя меня. — Знакомьтесь!

— Андреев! — отрекомендовался молодой человек, крепко пожимая мне руку.

Мы оба с любопытством осматривали друг друга; наши первые рассказы только что появились одновременно в журнале „Жизнь". Мы были два молодых, начинающих автора, выступивших с успехом в большой литературе.

— Ну, вы поймали настоящего! — кивнул на меня Горькому Андреев. — Хе-хе-хе! Настоящего! . .

Говорил он несколько отрывисто, с быстрыми, короткими жестами, посмеиваясь добродушным смешком, смеялся как бы про себя, с лучистыми морщинками во время смеха около глаз, и в эти минуты казался похожим на Гоголя.

— Вот что, сударь мой, — сказал, обращаясь к нему, Горький, по-видимому продолжая прерванный моим приходом разговор. — По-моему, книжку выпускать вам рано: вы еще черт знает сколько напишете и черт знает как!

— Я и сам знаю, что рано! — быстро прервал его Андреев. — Но войдите в мое положение: в редакции у меня отношения натянутые, того и гляди, придется уходить, а куда пойдешь? Хе-хе-хе! Имени у меня нет,

вот мне и хочется, чтобы за мною было хоть что-нибудь, хоть книжка! Кроме того, я собираюсь жениться!

— Да что вы? — встревожился Горький, считавший женитьбу несчастьем для начинающего писателя.

— Да! — подтвердил, посмеиваясь, Андреев. — Здесь, в Нижнем, живут родственники моей невесты: отчасти по этому делу я приехал сюда. Сейчас пойду к ним.

— Тогда вот что, — провожая его в переднюю, говорил Горький, — приходите к двум часам обедать, тогда и поговорим.

Андреев обещал, простился с нами и ушел, надев старенькую енотовую шубу и высокую каракулевую шапку.

— Талантище! — сказал после его ухода Горький. — И умен при этом. По-моему, настоящий талант всегда бывает немножко глуповат, а этот — умен, знает себе цену, большим писателем будет!

Андреев явился к началу обеда к Горькому, но — увы! — в сильном подпитии.

Тяжко повозившись около вешалки, он вошел в столовую, шатаясь из стороны в сторону. Длинные волосы свалились у него на лицо.

Жена Горького ахнула, выронила ложку и убежала из комнаты; за ней последовали ее мать и бонна с мальчиком.

Андреев, тяжело дыша, хотел опуститься на стул подле меня, но пошатнулся, схватился за скатерть и упал бы, если бы я не подхватил его.

Утвердившись на стуле, он откинул назад свои роскошные кудри, осмотрелся и добродушно рассмеялся.

— Спасибо, милый! Давай, брат, выпьем на брудершафт, не могу иначе: очень уж я тебя полюбил! Только я — водой! Ты — водки, а я — воды.

Я налил ему стакан воды, а себе — рюмку водки, и мы оба выпили.

Горький недовольно молчал.

— Так! — продолжал Андреев. — Извините, господа, что мы пришли к вам вдвоем: я и месье алкоголь! В моей судьбе вообще есть что-то алкоголическое. Отчего иногда не выпить рюмку водки? А если выпил одну, то почему не выпить две, три, десять? Отчего тогда не выпить ведро и весь винный склад? В этом есть нечто алкоголическое! Причин также много, например: „не пришла на свидание“! Ах, господа, переживали ли

вы когда-нибудь во всех тонкостях это настроение, когда она „не пришла"? Человек радостно идет на свидание, представляет себе ее костюм, ее лицо, глаза, голос... Но ее нет! И он долго гуляет по аллее, притворяясь беспечным любителем природы, останавливается, что-то рассматривает, свистит, садится, потом опять ходит, потом опять садится... Проходит полчаса, час, полтора, два! „Не пришла!" Тогда он идет к ее дому и ходит по тротуару. Потом садится на тумбу и смотрит на освещенные окна. Но в дом войти нельзя. Он сидит на тумбе и ждет, не выйдет ли она, запоздавшая на свидание? Нет, нет никого! Светятся окна, мелькают там какие-то тени, глухо слышатся звуки рояля. Там весело, тепло, уютно, там чужие люди и она между ними! Ей тоже, должно быть, весело. Она не пришла, она забыла! Хе-хе-хе! „Забыла!" Хе-хе-хе! Человек долго сидит на тумбе, до тех пор пока не гаснет огонь в окнах дома. Тогда он идет на прежнее место, в темную аллею, посмотреть, не пришла ли она: может быть, она вспомнила и пришла! Но там темно и безлюдно. Никого нет. Он долго сидит на скамейке и плачет. Потом идет в кабак, садится за стол и спрашивает бутылку. И тотчас же к нему подсаживается месье алкоголь. „Они" пьют и размышляют о том, почему она не пришла, нельзя ли забыть ее, чтобы образ ее рассеялся в винных парах. Пары сгущаются и туманным облаком плывут над бутылкой. Но из бутылки, весь из винных паров, появляется ее милый образ. Хе-хе! Долго так сидят они „вдвоем" — человек и месье алкоголь. Вдвоем!

Как только Андреев утвердился на стуле и заговорил, с него словно соскочило опьянение: осталось только возбуждение, вдохновенное состояние, и он говорил долго и увлекательно, словно читал по книге талантливо написанный рассказ.

В состоянии опьянения Андреев казался крупнее и симпатичнее, чем в трезвом виде: трезвый, говорил о делах и мелочах и только теперь, возбужденный алкоголем, вдохновенно импровизируя, он был настоящим Андреевым. Лицо его казалось прекраснее, одухотвореннее, чем прежде; оно было бледно и изможденно, карие глаза горели, белый прекрасный лоб прорезала резкая, страдальческая складка. Замечательно, художественно красив был в этот момент Андреев!

— А ведь ты чертовски красив! — невольно вырвалось у меня. — Прямо красавец!

— Красавец, говоришь? — посмеиваясь, переспросил Андреев. — Думаешь, нравлюсь женщинам? Хе-хе-хе! Нет, брат! Я только произвожу первое впечатление, а потом, когда к моей красоте привыкнут, я очень быстро надоедаю философией; бог, дьявол, человек, природа, вечность и бесконечность — это мои ближайшие друзья, а женщинам в этой компании невыносимая скучища. В этом, брат, есть нечто алкоголическое! Ведь если бы я был чуточку поглупее, как полагается настоящему красавцу, то, пожалуй, разбил бы сердца, а вместо этого женщины помыкают мной. Хе-хе-хе! Еще тем, к которым я равнодушен, я нравлюсь иногда, но есть одна, которую я сам любил, и вот у нее-то никогда не имел успеха: до нее я так и не достиг, она не могла снизойти до меня. Это не та, на которой я хочу жениться, а другая или, скорее, первая. Да и эта водит меня на цепочке, как обезьяну, и я пляшу, кувыркаясь, показываю штуки. Хе-хе-хе! Милый мой, поверь мне, в этом есть нечто алкоголическое!

Я почти дословно передал эти первые монологи Андреева, услышанные мной, когда он был в ударе.

Впоследствии не раз видел я его в подобном состоянии и должен отметить, что оно не только не унижало его, но всегда проявлялось необычайным подъемом его умственных сил, остроумие било ключом, он словно открывал в эти минуты огромные богатства своего таланта, и без изумления нельзя было видеть бурный и безумно несущийся водопад острот, ярких образов, необыкновенного обилия мыслей. В этом-то и заключалась трагическая опасность для него в обычном, обывательском недостатке, с которым обыкновенные люди благополучно доживают до глубокой старости, даже почти не расшатывая здоровья.

Необузданная, дикая, мрачная фантазия Андреева под влиянием алкоголя начинала работать с исступленной силой, словно вырывались на волю из глубины души все его необычайные творческие силы; своим могучим напором они могли погубить его. Андреев никогда не был пьяницей в обычном смысле этого слова: пил очень редко, всю жизнь боролся с этим, как он думал, наследственным пороком, проявляя большую силу воли; в разгаре своей огромной литературной работы он по нескольку лет подряд не прикасался к рюмке, но, вследствие несчастливо сложившейся личной жизни, иногда, что называется, срывался, и тогда порок проявлял-

ся грандиозно, болезненно, с красотой душевного пожара.

Не было пошлости в пороке Андреева: что-то трагическое было в этом необыкновенном человеке с такой поэтической наружностью, с его вдохновенным, одухотворенным лицом, с необычайно утонченной, глубокой и сложной душой, с предчувствием ранней гибели, с мучительным вниманием к вопросам жизни и смерти: его „Анатэма“ и теперь уже неотступно следовал за ним в маске „месье алкоголя“.

За обедом Андреев говорил удивительно красиво и вдохновенно, фантазия его бушевала. Горький, сам никогда не пивший спиртного, не любил встречаться с подвыпившими людьми, но Андреев в подпитии, молодой, красивый, блещущий остроумием, вдохновенный, глубокий и яркий, представлял собой слишком интересное зрелище.

Мы влюбились тогда в этого разгульного, необыкновенного юношу — Леонида Андреева. Он гостил в Нижнем четыре дня, все время ходил с нами „навеселе“, в таком же состоянии и уехал, нескончаемо занимая нас до самого отхода поезда своими остротами и вдохновенными яркими рассказами.

Со мною он быстро подружился и просил заглянуть к нему, если буду в Москве.

Месяца через полтора, в Петербурге, в редакции „Жизни“, мне показали рукопись нового рассказа Андреева „Жили-были“, написанного в клинике, куда он попал на излечение после „веселой“ поездки в Нижний. Рассказ этот с новой силой и ужасной яркостью трактовал, по-видимому, излюбленную тему молодого автора „о смерти“.

Я возвращался в Нижний и, остановившись проездом на несколько дней в Москве, зашел проведать Андреева.

Он жил на Плющихе, во дворе, в тесной, бедной и довольно мрачной квартире. Все четыре комнаты этой квартиры были заставлены кроватями для его многочисленной семьи: юноша Андреев содержал мать, двух подростков-братьев и двух сестер, еще очень молоденьких. Все это была учащаяся зеленая молодежь, на содержание и учение которой требовались расходы, довольно тяжелые для фельетониста газеты „Курьер“ Джемса Линча — псевдоним, под которым писал воскресные фельетоны Леонид Андреев.

Я не помню, чтобы он тяготился этой семьей: своих братьев и сестер любил с необычайной нежностью. Один из братьев, Павел, сделался впоследствии художником, довольно заурядным; младший писал юношеские стихи. Сестры были красивые девушки, в особенности вторая, блондинка, больше всех похожая на Леонида. Вообще же никто из братьев и сестер Андреева не проявлял ни особой талантливости, ни каких-либо выдающихся способностей. Даже наружной исключительной своей красотой он всех их затмевал.

Андреев был любимцем в своей семье, и в особенности любимчиком матери.

О матери Леонида Андреева, симпатичнейшей Настасье Николаевне, мне хочется сказать здесь несколько слов.

Это была совершенно простая, едва грамотная женщина деревенского склада, с очень приятным, добродушным лицом, от которого как бы проливались на всех людей, без разбора, бесконечная доброжелательность, душевная чистота и неистребимое незлобие.

Она всегда одевалась просто, в широкую, старомодную кофту, в широкую юбку. Волосы у нее тогда были светлые, а потом седые: обыкновенный, но всегда трогательный тип русской простой женщины. Андреев своим красивым лицом только отчасти походил на нее; вероятно, он больше был похож на отца, рано умершего, о котором сын мало говорил мне, вероятно, плохо и помнил его, но отзывался о нем как о провинциальной „душе общества“ и широкой натуре. Отец его был землемером в городе Орле.

Андреев искренне обрадовался моему приходу и посвятил мне почти весь день. Рассказывал темы еще не написанных своих рассказов; рассказывал прекрасно и при этом, конечно, жаловался на свою бедность.

— Последний мой рассказ, напечатанный в „Курьере“, — между прочим сказал он, — в редакции называют шедевром, но, чтобы как-нибудь жить с моей семьей, мне нужно писать по крайней мере шедевров восемь в месяц. Хе-хе-хе! Трудновато! Трудновато, брат!

На стене висел очень хорошо нарисованный тушью его собственный портрет, сильно идеализированный: на портрете Андреев был еще красивее, чем в натуре.

— Когда это ты был таким сверхкрасавцем? — спросил я его.

— Да никогда не был! — смеясь, ответил Андреев. —

Это я сам себя рисовал. Я когда-то усиленно занимался живописью, в художники стремился, да бросил теперь... так, для себя иногда рисую!

Андреев вытащил откуда-то свои рисунки и стал показывать.

Я не знаток в живописи, но мне кажется, что Андреев был хотя и далеко технически не законченным, но незаурядным портретистом-художником. Посвяти он себя живописи — он и в ней, вероятно, проявился бы не менее крупно, чем в литературе. Из всех портретов, написанных с Андреева различными художниками, в том числе и Репиным, самый лучший все-таки автопортрет самого Андреева, известный всем и написанный много позднее.

Андреев проводил меня на вокзал, все время с изумительным мастерством импровизировал свои будущие рассказы. Многие из этих устных рассказов так и остались ненаписанными. Андреев напоминал собой как бы кипящий котел творчества.

Таким он был до конца своих дней.

II

Мы встретились в Москве в 1902 году.

Андреев за это время успел выпустить книгу своих рассказов и жениться. Жил с женой и матерью в маленькой уютной квартирке где-то далеко от центра, кажется, на Пресне. Он продолжал еще сотрудничать в „Курьере“, но большой тираж книги значительно улучшил его благосостояние. Жену его звали Александрой Михайловной.

Это была молоденькая, маленькая, худенькая женщина, хорошенькая, но далеко не красавица. Как человек Александра Михайловна была самой обыкновенной русской женщиной, типичной московской мещаночкой среднего ума, среднего образования. Тем не менее влияние ее на Леонида Николаевича было огромно и в высокой степени благотворно. Влияние это заключалось в том, что она любила его искренне и наивно, трогательно, самоотверженно, не за талант, не за успех, а за него самого. Любя его до обожания, она, по логике любви, стала любить и его мрачный, трагический талант, никакой другой литературой не интересовалась, кроме литературы Леонида Андреева. Каж-

дую только что написанную страницу своих произведений Андреев прежде всего читал ей одной, не допуская при этом священнодействии никого более.

Не думаю, чтобы Александра Михайловна понимала всю глубину и сложность замысловатого таланта, когда сама русская критика многого в нем не понимала, ломала из-за этого перья, но, вероятно, многое говорило ему ее любящее сердце преданного, единственно близкого друга; не критика была нужна ему, слишком много Андреев возбуждал критики в литературе и при повышенной чувствительности своей много выстрадал от нее, но ему нужна была тайная поддержка верного друга, беззаветно верящего в его звезду, в его мрачный гений. Жена его была самой ревностнейшей, несомненно, искренней поклонницей его таланта и его самого — его Магдалиной: вот что было дорого, редкостно и имело незаменимую ценность для мятущейся души писателя-трагика, боровшегося и с богом, и с Анатэмой, души, не отступавшей перед разрешением ужасов жизни и смерти. Благодаря большой любви маленькой женщины, любя ее сам тоже большой и сильной любовью, Андреев воспрянул духом, талант его быстро вырос, расцвел, развернулся. Он сам говорил мне впоследствии, после преждевременной ее смерти, что все его излюбленные произведения, все лучшее и крупное было задумано вместе с ней, во время их недолгой, но счастливой совместной жизни. Пока она была жива, Андреев не прикасался к рюмке и работал с большим воодушевлением.

В эту зиму каждый его рассказ, неизменно появлявшийся в „Курьере", производил шум в прессе и волнение в читательской массе.

Маленький рассказ „Бездна" и потом „Стена" создали вокруг себя большую критическую литературу. Газетная критика занималась ими чуть ли не весь зимний сезон. О вопросах, поднятых этими произведениями, писали, читали, спорили. Все говорили о новом крупном таланте, о новой яркой звезде, взошедшей на мрачном горизонте русской литературы, — о Леониде Андрееве.

В то же время в Москве образовался литературный кружок, собиравшийся интимно по средам у писателя Телешова и известный под названием „Среды".

Было такое время, что отовсюду как бы выпирало молодую русскую талантливость, все расцветало: сце-

на — с Художественным театром, Комиссаржевской, Шаляпиным и Собиновым; живопись — с Васнецовым, Врубелем, Малявиным; музыка — с Рахманиновым, Скрябиным и Глазуновым; литература — с Горьким, Андреевым, Буниным.

В воздухе веяло обновлением, и казалось, вся Россия пробуждалась, грезила сказочными, радужными снами. Хоры поэтов пели о заре, публицисты писали о близком и прекрасном будущем России, и только Андреев, в противоположность общему оптимизму, с болезненно обостренной чуткостью всматривался в близкое и отдаленное русской жизни, всматривался в самую душу ее, и взор его навсегда приковался к зловещему призраку, вставшему перед ним: имя этому призраку было — ужас.

III

Ранней весной 1903 года я уехал из Москвы на все лето, а осенью остался работать в Нижнем. Зимой ненадолго приезжал в Москву и виделся с Андреевым почти ежедневно.

Андреев жил теперь в большой квартире, много писал; у него постоянно толпились писатели, жаждущие так или иначе использовать знаменитого писателя. Началась японская война, и вся интеллигенция волновалась за исход ее. Преобладало пораженческое настроение.

На лето я собирался уехать в Крым; туда же намеревался отправиться и Андреев. Условились — весной встретиться в Крыму.

Действительно, мы приехали туда почти одновременно и случайно поселились недалеко друг от друга, на берегу моря, верстах в четырех от Ялты, где-то около Никитинского сада.

Андреев с женой, матерью и ребенком занимал маленькую саклю, состоявшую из двух комнат. Тем не менее у них часто собирались гости из Ялты: ялтинский старожил писатель Елпатьевский с семьей, приехавший в Ялту Миролюбов и разные ялтинские интеллигенты.

Чехова, до этого времени безвыездно жившего на своей даче в Ялте, теперь как раз не было: еще зимой он переехал в Москву на постановку своей последней пьесы „Вишневый сад“, от перемены климата у него

обострился туберкулез, давно уже подточивший его здоровье, и больного писателя отправили за границу, откуда доходили тревожные слухи о безнадежном состоянии его здоровья.

В скором времени пришла печальная телеграмма: „Чехов скончался“.

Это известие поразило и взволновало всех; смерть Чехова показалась неожиданной, несмотря на то, что все знали о его роковой болезни. Россия лишилась родного, близкого, любимого писателя, а те, кто были с ним знакомы лично, любили его не только как писателя, но и как на редкость доброго и чуткого человека.

В Ялте решили устроить публичный вечер, посвященный памяти Чехова.

Вечер этот прошел очень удачно, при переполненном публикой зале. Большую и прочувственную речь о Чехове сказал Елпатьевский. Андреев читал довольно большой рассказ Чехова. Он не был хорошим чтецом, но публика стеклась „посмотреть на Андреева“. Потом начался целый ряд вечеров, посвященных Чехову. В Крыму было много приезжей учащейся молодежи — студентов, курсисток; настроение у них было, конечно, революционное, и в чтении ловили и подхватывали на лету хотя бы одни только намеки на революцию. Это был 1904 год, война протекала позорно, и в воздухе уже накапливалась гроза 1905 года.

Наступила нестерпимая жара крымского лета. Случилось так, что какой-то знакомый Андреева, приехавший в Крым впервые для отдыха из Сибири, внезапно сошел с ума, по объяснению врачей — от перемены климата. Почти в это же время умерла от солнечного удара наша прислуга, молодая девушка.

На впечатлительного, мнительного Андреева, плохо переносившего крымскую жару, это подействовало так, что он немедленно покинул Крым и еще до наступления августа возвратился вместе с семьей в Москву.

Молодой, цветущий, с виду полный жизненных сил, Андреев постоянно боялся внезапной смерти, был болезненно мнителен, часто воображал у себя необъяснимые болезни и страдал от них.

Впрочем, у него почти ежемесячно бывали припадки невыносимой головной боли, продолжавшейся несколько дней, тоже, казалось бы, беспричинной. Может быть, это была действительно наследственная болезнь на поч-

ве наследственного алкоголизма, который он у себя подозревал: на мозгу его как бы лежал какой-то черный налет. Может быть, даже самый талант его, вечно погружавшийся в „страшное“, должен был, в конце концов, погубить его. В сущности, у него была натура настоящего, большого поэта: каждое впечатление он воспринимал в сильно отраженном, увеличенном виде, как отражается свет обыкновенной лампы в зеркальном фонаре автомобиля: маленькая, тусклая лампочка дает ослепительный, мощный, невыносимый свет. Так и печальные явления серого русского бытия, проходя через зеркало андреевского зрения, становились страшно яркими.

Уже и тогда он задумал пьесу „Жизнь человека“. Не берусь судить, насколько эта пьеса изображает жизнь человека вообще, но для жизни самого Андреева она оказалась жутко пророческой — над ним самим сбылась вся жуть этой кошмарной фантазии: была „любовь и бедность“, потом „слава и богатство“, фантастический дом „в пятнадцать комнат“, смерть жены, гибель покинутого дома, в котором „мыши скребутся“, и внезапная страшная „смерть человека“.

Все сбылось.

На предстоящую зиму 1905 года я поселился тоже в Москве, приехав туда значительно позднее Андреева.

Устроившись и принявшись за литературную работу, я часто бывал у Андреева. Такой установлен был порядок, чтобы каждую субботу, после бани, я заезжал к нему пить вино, которое он в этот день заботливо припасал для меня.

Однажды, „во едину от суббот“, под вечер мягкого зимнего дня, подъезжая на извозчике к квартире Андреева, я с некоторым недоумением заметил у крыльца несколько человек, как на подбор здоровенных, похожих на дворников, и небольшую толпу зевак на противоположной стороне улицы, с любопытством глазевших на них.

Слегка удивившись, я слез с саней, но едва отворил дверь подъезда, как дворники захлопнули ее за мной, и я очутился в руках рослых полицейских, которые крепко схватили меня под руки, вырвав узелок с бельем. Я стал вырываться, но меня держали, как в железных тисках.

— Да пустите же! — кричал я. — Что вы меня держите? В чем дело?

— Успокойтесь, успокойтесь! — вежливо сказал мне подошедший околоточный надзиратель, бережно и с каким-то опасением принимая мой узелок. — Пожалуйте в квартиру, здесь производится обыск!

Тогда только я понял, в чем дело.

Гостиная была полна полицейскими и жандармскими чинами. За большим столом посреди комнаты сидел ротмистр, разбиравший ворох рукописей и бумаг всякого рода.

Надзиратель бережно положил перед ним мой узелок и со страхом развернул его. Невольная улыбка засветилась на всех лицах, когда обнаружилось содержимое узелка.

Тем не менее меня пригласили войти в затворенную столовую, большую комнату, и там „обождать". Столовая была полна народа; там же был и Андреев с семьей. Оказалось, что в этот день он предоставил партийным людям для собрания свою квартиру, но собрание выследила охранка и, нагрянув с обыском, стала задерживать в квартире всех приходящих и приезжающих к Андрееву, а так как к знаменитому писателю ежедневно приходило очень много всяких людей, то постепенно в столовой образовался „ноев ковчег"; кого только тут не было: партийные люди, деловые, литераторы, старики и молодые, студенты, курсистки, генералы и дамы общества. Обыск продолжался до поздней ночи. Наконец отправили куда-то, вероятно в тюрьму, партийных людей, а затем понемногу стали выпускать из столовой остальных задержанных.

К полночи столовая опустела: в ней остались только я и Андреев. Думали, что вся эта история кончилась, когда вошел жандармский ротмистр, заявивший, что мы оба арестованы и препровождаемся немедленно в тюрьму.

Подивились, пожали плечами, развели руками, но, конечно, должны были подчиниться; оделись и вышли в сопровождении двух жандармов. У подъезда стояли два дрянных московских извозчика; на этих клячах нас тихо, не торопясь, как-то триби буднично, мирно и долго везли в Таганскую тюрьму.

Обращались с нами в тюрьме почтительно. Приходил начальник тюрьмы, как-то заискивал и обронил такую фразу: „Время тревожное, кто знает, может быть, скоро вы будете правительством!" Посаженные в тюрьму в качестве будущего правительства, мы поль-

зовались неслыханными привилегиями: нам из дому приносили самую лучшую провизию, тюремный повар, оказавшийся прекрасным мастером своего дела, готовил нам шикарные обеды. Имели какие нам угодно книги, чернила, бумагу, а на прогулку нас выпускали вместе.

В тюрьме было необычайно шумно, свободно; арестованная молодежь — студенты и курсистки — гуляли без надзора, ходили по камерам в гости, чуть ли не тюремные митинги устраивали!

„Должно быть, там, наверху, что-то неладно!" — думали мы.

Но недолго чествовали нас в тюрьме: вероятно, явилось сомнение, что вряд ли писатели смогут сделаться когда-либо правительством. Через две недели нас выпустили. На вопрос наш, в качестве кого же мы сидели в тюрьме без допроса и обвинения, нам ответили кратко:

— В качестве свидетелей.

По выходе из тюрьмы Андреев скоро закончил великолепный рассказ о войне — „Красный смех". Японская война закончилась скверно.

Всюду нарастало возмущение. Правительство растерялось и впервые воззвало „к доверию". Начался памятный сезон „банкетов". В публичных помещениях, в театрах и больших гостиницах происходили многочисленные собрания с волнующими, необычайными речами.

То же происходило в провинции, по всей России.

Вся страна ждала чего-то.

Это было в начале 1905 года. Наша „Среда" в полном составе собралась у Телешова.

Ожидали, что Андреев прочтет свой новый рассказ, но настроение было у всех повышенное, тревожное: всем хотелось говорить.

Вдруг в комнату вбежал художник Первухин, непременный, давнишний член „Среды". Он был бледен, казался крайне взволнованным.

— Господа, — закричал он, — новость получена сейчас по телефону из Петербурга! Бойня перед царским дворцом! Масса крови!

Все повскакали с мест, загремели стулья, послышались восклицания. Толпой окружили вестника.

— Погодите, дайте отдышаться! — продолжал запыхавшийся Первухин. — Десять тысяч рабочих двину-

лись ко дворцу с иконами, с хоругвями, под предводительством какого-то священника Гапона. В них стреляли! Масса убитых и раненых! Гапон убит! Подробности еще неизвестны, телефон прерван!

Известие о смерти Гапона было неверно, но тогда этот неизвестный и необыкновенный священник показался нам каким-то героическим мифом.

— Господи! Да что же это такое начинается? — истерически кричал пришедший, потрясая руками в воздухе и хватаясь за голову. — Открыто стреляют в людей перед дворцом царя! Что же это?

Все молчали.

— Это революция! — спокойно прозвучал в наступившей тишине голос Андреева.

И вдруг — словно всех прорвало: все возбужденно заговорили разом, почти не слушая друг друга.

В общем гуле тревожного говора ничего нельзя было разобрать, только все чаще и громче всех других слов повторялось не звучавшее в России так громко, еще невероятное тогда слово „революция“.

IV

Лето 1905 года Андреев жил в Финляндии, в местечке Ваммельсу, в семи верстах от станции Райвола, где впоследствии построил собственную дачу и жил в ней безвыездно несколько лет.

В воздухе веяло революцией.

Андреев ходил тогда в поддевке, высоких сапогах и красной рубашке. В этом костюме он и позировал Репину, написавшему с него известный портрет.

Андреев хотя и был, как все, захвачен революционным настроением, но поговаривал, что собирается на зиму за границу, чтобы не видеть „всего этого“, что, по его мнению, нам предстояло увидеть.

Действительно, в конце лета он как-то незаметно вполне легально уехал в Берлин вместе с женой.

Во время революции 1905 года это чуть ли не единственный писатель, „бежавший от революции“.

Ужасы не замедлили своим пришествием. Первая Дума была разогнана, виднейшие члены ее бежали, вышел царский манифест, после которого начались всероссийские погромы под руководством „Союза русского народа“.

Еще до разгона Думы мне пришлось уехать из Петербурга в Крым. Обстоятельства задержали меня там надолго. Только из газет узнал я о скоропостижной смерти жены Андреева, Александры Михайловны. Она умерла в Берлине, после родов, от заражения крови. Тело ее привезли в Москву и похоронили на Ваганьковском кладбище.

Андреев не сопровождал ее гроба; он еще на некоторое время остался за границей, поехал искать душевной поддержки к другу своему, Горькому, на Капри.

Все пять лет счастливой семейной жизни с Александрой Михайловной Андреев, верный раз принятому решению, не прикасался к рюмке. Светлая любовь горячо любимой женщины оберегала его; возлюбленная и любящая, она словно обвела вокруг себя с ним вместе заклятый круг, и „черные маски“ не смели переступить за черту его.

Но не стало ее, и мрачный дух, с которым он всю жизнь свою боролся, снова овладел ослабевшей душой.

Андреев тяжко запил.

И все-таки, пережив тяжелый удар судьбы, он усилием воли взял себя в руки и там же, на Капри, написал два прекрасных рассказа: „Проклятие зверя“, посвященный памяти А. М., проникнутый чувством глубокой любви, и нашумевший тогда рассказ „Иуда Искариот“.

Отныне творчество сделалось для Андреева единственным убежищем от тоски и ужаса жизни. Он пишет, уже почти не отрываясь от работы; удар за ударом, почти без промаха, как из гранита, высекает он свои дальнейшие произведения. Кроме нескольких значительных повестей и рассказов, как „Семь повешенных“, „Тьма“, „Мои записки“, появляются новые андреевские пьесы: „Черные маски“, „Океан“, „Дни нашей жизни“, „Тот, кто получает пощечины“.

По возвращении из-за границы Андреев поселился в Петербурге на Каменноостровском.

Увиделись мы с ним после долгой разлуки зимой 1908 года в Петербурге.

Как-то в сумерках туманного петербургского зимнего дня, когда на улицах только что зажглось электричество, я, идя по Морской, столкнулся на мокром тротуаре с хорошо одетым широкоплечим человеком в со-

больей шапке того покроя, какие носили при Иване Грозном опричники и сокольничие.

Человек, столкнувшись со мною, окликнул меня и, засмеявшись, раскрыл руки для объятия, — тогда я тоже узнал его: это был Леонид Андреев. Мы очень обрадовались друг другу и пошли вместе. Андреев позвал меня к себе.

На Каменноостровском была у него в одном из шикарных „небоскребов“ квартира, в которой он жил с матерью и одной из сестер. Настасья Николаевна, по старой памяти, встретила меня тоже радостно и сейчас же стала хлопотать о чаепитии. Хотя сын ее зарабатывал теперь очень много и жил большим барином, Настасья Николаевна оставалась все той же, как и прежде, в дни бедности: простодушной, радушной старушкой, в широкой старомодной кофте. Говорила все тем же „орловским“ говором: „идеть“, „пьеть“ . . .

Когда сын зачем-то вышел из столовой, она не удержалась, чтобы не поговорить со мной „по душе“, как со старым товарищем Леонида, все о нем же, о своем любимце.

— Хоть бы женился поскорее! — начала она, наливая мне чаю. — Дал бы бог! А то мечется от одной к другой, от другой к третьей, покою себе не находит. Такой же он был и прежде, когда холостой был: мечется-мечется то к одной, то к другой, то к десятой! Ну, а женился на Шурочке, и жили хорошо, успокоился! Бывало, как напишет страничку, так сейчас запрутся в кабинет и читают вместе: вот ведь как жили-то!.. Как похоронили мы Шурочку, он и тоскует. Зашибать стал опять частенько. А ведь ему нельзя пить, не простой это человек — особенный!

Я возразил, что такому „особенному“ человеку, да еще знаменитому, нелегко найти себе подходящую жену.

— В том-то и дело! — согласилась Настасья Николаевна. — Была у него прежняя любовь, еще до Шурочки, которая тогда отвергла его, что ли, и вышла за другого. Ну, а теперь разошлась с мужем, приезжала к нам. Так что ж? Ничего не вышло! Не такой уж она стала, какой ему прежде казалась. Так и уехала ни с чем.

Тут принесли пакет с вырезками из газет: существовало тогда „Бюро рецензий“, и Андреев получал оттуда ежедневно все рецензии о его произведениях, ка-

кие только печатались по всей России. Пакет был толстый: только ленивый не писал тогда „об Андрееве“. В большинстве все это была ерунда, болтовня и зачастую завистливая ругань, с грязцой и клеветой.

И всю эту дрянь Андреев зачем-то читал, ежедневно отравляя себе настроение.

Настасья Николаевна надела старинные очки в никелевой оправе и принялась шепотом читать „рецензии“ на Леонида. Трогательно-забавна была мать Леонида Андреева за этим серьезным, трудным для нее занятием.

— Что пишут! Что пишут-то! — повторяла она, качая седой головой и откладывая в сторону рецензии какого-то „Тургайского вестника“. — Ругаются, да врут все, да клевещут! Вот начитается Леонид этих вырезок — и расстроится на целый день. Уж я сама сначала читаю: которые похуже, то отбираю да прячу, ему не показываю.

Вошел Леонид и, увидав рецензии, нахмурился.

— Вот! — сказал он мне, кивнув на пакет. — Обливают меня грязью и называют это критикой!

— А ты не читай! — посоветовал я. — Какая польза? Чему могут научить тебя „Тургайский вестник“ или „Приазовский край“?

— Нельзя не читать! — возразил Андреев. — Из их же писаний я должен знать их психологию. Ведь все эти писаки ежедневно долбят по головам читающей России.

— Говорят, у меня слава, — с усмешкой продолжал он, — по-моему, это не слава, а скорее бесславие. Рецензенты всех газет всей России словно сговорились утопить меня в трясине злословия. А ведь они — сила! Нужды нет, что все они пигмеи. Ведь лилипуты связали же Гулливера, и не канатами, а тоненькими ниточками! Они задушат, если не бороться с ними! Но как бороться? Во всех газетах они! У нас, беллетристов, до сих пор нет своей газеты, где можно было бы ответить на весь этот град пощечин, которыми осыпают писателя на протяжении всего его пути, до могилы. Мы беззащитны — и это ужасно!

Говоря так, Андреев волновался. Когда он говорил о рецензентах, в глазах его отражался мистический ужас. Избалованный вначале всеобщими гимнами прессы, когда дух его произведений, в которых мощный талант вскрывал наболевшие вопросы общественности, сов-

падал с нарастающей волной революции, Андреев чувствовал теперь нарастание реакции, нового безвременья. Литература повернулась лицом к „проблемам пола“, взошла звезда Арцыбашева, в произведениях которого читателей привлекал главным образом половой натурализм. Героем эпохи сделался его „Санин“. Появились „санинцы“. Мелькнула скандальная слава Анатолия Каменского, добровольно убившего свой скромный талант в погоне за „половым“ успехом. Нравился только что появившийся тогда весельчак Аверченко и вся забубенная компания „Сатирикона“. Свирепствовало всероссийское пьянство, когда Петербург и Москва утопали в тумане горького русского разгула, почти открыто поощряемого сверху, когда процветал кошмарный правительственный ресторан „Максим“ и работали шикарные „дома свиданий“, игорные дома и рулетка.

В это время гнетущий, мрачный талант Андреева с его „Тьмой“, „Семью повешенными“ и „Черными масками“ стал тяготить читателя. За „Тьму“ на Андреева определенно обиделись.

Революционер-террорист, скрывавшийся ночью от ловившей его полиции в публичном доме, встречает там озлобленную против всех „хороших“ людей проститутку. „Стыдно быть хорошим, когда я плохая!“ — говорит она аскету от революции. Это был голос самых низких низов, тех низов, где пребывали „раздавленные жизнью“ проститутки, воры, сутенеры, подлецы, мерзавцы, трусы. Они хотели равенства по-своему, и Андреев указал на пламенную ненависть этих низов ко всем „хорошим“, даже к хорошим революционерам, указал на ужас этой безнадежной „тьмы“, которая разобьет в черепки и втопчет в грязь все, что было выше их, даже революцию, если когда-нибудь эта „тьма“ будет призвана действовать.

Но герой Андреева, потрясенный грозным видом неизбежной русской „тьмы“, теряет веру в революцию: она никого не спасет, пока существует „тьма слепых от рождения“. Действительно, после неудавшейся революции рядовая интеллигенция полезла в „тьму“.

В особенности ударил по больному месту девиз „темноты“: „стыдно быть хорошим“, который приписали самому автору.

В разговорах о литературе мы провели весь вечер до поздней ночи, и я остался у него ночевать.

Помню, я уже лежал в постели, а он все еще сидел подле меня на моей кровати, продолжая говорить.

Рассказывал о смерти жены, о ее последних минутах.

— Чуть ли не последние ее слова были: „Ты должен жить! Ты должен жить! У тебя большой талант! Ты не имеешь права умереть!“

И вот почему я тогда не покончил с собой! Я остался писать! Она сделала мне знак, чтобы я наклонился к ней. Я наклонился, и на ухо она прошептала мне: „Когда я умру, разрешаю тебе жениться!“ — а уже губы у нее почернели и холодели пальцы, я поцеловал ее, она улыбнулась мне и умерла.

Невозможно было слушать этот рассказ без слез.

— А! Ты плачешь? — продолжал Андреев. — Ты еще можешь плакать? Но есть предел и для страдания, когда нет слез, нет слов, когда ничего нет. Понимаешь: ничего! Так вот — я дошел до предела страдания!

V

В этом настроении человека, дошедшего „до предела страдания“, Андреев поехал в Москву, где жили родные его покойной жены и там же временно находились дети. Семья была разбита, литература травила Андреева, а жизнь отравила душу „тьмой“ и ужасом своим, который всюду был виден ему.

В Москве я зашел к его родственникам, у которых он остановился, и нашел их в большой тревоге: Андреев „пропал“, уже четыре дня его искали по Москве; тревога усилилась тем, что прошел слух, будто кто-то видел, как на каком-то вокзале в поздний час ночи на Андреева было вооруженное нападение.

Явилось опасение, что он сделался жертвою черносотенцев, о „нападении“ кто-то напечатал в газетах, там же появилось письмо в редакцию от имени московского студенчества, предлагавшего отныне свою добровольную охрану любимого писателя.

Меня пригласили участвовать в организации друзей, разыскивавших Андреева, но сколько мы ни искали, его нигде не было. Прошел еще день, когда Леонид неожиданно явился к родственникам — живой, невредимый и даже слегка под хмельком.

В забавной и остроумной форме он рассказал нам о „нападении“.

— Это действительно было! Вы знаете мой недостаток: у меня бывают дни, когда не сплю по нескольку суток подряд; тогда я должен прибегать к помощи алкоголя и должен в эти дни всюду бродить, где бодрствуют люди; сначала в театр, потом в ресторан, потом в извозчичий трактир, а когда все закрывается, остается вокзал, который никогда не закрывается. Ну вот, третьего дня, что ли, часа в четыре или пять утра я пошел на Николаевский вокзал выпить рюмку коньяку и скоротать там остаток ночи. Прихожу, буфет открыт, но публики в буфете в такой час, конечно, ни души. Подхожу к буфету, спрашиваю рюмку коньяку, и понравился мне буфетчик, хочется приятное что-нибудь ему сказать.

„Только мы с вами, господин буфетчик, и бодрствуем теперь, — говорю ему. — Только и есть в Москве порядочных людей, что мы с вами, господин буфетчик, а остальные все, — тут я сделал широкий жест в сторону, — спят, подлецы!“

Но тут из темного угла, куда случайно был направлен мой жест, неожиданно поднялся пьяный человек, подошел ко мне и, сказавши: „Как вы смеете называть меня подлецом?“ — развернулся и засветил мне здоровенную пощечину. Хе-хе-хе! Здорово засветил, так что я даже покачнулся, но устоял на ногах: я никогда в подобных случаях не падаю с ног. „В подобных случаях“! Хе-хе-хе! Спокойно вынимаю карточку и подаю ему. Он прочел, остолбенел.

„Вы . . . Леонид Андреев?“

„Леонид Андреев! . . Позвольте, — говорю, — и мне вашу карточку! За что вы меня ударили?“

„Но вы показали на меня и назвали подлецом!“

„Я даже не видал вас!“

Тут пьяный упал передо мною на колени.

„Боже! Что я наделал? Леонид Андреев! Да ведь это мой бог, моя святыня! Кого я только любил, кого уважал, перед кем благоговел — и того так оскорбил! Я не достоин жить после этого!“ И так далее.

Вынимает револьвер, сует мне в руки.

„Убей меня!“

Ввиду торжественности момента и нетрезвого состояния нас обоих на „ты“ со мной перешел.

Одним словом, отчаянию и самобичеванию этого че-

ловека, от которого я только что получил пощечину, не было границ; горе его, что называется, не поддавалось описанию. Он плакал, бил себя в грудь...

Через пять минут мы с ним, конечно, уже мирно выпивали за столиком, и он рассказал мне свою жизнь. Оказался — неудачник, композитор, несчастный, прекраснейший человек, гонимый судьбой. Хе-хе-хе!

Мне потому вспомнился только случай этот, что после него Андреев задумал новую пьесу под странным заглавием: „Тот, который получает пощечины".

Конечно, не эту смешную пощечину пьяного человека имел в виду Андреев, его унижали другие: литературные пощечины литературных шутов в литературных балаганах, — и вот туда-то, на эту арену литературного цирка, он хотел наконец выйти в качестве „Того, который получает пощечины".

На этот раз у Андреева был „малый выход"; путешествие „вдвоем с месье алкоголем" было окончено, но заснуть он все еще не мог.

— Пойдем со мною в какой-нибудь театр! — предложил он мне. — Хочется сегодня говорить с тобой. И ничего не будем пить, кроме чая!

Сопровождая Андреева в качестве няньки, я сам ничего не пил и его удерживал от соблазна, заставляя что-нибудь рассказывать. А рассказывал он, когда находился в приподнятом настроении, удивительно. В эти минуты он как бы снимал маску с себя самого, и можно было видеть его настоящее лицо — лицо необыкновенного человека с проникновенным умом и талантом.

Пьеса в театре нам не понравилась, поехали в другой — там тоже показалось скучно; так мы путешествовали по всем театрикам и наконец закончили вечер в каком-то чуждом для нас клубе, где предались разговорам, выпив неимоверное количество кофе.

Андреев, как всегда, был полон новых литературных замыслов. Много из рассказанного, конечно, осталось ненаписанным, как, например, пьеса „Навуходоносор", но даже в устном пересказе ее чувствовалось что-то яркое, глубокое. Рассказал свою еще только задуманную пьесу „Океан" и замысел „Получающего пощечины". Наконец небрежно заметил:

— Все это большие вещи. Пока я еще только обдумываю их! Но как-нибудь на днях напишу маленькую, пустяковую пьеску, думаю, что недели в две напишу, почти что на заказ, очень просят у меня такую

пьесу в один второстепенный театрик. Называться она будет „Любовь студента“!

И Андреев рассказал мне содержание „Дней нашей жизни“, как уже впоследствии была переименована „Любовь студента“. Пьесу эту Андреев написал действительно в две недели, и она в том же сезоне была поставлена.

Колоссальный успех, выпавший на долю именно этой пьесы, удивил даже Андреева; до конца „дней своей жизни“ он продолжал считать ее самой слабой из всех написанных им пьес и впоследствии с горечью отзывался о „вкусах нашей публики“. В самом деле: большинство его драм и трагедий, в которых столько было вложено андреевского, столько идей, излюбленных и выношенных им, не были поняты ни публикой, ни критикой, а самая любимая его пьеса „Океан“, написанная вдохновенно, которую Андреев мог читать наизусть, совсем не имела успеха. И вдруг маленькая реалистическая пьеска „Дни нашей жизни“ неожиданно пришлась по вкусу, ударила по сердцам всей России!

Дело в том, что „Дни нашей жизни“ и на самом деле не лучшая пьеса Леонида Андреева, не характерная для него, но она оказалась близкой, родной для его поколения, в ней отразилась огромная эпоха русского безверия, и публика, увидавши океан в одной капле, не захотела спускаться в глубину того „океана“, в который потом Андреев приглашал ее за собой.

Между прочим, по той же причине из всех пьес Горького наиболее жизнеспособной оказалась пьеса „На дне“, отражающая ту же эпоху „лишних людей“, которыми зачастую оказывались лучшие люди. Между студенческой „богемой“ „Дней нашей жизни“ и „бывшими людьми“ горьковского „Дна“ есть внутренняя связь, родство: обе эти пьесы выросли из одной почвы, из одних же исторических условий и сделались нерукотворными памятниками большой, печальной эпохи в жизни нашей страны. Тут не важно стало, „как“ написаны эти пьесы: сценично или не сценично, есть ли там „действие“ или нет действия, есть „выигрышные“ „входы“, „выходы“ для актеров или нет их; на „Дне“ жизни смотрели Луку и Сатина и ходили на „Дни жизни“ смотреть милого, симпатичного Онуфрия — „Онушу“ — собирательное лицо, как бы на приятное свидание с этими „родными“ русскими людьми.

Не важны стали когда-то модные, а теперь уже устаревшие „идеи“, большею частью воспринятые авторами этих пьес от других авторов; все это давно истлело и умерло, но бессмертной оказалась „жизнь“, до сих пор горящая в этих пьесах, как горит вечный пламень в самоцветных камнях.

Известно, что многие из больших писателей иногда глубоко заблуждались в самооценке некоторых своих произведений, недооценивая или переоценивая достоинства их. Так и Андреев совершенно не оценил значения своей самой популярной пьесы, единственной из всех его пьес, долго державшейся на сцене и доставившей ему славу истинного драматурга. Драматизм был в его характере, драма в большой, кипучей, но несчастливой жизни и трагедия в смерти. В эти дни моих встреч с Андреевым он, с разбитой личной жизнью, травимый сворой литературных врагов и завистников, но обуреваемый напором огромных творческих сил, видимо, не находил себе места от глубокого одиночества и неизбывной тоски.

Расставаясь, он сказал мне на прощание:

— Нет, я так не могу жить! Вероятно, скоро женюсь во второй раз; ведь я жить-то остался только затем, чтобы написать все то, что давно задумано! Найду себе такую жену, чтобы по восьми часов в день могла барабанить на пишущей машинке, не вставая.

Андреев, по обыкновению, загадочно засмеялся: „Хе-хе-хе!“ Можно было подумать, что он шутит, но за грустной шуткой чувствовались скрытое страдание, серьезная мысль.

Вскоре я уехал из столицы.

Обстоятельства закинули меня надолго за границу, а потом пришлось жить в провинции, и с Андреевым я встречался только во время моих наездов в Петербург.

VI

Когда после долгих скитаний я вернулся в Петербург, имя Андреева было у всех на устах: говорили о его „Океане“, писали о новых альманахах „Шиповника“, заменивших увядшее „Знание“, во главе которых встал Андреев, газеты были полны статьями о нем

и его произведениях, имя Андреева звучало всюду, но сам он, как король, не показывался.

Андреев почти безвыездно жил в это время в Финляндии, в Ваммельсу, на собственной фантастической даче в пятнадцать комнат, о которой тоже много говорили. Пьесы Андреева шли в нескольких театрах Петербурга и Москвы, ставились всюду в провинции и давали ему большие деньги. Кроме того, он продал полное собрание своих сочинений тогдашней „Ниве" и вырученные деньги ухлопал на постройку своей странной дачи, где жил с семьей одиноко, никуда не выезжая и почти никого не принимая. Видеть Андреева можно было только по неотложному, важному делу, и для этого приходилось ехать в Финляндию сначала по железной дороге, потом на лошадях, чтобы наконец, где-то в дикой местности, среди финских скал и лесов, найти его мрачный замок, одиноко стоящий на берегу Черной реки, при впадении ее в угрюмое море. Говорили, что женился он на замечательной красавице, которая тоже никуда не выезжает из заколдованного андреевского замка, что у них никогда не бывает ни гостей, ни празднеств, что оба они только и делают, что круглый год пишут мрачные андреевские фантазии.

Когда общие наши литературные знакомые спрашивали меня, не хочу ли поехать к Андрееву повидаться, я ответил, что без особого приглашения с его стороны ехать не собираюсь. Ему это немедленно передали, и я получил шутливое дружеское письмо, упрекавшее меня в „чопорности". Андреев звал приехать к нему, так как сам он в Петербурге не бывает. Письмо привез и передал мне симпатичный студент „добролюбовского" типа — домашний учитель его детей. Вместе с этим студентом я поехал в Ваммельсу.

На станции Райвола нас ожидал экипаж Андреева, маленькие санки, запряженные быстрой шведской лошадкой. Пролетев семь верст, мы подъехали в морозный зимний вечер к андреевскому „замку". Это был большой бревенчатый дом в два этажа, странной архитектуры, с бревенчатой башней. Двойные зеркальные окна дома, несимметрично расположенные, различной величины, больше в ширину, чем в вышину, были ярко освещены электричеством. Вошли в маленькую, низенькую дверь парадного входа и очутились в тепло натопленном вестибюле. Дальше была столовая, потолок которой поддерживался колоссальной толщины балкой,

топился фантастического вида камин, во всей этой большой комнате — только одно зеркальное окно, сажени в две ширины и не больше аршина вышины. Странная какая-то мебель, сделанная по особому заказу. Внутренний стиль комнат — древнескандинавский. Вероятно, все это было хорошо и красиво на рисунке, но жить в таком „стильном“ доме, по-моему, было неудобно. Из столовой наверх вела широкая дубовая лестница, по которой тотчас же при нашем входе быстрыми шагами сбежал Леонид.

Казалось, он был все тот же, со своими могучими черными отпущенными до плеч кудрями, с небольшой подстриженной бородкой, в черной бархатной блузе, с горящими, нервными, возбужденными карими глазами: ему было тогда, вероятно, лет сорок или около того.

Автопортрет, написанный им в это время, прекрасно передает „внутреннее“ содержание замечательного лица крупнейшего представителя художественной литературы нашего поколения. Лицо прежнего беспечного красавца юноши с оттенком юной удали и некоторой рисовки своей красотой теперь поражало необычайной содержательностью, словно внутри души его было выжжено все лишнее, наносное, малоценное. Между бровей уже не разглаживалась глубокая складка, тонкие губы крепко сжались, карие глаза, в которых всегда было некое мистическое выражение, сверкали не прежним, внешним, блеском молодости, но горели отблеском скрытого, внутреннего огня.

К внешней красоте возмужавшего Андреева прибавилась духовная, страдальческая красота.

Увидев меня, он просветлел и засмеялся прежним, юношеским смехом. По московской привычке обнялись, расцеловались.

— Как тебе не стыдно было требовать особого приглашения! — попрекнул он меня. — Неужели ты мог подумать, что я забываю старых друзей? Хе-хе-хе!

— Очень уж ты знаменит стал! — отшучивался я.

— Да! Вот горе! Хе-хе! И живу, видишь, как? Как пышно, как богато! А смерть-то? Сторожит, брат, сторожит! Ну ладно, пойдем ко мне наверх, поговорим, давно не видались.

Мы пошли наверх, в его рабочий кабинет. Это была большая длинная комната, застланная мягким серым сукном, отчего шаги наши сделались неслышными. Здесь тоже уютно пылал изразцовый камин, стояли

мягкие кожаные кресла, большой письменный стол. К кабинету примыкала библиотека, помещавшаяся в маленькой комнате, устроенной наподобие фонаря. Стены около входа были украшены копиями с кошмарных картин Гойи, работы самого хозяина. Все в доме Андреева было необычайно, замысловато, сложно, как и он сам.

— Какой большой, странный дом у тебя! — сказал я, усаживаясь в кресло.

— Хе-хе-хе! Пятнадцать комнат! Даже есть потайная комната. Завтра я покажу тебе их все. Я сам этот дом выдумал, это — моя фантазия! Но зато пишу здесь непрерывно день и ночь. День и ночь! Никого не вижу, никуда не выезжаю! Весело здесь! Хе-хе-хе! Весело! Недавно написал рассказ „Семь повешенных". Я, брат, теперь сразу по семи человек вешаю. Хе-хе! Диктую жене, а она барабанит за мной на пишущей машинке. Она по семи часов, не вставая из-за машинки, может барабанить! Вот, брат, какую выискал я себе супругу! Трагедию „Океан" мы с ней в две недели написали! Бегаю вот здесь из угла в угол, как сумасшедший, и диктую, а она пишет. И тебе советую диктовать: это, брат, очень весело, честь честью, за милую душу! Хе-хе-хе!

Вскоре вошла жена Леонида — Анна Ильинична, действительно очень красивая молодая женщина, яркого южного типа. Она произвела на меня впечатление женщины серьезной, умной, уравновешенной. Говорили о недавно написанной ими пьесе „Океан".

Я выразил удивление, как такая большая, сильная вещь была написана так быстро — в две недели.

— А по-моему, — возразила Анна Ильинична, — только так и можно было написать, по вдохновению: бегает по кабинету, как исступленный, волосы дыбом, глаза горят. С ума можно сойти, если такие безумные фантазии долго писать!

Я представлял себе необыкновенный процесс андреевского творчества: еще года за три до написания „Океана" Андреев почти целиком импровизировал передо мной эту пьесу, она давно существовала в мозгу его, а теперь вылилась вдохновенно в момент наивысшего экстаза.

И я представил его в этом кабинете, целые ночи бегающего в исступлении, с горящими, пламенными глазами, с развевающейся черной гривой, не диктующего,

но дико и страстно извергающего свои мучительные, выстраданные импровизации.

Мне казалось, что, действительно, страшно быть таким писателем.

Слуга, изящный молодой человек, принес нам крепкого чаю, какой пил теперь Андреев, снова и, кажется, навсегда расставшийся с обществом „месье алкоголя".

> Но уже таял воск, съедаемый огнем!
> Но уже таял воск!

Как всегда при наших встречах, Андреев принялся рассказывать темы новых, замышляемых им произведений.

— Понимаешь ты, сидит этакий большой, гениальный ученый, вроде Спинозы, что ли! Никогда из своей обсерватории не выходит. О земле забыл, звездами и небом занят, вопросы мироздания решает. Но вдруг ему мешает шум какой-то: шумят где-то люди. Наконец толпа врывается к нему в обсерваторию. В чем дело? Кричат, грозят, сердятся. Оказывается, пришли убить его за то, что он еврей! „Какой еврей?" Ах да! „У них" там все еще „национальности" существуют. Опять убивают друг друга. Во имя любви, равенства и братства! И опять как раз тех-то и убивают, которые этого самого равенства и братства хотят. Хе-хе-хе!

Андреев и сам был таким Спинозой, вечно сидел в своей „обсерватории" и бился над разрешением сложных задач, которые казались ему важными для всего человечества.

Он поднимался „к звездам", вечно парил над жизнью, чувствовал себя „сверху" всех политических партий, церквей и религий.

Жутким показалось мне андреевское „веселье".

Не понравился фантастический, мрачный замок его, откуда вышли „Семь повешенных" и открылся безотрадный, пустынный „Океан".

VII

Последнее мое свидание с Андреевым было зимой семнадцатого года, вскоре после убийства Распутина, накануне февральских дней.

Я приехал в Петербург из провинции ненадолго.

Андреев работал теперь в новой газете „Русская воля“.

О выступлении своем во главе большой и богатой газеты, спешно затеянной в чрезвычайно тревожное время, Андреев писал мне незадолго до этого.

„Наконец я решился, — писал он, — или пан, или пропал: или противники мои вдребезги, или я пополам! Я наконец принял командование боевым кораблем и на всех парусах выхожу в открытое море!“

Действительно: в это время Андреев покинул свой уединенный замок среди финских скал и поселился в Петербурге, на одной из центральных улиц, в каком-то старинном доме, где, по преданию, жил в свое время Пушкин.

Я застал его в обширном кабинете, в котором, кроме огромного письменного стола и двух кожаных кресел около него, не было никакой другой мебели.

Андреев бегал по этой комнате в чрезвычайном возбуждении.

Он был в обычном своем костюме — в черной блузе; еще не было ни одного седого волоса в его густой, буйной шевелюре, но осунувшееся лицо казалось постаревшим; следы каких-то жгучих дум, пламенных волнений носило оно: как прежде, так и теперь он оставлял впечатление кипящего котла.

Встретил меня с радостью старого друга, но уже не рассказывал новых тем ненаписанных произведений, которыми был полон всегда: теперь он кипел чем-то новым, другим!

С этого времени он окончательно разошелся с Горьким, который начал издавать газету „Новая жизнь“, тяготевшую к большевизму: прежние друзья стояли теперь во всеоружии друг против друга.

Как раз в эти дни моей последней встречи с ним шла в Александринке последняя пьеса Андреева „Милые призраки“, где были выведены на сцену тени Белинского, Некрасова и Достоевского.

Я был на первом представлении этой действительно нежной, элегической пьесы. Героем ее был юноша — Достоевский, безвестный бедняк, написавший „Бедных людей“, так потрясших Белинского.

За историческим сюжетом литературной пьесы мне почудилось личное, грустное настроение автора, словно сожалевшего о том времени, когда была у него юность,

бедность и любовь, вдохновение не оставляло, а муза пела могучие песни. Теперь же, когда как будто есть и деньги, и слава, отлетает вдохновение, умолкает муза! „Суета“ борьбы и славы, похвал и брани отгоняли в прошлое светлую, чистую юность, а с нею вместе — вдохновение. „Служенье муз не терпит суеты“!

Не нужны стали теперь „Милые призраки“: не до них!

Давно уже кровь проливалась, пушки гремели.

Я чувствовал, что публика равнодушно принимает эту хорошую, но чуждую моменту пьесу, не ко времени поданную.

„Друзья и почитатели“ устроили ей неистинный, фальшивый успех.

Заготовили много лавровых венков огромного размера, вызывали на сцену автора и все их подали ему. Хлопали и кричали „браво“, но чувствовалась холодная атмосфера равнодушия, и сам Андреев, в своей черной блузе, осунувшийся, измученный, казалось, чувствовал это, когда с грустным, недоверчивым видом стоял среди этих как бы похоронных венков на ярко освещенной сцене, стоял неподвижным, тоже „милым призраком“ ушедшего прошлого, пока не опустился занавес над ним.

1923

ГАРИН-МИХАЙЛОВСКИЙ

Однажды, зайдя в редакцию „Самарской газеты“, в Самаре, в конце девятидесятых годов, я встретил там незнакомого мне седого человека барской наружности, разговаривавшего с редактором и при моем появлении вскинувшего на меня красивые и совершенно молодые, горячие глаза.

Редактор познакомил нас.

Седой человек с какой-то особенной непринужденностью отрекомендовался, пожимая мою руку своей маленькой холеной рукой.

— Гарин! — сказал он кратко.

— Это был известный писатель Гарин-Михайловский, произведения которого тогда часто появлялись в „Русском богатстве“ и других толстых журналах. Его „Деревенские очерки“ с большим вниманием и похвалой разбирала серьезная критика, а блестящая повесть „Детство Темы“ признана была первоклассной.

Встреча в провинциальном городе с настоящим писателем, приехавшим из столицы, для меня была неожиданной.

Гарин был замечательно красив: среднего роста, хорошо сложенный, с густыми, слегка вьющимися седыми волосами, с такой же седой, курчавой бородкой, с пожилым, уже тронутым временем, но выразительным и энергичным лицом, с красивым, породистым профилем, он производил впечатление незабываемое.

„Как красив он был в молодости!“ — невольно подумалось мне.

Необыкновенный старик хорош был и теперь — с седыми волосами и огромными юношески пламенными глазами, с живым, подвижным лицом. Это лицо много пожившего и все еще полного жизни человека, поседевшего и все еще юного, — именно вследствие этих контрастов — обращало на себя внимание и было красиво не только внешней красотой, но и сквозившей в его чертах целой гаммой каких-то неукротимых и больших переживаний.

Гарин скоро ушел, а в редакции еще долго о нем говорили.

Оказалось, он затевал в городском театре постанов-

ку своей только что написанной пьесы, еще нигде не напечатанной и не поставленной.

Говорили, что пьеса — автобиографического содержания и в ней Гарин выводит себя и своих двух жен: первую, с которой давно развелся, и вторую — молодую. От обеих у Гарина куча детей, а жены, в противность обыкновению, знакомы между собой и очень дружны, ездят одна к другой в гости, а на представлении пьесы будут сидеть в одной ложе вместе с Гариным и детьми — всей семьей.

Пьесе по этому случаю предрекали успех скандала и полный сбор.

Я не помню теперь заглавия этой пьесы: в собрании сочинений Гарина ее не оказалось, больше она нигде не ставилась, но в Самаре тогда была поставлена и прошла с большим успехом при переполненном театре. Гарин с семейством демонстративно сидел в литерной ложе между двумя своими женами, как бы не замечая пикантности своего положения, представляя из себя главнейший интерес для собравшейся публики. В пьесе ставилась проблема мирного разрешения семейной драмы, пережитой, как всем было известно, самим автором, присутствовавшим на представлении вместе с живыми главными персонажами ее.

Зачем Гарин сделал этот оригинальный опыт, не знаю, но он был в его духе. Это был каприз чудака: с Гариным всю его жизнь происходили странные эпизоды.

Он путешествовал вокруг света, гостил в Корее и Японии. В России занимался главным образом инженерством: был опытным инженером-строителем, построил один железнодорожный путь не очень большой величины; был одним из претендентов на несостоявшуюся постройку южнобережной дороги в Крыму; по временам ненадолго делался помещиком и дивил опытных людей фантастичностью своих сельскохозяйственных предприятий. Так, например, засеял однажды чуть ли не тысячу десятин маком, и когда, конечно, прогорел на этом, то все-таки с восхищением вспоминал о красоте полей, покрытых „красными цветами".

Занимался лесным делом, арендовал имения, брал казенные подряды. Иногда становился богатым человеком, но тотчас же затевал что-либо безнадежно фантастическое и вновь оказывался без копейки. В дни богатства всех сбивал с толку бесцельной щедростью:

если курица в обыкновенное время стоила в деревне пятнадцать копеек, то, покупая провизию для своих служащих, он приказывал платить за курицу не полтинник и не рубль, что было бы хоть с чем-нибудь сообразно, а примерно пять рублей, и это перевертывало в головах населения всякие представления о дешевизне и дороговизне. В моменты своих кипучих предприятий Гарин сорил деньгами, разбрасывая золото буквально горстями, не считая, как будто главной его целью было доставлять этой безумной щедростью удовольствие и людям, и себе. Все коммерческие предприятия Гарина, задуманные широко и талантливо, большею частью прогорали от его равнодушия к деньгам и детской доверчивости к обкрадывавшим его людям. Что его обкрадывают, он знал прекрасно, но находил это естественным, лишь бы дело было сделано. И действительно: дела делались, потом лопались, но Гарина это не смущало — он тотчас же начинал пылать каким-нибудь новым замыслом, казавшимся ему „красивым".

Был случай, когда его имение продавалось с аукциона в уплату долгов. К третьему удару молотка вдруг явился Гарин и внес деньги, которые ему только что удалось у кого-то занять.

Кредиторы Гарина рассказывали мне, что однажды они, утомленные бесконечными отсрочками, пригласили его на собрание, твердо решившись поступить с ним беспощадно. Но явившийся Гарин так их околдовал, что они, сами не зная как, снова поддались очарованию его личности: слушая гаринское красноречие, вновь уверовали в явные фантазии.

Гарин как будто несерьезно относился к своим делам, словно играл с жизнью, почти всегда ставил на карту все, что имел.

Он всегда „танцевал на вулкане", вся его деловая деятельность походила на отчаянную скачку с препятствиями.

И Гарин действительно всю свою жизнь мыкался по свету в вечном угаре своих рискованных предприятий: то он плыл на океанском пароходе через Атлантический океан, совершая зачем-то кругосветное путешествие, по пути заинтересовываясь жизнью островитян или „корейскими сказками", то летел в Париж, то оказывался на юге России, откуда спешно, с курьерским, мчался на Волгу или Урал.

Писал большею частью в дороге, в вагоне, в каюте

парохода или номере гостиницы: редакции часто получали его рукописи, написанные с какой-нибудь случайной станции с пути его следования.

Писал не для славы и не для денег, а так, как птица поет, так и Гарин писал — из внутренней потребности. Случайно оказалось, что повести и рассказы, очерки и карандашные наброски, которыми он иногда тешил себя, обнаруживают незаурядный талант, но Гарин и к таланту своему не мог отнестись серьезно и написал разве десятую часть того, что должен был написать, не проявив и сотой части того богатства, которое лежало в его душе. Для него главное было — сама жизнь, игра с препятствиями, волнения риска, воплощение красивых фантазий в действительность, постоянная бешеная скачка над краем пропасти.

Гарин до седых волос остался пылким юношей.

„Детство Темы" — лучшее его произведение, написано ясно, густо, блестящим и крепким языком, где, кажется, не найдешь ни одного лишнего или не на своем месте поставленного слова.

Вскоре после первой встречи мне пришлось познакомиться с Гариным ближе: в Самару проездом он заглядывал часто, так как у него были какие-то „дела" на Волге.

Помню, я как-то порекомендовал ему одного моего друга-машиниста, так как Гарин искал такого мастера в свое симбирское имение заведовать сельскохозяйственными машинами.

Через два-три месяца машинист вернулся в Самару — от должности отказался.

— Отчего же? — спросил я. — Не понравилось, что ли?

— Сердце не выдержало! Не мог я видеть равнодушно, как погибает там все на моих глазах — прекрасные английские машины ржавеют под открытым небом, занесенные снегом; великолепный конский завод — какие матки, какие породистые лошади! — падают, околевают одна за другой.

— С чего же падают?

— Да с голоду! Николай Георгиевич не распорядился о заготовке корма на зиму. С голоду все и передохли — смотреть было больно, не выдержал я и ушел, не потому, что жалованье получал неаккуратно, это бы ничего, обойтись можно, а так!

Оказалось, что Гарин, увлекшись какими-то новыми

фантазиями и переживая какой-то горячий „ажиотаж", „забыл" о своем имении, — и все пошло прахом.

Позднее, а именно в 1901 году, когда я жил в Самаре „под надзором" и не имел права выезда за черту города, мне захотелось устроить на службу к Гарину, тоже в имение, другого моего знакомого — техника.

Гарин, как всегда, будучи в городе „проездом" и и обремененный тысячей „дел", назначил свидание на пристани парохода, на котором он уезжал: разговор должен был произойти в несколько минут, во время посадки Гарина на пароход.

Когда я и мой знакомый подъехали на извозчике к пристани, раздался третий свисток, и пароход начал медленно отделяться от берега: были уже сняты сходни, Гарин в дорожном костюме, с сумкой через плечо, кричал нам с верхней площадки парохода:

— Скорее! Скорее! Прыгайте на пароход!

Колебаться и размышлять было некогда: мы оба перемахнули саженное расстояние над водой и очутились на отплывающем пароходе.

— Вот и отлично! — сказал Гарин моему приятелю. — Я уже решил пригласить вас на мои работы — в имение около Симбирска, и мы теперь вместе едем туда.

— А как же мне-то быть? — размышлял я вслух. — Надо с первой же остановки возвратиться!

— Пустяки! — сказал Гарин. — Семь бед — один ответ: все равно будет суд у мирового, я выйду свидетелем, что вы уехали нечаянно, заплатим штраф, и больше никаких! Поедемте ко мне в гости, в Тургеневку!

Гарин ехал не один, а с целой компанией: оказался еще какой-то молодой художник, и еще какой-то чертежник, и кто-то вроде секретаря при Гарине. Скоро наступила ночь; мы сели в рубке первого класса ужинать.

За ужином Гарин был в ударе и много рассказывал; рассказывать он умел артистически, обнаруживая заразительный юмор, тонкую наблюдательность и природную способность художника несколькими словами набрасывать целые картины.

Помню, рассказывал он различные эпизоды из своих путешествий вокруг света.

— Знаете, когда я увидел океан? Когда с неделю проплыл на этом чудовище, четырехэтажном океанском

пароходе! Это целый город. Люди там живут, пьют, едят, танцуют, флиртуют, играют в шахматы и никакого океана не видят, забыли о нем: какая бы ни была волна, ничего не заметно! Мы сидели у большого зеркального окна на четвертом этаже, я играл с кем-то в шахматы. Вдруг пароход заметно накренился, и на один только момент я увидел до самого горизонта вздымающиеся горы вспененных, косматых, чудовищных волн, на меня глянул океан — седой, взбешенный старик!

Внезапно он сделал образное сравнение с русской жизнью и государственным кораблем, на котором люди плывут, играя в шахматы и не видя, что делается в океане.

— Говорят, новая волна идет, новая заря занимается! — со вздохом добавил он. — А как вспомнишь, сколько раз эта заря занималась и ни разу не взошла, сколько раз новая волна поднималась, а потом обращалась в затишье, то, право же, не знаешь, куда бы уйти подальше и от этой намалеванной зари и от этих самых волн!

Увы! Заря скоро погасла. Занималась и погасала несколько раз и после Гарина, а „волны“ вскоре забросали его до смерти.

Вся публика рубки, сидевшая за другими столами, с необычайным вниманием прислушивалась к блестящим рассказам Гарина. Наконец, когда он вышел, меня остановил человек почтенной наружности, по виду — купец.

— Скажите, пожалуйста, кто этот красивый старик, который сидит с вами?

— Это писатель Гарин! — ответил я.

— А-а! — с еще большей почтительностью воскликнул он. — Гарин! .. Знаю, читал! Ах, какой красивый человек!

Такое впечатление производил Гарин даже на тех людей, которые не знали, что это известный писатель Гарин-Михайловский.

Барский дом в Тургеневке, отдельно стоявший от села на берегу Волги, на вершине горы, поросшей строевым, дремучим бором, был интересным, старинным зданием, уцелевшим чуть ли не с пушкинских времен. Когда мы вошли в огромный, высокий зал с целым

рядом саженных венецианских окон, меня поразил необычайных размеров камин, в котором, казалось, можно было жечь не поленья, а целые бревна. По стенам висели старинные гравюры; одна из них представляла взбесившуюся тройку, которая мчалась прямо на зрителя, в пропасть.

— Вот моя жизнь! — сказал между прочим Гарин, со смехом указывая на картину. — Только это я и люблю!

Он переоделся, вышел к нам в высоких сапогах, синих рейтузах в обтяжку, в венгерке со шнурками, и в этом костюме был чрезвычайно подходящ ко всей обстановке старинного замка в стиле рыцарских времен; вероятно, не без кокетства перед самим собой оделся он так, особым художественным чутьем угадывая гармонию обстановки и костюма, а может быть, чувствовал это бессознательно.

Гарин не был собственником имения, он только арендовал его у настоящих хозяев, по-видимому медленно, но верно приближавшихся к разорению и давно уже не заглядывавших в родовое „дворянское гнездо". У Гарина было здесь „лесное дело". Он снял великолепный сосновый бор „на сруб" и сплавлял лес по Волге.

После чая пошли смотреть „лесное дело".

— Я сейчас покажу вам „деревянную железную дорогу"! — заявил нам хозяин.

Конечно, это была одна из гаринских „фантазий": для подвоза бревен к обрыву горы были проложены деревянные рельсы, по которым лошадьми ходили дроги на особых, вагонного устройства, деревянных колесах. Хотя колеса эти часто сходили с рельсов, вызывая остановки, тем не менее остроумная выдумка облегчала тяжесть перевозки. С обрыва бревна спускали прямо к берегу Волги по особо устроенному желобу, по которому проведена была вода, чтобы бревна не загорались.

Августовский день был ясный, солнечный. Волга сверкала как зеркало. Зеленый бор звонко гудел под теплым ветром. Постояли над обрывом, полюбовались величавой картиной Заволжья: с вершины горы горизонт был виден на сто верст кругом.

Приставив к делу всех приехавших с нами молодых людей, Гарин к вечеру вдвоем со мной уехал на лошадях в Симбирск. Нам подали рессорную коляску с открытым верхом, запряженную тройкой прекрасных

вороных лошадей: Гарин любил езду. Всю ночь ехали мы с ним по звонкой ровной степной дороге.

Ночь была светлая, лунная, зачарованная безмолвием безграничных русских полей.

И мне казалось, что неугомонный человек, у которого давно уже образовалась страсть к вечному мыканию с места на место, никогда более не захочет и не сможет изменить свою тревожную жизнь, полную вечной смены впечатлений, на спокойную, кабинетную работу, какая нужна была ему, если бы он захотел сделаться „серьезным“ писателем.

На рассвете подъехали мы к Симбирску с противоположного берега, переправились на лодке прямо на пароходную пристань, где уже стоял пароход, отправлявшийся в Нижний, куда, собственно, и ехал Гарин.

Здесь я намеревался расстаться с ним и, дождавшись парохода сверху, возвратиться в Самару, но чудак стал уговаривать отправиться с ним в Нижний.

Гарин умел очаровывать людей, и, очарованный, я уступил: очень уж это был интересный и „красивый“ человек, как метко выразился о нем купец, восхитившийся им на пароходе.

Путешествие кончилось тем, что по возвращении из Нижнего я был вежливо приглашен жандармским ротмистром, зашедшим ко мне тихим летним вечером, в самарскую тюрьму, где и отсидел месяц, пока разбирали дело о моей „таинственной“ отлучке.

В день выхода моего из тюрьмы Гарин опять оказался „проездом“ в Самаре и, считая себя отчасти виновником моего „сидения“, явился ко мне с компанией и с кульком разнообразных бутылок. При входе в квартиру он передал кулек моей матери.

Старушка поставила на стол две бутылки белого вина, и мы выпили.

По уходе Гарина она сообщила мне, что в кульке есть еще какая-то большая бутылка, оставшаяся неподанной: оказалось — шампанское лучшей марки, которым Гарин хотел приветствовать мое освобождение, но по недоразумению бутылка так и осталась нераскупоренной.

Года через два, проживая в Москве, я ехал на святки в приволжское село и в вагоне случайно встретился с Гариным. Он был, по своему обычаю, бодр и весел, шутил.

— Вы теперь переживаете эпоху литературной славы! — сказал он мне. — Сочувствую и очень рад за вас! Я тоже был когда-то в славе, и „первоклассным“ был, и все такое! Всякое бывало!

— Почему же были? — возразил я. — Вы были, и есть, и будете одним из лучших русских писателей!

— Нет, уж мое время прошло, наступает чье-нибудь еще! Так было... так будет! А я вот недавно имение купил без гроша в кармане — вот это штука! Даже расходы по купчей бывшая владелица за меня заплатила!

— Как же это так?

— А так! Почтенная женщина, давно меня знает, встретились вот так же, как мы сейчас с вами. „Вам, говорит, непременно надо купить мое имение, оно вам подходит, и вам я бы продала“. — „Да у меня денег нет!“ — „Пустяки. Не надо никаких денег!“ Ну, купил вот, сам не знаю зачем, имение-то с переводом долга — еду теперь туда; говорят, хорошее имение, красивое, Белый Ключ называется, совсем близко оттуда, куда вы едете! Ба! — вскричал вдруг Гарин, как бы осененный внезапной мыслью. — Непременно приезжайте ко мне под Новый год! Всего двадцать верст от станции, я и лошадей пошлю! Непременно! У меня там вся семья: и жена, и дети, везу вот всякие финтифлюшки для елки. Будем Новый год встречать вместе.

Я, конечно, согласился приехать в Белый Ключ и свое обещание исполнил. Это была встреча 1903 года.

Когда под Новый год я высадился на указанной станции, меня действительно ожидала гаринская пара вороных, запряженная цугом, или, как говорят на Волге, гусем; кругом лежали глубокие снега, трещал сильнейший мороз, как и полагается в России под Новый год.

С холоду, что ли, кровные кони мчались как бешеные, и ямщик всю дорогу, что называется, висел на вожжах, а черные, злые, взмыленные лошади в серебряной сбруе неслись как в сказке, обдавая меня пеной со своих удил, смешанной с кровью, и целым облаком серебристой снежной пыли. Двадцать верст мы пролетели в час — никогда я не испытывал такой быстрой езды на лошадях!

Темной ночью подъехали к ярким огням барского дома. Там уже сияла елка, и сквозь морозные окна было видно, как в комнате двигались тени. Около дома был пруд, теперь замерзший и покрытый снегом, осененный старыми ветлами в кружевной парче морозного инея. Должно быть, красивое место!

Дом был полон гостей, елка сверкала огнями, кто-то играл на рояле, собирались петь хором.

Тут я впервые познакомился с женой Гарина, Верой Александровной Садовской, и их детьми, тогда еще школьного возраста и ниже.

Старшую дочь звали Верой, среднюю — Никой, а маленькую девочку — Вероникой. Родители тоже были Вера и Ника! Вера и Ника в итоге давали Веронику. Даже при наречении имен своим детям неунывающий родитель „играл" красивыми словами.

Вера Александровна происходила из семьи миллионеров Садовских, выросла буквально во дворцах и, соединяя свою судьбу с бурной судьбой Гарина, имела, говорят, значительный капитал, который, конечно, и был ею скоро истрачен на широкие фантазии беззаветно любимого супруга.

В юности она была красавицей, но теперь — в возрасте тридцати с лишком лет — преждевременно располнела, хотя все еще была хороша; в особенности красивы были ее глаза и длинные, чуть не до земли, золотистые, пышные волосы, которые в распущенном виде могли покрыть всю ее фигуру.

Наконец-таки Гарин „отдыхал" в кругу любящей семьи, дети обожали его, жена сияла от счастья: ведь большую часть года они только скучали и мечтали о нем, вечном путешественнике, и настоящее свидание было редким праздником для них.

Наутро после завтрака Гарин с семьей и я гуляли по имению, катались на лыжах, а после обеда пошел снег, задула метель, к подъезду подкатили новые сани, запряженные цугом, черные, злобные, пышущие кони взвились как черти и опять понесли нас с ним куда-то.

Весной 1905 года, незадолго до внезапного окончания войны России с Японией, Гарину удалось получить миллионный государственный подряд на поставку сена для русской армии.

Я жил тогда недалеко от Петербурга, в Финляндии, в дачной местности Куоккала: в тех местах проживали многие писатели и художники.

В Куоккала же поселился с семьей и Гарин.

Получение миллионного аванса окрылило его в высшей степени, и началось чисто гаринское разбрасывание денег. Прежде всего он на специальном поезде (чего это стоило!) „на минутку“ слетал из Куоккала в Париж, привез оттуда свежих фруктов для предполагаемой приятельской пирушки и дорогое бриллиантовое колье для супруги. На пирушке в его маленькой временной дачке мы ели настоящие французские груши, а Вера Александровна, в сверкающем крупными бриллиантами колье, сидела, как невеста, рядом с обожаемым супругом и в ответ на его шутки кокетливо опускала свои все еще прекрасные глаза.

Это был последний луч счастья в их жизни, полной превратностей.

Уже с самого начала запахло плохими предчувствиями: пошли слухи, что Гарина окружили ненадежные люди, что вряд ли он справится с делом, что его оберут и подведут под суд.

Авансы раздавал он, конечно, полными горстями, не заглядывая в будущее, не разбираясь в людях, да он и знал по своему огромному опыту, что около такого огромного казенного костра без воровства не обойдется.

— Поедемте со мной! — пригласил он меня. — Будете у меня получать пятьсот рублей в месяц.

— Зачем я вам? — удивился я. — Ведь сенное дело мне, вы знаете, совсем незнакомо!

— Мне и не нужно, чтобы вы знали сенное дело! — возразил Гарин. — Знающие люди у меня есть, но они все — воры и мошенники! Вот я и хочу к ним приставить хоть одного честного человека, чтобы он мешал им.

Я рассмеялся, но, подумав, отказался от рискованного предприятия.

Гарин набрал массу людей для грандиозной организации сенокоса в полях Сибири и Маньчжурии.

Вскоре спешно уехал.

Как и следовало ожидать, поставку не сделали к сроку: помешали дожди и еще какие-то неудачи, а в начале июля война неожиданно кончилась.

Казенные миллионы были истрачены, поставка осталась незаконченной. Предстоял скандальный процесс.

Осенью Гарин вернулся в Петербург.

Надвигалось тревожное время — революция 1905 года.

Гарин опять оказался без денег, измученный мыканием по Сибири, расстроенный провалом предприятия, но не унывающий и уже воспылавший новым увлечением — революцией.

Не давая себе ни отдыху, ни сроку, принялся за организацию журнала, который сам хотел издавать.

На редакционном заседании Гарин вдруг почувствовал себя дурно, схватился за сердце и, вскрикнув: „Подкатило!“ — упал мертвым.

До утра лежал он на редакционном столе, накрытый простыней, седой и страшный. Писатель Гарин-Михайловский, через руки которого прошли миллионы рублей, умер, не оставив после себя ни копейки денег. Хоронить было не на что. На похороны его была сделана подписка.

1925

РЕКА ЗАБВЕНЬЯ

Писатели старой Москвы. Литературная „Среда"

В предреволюционную эпоху 1905 года в старой Москве исключительной популярностью пользовался интимный кружок молодых писателей, из числа которых быстро выдвинулось несколько крупных имен.

Вначале кружок, аккуратно собиравшийся по средам, представлял из себя тесно-приятельскую компанию молодых, начинающих писателей, присоединившихся к ним пожилых неудачников, любителей литературы, двух-трех художников и тому подобной богемы, не знавшей, где ей голову приклонить. Там был далеко не знаменитый художник Первухин (брат писателя), Голоушев (художник, художественный критик и врач), „поэт из народа" Белоусов — переводчик „Кобзаря" Шевченко, портной по профессии; выделялся красноречием Юлий Бунин (брат писателя) — редактор „Вестника воспитания"; был еще старик Гославский, похожий на Саваофа и Саваофом же прозванный, с иконописной шевелюрой и бородой (хотя на этом и кончалось сходство, так как после третьей рюмки Саваоф впадал в транс и неудержимо сквернословил в бессознательном состоянии); он что-то писал в уличных газетах, влача полунищенское существование. Был хороший такой старичок — Хитрово, где-то служивший и ничего не писавший, но не пропускавший ни одной „Среды".

С этой разношерстной компанией сошелся писатель Николай Телешов.

Сблизившись с Телешовым, кружок стал собираться каждую среду в его большой квартире на Чистых прудах. Зачитывали новые рукописи, обсуждали их. После полуночи подавался хлебосольный старомосковский ужин с умеренной выпивкой.

„Среда" старалась привлекать к себе начинающих литераторов, сколько-нибудь талантливых; таким образом в телешовскую эпоху в кружке появились сотрудники московской газеты „Курьер" — сорокалетний Серафимович, только что возвратившийся из ссылки, совсем молодой человек Андреев, окончивший Московский университет по юридическому факультету, но вместо адвокатуры избравший карьеру судебного репортера. Потом он стал писать в „Курьере" фельетоны под

псевдонимом „Джемс Линч“ и рассказы под настоящей фамилией.

Таково было первоначальное „ядро“ скромного литературного кружка, в скором времени сделавшегося центром литературно-художественных сил Москвы, правда, на короткое, но яркое время, предшествовавшее революции 1905 года.

Горький, безвыездно проживавший тогда в Нижнем, приехал в Москву ставить в Художественном театре свою первую пьесу „Мещане“ и неспроста появился на одной из „Сред“, выступив с чтением своей пьесы: его давно интересовали Серафимович и Андреев, намеченные им в сотрудники журнала „Жизнь“, которым он руководил из Нижнего и где сотрудничал сам.

Особенное внимание обратил он на Андреева. Новый рассказ молодого писателя „Смерть Сергея Петровича“ после визита Горького появился в ближайшей книжке „Жизни“, рядом с произведениями других, тоже „начинающих“ тогда писателей, приглашенных Горьким из провинциальных газет.

Произведения молодых писателей, доселе почти неизвестных, появились в видном журнале и имели неожиданно крупный успех у публики: ее не столько интересовали серьезные статьи журнала, сколько свежая беллетристика, написанная с искренним подъемом молодости, насыщенная тем „духом времени“, который уже бродил тогда в широких массах: литературная молодежь непосредственно и интуитивно коснулась чего-то давно назревшего и наболевшего в большой, коллективной душе миллионных масс.

Литература, как всегда отражавшая жизнь, приковала тогда к себе взоры всей читающей и мыслящей России. Она расцвела, но цветы ее были ядовиты, распространяли горький и тяжелый аромат: она свидетельствовала о глубоком неблагополучии, и чего бы ни касались ее пышно-зловещие краски — все вызывало боль, мучило душу, приводило к тяжкому сознанию, что „так дальше жить нельзя“, что жизнь властно требует новых форм.

От нее ожидали все новых и новых ударов по наболевшим местам, изображения все новых очагов разложения, трагических диссонансов жизни, и это не могло не захватывать за душу, не могло не привлечь внимания всей читающей России да и не могло быть неудачно написанным: всем удавалось писать сильно,

ярко, выпукло, ибо все уже было выношено, выстрадано.

„Жизнь" вскоре была закрыта, но новые писатели во главе с Горьким вошли в книгоиздательство „Знание" и были изданы каждый отдельной книжкой: почти одновременно вышли книги рассказов Андреева, Телешова, Серафимовича и других участников „Среды". Все эти авторы оказались в центре внимания „большого читателя".

Собрания „Среды" сделались как бы чистилищем, через которое проходило каждое новое произведение ее участников, прежде чем попадало в печать.

Не без волнения и даже внутреннего трепета выступали там авторы с чтением своих новых рукописей перед интимным собранием беспощадных друзей. После чтения происходил тщательный критический разбор произведения: авторское самолюбие ни во что не ставилось, снисхождение не оказывалось никому. Часто случалось, что по окончании чтения раздавался голос Юлия Бунина: „Ну и ерунду написал!" — и начинался „разнос", последствием чего было, что авторы коренным образом перерабатывали написанную „ерунду", которая по напечатании оказывалась удачным и значительным произведением, имевшим большой успех.

Но именно этим выдающимся успехом, выпавшим на долю участников „Среды", и объяснялась ее суровая требовательность к самой себе, чего прежде за ней не водилось; богема любила писать „сплеча и наспех".

Главным и жестоким критиком „Среды" оказался Юлий Бунин, или Бонза, как его метко прозвали участники ее. Сам он даже в собственном журнале никогда ничего не писал, но хорошо знал и любил художественную литературу и в своих замечательных „критических речах" на собраниях „Среды" обнаружил большой аналитический ум.

Всю жизнь свою этот интересный человек старой Москвы, старый холостяк, без гроша за душой, прожил не только в качестве редактора узкоспециального журнала, но главным образом участника и оратора многих общественных организаций, неся, таким образом, несомненно прогрессивное знамя. Участие в „Среде" было только одним из многих выступлений этого общественника старой складки.

Особенно процветала полюдневшая „Среда" начиная с зимы 1903 года. В Москву переселились все те

ее участники, которые раньше появлялись из провинции только на короткое время, наездом... На весь зимний сезон приехал Горький по случаю постановки в Художественном театре его второй пьесы — „На дне“, которую он предварительно читал на собрании „Среды“. Приехали из Ялты Елпатьевский, Найденов — пьеса последнего шла в Москве поистине с колоссальным успехом; явился, как всегда, из-за границы Петр Боборыкин, а редактор „Русской мысли“ Гольцев встретил его на „Среде“ приветственной речью.

Приехал из северной столицы редактор „Журнала для всех“ В. С. Миролюбов, и, наконец, завсегдатаем и членом „Среды“ сделался Шаляпин, выступавший со своим удивительным пением. Скромная когда-то „Среда“ вошла в почет и славу. Попасть туда обыкновенным людям без имени и популярности не было никакой возможности.

С чтением новых рукописей чаще всех выступал Леонид Андреев, вдруг выросший из недавнего репортера и фельетониста в крупного писателя: каждое новое произведение Андреева вызывало шумный успех. Он продолжал сотрудничать в „Курьере“, где один за другим появлялись его короткие, но сильно написанные рассказы — „Жили-были“, „Бездна“, „Стена“, — всегда после предварительного чтения и критической оценки на „Среде“. Рассказы эти сделались гвоздем сезона, всю зиму о них писали и рассуждали.

Андреев писал тогда под искренним влиянием нарастающего революционного настроения и только после провала движения 1905 года ушел в модернизм и мистически-мрачные психологические глубины, которые завели его в чисто мозговые лабиринты нарочитой выдумки.

Чехов в одном из своих частных писем с удивительной чуткостью даже в первой книге Андреева уловил элементы будущей „деланности“, назвав его не совсем справедливо „искусственным соловьем“. Он действительно пел соловьем, и не все в этом пении было искусственным.

А. С. Серафимович

„Однокашником“ Андреева по „Курьеру“ был Александр Серафимович, который, несмотря на связывавшие

их дружеские чувства и более скромный, совершенно реалистический талант, не поддался влиянию нарядного, прославленного друга, сохранил свое лицо. Бывший ссыльный и революционер черпал свои темы непосредственно из действительности, из собственных наблюдений и переживаний.

Литературой Серафимович занимался профессионально. Но писал скупо, сжато и коротко, поэтому даже после выхода своей книжки часто страдал безденежьем, обремененный семьей. Несмотря на большую требовательность к себе, он все-таки вынужден бывал иногда прибегать к „скорописи", но живой талант выручал его и в таких случаях: даже в спешно написанных его вещах всегда чувствовалась рука мастера.

Все же на „Средах" он выступал только с серьезными вещами, тщательно отделанными, а „скорописные" рассказы в случаях экстренной нужды печатал тайно от „Среды". Обыкновенно это был традиционный рассказ из народного быта, на котором Серафимович набил руку, — о старичке с посохом и котомкой, который куда-то идет.

— И старичок-то хороший, а идет! — не без юмора рассказывал о своем экстренном творчестве сам автор. — Куда идет и зачем — сам не знаю, и куда придет в конце рассказа — неизвестно мне!

В конце концов „хороший старичок" благополучно попадал в редакцию и, право же, выглядел неплохо.

Однажды, в момент острой нужды во время отъезда на дачу, Серафимович смог написать только начало и конец рассказа, середину же писать не стал за недостатком времени: в нумерации листов рукописи за двадцатой страницей следовала сороковая. Редакция приняла рукопись, не читая, выдала аванс, и только недели через две автор получил на даче тревожную телеграмму: „Затерялась середина рукописи с 20 по 40-ю страницу, извиняемся, просим возобновить".

К этому времени автор уже успел „возобновить" и немедленно выслал „затерянные" листки.

Когда к нему обращались за рассказом для „праздничных" номеров провинциальных газет о традиционном „замерзающем мальчике", писатель принимал вид заядлого ремесленника и, зная, что с ним будут торговаться, назначал гонорар „с запросом". „Заказчики" ужасались:

— Александр Серафимович, уступите! Нельзя ли подешевле?

— Можно! — охотно соглашался „мастер“. — Но только уж, конечно, работа будет не та! — Он вздыхал, качал круглой головой. — Д-да-с! Предупреждаю: по цене и работа будет!

— Хуже?

— А как же? Не та отделка! Полировки не будет!

„Заказчики“ мялись, крякали, чесали затылок и чаще всего соглашались.

— Ну, что делать! Валяй с полировкой!

Так жил и работал известный и талантливый писатель Серафимович. Так жили почти все писатели, за исключением лишь немногих избранных.

Тяжелое прошлое, неволя ссылки и постоянная необеспеченность нисколько не испортили добродушный характер Серафимовича: он всегда был известен постоянной наклонностью к безобидной шутке.

На одной из „Сред“ за чайным столом он заявил неожиданно:

— Никогда я не писал стихов, а вот на днях попробовал — и написал стихотворение! Хочется мне узнать мнение „Среды“. Разрешите прочесть!

Поэт вынул измятый листок бумаги и вразумительно, качая головой, начал:

Русалка плыла по реке голубой...

Всех поразила первоклассность стихов Серафимовича. Только большой поэт мог написать так образно, сильным языком, с богатыми, звучными рифмами.

При чтении присутствовали поэты „Среды“ и почти весь кружок, за исключением Бонзы.

Все хвалили стихи и советовали автору развивать вдруг открывшийся стихотворный талант.

Потом забыли этот случай. Через месяц или два он опять попросил прослушать новый плод его вдохновения:

Ночи мои, ночи, как вы молчаливы!

Стихотворение всем понравилось, но один из поэтов „Среды“, зачем-то подсказывавший чтецу в тех местах, когда он запинался, сказал по окончании чтения:

— Это мое стихотворение из моей книги, всем известное и даже в „Чтеце-декламаторе“ помещено! .. Как же это так? Мы, очевидно, не читаем друг друга?

Все засмеялись и удивились: как это у всех захлестнуло?

Кстати вспомнили и о первом стихотворении:

Русалка плыла по реке голубой...

— Да ведь это же Лермонтова! — напомнил Бонза.

Тут уж всем стало хотя и смешно, но отчасти и неловко. Начали стыдить „шутника“. Он качал головой, хлопал о полы руками и, ахая, говорил:

— Ах, ах, как же это мы? Я давно заметил: время хлопотное, шумное, впору каждому только свои корректуры читать! Ну, Лермонтова забыть — так-сяк! Но своего товарища, который тут с нами сидит?

С тех пор никто на собраниях „Среды“ не хотел слушать „стихов Серафимовича“.

Ведь была же когда-то вторично напечатана „Капитанская дочка“ как совершенно новая вещь!

Значение московского кружка „Среда“ в предреволюционную эпоху. Литературные вечера. Эпоха „банкетов“. Роль 9 января в истории литературы. Конец „Среды“

Зимний сезон 1902/03 года в Москве отличался особенным обилием публичных вечеров с участием популярных писателей. Всюду в витринах были выставлены их портреты как отдельно каждого, так и группой, в полном составе „Среды“. Их имена и книги сделались „модными“, каждое новое произведение каждого из них встречалось публикой и критикой как событие.

В особенности гремели имена Горького и Андреева. Молодежь бесновалась, когда который-нибудь из них появлялся на эстраде, хотя как раз они оба были плохими чтецами; их почти не слышно было с эстрады, но публика удовлетворялась лицезрением любимых писателей, чтобы коллективно устраивать им овации не только за выдающийся талант, но главным образом за содержание их произведений. В этих произведениях она многое подразумевала между строк, что возбуждало надежды на близость лучшего будущего. В постоянных

демонстративных овациях новым писателям чувствовалось начало большого общественного подъема.

Как всегда, впереди этого движения шла учащаяся молодежь, которая при одном виде своих кумиров приходила в состояние экстаза. Нередко шумное поведение молодежи в театрах приводило к вмешательству полиции . . .

Образчиком таких вечеров был большой музыкально-вокально-литературный вечер, окончившийся несколько печально благодаря слишком экспансивному поведению собравшейся в огромном количестве публики.

Молодой писатель С. жил скромно и одиноко, по-студенчески, занятый своей работой, но сезон „вечеров“ окончательно выбил его из колеи, сделал на это время почти профессиональным, хотя и бесплатным, чтецом.

Однажды с утра к нему забежал композитор Сахновский, писавший в „Курьере“ музыкально-вокальные рецензии и таким образом немножко примыкавший к литературе.

Это был природный москвич, говоривший красочным московским языком со всякими „словечками“, богема, ведший разгульно-путаный образ жизни и со всеми своими знакомыми с первой же встречи переходивший на „ты“. Круглолицый, широкоплечий здоровяк лет тридцати, он всегда мешал дело с бездельем, но мог после бессонной ночи, проведенной у „Яра“ или в „Стрельне“, совершенно отрезвевший и свежий, мыкаться по Москве по литературно-театральным делам как ни в чем не бывало.

И на этот раз, несмотря на грузность своей атлетической фигуры, Сахновский бомбой влетел к писателю и еще от порога заговорил:

— Енот! Я к тебе по экстренному делу! — „Енот“ было его любимым, ходовым словечком. — Так что, енот, не сердись! Видал афишу?

— Какую афишу?

— Вот енот! Да ты газет не читаешь? Сегодня в Благородном собрании состоится литературный вечер в пользу Высших курсов с участием знаменитых артистов, а также и всей „Среды“! Ответственным устроителем под афишей подписан Леонид Андреев, а в числе почетных распорядителей — я! Будут читать свои произведения Андреев, Телешов, Найденов, Бунин, и, конечно, твое имя также поставлено в программе.

Писатель нисколько не удивился, что его извещают о собственном выступлении всего за несколько часов до спектакля: случалось в один вечер выступать сразу в нескольких местах. Он спросил только, что же именно придется читать.

— В программе просто поставлено „чтение“. Что хочешь, то и читай! Но, конечно, рукопись в цензуру представить необходимо. Имей в виду, что участвующих двадцать человек. Выбери какое-нибудь боевое стихотворение покороче. Зато уж на бис надо непременно новое.

— Но у меня нет новых стихов!

— Ах, енот! Неужто так-таки ничего?

— Есть одно, начерно написано.

Поэ̆т показал листок, испещренный помарками.

— Давай сюда!

Сахновский схватил стихи, не глядя сунул в карман и убежал. Вечером сам приехал за чтецом в наемной карете.

Колонный зал московского Благородного собрания был переполнен до отказа вместе с хорами и балконами. Люди висели на колоннах, сплошной массой стояли за колоннами и в проходах партера. Преобладала учащаяся молодежь, но в первых рядах сидела фешенебельная публика.

С эстрады под гром аплодисментов только что сошла Нежданова.

Шло второе отделение.

Приехавшие едва пробились к двери артистической комнаты, где и встретили почти всю литературную „Среду“.

Вечер заканчивали: оставалось выступление Бунина, Телешова и С.

— Боялся я, цензура не пропустит твой новый стих, — отдуваясь, сказал Сахновский, — но устроил так: театральному цензору, еноту, сказал, что стих твой уже разрешен цензурой и завтра выйдет в газете, а в редакцию правильно сообщил, что стих разрешен театральной цензурой. Ну, и в шляпе дело!

— Не вышло бы чего? — возразил поэт.

Но Сахновский только рукой махнул:

— Еноты!

— Боюсь! Брр! — нервничал Иван Бунин, одетый в парадный костюм с какими-то особенными манжета-

ми. — Сейчас мой выход, но столько публики, что страх берет!

— Шесть тысяч человек! — вставил Сахновский.

— Выходи лучше ты, а я после тебя! — попросил Бунин С.

— Напрасно боишься, — шутил тот. — Вот посмотри, какие я сорву аплодисменты!

И вышел.

Сначала все шло как по маслу. Поэта встретили дружные аплодисменты. Голос чтеца гремел. Прочитанное коротенькое стихотворение вызвало взрыв несмолкаемых аплодисментов. Публика не отпускала чтеца, требуя „биса".

На бис поэт прочел стихотворение „Гусляр", которое буквально ошеломило публику: раздались не аплодисменты, а оглушительный грохот, от которого, казалось, сотряслись стены Колонного зала. Стук, крик, рев — все слилось в страшный гул двинувшейся куда-то шеститысячной толпы.

А она ринулась к эстраде, на которой давно уже не было чтеца. Происходило что-то небывалое в Благородном собрании, нечто близкое к междоусобию и „беспорядкам".

Ни устроители вечера, ни сам автор и чтец никак ничего подобного не ожидали и не учитывали. Никто не предвидел, что у тогдашней публики могло быть такое настроение, что разрешенные цензурой стихи, ничего „политического" в себе не заключавшие, могли, однако, подействовать как искра, брошенная в порох.

В зале погасили все люстры за исключением нескольких лампочек. Вошел наряд полиции. Вечер был прекращен.

Наутро, как бы в насмешку, в „Курьере" появились опять те же стихи, которые накануне причинили столько неприятных хлопот московской полиции. Раздраженное и отчасти напуганное градоначальство навсегда закрыло эту, до тех пор вполне лояльную, газету.

Таков был конец московского „Курьера".

Андреев, как официальный устроитель вечера, был привлечен к суду. Но даже судьи в этом случае тайно сочувствовали публике, прочитанным стихам, автору их и ни в чем не повинному ответственному устроителю: его присудили всего к штрафу в 25 рублей „за нарушение общественной тишины". Чтеца и автора стихов

как будто забыли, также Сахновского никто не попрекнул за плутовскую проделку с цензурой. Погибшая по этому поводу газета, по-видимому, считала стоящим закрыться „ради повышения общественного настроения“.

В 1904 году общественное настроение приняло настолько широкие размеры, что между властью и обществом установился нескрываемый антагонизм: „Союз русского народа“ с одной стороны и подпольные организации — с другой начали проявлять заметную активность.

Нелегальные собрания настолько стали обычными, что устраивались обыкновенно днем, в „буржуазных“ квартирах „умеренных“ общественных деятелей.

Вскоре начался памятный „сезон банкетов“.

Всюду в Москве происходили многолюдные собрания, напоминавшие скорее митинги, чем банкеты, с волнующими, повышенного тона речами известных и неизвестных ораторов.

Неизвестно, чем бы кончилась „эпоха банкетов“, если бы в Петербурге 9 января не произошли события, давшие сигнал к стихийному движению 1905 года.

„Среда“, усердно посещавшая ежедневные банкеты, в этот вечер собралась у Телешова. Собрание было прервано прибежавшим откуда-то художником Первухиным, еще с порога закричавшим:

— Новость! Получена сейчас по телефону из Петербурга!

Несвязно, едва переводя дыхание, чахоточный Первухин стал рассказывать подробности потрясающего исторического события.

Предполагавшееся чтение нового рассказа Андреева было отменено.

Этот момент был гранью, после которой начался естественный развал старой телешовской „Среды“.

Дальнейшие общественные и политические события вихрем закрутили всех участников „Среды“, изменив и спутав как личную жизнь каждого из них, так и их целеустремления. Невозможным стало аполитическое объединение писателей, разницу в мировоззрениях которых вскрыла сама жизнь.

Горький и Серафимович переживали в Москве московское восстание. Андреев еще до начала событий уехал в Берлин. Остальных наступившие события разбросали в разные стороны.

Имя „Среды“ было впоследствии узурпировано известным публичным клубом на Дмитровке, занимавшим громадный особняк с шикарным рестораном, залом для концертов и открытой, большой картежной игрой, которая одна и давала богатые средства на содержание этого игорного дома. Правда, там была отдельная комната для собраний „Среды“, но это была уже новая „Среда“, враждебная прежней, не создавшая ни одного нового литературного имени.

Северная столица — Петербург. Отлучение Льва Толстого

Отлучение Льва Толстого от православной церкви, официально объявленное синодом в конце февраля 1901 года, взволновало как вызов стране не только интеллигенцию, но и широкие рабочие и крестьянские массы: имя Льва Толстого было слишком известно даже в темных, почти безграмотных деревнях, где почти не знали о существовании изящной литературы, но о книге „Война и мир“ все-таки многие слышали. Более того, интересовались „запрещенными“ сочинениями Толстого на религиозные темы, о которых сельские священники с осуждением с амвона народу толковали.

„Церковь и государство“, „В чем моя вера“ и „Евангелие“ раскольники и сектанты в рукописях церковным шрифтом в народе распространяли: в глазах крестьян по отношению к церкви Толстой был раскольником.

Влияние этих последних „раскольнических“ произведений великого писателя в низах народных было несомненно революционным независимо от того, хотел этого Толстой или не хотел.

Момент для демонстративного „отлучения“ Толстого был выбран чрезвычайно неудачно, а главное, поздно: страна стояла у входа в новый век и органически нуждалась в радикальных переменах в своей слишком застоявшейся жизни. Нарастал небывало широкий подъем пробуждающихся массовых сил.

„Сдвиг“ деревни, долго не замечаемый и незримый для столичных бюрократических кабинетов, наконец стал ощутимым и для них: в деревню помимо казенных путей пошла совсем новая, неожиданная и нежелательная для правящих сфер литература, вкус к которой, пожалуй, прежде всех привил Толстой: он подменил

традиционные „лубочные сказки“ и „Жития святых“ *своими* сказками и *своими* религиозными сочинениями, написанными с громадной силой анализа. Тем временем в деревню пошли двухкопеечные издания „Посредника“ и других просветительных фирм, расходившиеся в небывалом количестве.

Наконец, чего прежде никогда не случалось, в деревню стали проникать книги вроде „Журнала для всех“ и сборников „Знания“ благодаря их дешевизне и заправскому литературному содержанию с участием лучших современных писателей, приобщивших и деревню к „настоящей литературе“.

К „отлучению“ Толстого, быть может, прибегли с целью дискредитировать его имя в глазах все же религиозно воспитанных масс. Хотели остановить уже начавшееся грозное движение, но результат получился обратный: когда в „неделю православия“ по всей стране во всех кафедральных соборах чудовищные протодьяконы громоподобно предавали *анафеме* рядом с именами Гришки Отрепьева и Стеньки Разина имя великого писателя, которым гордилась страна, массы определенно обиделись, оскорбленные в лучших чувствах к лучшему и умнейшему человеку страны.

И не только религиозно воспитанные массы, но и безрелигиозная интеллигенция, литература и учащаяся молодежь — весь цвет страны — приняли „отлучение“ Толстого почти как личное оскорбление.

Правда, казенная часть печати „разъясняла“, что в этом отлучении неверующего Толстого от церкви верующих со стороны последней нет ничего враждебного или несправедливого, ибо Толстой сам „откололся“, и что поэтому церковь невольно должна подтвердить совершенный им самим акт собственного „раскольничества“.

Но страна подобные смягчающие „разъяснения“, несмотря на их очевидную логичность, приняла за лицемерие и была охвачена таким давно назревшим и справедливым чувством недоверия, антипатии и протеста, что с особенной надеждой приветствовала в литературе прежде всего протест, раскольничество и идейный бунт против всего, что исходило от правителей и „разъяснителей“.

Кроме могучего толстовского таланта, гордого даже в смирении и сопротивляющегося даже в „непротивлении“ своем, она избрала еще второго любимца, тоже идейного бунтовщика и раскольника, появивше-

гося, подобно Пугачеву, где-то за Волгой: его голос давно раздавался в столичной литературе, но сам он, как бы возглавляя „движение низов“, был еще незримым в столице, хотя и предшествовала ему большая и шумная слава: то был Горький.

В самый день „отлучения“ Толстого, вследствие случайного совпадения фактов, внезапно впервые появился в Петербурге и он.

Эти два совпавшие события — „отлучение“ Толстого и первое личное появление Горького в столице — вдвойне волновали учащуюся молодежь, интеллигенцию и журнальную литературу, в которой еще сияло тогда созвездие старых ее корифеев.

К этому, как нарочно, прибавились еще первые гастроли в Петербурге Художественного театра с пьесами Чехова и Горького: приехали главные персонажи труппы с Немировичем-Данченко и Станиславским во главе.

Об отлучении Толстого все они узнали лишь по приезде в северную столицу.

Эти и многие другие известные и знаменитые деятели встретились в день „отлучения“ на собрании „Союза писателей“, посвященном Льву Толстому.

Златовратский

Зимой 1897 года мне случайно пришлось встретиться в Москве с одним почти пожилым студентом типа „вечных“, еще существовавших в тогдашней России. Это был хохол-украинофил с длинными, свешенными вниз усами, горбоносый, с гайдамацкого типа физиономией, с лысеющим лбом и умышленно отпущенным чубом на макушке. Товарищи звали его „Гетманом“, и он, по-видимому, давно привык к этому прозвищу; действительно напоминал портрет Богдана Хмельницкого и прозвище свое носил с удовольствием.

Встретившись на студенческой пирушке, он стал меня расспрашивать об Украине, откуда я только что приехал. Выслушав вынесенные мною впечатления, стал говорить о своей ненависти к цивилизации, к четырем русским факультетам, им оконченным, о нежелании быть ничем, кроме „вечного студента“, а для Украины пожелал, чтобы ее города с русским влиянием были

уничтожены, а вместо них были бы опять степи и гайдамаки.

Его речи напоминали только что напечатанный рассказ Златовратского „Гетман". Там выводился студент, похожий на моего собеседника.

— Позвольте, Гетман! Да вы все это из рассказа Златовратского наизусть читаете или, быть может, это он вас описал?

— Да, — спокойно подтвердил вечный студент, — в рассказе „Гетман" описан я: я знаком с Златовратским и часто бываю у него. Могу и вас познакомить, если захотите.

Я уехал, не воспользовавшись возможностью познакомиться с большим писателем, а рассказ „Гетман" оказался последним произведением Златовратского, появившимся в периодической печати.

В конце восьмидесятых годов, в эпоху народничества, как крупнейший писатель-народник, Златовратский был „модным" писателем, любимцем молодежи. Его „Золотые сердца" печатались в „Отечественных записках". Позднее его произведения появлялись на первом плане „Русской мысли" и „Русского богатства". Имя его тогда гремело не меньше, чем впоследствии имена Короленко, Чехова, Горького.

На публичных литературных вечерах в Москве или Петербурге одно только появление его на эстраде встречалось громом аплодисментов; тысячи людей привлекало на эти вечера имя Златовратского.

Время шло. Златовратский писал не хуже, но все реже.

Для революционно настроенной интеллигенции, в особенности для молодежи, к концу девятидесятых годов наступило неизбежное разочарование в „народе", под которым подразумевалось крестьянство, а следовательно, и в народничестве.

Звезда Златовратского к этому времени тускнела: ведь он когда-то превознесен был за идеализацию многомиллионных масс, так долго остававшихся неведомыми тонкому слою интеллигенции, а он, этот тонкий слой, в свою очередь, никогда не был понятен или хотя бы ощутим там, в низах, так долго остававшихся таинственными. Новому поколению нужно было, чтобы кто-нибудь осветил мир пролетариата, и не только осветил, но возжег перед ним лампаду новых надежд на обнов-

ление устарелого государственного строя им, пролетариатом, согласно идеям марксизма.

Надвигалась новая полоса увлечений и верований вечно мятущейся интеллигенции. Народничество все более уходило в прошлое, а на освещенную арену литературы вылетели новые птицы, зазвучали новые песни. Умолк в литературе знаменитый старый народник, так долго и, казалось, незыблемо утверждавший „устои".

В 1903 году, уже в качестве писателя, я поселился в Москве недалеко от Пушкинского бульвара — в студенческом районе, в „Гиршах".

По странной случайности в одном подъезде со мной, выше этажом, жил Златовратский.

В то время как мы, тогдашняя литературная молодежь, печатались в лучших журналах, объединились в альманахах, расходившихся в небывалом количестве, когда наши книги затопили читающую Россию, а мы все, в свою очередь, сделались „модными" писателями, собирались на литературных „Средах", Златовратский тут же, рядом с моей квартирой, жил никому не нужный и не интересный, несправедливо оставленный той самой публикой, которая еще так недавно преклонялась перед ним и переживала пафос при одном его появлении на эстраде. Теперь мы заслонили в глазах толпы старую гвардию писателей.

Это было наглядным доказательством тщеты и мимолетности всякой славы, капризной Фортуны, случайно возвеличивающей своих любимцев и потом безжалостно оставляющей их.

Бывавший у него и у меня писатель Белоусов — „поэт из народа", „суриковец" -- часто укорял меня, почему я не бываю у Златовратского. Он решил собрать к нему „нашу компанию".

Действительно, как-то под вечер зимнего московского дня Белоусов пришел с целой дружественной для меня компанией: тут были Вересаев, Найденов, Федоров. Мы поднялись из моей квартиры во второй этаж.

Златовратский жил с семьей в очень скромной квартирке из четырех комнат.

Наше посещение в таком количестве оказалось неожиданным и заметно взволновало его. В доме засуетились, а сам хозяин, встретивший нас в передней, торопливо зазвал в кабинет.

Кабинет находился в задней комнате с мрачными окнами, выходившими во двор. Большой, базарной ра-

боты письменный стол на точеных ножках — и ни одной книги, ни одной бумажки на столе. Впрочем, в комнате стоял большой книжный шкаф с книгами, и больше никакой мебели.

Златовратскому было лет шестьдесят восемь. Это был коренастый, сутуловатый, ширококостный старик с седоватой окладистой бородой и жидкими длинными волосами, заглаженными назад, делавшими его похожим на деревенского дьячка. Недаром он происходил из духовного звания, о чем свидетельствовала сама наружность и „духовная“ фамилия. Лицо его было крупно, аляповато, неправильно, с суровым взглядом из глубоких орбит, почти мужицкое лицо.

Я и раньше знал, что Златовратский с семьей живет небогато, что тираж его книг упал и он вынужден служить где-то на грошовой должности, но при взгляде на обстановку бедной, неуютной квартиры убедился в этом.

Мне казалось странным, почему этот большой писатель, написавший столько значительных, крупных вещей, бросил писать. Что послужило причиной? Разочарование в народничестве? Но ведь тогда это литературное течение еще не умерло, также существовало „Русское богатство“, было где печататься.

В ответ на это Белоусов еще до нашего визита говорил: Златовратский не может писать по болезни, страдает головокружениями и какой-то „боязнью пространства“, не может долго сидеть за письменным столом, даже не может ходить по улицам без провожатого.

Уже этого одного достаточно, чтобы потерять значительную долю литературной работоспособности. Как же он мог еще где-то служить?

Вскоре нас позвали в столовую, где был подан чай и собрана скромная закуска.

Разговор шел общий и, конечно, о литературе. Закуски на шесть-семь человек не хватило, и, вероятно, по этой невысказанной причине хозяин поднял вопрос о переселении компании в ресторан „Прага“, где через несколько минут мы и очутились в отдельном кабинете.

Злобой дня в тогдашней литературе был непомерный и не вполне объяснимый успех Горького и молниеносная слава Леонида Андреева, первая книжка которого только что вышла.

Казалось недостаточным объяснить их быструю и

громкую славу только большой талантливостью: центр тяжести находился в „ударности“ проблем, которые они ставили, в повышенной „революционности“ их настроения.

Помню, говорил Вересаев:

— Качественно с Андреевым никто из нас сравниться не может, это художник исключительный. Но ведь бывают книги совершенно не художественного содержания, вызывающие большой успех, как, например, „Записки врача“, и бывают произведения высокохудожественные, даже гениальные, не имеющие никакого успеха у современников. Следовательно, условием исключительного успеха некоторых писателей, как, например, успех давно забытого Марлинского, часто бывает общность настроения писателя и публики, созвучность эпохе.

Но успех бывает даже при отсутствии талантливости. Например, мимолетный успех одного литературного фигляра, предтечи Бальмонта. Я говорю о быстро забытом Емельянове-Коханском, которого вряд ли и вспомнит грядущее поколение . . .

Все засмеялись. Но не смеялся Златовратский.

На речь Вересаева со всех сторон посыпались реплики.

Златовратский, опустив свою большую с лысеющим лбом голову, слушал с напряженным вниманием, волнуясь. Вопрос об успехе и забвении, видимо, больно задевал его.

В присутствии большого писателя, книги которого когда-то увлекали меня, мне не хотелось говорить, но друзья спросили также и мое мнение.

Я высказал мысль, казавшуюся мне общепризнанной: большинство русских писателей до сих пор были гуманистами и являлись выразителями буржуазной гуманности, в которой главным образом нуждается буржуазия для получения отпущения своих грехов; что все здесь собравшиеся писатели тоже буржуазны, а Горький и Андреев по их мировоззрению не буржуазны. Они требуют не прощения грехов, а наказания и отмщения, и в этом их мировоззрении и заключается их созвучие с „духом времени“, в этом главная причина их успеха, помимо яркой талантливости.

Слова мои о „буржуазности“ писателей произвели впечатление разорвавшейся бомбы.

Начался всеобщий гвалт. Все возмутились. Я по-

нял, что гуманные мои друзья ничуть не желали „угождать буржуазии“, так как считали себя сторонниками будущей революции.

Златовратский с раскрасневшимся лицом и сверкающими глазами крепко стучал увесистой ладонью по столу, желая быть услышанным.

Все замолчали.

— Русская литература произошла от гоголевской „Шинели“! — начал он взволнованно и резко. — Из этой „Шинели“ вышли Достоевский и Толстой, возвысившие голос в защиту униженных и оскорбленных. А кто же был более унижен и более оскорблен, как не бесправный класс крестьян?

Русская литература была выражением души народа: вот откуда происходит и кого имеет в виду наш гуманизм! Из-за того, что за гуманизм прячется буржуазная идеология, русская литература не изменит великим идеям гуманизма, ибо мы не буржуазию защищаем, а требуем человеческих прав для тех, кого она унижает и давит!

Старый писатель говорил горячо и убежденно, с пылающим лицом и загоревшимися глазами, в которых внезапно вспыхнул таившийся под седым пеплом былой могучий темперамент.

Время нанесло народничеству и народникам сокрушительный удар: секира давно уже лежала у корня этого когда-то всеобщего увлечения интеллигенции.

Пережив революцию 1905 года, Златовратский умер в полном и несправедливом забвении.

В. С. Миролюбов

В романе Амфитеатрова „Восьмидесятники“ при описании тогдашних студенческих волнений эпизодически описан под настоящим именем студент Московского университета Виктор Сергеевич Миролюбов.

Того же Миролюбова под вымышленным именем в девятидесятых годах в одном из своих романов тоже эпизодически портретно описал Боборыкин в качестве начинающего певца.

Несколько позднее в одном из видных толстых журналов печатался роман под заглавием „Человек с планом“. В герое романа многие узнавали видоизменен-

ную, но слишком оригинальную миролюбовскую фигуру.

Еще будучи студентом, Миролюбов водил близкое знакомство с большими писателями: с Михайловским, Златовратским, Глебом Успенским и в особенности с Плещеевым, имевшим тогда особенное влияние в литературных кругах.

На публичных студенческих вечерах, где главным „гвоздем" было „златовратское" чтение, не меньшим „гвоздем" было и „миролюбовское" пение: студента с замечательным голосом все прочили в будущие оперные певцы, а молодежь на студенческих вечерах встречала бурей аплодисментов. Выдавался он еще как студенческий оратор и один из вожаков всяких общественных выступлений молодежи. Самая наружность его была импонирующая: почти гигантская фигура, статность, кудри до плеч, красивое, иконописное лицо.

По многим из этих причин был он вхож к знаменитым писателям, пользовался и, можно сказать, с юности сложился под влиянием этих больших и интересных людей.

Университета за свою „заметность" и „политическую неблагонадежность" он, конечно, не кончил и после наиболее громких студенческих „беспорядков" был выслан из столицы.

После этого Миролюбов очутился в земледельческой колонии „толстовцев" на Волге, вблизи Самары. Колонию эту организовал популярный тогда сибирский богач и промышленник Сибиряков, известный в столицах просвещенным либерализмом и дружбой со всеми писателями, начиная с Льва Толстого.

Писатели, вероятно, и направили многообещающего молодого человека в эту колонию.

Осенью 1887 года Миролюбов, уже в тридцатилетнем возрасте, приезжает в Самару, снимает ватный пиджак и валенки, с которыми не расставался в деревне, и, одетый барином, всегда в сюртуке, сразу попадает в круг местной интеллигенции.

Этот человек без всякого общественного положения, находящийся под негласным надзором, без средств, живет уроками, но обращает на себя внимание интересной внешностью, красноречием, пением и обаятельностью.

Наступившей зимой 1887 года в столицах снова произошли грандиозные студенческие беспорядки по поводу введения нового университетского устава, отни-

мавшего у студенчества все его прежние вольности. Беспорядки закончились массовой высылкой студентов в провинциальные города.

Всюду в интеллигентских квартирах собирались студенты, устраивали нелегальные вечеринки. Как на закрытых собраниях, так и на многолюдных вечеринках выступал в качестве оратора Миролюбов: бывший студент старшего поколения, он играл роль вожака и организатора.

То было время, когда еще писал Надсон, вскоре умерший, которым страстно увлекалась молодежь.

Миролюбов возился с молодыми поэтами, читал и разбирал их стихи, обнаруживая развитой литературный вкус.

На музыкально-вокальные концерты в местном благородном собрании молодежь, интеллигенция и прочая публика валом валила из-за участия Миролюбова в числе местных артистических сил.

Но вот к концу зимы схлынула молодежь, волнами гонимая в ссылку, и наступила длительная эпоха реакции, безвременья и уныния.

Миролюбов тоже исчез из опустевшей провинциальной жизни, в которой он мелькнул вместе с волной краткого оживления.

Кто-то из меценатов обратил внимание на его выдающийся голос и отправил в Италию учиться пению. Наступило время, когда молодежь толпами устремилась на сцену, к артистической деятельности, как к единственной отдушине в царстве всеобщего удушения, но, конечно, удача на этом поприще выпадала для очень немногих.

Через пять лет учения Миролюбов вернулся в Москву уже с обработанным голосом и был принят на сцену Большого театра.

Даже в Европе немного было таких голосов, каким обладал Миролюбов.

Дирекция радовалась, что нашла такого Марселя для „Гугенотов", какого еще не было на мировой сцене, но ее ожидало большое разочарование.

Миролюбов (на сцене Миров), выступавший в течение нескольких лет в Большом театре, не решался выступить ни в одной из главных партий басового репертуара, ограничиваясь вторыми ролями вроде царя в „Аиде", слуги в „Демоне", Гремина в „Евгении Онегине" и т. п.

Новый певец с феноменальным голосом необычайной красоты и силы, с безграничным диапазоном оказался мало музыкален от природы и, кроме того, совершенно лишенным артистических способностей: на сцене в каком угодно костюме и гриме он продолжал чувствовать себя русским интеллигентом Виктором Миролюбовым.

Но и это было бы с полбеды, если бы героического вида великан не терял присутствия духа на сцене, не трусил так, что со страху не слышал оркестра, не видел дирижера, пел не в такт, то отставая от оркестра, то опережая его и теряя способность не только „играть“, но хотя бы сколько-нибудь сносно держаться на сцене.

Выступление на сцене стало для него ужасом и мукой: он еще дома начинал дрожать и волноваться, увидев свое имя на афишах.

Понятно, что в день спектакля на сцену выходил совершенно больной человек и проваливал самую простую, второстепенную роль.

Наконец он стал по полгода сказываться больным и действительно болел от одних только терзавших его страшных мыслей, от болезненной мнительности.

Кроме того, за ним числилась „политическая неблагонадежность“, и в торжественные дни, когда за кулисы приходили высокопоставленные персоны, дирекция спроваживала Мирова подальше с глаз начальства. Интеллигент, тяготевший больше к общественной деятельности, чем к сцене, чувствовал себя безнадежно чужим в узкочиновничьей среде казенного театра.

Промучившись таким образом пять лет на казенной сцене, обладатель мирового голоса решил наконец „сойти со сцены“, вернуть себе прежнюю фамилию и заняться журнальной деятельностью.

Миролюбов открыл в Петербурге небольшой ежемесячный журнальчик, назвав его „Журналом для всех“, назначив баснословно дешевую цену — всего рубль в год.

Миролюбовскому начинанию улыбнулся необыкновенный успех: годовая подписка сразу же выразилась в неслыханной цифре в сто тысяч экземпляров.

Ничто не бывает случайно или беспричинно: мысль о хорошем литературном журнале, двинутом в массы, прежде всего пришла в голову не коммерсанту, а чело-

веку революционной закваски, с юных лет тяготевшему к литературе.

Искания и блуждания молодого Миролюбова, толкавшие его то в земледельческую колонию народников, то на сцену, привели наконец к его истинному призванию.

Колоссальная подписка была признаком того, что народился новый, „массовый“ читатель, требующий доброкачественной умственной пищи, но эту пищу до Миролюбова не могли и не хотели дать коммерческо-литературные предприниматели, проглядевшие перемену, происходившую в массах.

Недаром Миролюбов провел свою юность около больших писателей, воспитывался около них: от них он воспринял любовь и вкус к литературе и строгую требовательность к ней.

Недаром он, в свою очередь, был хорошим воспитателем молодежи, которая всегда любила с виду сурового, а на самом деле доброго человека.

Недаром он и прежде так близко к сердцу принимал искания и первые шаги начинающих писателей и поэтов: в нем зрел природный талант литературного руководителя, идеального редактора.

Для своего детища — журнала — этот оставшийся на всю жизнь холостяком сурово-одинокий человек не гонялся за известными и знаменитыми именами: он имел чутье к начинающим писателям с задатками таланта, и они органически тянулись к нему: Миролюбов привлек к своему начинанию литературную молодежь без имени и известности, но с верно угаданной талантливостью.

Как-то сам собою около Миролюбова образовался кружок поэтов и беллетристов, которых он, сам ничего не писавший, „учил“ писать. Незаметно около „Журнала для всех“ рос литературный молодняк, параллельно горьковской группе „знаньевцев“, уже распустившейся пышным цветом.

В миролюбовском журнале впервые начали печататься дотоле никому не известные молодые авторы, в числе которых оказались Муйжель, Арцыбашев, Башкин, Лазаревский, Сургучев . . .

„Журнал для всех“ выписывали действительно „все“: трудовая интеллигенция, сельские учителя и учительницы, земские люди, мелкие чиновники, школьные библиотечки, рабочие и крестьяне.

Миролюбов сделался близким другом всех лучших писателей, как это было с ним и прежде, в годы молодости: часто бывал по делам журнала у Льва Толстого в Ясной Поляне, у Горького в Нижнем, у Андреева в Москве и на собраниях „Среды“. Охотнее всего собирал у себя в редакции и дома своих собственных „выучеников“.

Характерным для Миролюбова был один необыкновенный поступок, на который не всякий редактор решился бы: когда во время разгона I Думы Лев Толстой прислал в „Журнал для всех“ большую статью, написанную в духе „непротивления злу насилием“, Миролюбов признал ее непригодной для напечатания и возвратил великому автору, а вместо нее напечатал выборгское воззвание депутатов Думы, за что, конечно, „Журнал для всех“ был закрыт тотчас же, а редактор его эмигрировал за границу, где и оставался многие годы.

В эпоху наступившей реакции предприимчивые люди коммерческого типа, как водится, не один раз пытались использовать популярное название „Журнал для всех“, прибавляя к нему словечко „Новый“ мелким, еле заметным петитом и выпуская журнал в прежней обложке.

Последняя подделка под знаменитый журнал была сделана темным издательством грубо реакционного направления, но публика ни разу не поддалась на обман, и поддельные „Журналы для всех“ заметного успеха не имели.

Сергеев-Ценский

Первой вещью, сразу сделавшей Ценскому литературное имя, была поэма в прозе „Лесная топь“.

На торфяных работах, в глуши непроходимых лесов и болот, вдали от всякого жилья человеческого, одичавшая от невозможных условий труда артель чернорабочих до смерти насилует случайно проходившую женщину, а потом бросает ее тело в бездонную лесную топь. Ужасный случай описан с потрясающим реализмом и вместе с тем звучит как поэма благодаря мастерским описаниям дикой природы, тонким и сложным, как кружево. Манера письма, ударная меткость кисти, яркость контуров оставляют впечатление скорее живописи, чем литературы.

Появление этой яркой вещи в тогдашней беллетристике, богатой талантами, совпало с эпохой, когда только что схлынул краткий подъем 1905 года. Реалистические „знаньевцы“ отходили на второй план, и тоже кратковременно расцветал модернизм в лице „Шиповника“ с Андреевым во главе. К модернистам примкнул и новый молодой писатель.

Я встретился с ним в Петербурге, в традиционном гнезде писателей — в меблированном доме „Пале-Рояль“. По преданию, там еще Пушкин живал, долго жил Н. Михайловский, жило несколько поколений позднейших писателей, вплоть до революции. Там было тихо, семейственно, комнаты просторны и сумрачно-уютны, по-старинному разделенные на прихожую, гостиную и спальню, а стоили не больше трешницы в сутки, помесячно — иногда дешевле.

В скучной тишине большого старинного дома, еще хранившего мрачное величие пушкинской эпохи, удобно было писать, зная, что в ближайшем соседстве тоже скрипят перьями „братья писатели“. Иногда, в виде отдыха, собирались к кому-нибудь для приятельских разговоров; после летних путешествий — осенью обыкновенно — происходил „слет“ в „Пале-Рояле“.

В один из моих ежегодных приездов я застал обычную компанию „роялистов“ в полном сборе. Говорили о свежей новинке — о „Топи“ Сергеева-Ценского.

— А сам он живет здесь же, в сороковом номере, только он чудаковатый: вывесил художественный плакат на своей двери с надписью: „Меня никогда нет дома!“

— К нему никто и не ходит, а он, между прочим, ходит ко всем.

— Вероятно, работает, не хочет, чтобы посетители мешали.

Раздался стук в дверь, и на пороге появился некто чрезвычайно лохматый.

— Вот он! — со смехом сказало сразу несколько голосов.

Вошел высокий, прямой, смуглый молодой человек, в черных бравых усах и с целой охапкой буйных кудрей, отливавших синим отливом, небрежно спутанных, отпущенных до плеч, крупно вьющихся „по ветру“, как у песенного Ваньки-ключника. Эти дремуче-запущенные роскошные кудри свидетельствовали не о франтовстве,

а, наоборот, о недосуге заниматься ими, о свирепой занятости литературного аскета.

Это первое мое впечатление подтвердилось потом, при более близком знакомстве.

Ценский жил одиноким отшельником в „Пале-Рояле“, так же как, вероятно, жил когда-то в деревенской глуши Тамбовской губернии, уроженцем которой считался, и вообще везде, куда ни бросала его бродячая жизнь. Из его биографических обмолвок известно было, что он два года служил в пехотной армии офицером и вышел в запас. Долгое время перебивался уроками, был домашним учителем и наконец бросил эту профессию после постоянных ссор с богатыми людьми, в домах и поместьях которых ему приходилось служить репетитором.

Подтвердилось и впечатление живописи от его манеры литературного письма — исключительной способности „рисовать словами“: еще задолго до выступления в литературе он готовился в живописцы; его этюды масляными красками свидетельствовали о таланте и порядочной технике пейзажиста. Он и в литературе оставался тонким, наблюдательным пейзажистом.

Летом его тянуло на юг, в излюбленные им места девственной природы и дикой, некультурной жизни, откуда он и черпал красивые впечатления и трагические темы.

После первого знакомства я постоянно встречался с ним или в столице, в литературной среде, или, наоборот, в глухих захолустьях на юге, чаще всего летом в Крыму, где он наконец обосновался.

Где-то около Алушты вдвоем с другом-плотником собственноручно построил себе дом, где и жил в полном одиночестве.

Я не видел этого дома, но представляю, что это трудовое жилище, выстроенное чуть ли не голыми руками хозяина и работника, вряд ли отличается размерами или комфортом.

Однажды летом мы встретились в Ялте. Я пригласил его к себе в Байдарскую долину, где поселился около татарской деревни, в замечательно живописной местности. К нам присоединилось еще несколько человек молодежи обоего пола, интересовавшихся пешим путешествием в глухие углы Крыма: предстояло пройти семь верст лесными тропинками, втрое сокращаю-

щими расстояние от Ялты до Байдарской долины. Этот путь существует со времен великого переселения народов из Азии в Европу. Подъем через перевал, высеченный в скалах в виде циклопической лестницы, существует с тех незапамятных времен, лишь слегка ремонтируемый населением. Этим путем я много раз путешествовал из деревни на южный берег, любуясь девственной, первобытной природой как бы искусственно созданных красот. Ценский, конечно, заинтересовался: все это было как раз в его духе.

Около часа мы взбирались по циклопическим ступеням тысячелетней каменной лестницы, и когда наконец очутились наверху седловидной горы, откуда начинался едва заметный уклон в долину по берегу ручья, ниспадавшего по каменным уступам под тенью столетних деревьев букового леса, то потеряли тропинку. Решили спросить дорогу в видневшейся лесной сторожке. Но в ней в праздничный день оказалось великое пьянство артели лесорубов: навстречу нам высыпала пьяная ватага распоясанных и босых людей, до глаз заросших бородами. Несколько молодых женщин в нашей группе, видимо, заинтересовали их. Могла произойти большая неприятность, если бы мы обнаружили робость или вызвали ссору. Но нас было все-таки пятеро здоровых мужчин, вооруженных кизиловыми палками, оправленными в железо, поэтому опасная встреча кончилась мирно.

Пока мы спускались в долину, Ценский экспромтом рассказал тут же придуманный им рассказ на тему этой встречи о том, что могло бы произойти, но не произошло. Я убедился в его способности создавать занятные рассказы по всякому поводу.

Красочное впечатление от живописного пути было к вечеру все-таки испорчено: землевладелица, жившая в собственной усадьбе, рядом с деревней, пригласила нас в свой сад на чаепитие.

И дернуло же несчастную петербургскую даму начать с Ценским литературно-салонный разговор!

— А вы любите Гарина-Михайловского? Ах, я обожаю! Первоклассный писатель! Так гладко пишет, так гладко!

Косматый Ценский вдруг вскочил из-за стола с горящими яростью черными глазищами. Его, что называется, взорвало.

Хозяйка выронила чашку, сделала круглые глаза и,

до полусмерти напуганная, убежала в дом, а вслед ей неслась громовая тирада о творчестве бедного Гарина.

— Противная баба, — бросил он по ее адресу, берясь за шляпу, — да и Байдарская долина эта — могила какая-то! Пойдем! — кивнул он мне и зашагал в деревню.

Он близко и простодушно принял к сердцу пустую мещанскую болтовню, оскорбительную для его выстраданной любви к литературе.

Спустя несколько лет, осенью, в холодный, ветреный день, я приехал из Байдар в Севастополь на деревенских лошадях, озяб, проголодался и зашел в буфет вокзала обогреться и перекусить. В буфетной комнате не было никого, кроме буфетчика. Я стоял у стойки, выбирая и заказывая еду.

Вдруг с перрона вошел бравый военный.

— Ба! — весело раздался знакомый голос.

Я едва узнал Ценского: буйные кудри были снесены под гребенку, усы подстрижены и закручены, на руках — белые перчатки.

— Что за превращение?

— Призван, брат! Хе-хе! На войну идем!

Поговорив несколько минут, мы расстались.

Последняя моя встреча с Ценским была опять в „Пале-Рояле". За несколько месяцев до революции 1917 года.

Я только что приехал и, проходя по коридору, увидел знакомую надпись на большом листе бумаги:

„Меня никогда нет дома!"

„Жаль!" — добавил я карандашом, но в эту минуту в дверь выглянул Ценский.

У него был прежний, опять „писательский", вид: спутанные кудри до плеч, небрежный костюм и бледное лицо, как бы еще хранившее отблеск неостывшего возбуждения за тяжелым трудом творчества.

— Заходи!

— А как же надпись?

— Э! — Он махнул рукой. — С ней все равно никто не считается!

Мы вошли в комнату и стали говорить о предстоящих событиях.

Реакция и литература упадка после 1905 года. Арцыбашев

После поражения революции 1905 года началась беспощадная расправа, водворилась на много лет гнетущая, тупая реакция.

Реакционный политический режим породил у части интеллигенции реакцию внутреннюю, психологическую, уныние, пессимизм и упадок духа, сказавшийся в потребности найти забвение в чем-то другом: искали суррогатов в опьянении себя вином, кокаином, половой распущенностью, азартной игрой; мрачным флером подернулось затуманенное сознание разочарованных душ, утративших веру в лучшее будущее.

„Все насмарку, и всему конец" — приблизительно такими словами обозначали эту длительную полосу отчаяния и горького разгула.

Арцыбашев, выступивший в миролюбовском „Журнале для всех" со „Смертью Ланге" и в „Современном мире" с рассказом „Рабочий Шевырев", ренее этого работал над длинным романом, в то время забракованным Миролюбовым. Теперь этот роман автор частями посылал в „Современный мир", где его стали печатать, не зная дальнейшего содержания рукописи.

Оказавшаяся „сексуальность" романа несколько смутила редакцию, хотя поневоле пришлось продолжать печатание в надежде, что суть произведения не в „этом".

Но именно „это" создало неожиданный и необыкновенный успех романа у публики, с болезненным вниманием относившейся к ставшим модными „проблемам пола". Заглавие романа, „созвучного эпохе", было „Санин".

Влияние этого пессимистического произведения, поставленного критикой „по ту сторону литературы", быть может вопреки намерению автора, было исключительно „сексуальным": в жизни появились „Санины", „санинцы" и „арцыбашевки".

Изданный отдельной книгой, „Санин" прогремел на всю Россию, доставив автору сомнительное имя, полускандальную славу и довольно большие деньги.

Молодежь увлекалась Арцыбашевым, этой новой тогда знаменитостью: думали, что в „Санине" решается вопрос об „освобождении женщины", что автор вы-

вел там самого себя, как нового „героя нашего времени“, рокового красавца и победителя сердец.

На самом же деле Арцыбашев только мечтал походить на своего героя, но никогда не был им в жизни.

По внешности это был маленького роста чахоточный молодой человек, которому на почве туберкулеза когда-то была сделана трепанация черепа, наделившая его большим физическим недостатком — неизлечимой глухотой и неприятно звучавшим, несколько гнусавым голосом.

Правда, лицом он был недурен, но лицу своему с холеной, подстриженной бородкой и с подкрученными маленькими усиками, желая хоть отчасти походить на „автора Санина“, он старался придавать фатоватый оттенок, что, однако, ему мало удавалось, потому что на самом деле Арцыбашев совсем не был фатом. Ходил всегда в коротенькой студенческой косоворотке, студенческих форменных рейтузах и смазных сапогах, хотя никогда студентом не был, а учился в училище живописи, намереваясь сделаться художником.

Несколько странная, демократическая его наружность с заметным физическим недостатком, вероятно, мало импонировала „роскошным женщинам“ санинского типа, которых Арцыбашев неизменно выводил в своих произведениях и к которым стремился в жизни, но никогда не имел успеха, за что мстил им в своих романах, рассказах и пьесах.

Физически обиженный природой и вместе одаренный духовно, болезненно самолюбивый и несчастливый в личной жизни, он, вероятно, уже вследствие своих природных данных был всегда склонен к пессимизму.

Личная его жизнь в этом отношении была чрезвычайно показательной: он рассказывал, что в юности его обманным образом обвенчали, напоив пьяным до беспамятства. Утром он удалил от себя навязанную ему жену и больше никогда не встречался с нею, несмотря на то, что имел от нее сына, которого никогда не видел и не хотел видеть. Мальчик был очень хорош собой и болезненно, фанатически любил своего знаменитого отца, известного ему только по фотографиям.

После такого неудачного „законного“ брака Арцыбашев был двенадцать лет женат на женщине ничем не замечательной, был для нее совсем не по-„санински“ любящим, верным и заботливым супругом, написал при ней „Санина“, прославился, разбогател, но как

только перевел на ее имя большую часть своих денег, она тотчас же оставила его ради заурядного актера быкообразной наружности.

Погоревав и обеднев, автор „Санина“ встретился в Петербурге на многолюдной писательско-актерской вечеринке с маленькой выходной артисточкой и на другой же день женился на ней, польщенный легкостью своей победы. Эта жена проводила его до могилы, но говорили, что он не столько любил ее, сколько ревновал, выстрадав пьесу „Ревность“.

Таков был в „жизни“ известный в свое время писатель Арцыбашев, автор „Санина“, больной и несчастный человек.

После „Санина“, переведенного на европейские языки и даже на японский, Арцыбашев дал ряд произведений с неизменным привкусом „сексуальности“, но в сущности одно пессимистичнее другого: отвращение к жизни и неизбежность самоубийства — вот выводы, к которым приходят герои его последнего романа — „У последней черты“.

У этой черты угасло и творчество Арцыбашева, модного представителя упадочной литературы в мрачную эпоху реакции — до Октябрьской революции.



КОММЕНТАРИИ

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО СКИТАЛЬЦА

Имя Скитальца не очень много говорит нашему современному читателю. Книг его издавалось мало, и большинство из них стало библиографической редкостью.

Между тем в литературе своего времени он занимал видное место: его песни распевались революционной молодежью России, а „Прощальное слово“, положенное на музыку композитором М. А. Слоновым, прочно вошло в репертуар Ф. И. Шаляпина.

„В те времена, — писал И. Эренбург, — когда жил Чехов, люди читали не только Чехова, но и Потапенко, Боборыкина, Баранцевича, Скитальца и многих других средних авторов. Конечно, лучшая часть читателей понимала, что нельзя сравнивать Потапенко с Чеховым или Скитальца с молодым Горьким; но в целом литература соответствовала запросам общества. Писатели, даже весьма посредственные, освещали те вопросы, которые интересовали читателей „Русского богатства“ или „Русской мысли“[1].

Современник Чехова, Горького, Бунина, Скиталец смог выступить в литературе со своим видением мира, со своей художественной манерой, сумел откликнуться на важнейшие проблемы современности.

Его рассказы, повести, воспоминания не потеряли своего значения и сейчас, как отзвук прошлой эпохи, описанной талантливым писателем-демократом.

Скиталец (Степан Гаврилович Петров) родился 28 октября (ст. ст.) 1869 года в селе Обшаровка Самарской губернии в семье крестьянина, отставного солдата, бывшего крепостного. „Я — крестьянский писатель. Из крестьян“, — говорил о себе Скиталец.

Детство будущего писателя прошло в деревне, где он испытал все ужасы тяжелого крестьянского быта. Две светлых фигуры озаряли в это время его жизнь — отец и бабушка. Талант-

[1] Литературная газета, 1957, № 19, 12 февраля.

ливый рассказчик, певец, гусляр, изобретатель-самоучка, отец писателя прожил трудную, безрадостную жизнь, которая, однако, не сломила его.

„Жизнь отца, — говорил Степан Гаврилович, — представлялась мне каким-то ужасным, длинным „сквозь строем“, свистом розог, плетей, палок, горьких обид и нескончаемых несчастий... И ненависть к прошлому осталась у меня на всю жизнь... Большое влияние в детстве оказала на меня бабушка, замечательная русская сказочница. Я вырос и входил в жизнь с неукротимой жаждой борьбы с пережитками прошлого и горячим стремлением к светлому будущему“[1]. О своей бабушке писатель вспоминал впоследствии: „Была она талантливой сказочницей. Народных сказок знала великое множество и умела их рассказывать фантастически, великолепным сказочным языком, в лицах, с пением и прибаутками. Именно она своими сказками, кротким характером и всею своею незлобивою и благородной личностью внушила мне на всю жизнь любовь к поэзии, ко всему прекрасному и все лучшие человеческие чувства, каких потом не могли вытравить ни школа, ни люди, ни жизнь“[2]. Свои детские впечатления об отце Скиталец отразил в автобиографической повести „Сквозь строй“ (1901).

„Страсть к чтению и наклонность к литературным занятиям обнаружились у меня рано, — писал Скиталец в автобиографии, — читать начал с пяти лет (лубочные сказки), писать стихи — с двенадцати лет. Четырнадцати лет написал поэму, принятую было в печать, но запрещенную цензурой. С тех пор я не переставал писать „для себя“, но печататься не решался до двадцатипятилетнего возраста“[3]. Поэма „Кабала“ — о жизни отца — была написана под большим влиянием Н. А. Некрасова, которым в то время увлекался юный поэт.

С 1885 по 1887 год Скиталец учился в Самарской учительской семинарии, откуда его исключили за „политическую неблагонадежность“. „После исключения из учительской семинарии я был исключен отовсюду. Служил положительно во всех министерствах, от окружного суда до земства включительно, был архиерейским певчим и оперным хористом“[4], — писал Скиталец В. С. Миролюбову в 1895 году. В семинарии он много читал, писал. Особое

---

[1] Цит. по кн.: Малютин Иван. Незабываемые встречи. Из воспоминаний. Челябинск, Челябинское книжн. изд-во, 1957, с. 82.

[2] Цит. по кн.: Скиталец. Избранное. М., Советская Россия, 1977, с. 4.

[3] Скиталец С. Избранные рассказы. М., Советский писатель, 1939, с. 4.

[4] Цит по ст. Г. П. Аникиной „Раннее творчество С. Г. Скитальца“. — Уч. зап. Моск. обл. пед. ин-та. М., 1965, т. 157, вып. 5, с. 84.

влияние на его творчество оказали Лермонтов, Некрасов, Никитин, позднее — Надсон, под воздействием которого, видимо, складывался образ лирического героя произведений молодого писателя с его настроениями пессимизма и отчаяния. В это же время формировались и политические взгляды Скитальца — он был членом кружков антиправительственного направления.

„С 1893 по 1897 гг., — вспоминал писатель впоследствии, — путешествовал по югу России в поисках жизненного пути: работал в земстве, вращался в студенческих революционных кружках, был певцом в бродячей труппе, с которой исколесил Украину, Крым, Бессарабию, Западный край...“[1] Эти годы Скиталец называл годами „душевного одиночества, безнадежности и безысходной тоски“, „самым мрачным временем во всей моей жизни. В эти годы я был на границе самоубийства и жил только из жалости к семье, для которой был единственной опорой“[2].

Жизненные впечатления этого времени отразились в первых автобиографических произведениях Скитальца, появившихся на страницах харьковской газеты „Южный край“ и подписанных „С. П.“.

С 1897 года Скиталец становится сотрудником „Самарской газеты“, где печатаются его очерки, сказки, стихотворения. 14 сентября 1897 года появился первый стихотворный фельетон „Самарские строфы“, подписанный: „Скиталец“ („Самарская газета“, 1897, № 198, 14 сентября). С этого времени Скитальцу было поручено вести постоянный фельетон „Самарской газеты“, который до этого — в 1895—1896 годах — вел М. Горький, выступавший под псевдонимом „Иегудиил Хламида“. В отличие от Горького Скиталец не принимал участия в работе редакции газеты, а был в ней просто „построчником“. Все „Самарские строфы“ подписывались псевдонимом, а рассказы, очерки, стихи — „С. Петров“ или, реже, — С. П.“[3].

По-видимому, псевдоним „Скиталец“ писатель взял себе потому, что, подобно Горькому, он много странствовал. Горький очень одобрил этот псевдоним. В письме В. С. Миролюбову он писал: „Псевдоним — ни в коем случае изменять нельзя, об этом усиленно прошу. Это очень важно для меня, Петрову — безразлично, для всех — тоже безразлично. Пускай, кто хочет, смеется, потом я попытаюсь заставить задуматься над такой штукой, как Скиталец, — не Петров, а вообще скиталец“[4].

---

[1] Скиталец С. Избранные рассказы, с. 4.

[2] Скиталец. Юность. М.—Пг., ГИЗ, 1923, с. 108.

[3] Предположение о том, что псевдоним „Скиталец“ возник не без участия Горького (История русской литературы, т. X. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1954, с. 587), не очень убедительно, так как встреча Скитальца с Горьким произошла лишь в 1898 г.

[4] М. Горький. Материалы и исследования, т. III. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1941, с. 44.

Стихотворения Скитальца этой поры, наполненные настроениями тоски, непроходимой печали, явно подражательны. Однако они привлекали своей демократической направленностью: в них осуждался мир „сытых" и „толстопузых", с состраданием говорилось о бедных тружениках. Поэтический язык раннего Скитальца довольно однообразен. То и дело мелькают такие слова, как „воздушные", „чудные", „обманутые", „заветные", „грезы", „добро", „свет", „заря". Романтические элементы в поэзии писателя в значительной степени связаны с устным народным творчеством. Так, в „Волжских легендах" Скиталец создает образ Степана Разина, гордого великана, не сломленного страданиями и готового к борьбе за счастье народа. В грозные годы первой русской революции „Волжские легенды" воспринимались как призыв к свободе, к народной мести и революции.

Совсем в другом качестве — писателя-сатирика — выступает Скиталец — автор фельетонов „Самарские строфы". Еженедельные фельетоны, помимо обычных размышлений о погоде, театре, гастролях, путевых впечатлениях автора, юбилеях, праздниках, содержали размышления на самые животрепещущие темы: поэта волнуют „свинцовые мерзости" жизни, разорение деревни, ужасающее положение детей городской бедноты. На Скитальца-фельетониста огромное воздействие оказала сатирическая поэзия добролюбовского „Свистка", „Искры" Курочкина, традиции Некрасова и близких ему поэтов-демократов 60-х годов.

Решающим для дальнейшего творчества писателя оказалось его знакомство с Горьким, которое произошло не весной 1899 года, как вспоминал сам Скиталец, а в 1898 году в Самаре. „Это был первый писатель, введенный Алексеем Максимовичем в большую литературу"[1], — отмечал А. И. Богданович.

При содействии Горького впервые в центральной печати появились стихи Скитальца. В сентябрьской и октябрьской книжках „Журнала для всех" за подписью „С. Петров" были напечатаны два стихотворения Скитальца: „Вы сказались, бессонные ночи..." и „Мне снилось поле...". Горький сообщал Миролюбову в июне 1899 года: „Стихи Петрова в печати производят лучшее впечатление, чем писаные. Вы, по-моему, хорошо сделали, напечатав их, это очень поддержит Петрова. У него есть талант..."[2]

Горьковское влияние очень сказалось на темах и настроении поэзии Скитальца. Под непосредственным воздействием „Песни о Соколе" написана поэма Скитальца „В лесу" (1900). Ее сюжет — борьба двух лосей, старого и молодого, за право быть главным

---

[1] М. Горький на родине. Горький, ОГИЗ, 1937, с. 94.

[2] Горький М. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 28. М., 1954, с. 82—83.

в лесу — символичен, за ним стоят размышления автора о счастье, свободе. Поэма Скитальца утверждала мысль, что погибнуть в борьбе за счастье — это и есть высший смысл жизни.

В мае 1900 года Скиталец решает оставить газету. Начался новый, важный период творчества Скитальца. „Это был медовый месяц нашей литературно-творческой дружбы, — писал Скиталец в воспоминаниях о Горьком, — когда мы оба работали с чрезвычайным воодушевлением, веря в близкое и радостное будущее нашей страны, когда нам казалось, что она уже на пороге красивой и светлой, свободной жизни".

Горький стал литературным наставником Скитальца, несмотря на то что они были почти ровесниками (Горький был старше его на полтора года) и Скиталец к моменту знакомства с Горьким имел уже солидный литературный опыт за плечами. „Я живу на полном иждивении Горького, — писал Скиталец брату Аркадию 10 декабря 1900 года. — Под его влиянием я быстро развиваюсь, развертываюсь. Горький возится со мной, как с ребенком. Нянчится, учит меня, заставляет до бесконечности переделывать мои работы. Сам поправляет их, дает темы. При таких хлопотах даже и бездарного человека можно выучить писательству, а я же не совсем бездарный. Он руководит моим чтением, я весь ушел в работу"[1].

В ноябрьской книжке журнала „Жизнь" за 1900 год появилась повесть Скитальца „Октава". Это был выход Скитальца в большую литературу. Знакомство с Горьким, его влияние на молодого писателя, рост революционно-освободительной борьбы русского народа, назревание революционной ситуации в России — все это оказало воздействие на проблематику повести, в центре которой фигура плотника Захарыча, ставшего благодаря своему могучему басу церковным певчим. Создавая „Октаву", Скиталец использовал свои личные наблюдения над миром певчих, отразившиеся и в его более ранних очерках и рассказах.

В образе Захарыча писатель раскрывает трагедию сильного человека, задыхающегося в тяжелой атмосфере капиталистического общества. „... Идем мы к погибели, оттого что ... у нас не умерла душа и мы еще можем чувствовать и петь, искренно веселиться и искренно плакать! От этого мы идем к погибели", — восклицает товарищ Захарыча по хору певчий Томашевский.

Захарыч, став певчим, начинает задумываться над смыслом жизни, его одолевают мысли о ее противоречиях (ранний рассказ, вошедший в „Октаву", так и назывался — „Мысли"). Это приводит к тому, что непьющий Захарыч становится, как и большинство певчих, отъявленным пьяницей. Толстосумы города издева-

[1] Цит. по кн.: Малютин Иван. Незабываемые встречи, с. 83.

ются над ним, как и над другими певчими, устраивают в церкви состязания певцов, швыряют им деньги „на овес“, всячески глумятся над ними. В конце концов Захарыч не выдерживает жизни „в певчих“ и уходит снова в плотничью артель.

Очень высоко оценил „Октаву“ Горький. В ноябре 1900 года он сообщал Миролюбову: „Петров — растет, дай ему боже всего доброго! Голову даю на отсечение, из него выйдет крупная сила ...“[1]

В ночь с 16 на 17 апреля 1901 года по телеграфному предписанию департамента полиции из Петербурга Горького и Скитальца арестовали. Их обвиняли в связях с революционными кругами, в сочинении, печатании и распространении воззваний, имевших целью возбудить среди рабочих противоправительственные волнения, а также в приобретении в Петербурге мимеографа для размножения революционных прокламаций и воззваний к сормовским рабочим. Горького по состоянию здоровья выпустили через месяц, а Скитальца держали в тюрьме три месяца и потом выслали под надзор полиции на родину. Горький писал В. А. Поссе: „Три месяца тюрьмы подействовали на Скитальца очень благотворно: он стал сразу серьезнее, глубже и — тоньше“[2].

В тюрьме Скиталец написал повесть „Сквозь строй“, рассказ „За тюремной стеной“ (1901), цикл стихотворений. В образе главного героя повести „Сквозь строй“ нарисован отец писателя — Гаврила Петрович. „Сквозь строй“ — название символическое. Человек как бы проходит „сквозь строй“ мучений, лишений, страданий — к протесту против угнетения личности. Герой повести романтизирован автором, он напоминает сказочного богатыря: могучая физическая сила, незаурядный ум. Его речь насыщена поговорками, пословицами, язык очень красочен, колоритен.

Еще один русский богатырь изображается Скитальцем в рассказе „За тюремной стеной“. Писателя вообще интересуют люди, стоящие „на грани босячества“, правдоискатели, возмущающиеся несправедливостью жизни. Он рисует их бескорыстными, человечными и душевно благородными, наделяет их любовью к прекрасному — к музыке, песне, природе. Романтизация героев — отличительная черта почти всех произведений Скитальца, преувеличение, гиперболизация становится отличительной особенностью его художественной манеры (ср. также: Мирон в рассказе „Лес разгорался“, „огарки“ в одноименной повести).

Горький ввел Скитальца в круг писателей, составлявших знаменитые „Среды“. Он способствовал также изданию его произведений в издательстве „Знание“.

---

[1] Горький М. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 28, с. 142.
[2] Архив А. М. Горького, т. VII. М., Гослитиздат, 1959, с. 24.

С деятельностью книгоиздательства товарищества „Знание“ (1898—1913) связана большая и светлая полоса жизни русской литературы начала века (1901—1912). Вокруг „Знания“, возглавляемого Горьким, были объединены многие крупные писатели: А. Чехов, Л. Андреев, А. Куприн, И. Бунин, А. Серафимович, В. Вересаев и др. В. И. Ленин охарактеризовал книги, выходящие в „Знании“, как „сборники, стремившиеся концентрировать лучшие силы художественной литературы“[1].

„Знаньевская“ литература росла и формировалась в грозовой атмосфере кануна первой русской революции; а расцвет „Знания“ с закономерностью происходил в героические 1905—1907 годы. На эти годы приходится и основная масса изданных „Знанием“ собраний сочинений писателей, в том числе и собрание сочинений Скитальца.

Горький, по свидетельству Серафимовича, так определил главную задачу „знаньевской“ литературы: „Революция созревает, рабочий класс все более и более революционизируется, и в этой атмосфере даже легальная (и потому охватывающая широкие массы), но честная литература сыграет большую мобилизующую роль“[2].

„Знаньевская“ литература с ее демократической и гуманистической направленностью была не только эхом мыслей и чаяний народных масс, но и одним из факторов, содействовавших передовому общественному движению. Позднее, в 1927 году, Скиталец писал о „знаньевских“ сборниках: „Я был в числе тех писателей, произведения которых задолго до революции возбуждали в читателях жажду полноты жизни. В сущности, не мы поднимали волну, а нараставшая волна поднимала нас: в этом была разгадка шумного успеха писателей сборников „Знания“. Но когда эта волна возросла до гигантских размеров, она настолько превысила первоначальное настроение, что, обрушившись, сбросила нас, и мы, исполнив свое назначение в литературе, разлетелись мелкими брызгами в начавшейся великой буре...“[3]

Примечательным событием в творческой жизни Скитальца явился выход в свет в марте 1902 года первого тома его „Рассказов и песен“. Подготавливая к изданию этот сборник, Горький писал К. П. Пятницкому: „Ваше предположение, что книжка будет иметь успех — очень радует меня. Очень, очень жажду этого успеха в публике, а если он будет сопровождаться неодобрением критики — я сгорю от восхищения“[4].

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 48, с. 3.

[2] Серафимович А. Собр. соч. в 10-ти томах, т. 10. М., 1948, с. 423.

[3] Вечерняя Москва, 1927, № 295, 29 декабря.

[4] Архив А. М. Горького, т. IV, с. 65.

Книга действительно имела большой успех у читателя, потому что выражала настроения народных масс в предреволюционные годы, звала к борьбе за свободу. Обратил на нее внимание и В. И. Ленин. Получив в Лондоне пятый том „Рассказов“ Горького и книгу Скитальца, он писал матери 7 июня 1902 года: „Горького, Скитальца получил и читал с *очень большим* интересом. И сам читал и другим давал“[1].

В книге были помещены почти все новые стихи Скитальца. Стихотворения поэта 900-х годов — живые документы эпохи, когда зрели революционные силы, приведшие страну к 1905 году. „Да вы сами-то понимаете ли, как нужно теперь то, что вы пишете? — говорил Горький Скитальцу в 1900 году, знакомясь с его стихами. — Никогда еще наша страна не переживала такого всестороннего подъема, который потом будет источником величайших вдохновений...“

Скиталец-поэт часто выступал со своими произведениями на вечерах, концертах. Чтение стихотворений „Гусляр“ и „Нет, я не с вами, своим напрасно...“ на литературно-музыкальном концерте в Москве 12 декабря 1902 года вылилось в бурную революционную демонстрацию. 30 июля 1905 года Скиталец участвовал в организованном Горьким в Териоках литературном концерте, средства от которого шли в фонд помощи бастующим путиловским рабочим, выступал на митинге трудящихся Гельсингфорса 19 января 1906 года в честь Горького и русской революции.

9 февраля 1905 года Скиталец был вновь арестован полицией на квартире Леонида Андреева, где проводилось заседание девяти членов Центрального Комитета РСДРП, которые собрались, как доносил начальник Московского губернского управления в департамент полиции, „для выработки программы по вопросу о революционизировании народных масс“. Скиталец и Андреев были заключены в Таганскую тюрьму. 25 февраля их освободили за „отсутствием состава преступления“.

1905 год — год наивысшего творческого подъема Скитальца. Скиталец-прозаик в условиях революционной ситуации обращается к двум важнейшим темам эпохи — крестьянства и интеллигенции. Писатели самых различных направлений изображали деревню периода революции — натуралист В. Муйжель („Аренда“, „Грех“), мистически настроенный Б. Зайцев („Хлеб, земля, люди“), большинство писателей-демократов и зачинатель новой литературы М. Горький.

Крестьянские рассказы Скитальца предреволюционного и революционного периода („В дороге“, „Полевой суд“, „Лес разгорался“ и др.) составляют единый цикл. Показательно, что в осно-

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 55, с. 223.

ву рассказа „Полевой суд“ положены реальные события, происшедшие летом 1899 года: крестьяне деревни Борковка Самарской губернии, основываясь на старинной дарственной грамоте царя Алексея Михайловича, запахали землю графа Орлова-Давыдова. Это самоуправство запечатлелось на много лет на спинах искателей правды. Сорок три человека были подвергнуты истязаниям. Скиталец сам присутствовал на судебном разбирательстве этого дела.

История села Селитьба, где происходят события рассказа, приобретает большое политическое и социальное звучание. Рассказ показывает путь, каким шел народ к усвоению революционных идей, как рушилась вера в доброго царя и законную справедливость, как вчерашние угнетенные приходили к идее борьбы. Этот рассказ Скитальца прямо перекликается с очерком Горького „9-е января“. „Скитальцу удалось старое связать по-новому“[1], — писал об этом произведении Л. Андреев.

Интересно, что во время революции 1905—1907 годов крестьяне деревни Борковка прибегли к революционным методам борьбы: „23 ноября крестьяне села Никольское, деревень Русская и Мордовская Борковка... разрушили и сожгли близлежащую усадьбу Орловых-Давыдовых“[2].

Написанный несколькими месяцами позже (ноябрь 1905 года), рассказ „Лес разгорался“ показывает уже выступление широких крестьянских масс против угнетателей. Подожженный мужиками лес и угрозы, что скоро запылают усадьбы, удачно переданная атмосфера пробудившейся деревни („Протрезвились мужики! Проспались! Призадумались. Помяните мое слово: будут теперь дела у нас!..“), упоминание о забастовке мужиков-крючников, вступивших в единоборство с толстобрюхим купчиной, „кружок сознательных мужиков“, изучающих подпольную литературу, наконец, образ Мирона — деревенского агитатора и вожака, — все это отчетливо говорило об изменившейся в ходе революции деревне.

„Рассказ очень недурен, — писал Горький Пятницкому, — но сильно эсероват. Социалисты-революционеры возликуют — это вода на их мельницу“[3]. Горький имел в виду то, что Скиталец верно уловил неспособность интеллигенции быть руководителем восстания (образ агронома Михаила Васильевича); однако, понимая это, он не пришел к мысли о том, что только рабочий класс может возглавить крестьянство в борьбе против их общих врагов.

Крупнейшее произведение этих лет — повесть „Огарки“ (1906). Скиталец изображает в ней людей, выбитых из колеи жизни,

---

[1] Архив А. М. Горького, п-ка „Зн.“, 3-I-47.

[2] Цит. по ст. Г. П. Аникиной „Творчество С. Г. Скитальца периода первой русской революции“. — Уч. зап. Моск. обл. пед. ин-та, т. 187, вып. 8, с. 17.

[3] Горький М. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 28, с. 399.

Это опустившийся на „дно“ певчий Северовостоков, человек сказочной физической силы и удали; рабочие Сокол и Михельсон; художник-неудачник Савоська, импровизирующий поэтические легенды из жизни животных и птиц, в которых звучит страстная жажда свободы; это австрийский дезертир Пискра и, наконец, главарь „огарческой фракции“ Илья Толстый — артистическая, щедрая, талантливая натура, бывший студент, исключенный из университета за революционную деятельность.

Живые люди, в большинстве своем щедро одаренные природой, герои Скитальца не в состоянии ужиться с бездушным, социально порочным, нравственно оскудевшим обществом и анархически его отвергают. В этом близость „огарков“ к их литературным предшественникам — например, босякам Горького. Но, глубоко презирая мир имущих, они вместе с тем испытывают стыд и за самих себя, „за отсутствие... настоящего, достойного их дела“, за бесплодную трату большой силы своей в грандиозных дебошах. Некоторые из них ведут трудовую жизнь (Сокол, Михельсон), лишь досуг проводя в „вертепе“; другие же, истые „огарки“, находятся на грани босячества. Но и они боятся перейти этот рубеж, страшатся стать „чистыми“ босяками, потому что, в отличие от последних, у них есть еще общественные инстинкты, они „всячески помогают друг другу“, воспринимая даже самих себя как некое сообщество — „огарчество“, „огарческую фракцию“. „Огарки“, в отличие от прежнего „босяка“, имеют свою внутреннюю жизнь, строго скрываемую, но полную значения для них. „И она, эта скрытая, обособленная жизнь... давала огаркам ту гордую самонадеянность и чувство собственного достоинства, которые отличали их повсюду, среди всех людей“. В таком изображении героев — суть нового слова, сказанного Скитальцем о старых героях.

Повесть „Огарки“ — произведение, глубоко противоречивое по своему идейному замыслу. В качестве носителей социального протеста писатель представил в ней только деклассированные элементы, опоэтизировал стихийный, анархический бунт люмпен-пролетариев, признав их значительной силой в освободительном движении. Однако Скитальцу одному из первых в литературе удалось нарисовать в повести и характер рабочего, упорно тянущегося к культуре, выступающего против существующих порядков. Рабочие Михельсон, Сокол, Митяга, подобно кузнецу Федору Ивановичу (из рассказа „Кузнец“), вступают на путь идейной борьбы. Ссыльный рабочий-революционер Михельсон становится зачинщиком забастовки на фабрике.

Повесть „Огарки“, напечатанная в горьковском „Знании“ (сб. X), вызвала горячий интерес у современников и ожесточенные споры в критике. Особенно значительным было выступление А. А. Блока.

В статье „О реалистах“ Блок дал высокую оценку повести. В творчестве писателя Блок услышал „горьковскую ноту — дерзкий задор и сосредоточенную пристальность взгляда“[1].

Поражение первой русской революции явилось тяжелым ударом для Скитальца. Он редко выступает в печати, мало создает новых произведений. Его стихи этих лет свидетельствуют о том, что он тяжело пережил крушение революционных надежд, хотя он продолжает верить:

Голос услышите мой,
К вам проникающий в души.

С гор я сойду силачом
И — драгоценную ношу —
Слово, как пламя и гром,
Я принесу вам и брошу!

Его поэзия находила отклик у демократического читателя. Следил постоянно за развитием творчества горьковской „литературной дружины“ и В. И. Ленин. Так, например, В. И. Ленин воспользовался образной поэтической характеристикой Скитальца из стихотворения „Струны порваны! Песня, умолкни теперь!..“ (1906) для оценки предательской роли либеральной буржуазии в работе „Победа кадетов и задачи рабочей партии“[2].

В эти годы Скиталец создал свое новое произведение „Этапы“, в котором отразилось его стремление замкнуться в узком мирке личных, интимных переживаний. Безысходная тоска одинокого, обиженного на мир интеллигента, беспросветная жестокость социальных уродств, „народ, несущий к святым мощам скорби, и жалобы, и слезы свои, и мечты, и мольбы“, — составили содержание повести.

Познакомившись с нею в рукописи, Горький советовал Скитальцу не печатать ее. Он сурово осудил главного героя повести, его отгороженность от мира и общества: „Он — прежде всего — слеп духовно: весь мир, все люди, города, лошади, камни, звезды, — все закрыто для него его же нелепой и не очень гениальной фигурой; он ничего не видит, не ощущает, кроме себя, и он невероятно надоедлив своим „унижением, кое паче гордости“, самолюбованием, самохвальством. Хуже всего то, что Вам он — явно нравится...

Три года назад наша страна пережила великое сотрясение своих основ, три года тому назад она вступила на путь, с коего никогда уже теперь не свернет, если б даже и хотела этого.

[1] Блок Александр. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 5. М.—Л., Гослитиздат, 1962, с. 110.
[2] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 12, с. 291.

Неужели этот поворот, историческое значение которого так огромно и глубоко, прошел для Вашего героя незамеченным, не оживил, не взволновал Вашей души радостным волнением, не зажег огонь Вашей любви к родине новыми, яркими цветами? Повесть говорит — нет. Скиталец остается тем же, чем он был до 905 г.

Но если так — бросьте перо. Бросьте, это я говорю Вам дружески, а не учительски.

Вам, видимо, не о чем писать, кроме себя самого, и Вы ничего не любите, кроме себя.

А любите Вы себя изломанной, больной и — простите! — неумной любовью, любовью — без гордости. И Вы совершенно не умеете отличить Ваше личное, субъективное, только для Вас одного значительное, — от общезначимого, интересного и ценного для всех людей"[1].

Несмотря на уничижительный отзыв Горького, повесть была напечатана в XXV книжке „Знания", что дало повод Горькому заявить о своем выходе из товарищества „Знание". После разрыва с Горьким Скиталец два года ничего не писал, а в 1913 году появилась повесть „Метеор" — тоже автобиографического характера, — в которой Скиталец описывает историю своего знакомства с Горьким. Повесть вновь была резко отрицательно оценена Горьким[2].

В начале первой мировой войны Скиталец добивается отправки на фронт санитаром. Результатом его поездки явились несколько очерков и рассказов, в которых он выступил с осуждением войны, примкнув к тем немногим писателям, которые в это время сохраняли верность идеям гуманизма.

В 1914—1917 годах Скиталец много путешествует. Он проехал с концертами от Петербурга до Владивостока и через Маньчжурию в Харбин. Писатель выступал с чтением своих произведений, особенной популярностью у зрителей пользовались народные песни, исполнявшиеся им под аккомпанемент гуслей, на которых он сам играл. Это был период активного увлечения Скитальца фольклором. С вдохновением исполнял Скиталец песни о Степане Разине — „Любовь Степана Разина", „Степан Разин и княжна", „Меж крутых бережков".

Скиталец, стоявший в стороне от революционного рабочего движения, не сразу и не до конца понял значение Великой Октябрьской социалистической революции. Однако в литературных кругах его имя было авторитетным. Недаром в 1921 году лит-

---

[1] Горький М. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 29, с. 81—82.

[2] См. об этом: Петрова М. Г. В школе Горького (О творчестве Скитальца). — Горьковские чтения, 1964—1965. М., Наука, 1966, с. 221.

отдел Наркомпроса командировал Скитальца в ДВР. Как указывалось в мандате, подписанном А. С. Серафимовичем, он направлялся в Дальневосточную республику: „1) Для организации отделений ЛИТО в крупных центрах ДВР. 2) Для связи с местными литературными организациями и 3) Для собирания образцов народного революционного творчества“[1].

Завершение боевых действий на Дальнем Востоке застало Скитальца в Харбине, куда он приехал, чтобы консультировать постановку своей пьесы „Вольница“ (1915). Ураганом событий он оказался оторванным от родины. За это время вышли в свет его мемуары: „Юность“, „Воспоминания“ (1923), отдельным изданием были напечатаны рассказы. Скиталец сотрудничает на страницах эмигрантской газеты „Русский голос“ (позже преобразованной в „Русское слово“), печатает цикл „деревенских“ очерков „В бегах“, создает около двухсот стихотворных фельетонов „Харбинские письма“.

В то же время Скиталец живо интересуется и советской литературой, пропагандирует творчество советских писателей в харбинских газетах (статья о „Жизни Клима Самгина“, о Горьком — „Питомец славы“, статьи о В. Маяковском, о Ф. Панферове и др.).

Писатель прошел сложный путь духовной эволюции, прежде чем решил вернуться на родину. 2 декабря 1927 года Скиталец опубликовал открытое письмо, сообщая о разрыве с эмигрантской прессой и о своем желании вернуться в Советский Союз („Новости жизни“, Харбин).

А вскоре москвичи читали статью Скитальца об эмиграции. Он писал: „Не по книжным убеждениям, а по натуре своей, по крови, по близости миллионным низам народным я всегда был и есть сторонник рабочего и крестьянского сословия не потому, что я им брат или сват, но потому, что я хотел для них лучшего будущего... Революция не случайный эпизод русской истории, и созданная ею власть, очевидно, является вполне закономерным этапом... Мне незачем больше оставаться здесь — в рядах политических эмигрантов — вследствие давно назревшего коренного расхождения во взглядах на судьбы современного большевизма. Отныне я разрываю с ней (с эмиграцией. — *Н. Л.*) и возвращаюсь к работе во имя возрождения будущей России, к новой молодой советской художественной литературе“[2].

С 1928 года Скиталец начинает выступать в советской периодической печати, в частности — в журнале „Красная новь“. Од-

---

[1] Цит. по ст. М. П. Диченскова „А. М. Горький и С. Г. Скиталец“. — Луганский гос. пед. ин-т. Тезисы докладов и сообщений на итоговой научн. конференции за 1964 г. Луганск, 1965, с. 12.
[2] Вечерняя Москва, 1927, № 295, 29 декабря.

нако возвращение Скитальца в Советский Союз было задержано на несколько лет конфликтом на КВЖД, трудностями с визой. За время пребывания в Харбине Скиталец в корне переработал повесть „Этапы“, написал новый роман „Дом Черновых“ (1929) и работал над большим романом „Кандалы“ — о революционных событиях 1905 года в деревне. В журналах печатались его воспоминания о встречах с В. И. Лениным, Л. Толстым, М. Горьким, А. Чеховым, Ф. Шаляпиным, Л. Андреевым, Н. Гариным-Михайловским.

Эти литературные воспоминания и сегодня привлекают внимание читателей. Они совмещают в себе достоверность мемуаров, необычный для этого жанра глубокий психологический анализ и специфическое литературно-критическое исследование. Скиталец с правдивостью историка воссоздает общественно-литературную атмосферу, дух времени, когда происходили его встречи с писателями, общественными и революционными деятелями, обстановку, в которой протекала их жизнь и работа, запечатлевает их индивидуальные черты. Вместе с тем воспоминания Скитальца во многом проясняют и своеобразие личности самого писателя, его вкусы, взгляды на искусство и т. д.

Богата и разнообразна в этих произведениях и палитра Скитальца-художника. Автор исключительно внимателен ко всему, что составляет неповторимую личность, индивидуальность человека. Воспоминания Скитальца отличаются живостью языка, умением кратко, в нескольких емких словах дать художественный портрет.

В каждом литературном портрете Скитальца — особая художественная задача, определяемая объектом изображения, актуальными запросами дня и целью, которую в связи с этим ставил перед собой Скиталец — художник, публицист, критик.

В мае 1934 года Скитальцу удалось наконец вырваться из Харбина и уехать в Москву. Возвратившись на родину, писатель активно включается в литературную жизнь страны. Он выступает на Первом съезде писателей 30 августа 1934 года, публикует свои воспоминания. „Своему возвращению в Союз, — вспоминал Скиталец, — я в значительной доле обязан Алексею Максимовичу... Тотчас же по приезде в Москву я навестил Горького... При его одобрении я вновь горячо принялся за литературную работу... Мы часто виделись. В течение 1935 года я был у него в гостях более десяти раз...“[1]

В последние годы своей жизни Скиталец работает над романом „Кандалы“. Ранний одноименный рассказ (1904) послужил ядром будущего романа. Это произведение долго вынашивалось автором. Многие рассказы и очерки 1900—1919 годов послужили

[1] Волжская коммуна, 1936, № 141, 21 июня.

эскизами к роману. В произведении Скиталец обращается к своей давней теме — революционному преображению деревни и стремится подвести итог своим наблюдениям над жизнью крестьянства эпохи первой русской революции.

„Кандалы" — это историко-революционное произведение. Сам автор назвал его „историческим сказом", желая подчеркнуть документальность многих эпизодов и образов.

Оценивая творческий вклад Скитальца в отечественную литературу, президиум Союза писателей СССР в приветствии писателю в 1939 году, в связи с его 70-летием, отмечал, что „в своих автобиографических повестях „Сквозь строй", „Этапы", „Метеор", используя непосредственно пережитый и лично прочувствованный материал", Скиталец сумел „нарисовать правдивую картину мрачной царской действительности". „Ваши „Огарки" — жгучее обличение собственнического мира, уродовавшего и коверкавшего талантливых людей". В приветствии подчеркивалось, что в последнем романе „Кандалы" Скиталец остался „верен своей кровной теме, изображению жизни народных низов. Революционизирующаяся деревня изображена в этом романе с большой силой и яркостью таланта писателя"[1].

Скиталец умер в 1941 году. Но живут его произведения. Они популярны не только в нашей стране. „Сквозь строй" и „Полевой суд" переведены на немецкий язык, „Полевой суд" — на английский, ряд рассказов — на болгарский, почти все произведения переведены на японский язык.

Скиталец первым открыл для читателей „интересный мир бедных артистов, утешавших грешные души своих богатых хозяев, мир талантливых людей, жизнь которых проходила между церковью и кабаком". Он показал также полубогемную жизнь „огарков", этих полупролетариев-полуинтеллигентов, рассказал о борьбе крестьян за свое освобождение в революцию 1905—1907 годов. Его проза и поэзия проникнуты сочувствием к простым труженикам, ненавистью к тем, кто их унижает. Скиталец-поэт останется в нашей памяти как автор замечательных революционных песен, положенных на музыку композиторами-современниками. Благодаря произведениям Скитальца богаче и разностороннее стало наше представление о русской литературе.

Первые произведения Скитальца были опубликованы в харьковской газете „Южный край" в 1894 году. С 1897 года он печатается в „Самарской газете", а затем — и в центральной печати (журналы: „Жизнь", „Журнал для всех", „Мир божий" и др.).

---

[1] Литературная газета, 1939, № 62, 11 ноября.

Первой книгой Скитальца была: Рассказы и песни, т. I. СПб., Знание, 1902. Следующие тома его произведений вышли: в том же издательстве „Знание“ — тома II и III (1907, 1910); в издательстве „Общая польза“ — том IV (1912); в издательстве „Освобождение“ — тома V и VI (1912). Полное собрание сочинений писателя в восьми томах выходило в издательствах „Жизнь и знание“ и „Коммунист“ в 1916—1919 годах. Из советских изданий наиболее значительными являются: Песни скитальца. М., 1919; Повести и рассказы. М., Гослитиздат, 1935; Избранные стихи и песни. М., Гослитиздат, 1936; Избранные рассказы. М., Советский писатель, 1939; Избранные произведения. М., Гослитиздат, 1955; Повести и рассказы. Воспоминания. М., Московский рабочий, 1960; Избранное. М., Советская Россия, 1977.

В настоящий сборник включены лучшие прозаические произведения Скитальца, избранные стихотворения и стихотворные фельетоны, воспоминания.

Стихотворения печатаются по изданиям: Самарская газета, 1897—1899; Скиталец. Песни скитальца. М., 1919; Избранные стихи и песни. М., 1936; повести и рассказы — по изданиям 1935, 1939 и 1955 гг.; воспоминания — по изданию: Скиталец. Повести и рассказы. Воспоминания. М., Московский рабочий, 1960.

СТИХОТВОРЕНИЯ

Впервые стихотворения Скитальца напечатаны в „Самарской газете“ (1897—1900 годы). Позднее были включены им в книгу „Рассказы и песни“ (т. I. СПб., 1902). Эта книга начиналась программным стихотворением „Колокол“, над рукописью которого много работал Горький. В ранних стихах Скитальца очень сильно влияние Надсона, а также лермонтовской поэзии. Говоря о влиянии на него образа Демона, Скиталец впоследствии вспоминал: „Между нами в это время было много общего: чудовищное одиночество духа, отверженность, оскорбленная гордость и смутное сознание своего превосходства над окружающим ... миром“ (Скиталец. Юность. М.-Пг., Госиздат, 1923, с. 111).

В стихотворении „Кузнец“ Скиталец первым в русской поэзии создал образ поэта-рабочего, кузнеца, пролетарского революционера. Образ поэта-кузнеца, поднимающего тяжкий молот на своих классовых врагов, стал популярным в революционной рабочей поэзии: „Кузнецу“ И. Привалова, „Песня кузнеца“ А. Микульчик, „Мы кузнецы, и дух наш молод...“ Ф. Шкулева и др.

Свидетельством популярности стихов поэта и их созвучности эпохе является и внимание к ним композиторов того времени:

многие из них были положены на музыку и стали подлинно народными песнями.

Известный критик А. И. Богданович, анализируя сборник „Рассказов и песен“, писал: „Трудно сказать, в чем сильнее его талант — в повести или в стихотворениях, из которых большинство превосходны как по блестящему, совершенно особому стиху, так и по самобытности настроения. Нам кажется, что в своих стихотворениях он даже оригинальнее, чем в прозе. Здесь все оригинально, начиная с стиха, музыкального и совершенно особенного по построению, напоминающего ритм народных песен, и по силе страсти, сдавленной и могучей, терзающей певца, для которого его песня — это вопль муки и злобы, не находящей себе утоления. Таковы „Колокол“, „Нет, я не с вами: своим напрасно и лицемерно меня зовете...“ и др.“. Но, продолжал далее критик, „иногда и у него выливаются такие нежные песни, которые выдают тайну Скитальца, что не только для гнева открыто это сердце. Вот, например, какое грациозное стихотворение вылилось из-под его пера (далее приводится текст стихотворения „Колокольчики-бубенчики звенят...“. — *Н. Л.*). Не правда ли, какая прелестная идиллия?“ („Мир божий“, 1902, № 5, май, библиограф. отд., с. 110—111).

Критика особенно отметила стихотворение „Я хочу веселья...“, назвав его „одним из наиболее удачных по тому искреннему, теплому колориту, которым оно проникнуто и от которого автор в других стихотворениях отказывается, по-видимому, сознательно, чтобы „бить в железные сердца“, не достигая и последней цели, так как для нее нужен более энергичный, жгучий стих“ („Образование“, 1902, № 9, сентябрь, отд. „Из жизни и литературы“, с. 44).

ПОВЕСТИ. РАССКАЗЫ. ОЧЕРКИ И ФЕЛЬЕТОНЫ

АНТИХРИСТОВ КУЧЕР

Впервые — „Самарская газета“, 1897, № 255, 28 ноября, и № 259, 3 декабря.

САМАРСКИЕ СТРОФЫ

Впервые — „Самарская газета“, 1897, № 257, 262, 268, 274, 30 ноября, 6, 14, 21 декабря.

Одной из центральных в „Самарских строфах“ была крестьянская тема, получившая затем развитие в прозе Скитальца. Эта тема волновала в то время многих писателей. О капитализации

и разорении деревни писали Горький („Финоген Ильич“, „Шабры“), В. Вересаев („Лизар“, „В сухом тумане“, „К спеху“), С. Гусев-Оренбургский („Самоходка“), Н. Телешов („Самоходцы“, „С богом“, „Нужда“, „Домой“), И. Бунин („На чужой стороне“, „На край света“).

Сам Скиталец был далек от того, чтобы рассматривать свои „Самарские строфы“ как гражданскую поэзию. Он писал:

Негромок, скромен голос мой...
Он — не труба изобличенья,
Не голос гнева громовой
И не бойца одушевленье.
Моя душа всегда полна
Миролюбивыми мечтами.
Увы! Не лира мне дана —
Бандура с тихими струнами!

В действительности же его сатирические фельетоны били не в бровь, а в глаз. По своему содержанию демократическая поэзия Скитальца была близка революционной поэзии пролетарских поэтов.

Стр 61. *„Жидивка“ бедная устала...* — Видимо, речь идет о драме В. А. Роткирха „Жидовка“ (М., 1887).

Стр. 66. *...„искать по свету... уголок“!* — неточная цитата из последнего монолога Чацкого в комедии А. С. Грибоедова „Горе от ума“: „Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету, // Где оскорбленному есть чувству уголок“.

Стр. 71. *„Поэта сердце... пополам“.* — Стихотворное переложение отрывка из „Путевых картин“ Г. Гейне (часть третья): „Ах, дорогой читатель, если уж ты хочешь сокрушаться об этой надорванности, то уж лучше сокрушайся о том, что весь мир надорван по самой середине. А так как сердце поэта — центр мира, то в наше время оно тоже должно самым жалостным образом надорваться... В моем же сердце прошла великая мировая трещина...“ (Гейне Генрих. Собр. соч. в 10-ти томах, т. 4. М., Гослитиздат, 1957, с. 246—247).

Стр. 77. *„Вперед, без страха и сомненья!“* — первая строка известного стихотворения А. Н. Плещеева „Вперед! без страха и сомненья...“ (1846).

КВАЗИМОДО

Впервые — „Самарская газета“, 1899, № 154, 21 июля.

КОМПОЗИТОР

Впервые — „Самарская газета“, 1899, № 211, 1 октября.

ИКАР

Впервые — под названием „Статуэтка“ — „Самарская газета“, 1899, № 276, 22 декабря.

ОКТАВА

Впервые — „Жизнь“, 1900, ноябрь, № 10.

В 1899 году Скиталец поделился с Горьким своими планами написать большую повесть о певчих и получил его одобрение: „...это можно великолепно написать и это до зарезу нужно! Это очень важно! Понимаете ли вы, что такие писатели теперь необходимы? Вы — интеллигент, вы — из народа, и у вас, по-видимому, столько накопилось здесь, — стукнул он себя в грудь“. Скиталец посещает Горького в Васильсурске, а затем начинает писать повесть „Октава“.

Повесть вызвала широкую полемику в критике. Критик В. Г. Подарский писал, что повесть „отмечена несомненною печатью дарования, и дарования, которое успевает соединить знание изображаемой среды и художественную обработку сюжета...“ („Русское богатство“, 1901, № 2, февраль, отд. „Наша текущая жизнь“, с. 190).

Не все критики положительно оценили образ главного героя повести — Захарыча. Например, А. Измайлов писал: „Пока вы читаете первую половину рассказа о жизни певчих, их быте, своеобразных его особенностях, бесспорно, прекрасно известных автору, — вы чувствуете полное удовлетворение. Но оно сменяется жгучей досадой, когда вы видите, как в конце, бог знает для чего, автор приделывает своему герою мочальный хвост. Плотник-певчий, ищущий „смысел жизни“, размышляющий о Будде, Адаме и Еве, Васко-де-Гаме! К чему это понадобилось?“ („Биржевые ведомости“, 1902, № 123, 8 мая, с. 3).

Не обошла критика и тот новый тип босяка, который появился в этой повести. Один из критиков писал: „Изображение архиерейского хора — этой своеобразной русской богемы, наполовину состоящей из бывших людей, очень близких к настоящему босячеству, — является одною из интереснейших сторон рассказов нашего писателя. Эта богема, стоящая на границе между интеллигенцией и людьми со дна жизни, принадлежит к числу наиболее неведомых уголков нашей действительности... Эту разновидность босяка буквально открыли нам г. Скиталец да М. Горь-

кий в своем Тетереве („Мещане"), разновидность, надо сознаться, преинтересная!" („Образование", 1902, № 9, сентябрь, отд. „Из жизни и литературы", с. 56—57).

Критик Т. Ганжулевич, высоко оценивая повесть, отметила и некоторую ее недоработку: „В общем все-таки „Октава" — лучшее произведение Скитальца; особенно живо и реально обрисовывается здесь фигура Захарыча. В изображении этого типа автор близко подходит к действительному народному миросозерцанию... Но общий колорит рассказа и в „Октаве" все-таки бледен: недостает экспрессии, уменья свести художественные детали к одному целому, к общей картине, усиливая их красками основной ее фон и рельефно выдвигая изображаемый образ или его идею.

Оттого теряется и сила впечатления, получаемая от чтения рассказа. Это опять-таки общий недостаток всех произведений Скитальца.

Другой недостаток заключается в некоторой однотонности всех его рассказов, свидетельствующей об отсутствии широты в сфере наблюдений молодого автора: пред нами в его произведениях постоянно развертывается только мир певцов-босяков (исключение представляет лишь рассказ „Любовь декоратора" („Наука и жизнь", 1904, июнь, кн. VI, с. 499—501).

Стр. 100. *Кошель* — крестьянская котомка из лык, бересты.

Стр. 101. ...*„Овому даде талант, овому два"*... — Выражение из церковнославянского текста Евангелия (*Матф.*, 25, 15).

Стр. 105. ...*казинетовом*... — Казинет — полушерстяная гладкая ткань.

Стр. 106. *Ектания* — моление (в православном богослужении), содержащее просьбы и обращения к богу и сопровождающееся пением певчих.

Ирмос — церковное песнопение после всенощной.

Стр. 120. ...*в голубых длинных „парадах"*... — Парад — праздничный убор, наряд.

Стр. 129. ...*Васька-Где-Гамма*... — Васко да Гама (1469—1524) — португальский мореплаватель, открывший морской путь в Индию.

Стр. 141. ...*капеллу Славянского*... — Д. А. Славянский (наст. фам. Агренев) — народный певец, пропагандист русской и славянской песни. Образовал хор в Праге в 1860-е годы. В 1884 г. началось его продолжительное заграничное концертирование по Германии, Франции и Англии.

Стр. 142. ...*коричневые „косоуши"*... — Косоуля — волжская лодка 5—8 сажен длины, без палубы.

Стр. 143. — *Тря!*.. — окрик на овец (астраханск.).

СКВОЗЬ СТРОЙ

Впервые — „Мир божий“, 1901, № 12, декабрь. В наст. изд. печатается по тексту: Скиталец. Повести и рассказы. М., ГИХЛ, 1935 (а не по последнему прижизненному изданию 1939 г.). Между текстами этих изданий повести есть небольшие стилистические разночтения (видимо, редакторского характера), которые не учтены ни в одном из последующих изданий.

Эта повесть вызвала наибольшее количество противоречивых отзывов в периодической печати. Критик А. Измайлов писал: „Художественная ценность ее — в яркости детального описания картин, видимо близких воображению автора и нарисованных опытной рукою. Атмосфера кабака с его веселыми завсегдатаями, шумящего, как улей, и наполненного развеселыми звуками гуслей, звенящих под рукой безногого кабатчика, — живо воссоздается по яркому и красочному описанию молодого автора...

Конечно, вне всякого сомнения, герой г. Скитальца, этот рыцарь без страха и упрека, утрирован до ходульности — и насколько автор правдив в первой части повести, настолько же фальшивит во второй...

В философии Скитальца, как видит читатель, слишком много точек соприкосновения с философией Горького... Мы остановились на нем потому, что его работа идет, по-видимому, лишь параллельно работе Горького, а не по готовой канве, выдает неподдельную искренность автора даже там, где он увлекается и впадает в идеализацию („Биржевые ведомости“, 1901, № 351, 24 декабря, с. 3).

Сопоставляли Скитальца и Горького и другие критики. „Все его произведения отмечены печатью столь же свежего и сильного творчества, какое отличает повести, рассказы и лирические отрывки г. Горького. Его герои — люди „босяцкого склада души“ — это столь же рельефно и ярко очерченные фигуры, с какими мы встречаемся в произведениях г. Горького.

И притом — что важнее всего — произведения г. Скитальца не являются повторением произведений г. Горького, „босяцкое“ миросозерцание г. Скитальца — повторением миросозерцания г. Горького...

Жизнь среди крестьянской массы вообще не рисуется героям г. Скитальца в таком мрачном свете, в каком ее представляют себе герои г. Горького. Часто во время своих „скитаний“ они мечтают об этой жизни...

Точно так же герои г. Скитальца не „отвертываются“ от интеллигенции, не стараются решительно и бесповоротно отказаться от „интеллигентной“ жизни.

Интеллигенты г. Скитальца могут предложить босякам нечто положительное; они умеют подойти к босякам, способствуют умственному развитию последних. И последние, с своей стороны, спешат воспользоваться приобретениями интеллигентской культуры, проявляют интерес к „положительному знанию", вовсе несвойственный босякам г. Горького, зачитываются такими книгами, как сочинения Милля и Бокля, мечтают о том, чтобы попасть в ряды интеллигенции.

Наконец, иначе относятся герои г. Скитальца и к представителям профессионального труда, чем герои г. Горького. В глазах героев г. Горького тот, кто занимается постоянным трудом, является человеком *слабым*... Герои г. Скитальца не видят в занятии постоянным производительным трудом опасности неминуемо потерять „человеческий облик" („Курьер", 1902, № 83, 25 марта, с. 3).

Отмечая заслуги Скитальца в открытии целого нового пласта общества, один из критиков писал: „Если босячество как общественно-психологическое явление способно вдохновлять художника и могло найти себе выразителя в лице такого мастера слова, как Максим Горький, если его герои и героини воплотились в столь неожиданно красивых образах, какие созданы творчеством этого писателя, то еще понятнее и естественнее, если народная богема, бродячая Русь, стоящая одной ногой в деревне, другой в городе, — если эта оригинальная разновидность пролетариата найдет себе наконец своего певца и апологета" („Одесские новости", 1901, № 5497, 17 декабря, с. 2).

Особенно много писали и спорили критики о главном герое повести — Гавриле Петровиче: „Вечный неудачник-богатырь с приставшим к нему по пути и всюду неразлучным с ним Горем-злосчастьем"; „неиссякаемая энергия живучести, несмотря на сплошной ряд неудач, обид, несправедливости и жестокостей, сквозь строй которых проходит человек"; „артистичность, талантливость... натуры" („Журнал для всех", 1902, № 9, с. 1132—1135) и т. д.

Однако критик А. Измайлов высказал мнение о том, что герой этой повести „оказывается на глиняных ногах... Автору во что бы то ни стало хочется рисовать не людей, а героев, которые выше толпы, необыкновенны и исключительны... Этот „новый человек" из народа — сочинен Скитальцем. Его, к сожалению, еще нет и пока не может быть — даже одного на тысячу. Может быть, зреют еще только зерна такой настроенности, и представитель этого нового типа требовал для своего изображения штрихов более тонких и нежных, большего художественного такта от автора. Рисуйте нам бодрящие народные типы, они нужны, но не облекайте героев в латы из сусального золота, на ко-

торые больно смотреть глазу“ („Биржевые ведомости“, 1902, № 123, 8 мая, с. 3).

Художественная сторона повести также подверглась критике. Т. Ганжулевич писала: „Самым слабым и со стороны художественного изображения, и со стороны психологической обосновки является его произведение „Сквозь строй“. Неумение владеть формой выдает здесь еще перо новичка-писателя и сказывается в вялости рассказа, постоянно переходящего в простой пересказ событий, вместо их живого изображения. Лишь порой пробиваются проблески художественного дарования, но они очень редки и теряются за общими недостатками этого произведения. Что касается психологической стороны, то она, как мы уже говорили, очень слаба“ („Наука и жизнь“, 1904, июнь, кн. VI, с. 495). Смыкается с этой оценкой и отзыв Л. Н. Толстого, который Горький сообщал в письме К. П. Пятницкому: „Талант, большой талант. Но — жаль! — слишком начитался русских журналов. И от этого его рассказ похож на корзину кухарки, возвращающейся с базара: апельсин лежит рядом с бараниной, лавровый лист с коробкой ваксы. Дичь, овощи, посуда — все перемешано и одно другим пропахло. А — талант! На отца он наврал — не было у него такого отца“ (Горький М. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 28, с. 217).

Стр. 172. *Ичиги* — азиатская сафьянная обувь, полусапожки без подошв.

Стр. 188. *Шерхебель* — инструмент (род рубанка) для первичного грубого строгания древесины.

Стр. 189. *Шлифтик* — рубанок с двойным лезвием для чистого строгания.

Стр. 190. *Кумоха* — лихорадка.

Стр. 192. *Гайтан* — шнурок, тесьма.

Стр. 206. *...Пересвета... в Куликовской битве.* — Александр Пересвет — один из героев Куликовской битвы (1380). Битва началась поединком Пересвета с татарским богатырем Челубеем — оба сражавшихся погибли.

В ДОРОГЕ

Критик И. Дю-Кир восторженно писал об очерке: „Последний очерк — высокохудожественное, поэтически сильное описание дороги в степи; в двух страницах нет действия, нет сюжета. Лиц действующих только двое: кучер Афанасий и его барин. Два лица — но живы и сильны они.

Кучер Афанасий, глубоко презирающий своего барина, „дурра-

ка“, как кричит он, сильная мужицкая натура, безумно любящий лошадей своих, свою степь. Барин, у которого вся жизнь фантастичней действительности: все пережил, во всех богов веровал. Боготворил инфузорию, поклонялся клеточке, ходил в народ... Якутия, этапы жизни, проповедь малых дел... травосеяние... молотилки, воздушная железная дорога... Тьфу... жена бросила... дети все врозь и все чужие... А жизнь шла, молодость уходила, тучи сгущались, темные силы торжествовали и гнали его, лишенного веры, в пустоту, в холодный мрак!.. Луна прозрачная освещает туманную даль. Безжизненная, безмолвная степь вокруг, даль таинственная еще шире и размашистее, чем днем, и едут оба человека, рессоры похрустывают, копыта бьют в звонкую дорогу, да целый рой бубенчиков бежит и вьется, назойливо напевая свою песню, а кругом безграничный простор, да лицо месяца мчится вслед за ними и насмешливо улыбается. Вот и все! Но сколько в этих двух страницах глубокой истинной правды, жизненной драмы и таланта“ („Всемирный вестник“, 1905, № 3, март, с. 191—192).

ПОЛЕВОЙ СУД

Впервые — сб. VII т-ва „Знание“. СПб., 1905.

В рецензии на этот сборник известный критик Е. А. Ляцкий дал высокую оценку рассказу. Он подчеркнул, что его окончание не является концом истории, описанной в рассказе. „...В душе читателя, — писал критик, — не остается сомнения в том, что на таком людском решении божеская правда остановиться не может, и искание ее приведет к стихийному протесту против тех, кто, по глубокому убеждению народной массы, явился насильственным нарушителем ее законных прав на политую их потом и кровью землю...“ („Вестник Европы“, 1906, № 1, с. 382).

Стр. 232. *Новгородские ушкуйники* — отряды, формировавшиеся новгородскими боярами для разбойничьих экспедиций на Волге и Каме.

Стр. 233. *Майоратное* — от „майорат“ — порядок наследования недвижимого имущества, по которому оно переходило старшему в роде.

ОГАРКИ

Впервые — сб. X т-ва „Знание“. СПб., 1906.

Высокую оценку повести дал А. А. Блок. В статье „О реалистах“ (1907) он писал: „Очень характерный безбытный писатель — Скиталец. В недавно вышедшем втором томе его „Рассказов и песен“ (издание „Знания“) есть талантливая повесть совсем горь-

ковского типа. Она называется „Огарки“. Это термин, обозначающий горьковских „бывших людей“. Когда появляются эти люди в сборниках „Знания“, им сопутствует всегда своеобразный словарь, наполненный специальными выражениями вроде „храпоидолы“, „свинчатка“, „свинячья морда“, „Александрийский козолуп“, „Вавилонский кухарь“, „Великого и Малого Египта свинарь“, „Олоферна пестрая, эфиопская“... Вся повесть наполнена похождениями „огарков“, от которых, я думаю, отшатнется „критик со вкусом“. Такому критику, я думаю, противен пьяный угар и хмель, но этим хмелем дышат волжские берега, баржи и пристани, на которых ютятся отверженные горьковские люди с нищей и открытой душой и с железными мускулами. Не знаю, могут ли они принести новую жизнь. Но странным хмелем наполняют душу необычайно, до грубости, простые картины, близкие к мелодраме, как это уже верно, но преждевременно ехидно заметили культурные критики. Я думаю, что те страницы повести Скитальца, где огарки издали слушают какую-то „прорезающую“ музыку в городском саду, где певчий Северовостоков ссыпает в театральную кассу деньги, набросанные ему в шляпу озверевшей от восторга публикой, где спит на волжской отмели голый человек с узловатыми руками, громадной песенной силой в груди и с голодной и нищей душой, спит, как „странное исчадие Волги“, — думаю, что эти страницы представляют литературную находку, если читать их без эрудиции и без предвзятой идеи, не будучи знакомым с „великим хамом“. И есть много таких людей, которые прочтут „Огарков“ — и душа их тронется, как ледоходная река, какою-то нежной, звенящей, как льдины, музыкой“ (Блок Александр. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 5. М.—Л., Гослитиздат, 1962, с. 110—111).

Не все критики увидели в повести „литературную находку“. „Надо прочесть „Огарков“ и сравнить их с „Бывшими людьми“ Горького или очерком из мира пропадающих людей Левитова, Мамина-Сибиряка, чтобы увидеть разницу между маленьким наблюдателем жизни, не лишенным беллетристического дарования, и настоящими художественными талантами... — писал А. Измайлов. — Претензия Скитальца нарисовать какой-то общественный класс людей, находящихся на границе „босячества“, которые „не пойдут в босяки, но будут добиваться *ответа у жизни, чтобы узнать,* где их место в природе“, которые „снизу поднимутся на самый гребень (!) волны и, *быть может, скажут свое огарческое (!) слово*“, — производит впечатление чистейшего и безобиднейшего курьеза. Может быть, опять те же лавры босяка Горького не дают спать Скитальцу, и он тщится сочинить какое-то новое „сословие“, которому обещает будущность, но которое, как ни кинь, попадает прямиком в старый-престарый тип „бывшего человека“ („Биржевые ведомости“, 1906, № 9332, 9 июня, с. 5).

Стр. 271. ...*сарпинковой*... — Сарпинка — легкая хлопчатобумажная ткань, полосатая или клетчатая.

Стр. 279. ...*гениального Кина.* — Эдмунд Кин (1787—1833) — английский актер.

Стр. 287. ...*деф-фи-ми-ции!* — Дефиниция (от фр.) — определение.

Стр. 300. — *Дондеже* (церк.) — доколе, пока.

Стр. 322. ...*гаршинский глухарь?* — Глухарь из рассказа В. Гаршина „Художники" (1879).

Стр. 329. *Скрыня* (малорос.) — сундук, коробейка.

ВОСПОМИНАНИЯ

УЛЬЯНОВ-ЛЕНИН

Стр. 350. ...*когда в столичных университетах ввели новый, жестокий устав... для учащейся молодежи.* — Университетский Устав 1884 г. отменил ранее действовавший Устав 1863 г. — наиболее прогрессивный из всех университетских уставов. Новый устав полностью отменял выборность ректора, деканов и профессоров, на которой основывалась автономия университета. Круг дел, подлежащих ведению Совета университета и факультетов, сильно сузился. Устав порвал связь между профессорской коллегией и органами университетского управления, поставив профессоров в положение чиновников. Профессора назначались попечителем учебного округа, за ходом преподавания был установлен надзор, отменялся университетский суд, и учреждалась должность инспектора для надзора за студентами, назначаемого Министерством народного просвещения. Были введены жесткие дисциплинарные правила для студентов (Особые правила 1885 г.). Увеличивалась плата за учение, запрещалось издание научных трудов.

Незадолго до этого... покушение на жизнь царя Александра III. — Неудавшееся покушение на Александра III готовилось террористической группой „Народная воля", одним из организаторов которой был А. И. Ульянов. Он и четверо его товарищей были арестованы 1 марта 1887 г. и казнены в Шлиссельбурге 8 мая 1887 г.

„Кресты" — бытовое название петербургской тюрьмы. Два ее корпуса пересекались в виде огромного креста (отсюда название). Первоначально „Кресты" предназначались для уголовных преступников, но после революции 1905—1907 гг. они стали преимущественно политической тюрьмой.

Стр. 355. *Ленин... исчез из Петербурга.* — Собрание, о котором упоминает Скиталец, состоялось 3 (16) декабря 1905 г. 12—17 декабря Ленин находился в Финляндии, в январе 1906 г. он переехал в Москву, а в середине января вернулся в Петербург. В течение 1906 г. Ленин неоднократно бывал в Петербурге, изредка выезжая в Москву и за границу. С августа 1906 г. жил в Финляндии.

МАКСИМ ГОРЬКИЙ

Стр. 357. *Однажды он принес... книжку... журнала... стихотворение Горького под заглавием „Песня о Соколе“.* — Ошибка Скитальца. Ни в одном из толстых журналов „Песня о Соколе“ не печаталась. Впервые — под названием „В Черноморье“, с подзаголовком „Песня“, напечатано в „Самарской газете“ (1895, № 50, 20 марта), в серии „Теневые картинки“.

Стр. 358. *О „Фоме Гордееве“... писал Н. К. Михайловский...* — В статье „Литература и жизнь (О повестях и рассказах гг. Горького и Чехова)“ Михайловский очень скептически отозвался о повести „Фома Гордеев“. Он упрекнул Горького в том, что тот недостаточно выявил философию босячества в своих рассказах. Не прояснилась эта философия и в больших повестях — в „Фоме Гордееве“ и „Трое“. Михайловский находит в них „отдельные прекрасные страницы и даже целые эпизоды, но в целом они ужасно растянуты, переполнены длиннейшими рассуждениями действующих лиц“. Многие рассуждения при этом повторяют мотивы рассказов. Действительно сильной фигурой является только Маякин. Рядом с ним „прямо жалкое впечатление производит Фома Гордеев, хотя он и рвется из своей „ямы“, и мечется, дерзит направо и налево, дерется, буйствует, рычит грозные и злые слова. Все это не мешает ему быть тряпкой, которую треплет ветром в разные стороны...“ („Русское богатство“, 1902, № 2, отд. II, с. 176).

Стр. 359. *Говорили о книге Ницше „Так говорил Заратустра“...* — Немецкий философ Фридрих Ницше (1844—1900) проповедовал в своей книге „Так говорил Заратустра“ индивидуалистический культ сильной личности. Русское издание книги: Ницше Ф. Так говорил Заратустра. 9 отрывков. В пер. С. Н. Нани. СПб., 1899.

Стр. 363. *Недаром и Горький... поэму „Фома Гордеев“...* — Интенсивная работа над повестью „Фома Гордеев“ началась летом — осенью 1898 г. Впервые, с подзаголовком „Повесть“, напечатана в журнале „Жизнь“, 1899, т. II (февраль), III—IX (март — сентябрь).

Стр. 368. *...похоже было на известную картину „Все в прошлом“.* — Картина „Все в прошлом“ (1899) художника В. М. Максимова (1844—1911). Находится в Государственной Третьяковской галерее.

ЛЕВ ТОЛСТОЙ

Стр. 408. *Вот это, где там у вас мужики... это хорошо!* — Эпизод из повести „Сквозь строй“: „Фигуры хлопают огромными рукавицами, снимают их и заскорузлой рукой стаскивают шапки, обнажая потные лысины; от лысин к потолку поднимается пар...“

ЧЕХОВ

Стр. 416. *Тот скоро вернулся с томиком „Хмурых людей“.* — Чехов А. П. Хмурые люди. Рассказы. СПб., изд. А. С. Суворина, изд. 1—10, 1890—1899.

Стр. 417. *„Протодьякон проклинает... „анафему“!“* — Эпизод из повести „Октава“.

ВЛАДИМИР ГАЛАКТИОНОВИЧ КОРОЛЕНКО

Стр. 419. *...рассказ... „Лес шумит“.* — Напечатан в журнале „Русская мысль“ (1886, № 1).

Стр. 423. *...в... меблированных комнатах „Пале-Рояль“...* — Большой меблированный дом (170 комнат) „Пале-Рояль“ находился в Петербурге на Пушкинской ул., 20.

Стр. 424. *После закрытия журнала „Русское богатство“...* — Научный, литературный и политический журнал. Издавался в 1876—1918 гг. В 1906 и 1914 гг. журнал подвергался репрессиям; с 1914 г. по март 1917 г. выходил под названием „Русские записки“. В 1918 г. был закрыт. Короленко — с перерывами — был редактором журнала с 1904 по 1918 г.

...он окончательно поселился... в... Полтаве. — Короленко жил в Полтаве с 1900 г.

РЕКА ЗАБВЕНЬЯ

Стр. 468. *„Жизнь“ вскоре была закрыта...* — Литературно-политический журнал, издававшийся в Петербурге в 1897—1901 гг., в Лондоне и Женеве — в 1902 г. В связи с революционной дея-

тельностью Горького, опубликовавшего в „Жизни" „Фому Гордеева", „Трое", „Песню о Буревестнике", и других участников „Жизни", журнал был закрыт в июне 1901 г. Пытаясь возродить „Жизнь" за границей, В. А. Поссе, В. Д. Бонч-Бруевич и др. выпустили в 1902 г. в Лондоне и Женеве 6 номеров.

Стр. 469. *...Найденов — пьеса... шла... с колоссальным успехом...* — С. А. Найденов (наст. фамилия Алексеев), „Дети Ванюшина" (1901).

Чехов... уловил... назвав его... „искусственным соловьем". — В письме Горькому от 29 июля 1902 г. из Любимовки А. П. Чехов писал: „В Андрееве нет простоты, и талант его напоминает пение искусственного соловья. А вот Скиталец воробей, но зато живой, настоящий воробей" (Чехов А. П. Полн. собр. соч. Письма, т. 11. М., Наука, 1982, с. 13).

Стр. 473. *Молодой писатель С. ...* — Речь идет о самом Скитальце.

Стр. 477. *„Церковь и государство"... „Евангелие"...* — названия произведений Л. Н. Толстого „Церковь и государство" (1880), „В чем моя вера?" (1884) и „Соединение и перевод четырех Евангелий" (1884).

Стр. 480. *...рассказ Златовратского „Гетман".* — Ошибка автора: рассказ Н. Н. Златовратского „Гетман" написан в 1888 г.

Стр. 481. *...Белоусов... „суриковец"...* — Суриковский литературно-музыкальный кружок — литературное объединение писателей-самоучек из народа в Москве. Назван в честь его основателя — И. З. Сурикова (1841—1880). После смерти Сурикова поэт И. А. Белоусов (1863—1930) стал одним из руководителей кружка.

Стр. 484. *Русская литература... „Шинели"!* — „Все мы вышли из гоголевской „Шинели" — эта фраза ранее приписывалась Ф. М. Достоевскому. Новейшие же исследования говорят о том, что она принадлежит И. С. Тургеневу (см. статью П. В. Палиевского „Место Гоголя в русской литературе" — в сб.: Гоголь: история и современность. М., Советская Россия, 1985, с. 88).

...роман... „Человек с планом". — Мачтет Г. А. Человек с планом (Повесть). — Русская мысль, 1886, кн. XI—XII. Миролюбов выведен в образе Кутырева.

СОДЕРЖАНИЕ

Стихотворения

„Ночь тиха и молчалива...“ 4
„Я идти сбирался вновь...“ 5
У моря 6
Муза 8
„Благослови меня, родная...“ 9
„Вы сказались, бессонные ночи...“ 10
Волжские легенды 11
Тоска 16
Мороз 17
„Утром зорька молодая...“ 19
Колокол 20
Гусляр 21
Кузнец 23
„Я хочу веселья...“ 24
„Ты скажи-ка, оборванец молодой...“ 25
Дума 26
Прощальное слово 30
„Колокольчики-бубенчики звенят...“ 31
Певчие 32
„Я бросал мои песни в толпу, как цветы...“ 33
„Струны порваны! Песня, умолкни теперь!..“ 34
„Телами нашими устлали мы дорогу...“ 35
„Нет, я не с вами: своим напрасно...“ 36
„Волнами мощными я выброшен вперед...“ 37
„О, когда бы я витязем был молодым!..“ 38
„Из добродетелей вы цепи мне сковали...“ 39
„Я и меч, и — вместе — пламя!..“ 40
„Я оторван от жизни родимых полей...“ 41
Лунная ночь 42
„Да, я из тех, мой друг, что с самого рожденья...“ 43
„Портрет ее мне показали...“ 44

Повести. Рассказы. Очерки и фельетоны

Антихристов Кучер 46
Самарские строфы 60
Квазимодо 80
Композитор 87
Икар 94
Октава 98
Сквозь строй 144
Кузнец 209
В дороге 222
Полевой суд 230
Лес разгорался 244
Огарки 262

Воспоминания

Ульянов-Ленин 350
Максим Горький 356
Лев Толстой 402
Чехов 411
Владимир Галактионович Короленко 419
Леонид Андреев 425
Гарин-Михайловский 454
Река забвенья
Писатели старой Москвы. Литературная „Среда" . . . 466
А. С. Серафимович 469
Значение московского кружка „Среда" в предреволюционную эпоху. Литературные вечера. Эпоха „банкетов". Роль 9 января в истории литературы. Конец „Среды" . 472
Северная столица — Петербург. Отлучение Льва Толстого 477
Златовратский 479
В. С. Миролюбов 484
Сергеев-Ценский 489
Реакция и литература упадка после 1905 года. Арцыбашев 494

Комментарии 497

Скиталец С42
Избранное /Сост. и комментарии Н. Г. Ларионовой. — М.: Худож. лит., 1988. — 527 с.
ISBN 5—280—00085—X

В книгу входят избранные произведения русского писателя-демократа Скитальца (Степана Гавриловича Петрова): повести и рассказы — „Октава“, „Сквозь строй“, „Икар“ и др.; фельетоны — „Самарские строфы“; стихотворения; литературные воспоминания — „Максим Горький“, „Чехов“, „Лев Толстой“ и др.

С $\frac{4702010100-142}{028(01)-88}$ 43—88 **ББК 84Р1**

СКИТАЛЕЦ

Избранное

Редактор К. Нещименко
Художественный редактор Г. Масляненко
Технический редактор Л. Ковнацкая
Корректоры Н. Замятина и Т. Сидорова

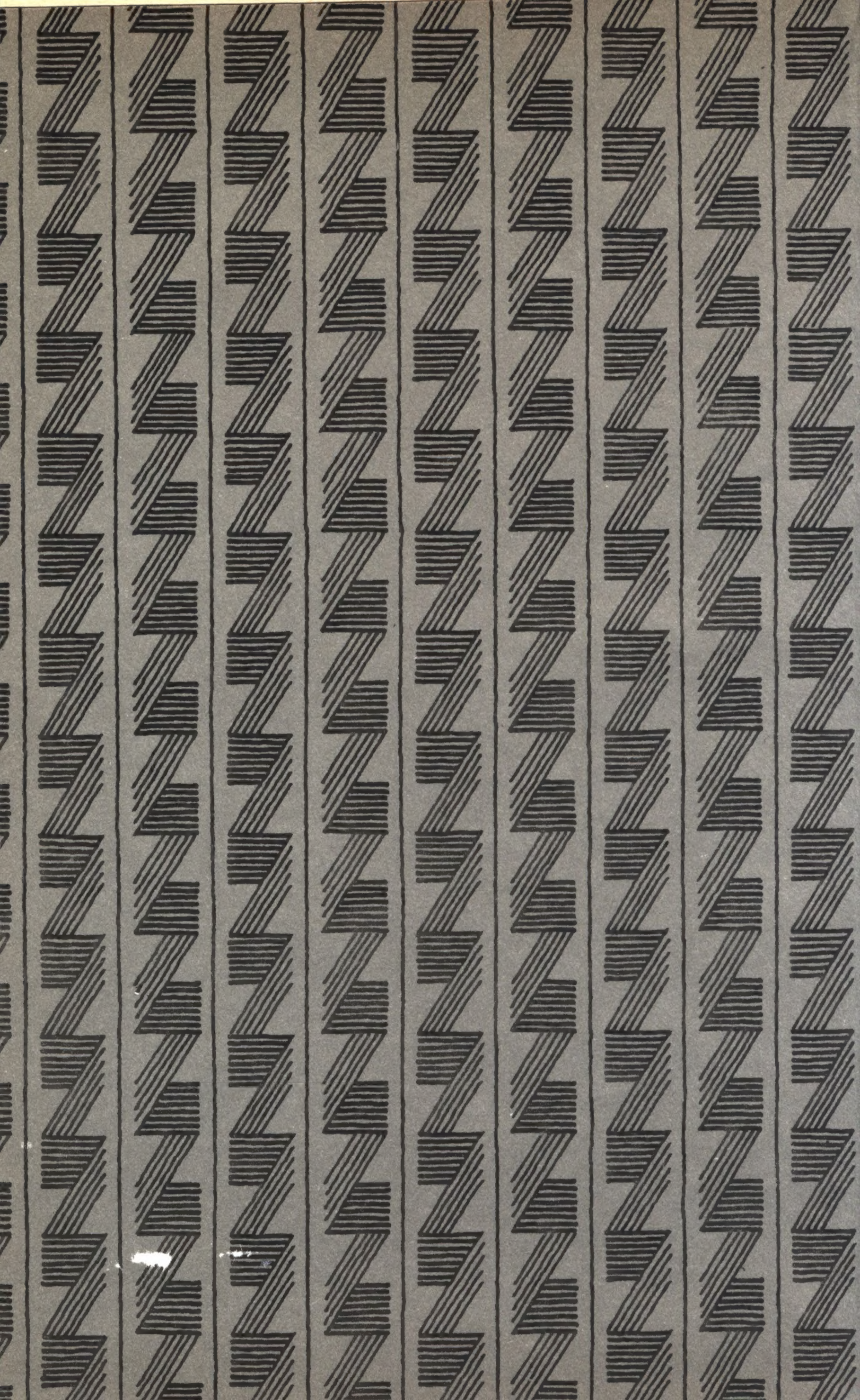
ИБ № 5038

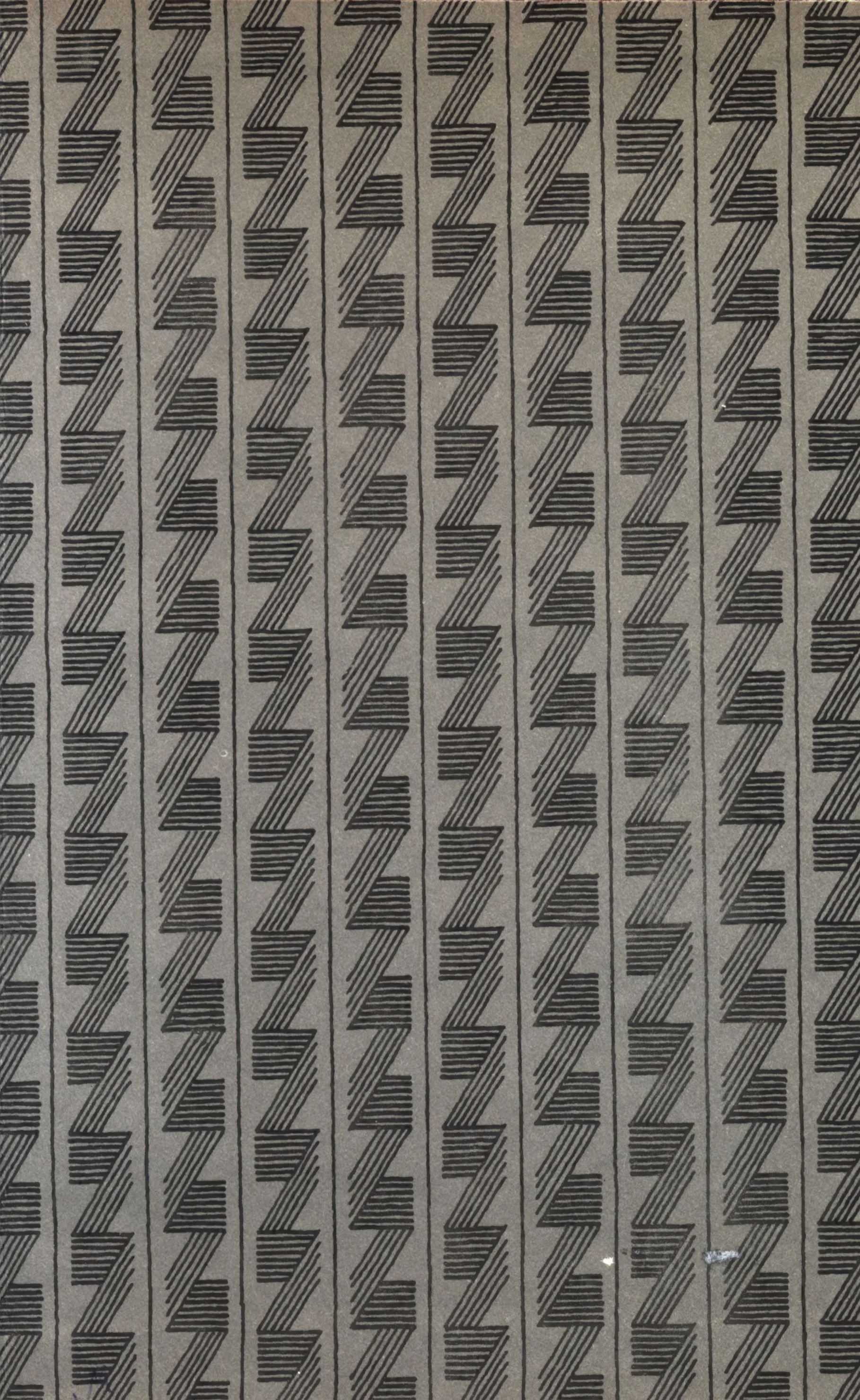
Сдано в набор 25. 05. 87. Подписано в печать 08. 02. 88. Формат 84х108 1/32. Бумага № 2 кн. журн. Гарнитура „Литературная“. Печать высокая. Усл. печ. л. 27,72. Усл. кр.-отт. 28, 14. Уч.-изд. л. 29,03. Тираж 250 000 экз. Изд. № II-2582. Заказ № 4318. Цена 2 р. 40 к. Ордена Трудового Красного Знамени издательство „Художественная литература“.
107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Типография имени Димитра Благоева — София

ои-

ля-
сти
то-
ло-






Скиталец
Избранное